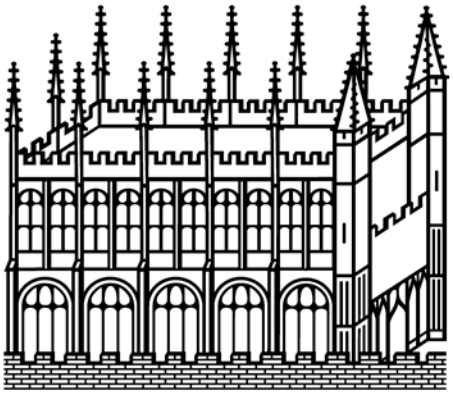


Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

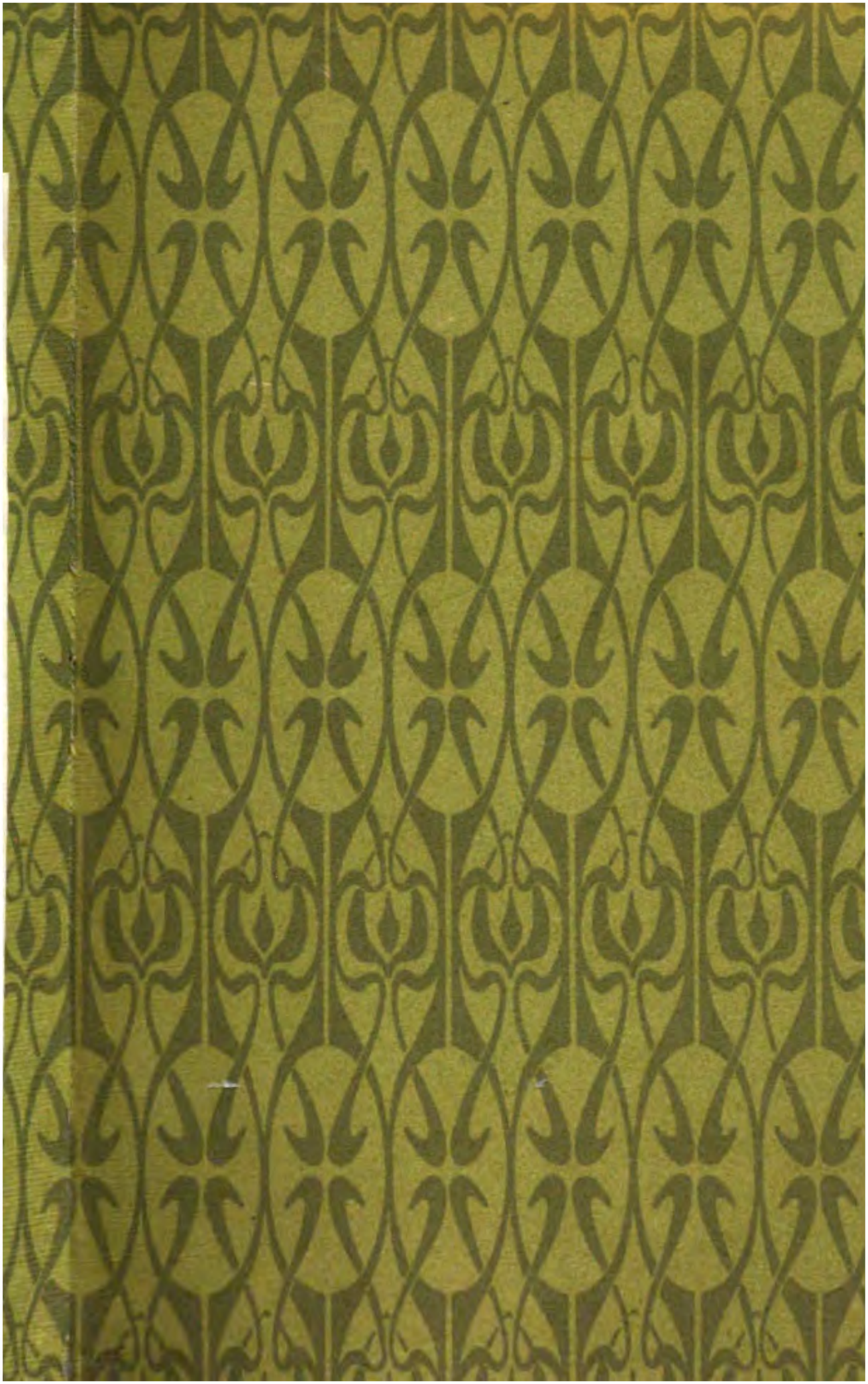
http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

G3332. A1. 1896 (9)
= Rep. Slav. 110

300 / JJ
/ 46

Presented to the Library
by Dr. Joy Williams.
PROV.



Н. В. Гоголь. IX. Т-во „Просвѣщеніе“ въ Спб.

Гоголь и о. Матвѣй Константиновскій.

(Съ рисунка Рѣпина.)

Сочиненія и письма

Н. В. Гоголя.

Всемірная библіотека.

Собранія сочиненій извѣстныхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Русскіе писатели:

Аксаковъ, С. Т., подъ редакціей *А. Г. Горнфельда;*
Андреевъ, Л. Н., со вступительной статьей проф. *М. А. Рейснера;*
Ан—скій, С. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Амфитеатровъ, А. В., подъ наблюденіемъ *автора;*
Айзманъ, Д. Я., подъ наблюденіемъ *автора;*
Гоголь, Н. В., подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Добролюбовъ, Н. А., подъ редакціей *В. П. Кранихфельда;*
Достоевскій, Ѳ. М., съ многочисл. приложеніями;
Златовратскій, Н. Н., подъ наблюденіемъ *автора;*
Кольцовъ, А. В., подъ редакціей *Арс. Ив. Введенскаго;*
Крыловъ, И. А., подъ редакціей *В. В. Каллаша;*
Лазаревскій, Б. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Левитовъ, А. И., со вступ. статьей *А. А. Измайлова;*
Лермонтовъ, М. Ю., подъ ред. *Арс. И. Введенскаго;*
Максимовъ, С. В., со вступ. статьей *П. В. Быкова;*
Мачтетъ, Г. А., подъ редакціей *Д. П. Сильчевскаго;*
Муйжель, В. В., подъ наблюденіемъ *автора;*
Невѣжинъ, П. М., подъ наблюденіемъ *автора;*
Никитинъ, И. С., подъ ред. *А. Г. Фомина,* со вступительной статьей *Ю. И. Айхенвальда;*
Немировичъ-Данченко, Вас. И., подъ наблюденіемъ *автора;*
Олигеръ, Н. Ф., подъ наблюденіемъ *автора;*
Осиповичъ, Н. М., подъ наблюденіемъ *автора;*
Островскій, А. Н., подъ ред. *М. И. Писарева;*
Помяловскій, Н. Г., съ біограф. очеркомъ *Н. А. Благовѣщенскаго*
Потѣхинъ, А. А., подъ наблюденіемъ *автора;*
Пушкинъ, А. С., подъ редакціей *П. О. Морозова* и *В. В. Каллаша;*
Соловьевъ, Н. Я., съ портретомъ *автора;*
Танъ, В. Г., подъ наблюденіемъ *автора;*
Толстой, Л. Н., подъ редакціей *А. М. Хирьякова;*
Шапиръ, Ольга, подъ наблюденіемъ *автора.*

С.-Петербургъ.
Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе",
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

Сочиненія и письма
Н. В. Гоголя.

Редакція, вступительныя статьи и примѣчанія

В. В. Каллаша.

Томъ девятый.

Письма.

С.-Петербургъ.
Типо-лит. Акціонернаго О-ва „Самообразованіе",
Забалканскій просп., д. № 75.

LIBRARY OF THE TAYLOR
UNIVERSITY
29 SEP. 1942
OF OXFORD

Бумага безъ примѣси древесной массы.

Оглавленіе IX-го тома.

	Стр.
Предисловіе	3
Вступительныя статьи:	
Послѣдній періодъ жизни Гоголя	4—6
Н. В. Гоголь и его письма	7—92
Письма Н. В. Гоголя.	
О „Современникѣ“ (письмо къ П. А. Плетневу)	93—103
Письмо В. А. Жуковскому (объ искусствѣ)	104—109
Духовное завѣщаніе Н. В. Гоголя	110—111
Изъ переписки Гоголя:	
1. Г. И. Высоцкому	112—114
2. Ему же	114—118
3. Ему же.	118—124
4. П. П. Косяровскому	124—126
5. Матери, М. И. Гоголь	126—130
6. А. С. Пушкину	130—132
7. В. А. Жуковскому	132—134
8. М. П. Погодину	134—135
9. Матери.	136—138
10. А. С. Пушкину	138
11. Матери	139—141
12. А. С. Пушкину	142
13. М. П. Погодину	142—143
14. М. С. Щепкину	144—145
15. М. П. Погодину	145—146
16. М. С. Щепкину	146—147
17. М. П. Погодину	148—149
18. В. А. Жуковскому	149—151

Стр.

19. М. П. Погодину . . . . . 151—152
20. М. П. Балабиной . . . . . 152—156
21. В. А. Жуковскому . . . . . 156—159
22. П. А. Плетневу . . . . . 159—160
23. М. П. Погодину . . . . . 160—162
24. А. С. Данилевскому . . . . . 162—165
25. В. А. Жуковскому . . . . . 165—167
26. Ему же . . . . . 167—168
27. Е. Г. Чертковой . . . . . 168—169
28. С. П. Шевыреву . . . . . 169—171
29. С. Т. Аксакову . . . . . 171—172
30. М. П. Погодину . . . . . 172—173
31. С. Т. Аксакову . . . . . 173—175
32. П. А. Плетневу . . . . . 175—178
33. Ему же . . . . . 178—180
34. Ему же 181
35. Н. Я. Прокоповичу . . . . . 181—182
36. Ему же . . . . . 182—183
37. М. С. Щепкину . . . . . 183—184
38. Ему же . . . . . 185—187
39. К. С. Аксакову . . . . . 187—189
40. Н. Я. Прокоповичу . . . . . 189—191
41. П. А. Плетневу . . . . . 191—193
42. В. А. Жуковскому . . . . . 193—194
43. С. Т. Аксакову . . . . . 194—196
44. П. А. Плетневу 196
45. М. С. Щепкину . . . . . 197—200
46. И. И. Сосницкому . . . . . 200—202
47. М. С. Щепкину . . . . . 202—203
48. С. Т. Аксакову . . . . . 203—205
49. С. П. Шевыреву . . . . . 206—208
50. М. С. Щепкину . . . . . 208—210
51. С. Т. Аксакову . . . . . 210—211

Этюды о Гоголѣ:

Литературныя отраженія смерти Гоголя . . . 215
Поэтическія характеристики Гоголя 229
Воспоминанія И. А. Хлестакова о Гоголѣ . . . 234

Воспоминанія современниковъ о Гоголѣ:

П. В. Анненкова 241
С. Т. Аксакова 259

Стр.
И. С. Тургенева 281
И. И. Панаева 288
А. О. Смирновой 293
Л. И. Арнольди 303
Кн. Д. А. Оболенскаго 313
Н. В. Берга 314
М. И. Гоголь 319
О. В. Гоголь-Головни 340

Примѣчанія 347

Указатель вступительныхъ статей и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ I—IX т.т. 350

Списокъ иллюстрацій и факсимиле, помѣщенныхъ въ I—IX т.т. 352

Алфавитный указатель произведеній Н. В. Гоголя (ко всѣмъ IX томамъ) 354

Списокъ иллюстрацій.

Стр.

Гоголь и от. Матвѣй Константиновскій (съ рисунка Рѣпина) 1

Памятникъ Н. В. Гоголю въ Нѣжинѣ (съ фотограф. снимка) 96

Домъ (бывш. Талызиныхъ), въ которомъ умеръ Гоголь (Никитскій бульваръ, въ Москвѣ) . . 112

Могила Гоголя въ Даниловомъ монастырѣ, въ Москвѣ (съ фотограф. снимка) 212

Письма Н. В. Гоголя.

Предисловіе.

Въ этомъ томѣ, девятомъ, мы даемъ письма Гоголя (какъ подлинную переписку, такъ и статьи въ формѣ писемъ). Мы не имѣли возможности исчерпать всей переписки великаго писателя — она одна заняла бы шесть или семь томовъ нашего изданія, но выбрали изъ нея все наиболѣе характерное для личности и творчества Н. В. Придавая ей однако большое значеніе, мы печатаемъ въ этомъ томѣ особое, посвященное ей изслѣдованіе, которое намѣчаетъ всѣ существенные связанные съ нею вопросы. Въ основу положены при этомъ „Письма Н. В. Гоголя", изданныя подъ редакціей В. И. Шенрока (Спб., 1902). Это изданіе не чуждо промаховъ и пробѣловъ, но пока приходится довольствоваться имъ, за неимѣніемъ другого болѣе полнаго и тщательнѣе проредактированнаго. Только въ немногихъ случаяхъ намъ удалось свѣрить тексты г. Шенрока, разбросанные по разнымъ учрежденіямъ и собраніямъ частныхъ лицъ, и убѣдиться въ томъ, насколько это изданіе несовершенно. Въ выбранныхъ нами письмахъ исправлено все то, что можно было исправить по доступнымъ намъ оригиналамъ и другимъ печатнымъ источникамъ, болѣе точнымъ.

Вл. Каллашъ.

Послѣдній періодъ жизни Гоголя.

(1842—1852.)

Гоголь вернулся въ Россію въ концѣ 1841 г. для печатанія второго тома „Мертвыхъ душъ". Переживаемый имъ внутренній кризисъ еще болѣе обострялся цензурными затрудненіями при разрѣшеніи поэмы и унизительными условіями жизни въ Москвѣ у Погодина, отношенія съ которымъ все болѣе и болѣе разлаживались и скоро дошли до взаимной ненависти. Погодинъ умѣлъ жостко и грубо напоминать о своихъ благодѣяніяхъ, требовалъ отъ Гоголя статей для своего падающаго „Москвитянина" и даже безъ согласія автора, въ уплату долга, напечаталъ, очень небрежно, не отдѣланный отрывокъ повѣсти „Римъ", который Н. В. не собирался издавать. На голову и безъ того больного духомъ и тѣломъ писателя сразу обрушилось все: тяжелыя хлопоты по изданію, тревоги по поводу пропавшей было рукописи, пререканія съ цензурой, запретившей „повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ", нападки на поэму (она вышла въ свѣтъ 23 мая 1842 г.) съ разныхъ сторонъ, полное разстройство денежныхъ дѣлъ.

И его опять потянуло за границу. Въ октябрѣ 1842 г. онъ уже былъ въ Римѣ.

Годы 1842—1847 были особенно тяжелы для Гоголя. Помимо болѣзней и нужды, заставлявшей его обращаться за помощью къ Жуковскому, наслѣднику, императору Николаю, его угнетаютъ муки творчества, поставившаго въ сущности себѣ во II и III томахъ „Мертвыхъ Душъ" невыполнимыя задачи, сознаніе упадка таланта, разочарованіе въ прежней своей литературной дѣятельности, болѣзненный процессъ „душевнаго дѣла". Онъ отдаляется почти отъ всѣхъ людей и замыкается въ узкомъ кругу интимныхъ друзей, Жуковскаго, Смир-

новой и ея брата Россетъ, Вѣльгорскихъ, все болѣе подымавшихъ въ немъ мистическое настроеніе. Онъ живетъ то въ Римѣ, то въ Дармштадтѣ, то въ Баденѣ, Остенде и Франкфуртѣ. Даже Парижъ (1845 г.) не развлекъ его, и Гоголь больше всего увлекается тамъ мистическими разговорами съ гр. А. П. Толстымъ, переживавшимъ тогда тяжелый внутренній кризисъ. Онъ тщетно пробуетъ лѣчиться въ Гамбургѣ и Карлсбадѣ, и только лѣченіе водою въ Греффенбергѣ нѣсколько поправило его здоровье. Въ октябрѣ 1845 г. онъ опять вернулся въ Римъ.

Спѣшно посылаются Плетневу для напечатанія „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями", которыя должны были выразить въ отвлеченной формѣ то, что не давалось Гоголю въ художественныхъ образахъ продолженія и окончанія „Мертвыхъ Душъ". Онъ хочетъ указать своимъ соотечественникамъ пути спасенія, ждетъ тріумфовъ, но встрѣчаетъ, за немногими исключеніями, насмѣшки, издѣвательства и упреки. Въ „Авторской исповѣди" онъ пробовалъ отпарировать нѣкоторые удары, но душа его была глубоко уязвлена, дошла почти до полной растерянности и подавленности. Поѣздка въ Палестину (1848 г.) не дала ему мира и нравственнаго освѣженія: съ ужасомъ наблюдаетъ въ себѣ Н. В. какое то нравственное оцѣпенѣніе, которое не прошло и при видѣ Гроба Господня, у котораго онъ ждалъ найти новыя силы для творчества и душевное равновѣсіе.

Вернувшись въ Россію, Гоголь поселяется въ Москвѣ, затѣмъ ѣдетъ въ калужскую деревню Смирновыхъ, къ роднымъ въ Малороссію, въ Одессу и возвращается опять въ Москву, къ гр. А. П. Толстому, въ квартирѣ котораго (въ домѣ Талызиныхъ на Никитскомъ бульварѣ) онъ и умеръ 21 февраля 1852 г., замученный грубымъ и тупымъ мистицизмомъ о. Матвѣя, насиліями врачей, считавшихъ его помѣшаннымъ и ни передъ чѣмъ не останавливавшихся.

„Лѣчили больного, несмотря на его нежеланіе лѣчиться". Ему такъ давятъ животъ, что онъ стонетъ и кричитъ. Обращеніе докторовъ „было неумолимое: они распоряжались, какъ съ сумасшедшимъ, кричали передъ нимъ, какъ передъ трупомъ. Клименковъ приставалъ къ нему, мялъ, ворочалъ, поливалъ на голову какой то ѣдкій спиртъ, и когда больной отъ этого стоналъ, докторъ спрашивалъ, продолжая поливать: „Что, болитъ, Н. В? А? Говорите же!" Но тотъ стоналъ и не отвѣчалъ".

Передъ агоніей онъ громко закричалъ: „лѣстницу,

поскорѣе, давай лѣстницу!“ Скончался около восьми часовъ утра[1]. Болѣзнь (повидимому, тифъ и воспаленіе мозга) развилась такъ быстро на почвѣ общаго истощенія вслѣдствіе продолжительнаго поста и утомительныхъ бдѣній.

Передъ смертью дрожащею рукою онъ написалъ нѣсколько строкъ:

1) Какъ поступить, чтобы вѣчно, признательно и благодарно помнить въ сердцѣ полученный урокъ?

2) Если не будете малы, не внидите въ Царствіе Божіе.

3) Помилуй, Господи, меня грѣшнаго! Свяжи сатану вновь...

За нѣсколько дней до смерти (ночью съ понедѣльника на вторникъ первой недѣли поста) онъ сжегъ 2-ой томъ „Мертвыхъ Душъ“, чистовую „Размышленій о божественной литургіи“ и рядъ другихъ произведеній. Гр. Толстому онъ потомъ сказалъ: „вотъ что я сдѣлалъ! Хотѣлъ было сжечь нѣкоторыя вещи, давно на то приготовленныя, а сжегъ все! Какъ лукавый силенъ — вотъ онъ къ чему меня подвинулъ! А я было такъ много дѣльнаго уяснилъ и изложилъ. Это былъ вѣнецъ моей работы; изъ него могли бы всѣ понять и то что неясно у меня было въ прежнихъ сочиненіяхъ!“

Такъ казалось тогда Гоголю. Но сожженіе несомнѣнно было актомъ недовольства собою „взыскательнаго художника“, видѣвшаго вдали лучшіе результаты своего упорнаго многолѣтняго труда, искавшаго въ сожженіи — обновленія. Когда гр. Толстой ему сказалъ: „это хорошій признакъ — и прежде вы сжигали все, а потомъ выходило еще лучше; значитъ, и теперь это не передъ смертью“, Гоголь нѣсколько оживился и на вопросъ: „вѣдь вы можете все припомнить?“ отвѣчалъ: „да... могу, могу; у меня все это въ головѣ“. Тайну эту Гоголь унесъ съ собою въ могилу...

---

[1] Тарасенковъ. „Послѣдніе дни жизни Гоголя“. М. 1902, стр. 96—98.

Н. В. Гоголь и его письма [1].

Письма больше, чѣмъ воспоминанья; на нихъ запеклась кровь событій — это само прошедшее, какъ оно было, задержанное и нетлѣнное.

Герценъ.

По мнѣ, въ предметахъ чтенія нѣтъ ничего болѣе занимательнаго, болѣе умилительнаго — чтенія писемъ, сохранившихся послѣ людей, имѣющихъ право на уваженіе и сочувствіе наше. Самыя полныя, самыя искреннія записки не имѣютъ въ себѣ того выраженія истинной жизни, какимъ дышатъ и трепещутъ письма, написанныя бѣглою, часто торопливою и разсѣянною, но всегда, по крайней мѣрѣ на ту минуту, проговаривающейся рукою... Записки все-таки не что иное, какъ обдуманное воссозданіе жизни. Письма — это самая жизнь, которую захватываешь по горячимъ слѣдамъ ея. Какъ семейный и домашній бытъ древняго міра, внезапно остывшій въ лавѣ, отыскивается цѣликомъ подъ развалинами Помпеи, такъ и здѣсь жизнь нетронутая и нетлѣнная, такъ сказать, еще теплится въ остывшихъ чернилахъ. Но при этой сладости и свѣжести впечатлѣнія есть и глубокая грусть, которая освящаетъ это впечатлѣніе и тѣмъ придаетъ ему невыразимую прелесть. Тутъ предъ нами жизнь, но вмѣстѣ съ нею и осязательное свидѣтельство ея безнадежности, ея несостоятельности. Всѣ эти заботы, радости, скорби, эти мимоходныя исповѣди, надежды, сожалѣнія; всѣ эти едва уловимые оттѣнки имѣли такую полную дѣйствительность: все это, и самыя лица, запечатлѣвшія ихъ, за скрѣпою руки и души своей, — все это давно увлечено потокомъ времени, все это сдано въ архивъ давно минувшихъ дѣлъ, или вовсе предано забвенію и въ жертву настоящему...

Кн. П. А. Вяземскій.

I.

20-е и 30-е годы XIX в. — эпоха самобытнаго русскаго романтизма, который не былъ уже „всеповторяющимъ эхомъ чужой тоски, чужого смѣха“, а результа-

[1] „Письма Н. В. Гоголя“. Редакція В. И. Шенрока. Изданіе Маркса. Т. I—IV. Спб., 1902 г.

томъ всѣхъ общественныхъ условій, созданныхъ реакціей второй половины царствованія императора Александра I и трагедіей 14 декабря 1825 г.

Развязка декабрьскаго возстанія была крупной катастрофой для нашей малочисленной, въ особенности въ тѣ времена, интеллигенціи. Общественная иниціатива только что была разбужена передъ тѣмъ и теперь, почти ничего не добившись, уходитъ глубоко внутрь; общество сильно запугано и въ своихъ верхнихъ слояхъ крайне деморализовано; общественное движеніе „дней Александровыхъ прекраснаго начала“ почти замираетъ или болѣзненно перерождается; кропотливая внутренняя работа поглощаетъ наиболѣе отзывчивыя и талантливыя индивидуальныя силы, которыя цѣликомъ уходятъ въ эстетическіе, отвлеченно-философскіе и археологическіе интересы; общественная самодѣятельность подавлена реакціей и все болѣе и болѣе забирающимъ власть бюрократизмомъ.

Міровоззрѣнія слагаются вдали отъ дневного свѣта и свѣжаго вѣянія жизни, сама жизнь постепенно блекнетъ и тускнѣетъ, въ общественныхъ потемкахъ развивается болѣзненная первозность, нараждаются „самоѣды“-Гамлеты Щигровскаго и иныхъ уѣздовъ, — съ усиленіемъ анализа падаютъ воля, свѣжесть и непосредственность чувства. У Чацкаго „умъ съ сердцемъ не въ ладу“; рѣзкій разладъ между идеаломъ и дѣйствительностью губитъ героевъ „петербургскихъ повѣстей“ Гоголя; жизнь переполняется „лишними людьми“, и за Онѣгинымъ и Печоринымъ идутъ тургеневскіе герои и пестрая вереница болѣе позднихъ разновидностей „Москвича въ Гарольдовомъ плащѣ“. Кружнымъ путемъ, черезъ романтическое „прекраснодушное“ томленіе и метафизическія бредни, медленно идутъ эти талантливыя, но глубоко несчастныя поколѣнія къ раціональному самоопредѣленію и сближенію съ дѣйствительностью, оставляя многихъ по пути — въ дебряхъ нѣмецкой метафизики, среди представителей „чистой науки“ и политической эмиграціи, среди „филистеровъ“ и іезуитовъ, въ канцеляріяхъ и захолустныхъ медвѣжьихъ углахъ

И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,
Въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ,
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли...

Сравнительный реализмъ взглядовъ, ясное пониманіе жизни и ея задачъ, необходимость той или иной борьбы во имя идеаловъ и лучшаго будущаго доставались недаромъ и являлись довольно поздно. Надломились мо-

гучія силы Грановскаго, много яда и грусти закралось въ свѣтлую душу Тургенева, нравственно палъ Боткинъ, въ непосильной борьбѣ захирѣлъ и погибъ Бѣлинскій... Страшное было это время, и врядъ ли его можно назвать (какъ это часто дѣлается) „эпохой наибольшаго подъема духа въ обществѣ". Много дали обществу эти силы, но значитъ ли это, что онѣ не дали бы больше при другихъ, болѣе нормальныхъ условіяхъ? За „великія произведенія" ихъ авторы поплатились своимъ счастьемъ, здоровьемъ, а иногда и жизнью; талантъ и геній были часто какъ будто печатью отверженія, причиною и источникомъ страданій. На этихъ произведеніяхъ „цѣна крови", дорого они стоили отдѣльнымъ личностямъ и всему обществу. .

Для русскаго писателя жизнь никогда не была сладка и красна.

Къ общимъ терніямъ нелегкой авторской жизни всегда прибавлялись „неотразимыя обиды" свои, мѣстныя, специфическія. Иногда цѣлые періоды нашей литературной исторіи сплошь сводятся на мартирологъ.

Приглядитесь ближе къ жизни любого нашего писателя и, за рѣдкими исключеніями, увидите, изъ какихъ униженій, издѣвательствъ и преслѣдованій она слагается; его вѣчно давятъ тиски матеріальной необезпеченности, даже нужды, нравственной неудовлетворенности, цензурно-административныхъ воздѣйствій, литературныхъ дрязгъ, обиднаго равнодушія „читателей" или назойливаго любопытства „толпы"...

Въ самомъ положеніи „на виду" есть своя мучительная сторона.

Еще Гюго сказалъ: „Есть таинственные люди, которые не могутъ не быть великими. Праздные зѣваки, которые составляютъ большую толпу и малую публику, и которыхъ не надо смѣшивать съ народомъ, сердятся за это на нихъ. Карлики бранятъ великана. Его величіе — его вина. Что въ немъ такого, чтобы быть великимъ?"

На него глазѣютъ, какъ на „заѣзжаго фигляра", но по существу имъ мало интересуются; онъ можетъ представить интересъ только какъ предметъ развлеченія — или объектъ скандала.

Постигнетъ ли пѣвца внезапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье —
„Тѣмъ лучше", говорятъ любители искусствъ:
„Тѣмъ лучше! Наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
„И намъ ихъ передастъ"... Но счастіе поэта
Межъ ними не найдетъ сердечнаго привѣта...

И это на лучшій конецъ!

Съ какимъ злорадствомъ обыкновенно подхватывается всякая постигшая его литературная неудача, направленная противъ него ядовитая эпиграмма, хлесткая полемическая статья!

Пушкина раздразнили въ молодости сплетнями о постигшемъ его позорномъ наказаніи, а въ послѣдніе, страшные годы его многострадальной жизни добивали толками въ обществѣ и печати о томъ, что онъ „исписался“: то же усердно распространялось и о Бѣлинскомъ, когда онъ уже былъ приговоренъ къ смерти; Тургенева считали нужнымъ извѣстить о томъ, что его портретъ сжигаютъ съ „хохотомъ презрѣнія“. Чего стоятъ одни толки, очень гласные и настойчивые, о безуміи Гоголя и его предполагаемой причинѣ!

„Властитель думъ“, обаянье имени, восторги читателей и почитателей...

Да, это бываетъ минутами, по капризу толпы, и тяжело обыкновенно приходится расплачиваться потомъ за эти минуты иллюзіи, призрачнаго упоенія и самообмана!

Погаснетъ полная горечи и разочарованій жизнь, начнутся запоздалыя, зачастую лживыя и искусственныя восхваленія, взвинченныя чествованія, которыя звучатъ иногда прямо насмѣшкой...

„Они любить умѣютъ только мертвыхъ“, — сказалъ пушкинскій Борисъ Годуновъ о русскомъ народѣ.

Дѣдушка Крыловъ еще въ XVIII в. горько и желчно иронизировалъ: „Премудраго человѣка весьма трудно замѣтить прежде, нежели пройдетъ триста лѣтъ послѣ его смерти; и потому то многіе благоразумные народы сперва убивали своихъ мудрецовъ, а послѣ дѣлали имъ статуи; когда же вывелось это изъ употребленія, тогда сыскали лучшій способъ: допускали ихъ умереть въ нуждахъ, въ гоненіи и презрѣніи, — спустя же послѣ ихъ смерти лѣтъ сто говорили имъ похвальныя рѣчи“.

Даже благодушный Жуковскій устами своего любимаго Камоэнса сказалъ о славѣ:

Лишь у гробовъ, которымъ ужъ никто
Завидовать не станетъ, иногда
Садитъ она свой лавръ, дабы онъ цвѣлъ
Надъ тлѣніемъ, которое когда то
Здѣсь человѣкомъ было и страдало,
Нося торжественно на головѣ
Подъ лаврами пронзительные терны.
Но для того, кто въ гробѣ спитъ, навѣки
Безчувственный для здѣшнихъ благъ и бѣдъ,
Не все ль равно — полынь ли надъ костями
Его растетъ, иль лавръ ...

Въ пору „безвременья“ этотъ „кремнистый путь“ писателя — „добраго страдальца за землю русскую“ — дѣлается еще болѣе труднымъ и мучительнымъ, а за 30—50-е годы прошлаго вѣка сколько прямо страшныхъ результатовъ онъ далъ, при общемъ трагизмѣ жизненныхъ условій, калѣчившихъ чувство и мысль, дававшихъ самыя ненормальныя условія развитія, губившихъ одинъ талантъ за другимъ...

Сквозь толщу невѣжества и некультурности съ трудомъ пробиваются могучіе ростки, и много ихъ гибнетъ и калѣчится при прорастаніи: богатая почва, богатыя силы, но тяжкія условія развитія...

Душевныя муки и исканіе смерти у Лермонтова, горькая растерянность мысли и внутреннее раздвоеніе у Кольцова, переходъ въ католицизмъ талантливаго Печерина, смѣнившаго профессорскую каѳедру на іезуитскую келлію, ужасная судьба Полежаева, Шевченка и Достоевскаго, многолѣтнія мучительныя скитанія „идеалистовъ 30-хъ годовъ“ въ далекихъ отъ жизни дебряхъ и трущобахъ нѣмецкой метафизики, среди „сухихъ тумановъ“ застарѣвшихъ мѣстныхъ традицій и привнесенныхъ извнѣ идей — все это разрозненныя черты одной и той же картины, звенья одной и той же цѣпи.

II.

На этомъ общемъ трагическомъ фонѣ особенно выпукло и ярко выступаетъ страдальческій обликъ Гоголя, съ его неразрѣшимыми сомнѣніями и недоумѣніями, неудовлетворимыми стремленіями, никѣмъ неразгаданными порывами.

Трагизмъ лежалъ какъ въ окружавшей его обстановкѣ, такъ и въ собственной его психической организаціи, въ которой вѣчно боролись и не могли слиться стихіи наслѣдственности — матери и отца, мистицизма и порывовъ безудержнаго смѣха, повышеннаго лиризма, патетическаго сентиментализма и тонкой сатирической наблюдательности.

Въ самую глухую пору нашего общественнаго развитія, въ самый разгаръ „безвременья“, безъ всякой подготовки, находя впослѣдствіи, послѣ окончанія школы, нужнымъ для собственнаго самообразованія „начинать съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія“, — онъ тщетно алкалъ стройнаго и цѣльнаго міровоззрѣнія, страстно искалъ справедливости, истины и нравственнаго совершенства въ мірѣ Тяпкиныхъ-Ляпкиныхъ,

Тряпичкиныхъ, Пироговыхъ, Хлестаковыхъ, Чичиковыхъ и Держимордъ, мечталъ о вѣчной красотѣ и свободѣ, отдавался порывамъ лирическаго пафоса подъ звуки бѣшенаго лая Булгариныхъ, Гречей и Сенковскихъ.

Его положеніе въ литературѣ въ значительной степени было основано на недоразумѣніи. Въ пору созданія „Ревизора“ и „Мертвыхъ душъ“ онъ имѣлъ полное основаніе считать себя главой современнаго литературнаго движенія, „властителемъ думъ“ и дѣлать про себя свои особые выводы изъ собственнаго творчества, въ то время, какъ читающая публика понимала его только сквозь призму взглядовъ Бѣлинскаго, и отшатнулась отъ своего прежняго любимца, когда иллюзія тождества мнѣній автора и его комментатора разсѣялась... Самъ онъ испугался и своего творчества, и тѣхъ выводовъ, которые изъ него дѣлали.

Гордый, самолюбивый и независимый, до крайности щепетильный и обидчивый, онъ почти всю жизнь долженъ былъ прибѣгать къ матеріальной поддержкѣ родныхъ, знакомыхъ и правительства и не разъ доходилъ до полной „нищеты“, какъ свидѣтельствуетъ, напр., Жуковскій въ своемъ письмѣ къ императору Николаю I, котораго благодушный поэтъ убѣждалъ спасти бѣднаго писателя чуть ли не отъ голодной смерти за границей.

Читатели, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, считали его на лучшій конецъ „смѣшнымъ писателемъ“ и плохо отличали его „свѣтлый смѣхъ“ отъ „кривлянія балаганнаго скомороха“. Среди нихъ часто находили себѣ живой откликъ обвиненія Булгариныхъ и Сенковскихъ: „фарсъ“, „цинизмъ“, „малороссійское сало“ и пр.

Кто его пощадилъ, пожалѣлъ, хотя сколько-нибудь постарался понять въ самую страшную минуту душевнаго разлада, когда подспудныя силы болѣзненнаго мистицизма разрушили реализмъ творчества и самую вѣру въ свой талантъ, когда Гоголь окончательно запутался въ тенетахъ собственной патологической метафизики?

Вчерашній идолъ, онъ подвергается со всѣхъ сторонъ ожесточеннымъ насмѣшкамъ и нападкамъ, переживаетъ страшныя минуты полной душевной растерянности, жгучаго стыда, безсилія и безпомощности.

„Подозрительно и недовѣрчиво разобрано было всякое слово, и всякъ наперерывъ спѣшилъ объявить источникъ, изъ котораго оно произошло. Надъ живымъ тѣломъ еще живущаго человѣка производилась та страшная анатомія, отъ которой бросаетъ въ холодный потъ даже и того, кто одаренъ крѣпкимъ сложеніемъ“.

Такъ жаловался самъ великій писатель послѣ бури, вызванной „Выбранными мѣстами изъ переписки съ друзьями".

Если не на многомъ во внѣшнихъ условіяхъ его жизни можетъ отдохнуть глазъ, то еще тяжелѣе и грустнѣе обстановка его внутренняго развитія.

Природа сыграла съ нимъ жестокую шутку, надѣливши его одновременно крайнимъ идеализмомъ, меланхолическимъ темпераментомъ, повышенною чувствительностью, склонностью къ пафосу и лиризму, мистическими задатками и мечтательностью, острою наблюдательностью и сатирическою складкою реальнаго аналитическаго ума.

Въ то время, какъ самыя задушевныя его стремленія витаютъ въ сферѣ идеальнаго и сверхъ-опытнаго, какъ онъ „томится и сгараетъ явно, въ виду всѣхъ, желаньемъ совершенства" [1], его талантъ отличается чисто земнымъ, строго реальнымъ характеромъ.

Чтобы возвести въ „перлъ созданія" обыденную жизнь, нужно было долговременное наблюденіе, почти осязательное представленіе, иначе все выходило блѣднымъ и искусственнымъ: творческая фантазія должна была непремѣнно направляться отъ реальнаго жизненнаго толчка и питаться соками захваченной наблюдательнымъ взглядомъ и переработанной въ горнилѣ вдохновенія дѣйствительности.

Самъ Гоголь, глубокій сердцевѣдецъ, признавался въ своей „Авторской исповѣди": „Я никогда ничего не

---

[1] Срв. въ „Выбранныхъ мѣстахъ": „Я люблю добро, я ищу его и сгараю имъ; но я не люблю моихъ мерзостей и не держу ихъ руку, какъ мои герои; я не люблю тѣхъ низостей моихъ, которыя отдаляютъ меня отъ добра. Я воюю съ ними и буду воевать, и изгоню ихъ, и мнѣ въ этомъ поможетъ Богъ!"

Какое характерное признаніе, какой яркій симптомъ внутренней борьбы! Какъ сильно и глубоко сознавалъ Гоголь свои душевные недостатки, и какую неустанную борьбу велъ съ ними! Онъ и Пушкинъ — лучшіе образцы самовоспитанія, и къ нимъ обоимъ можно примѣнить слова Мицкевича о Пушкинѣ: „его недостатки зависѣли отъ общественныхъ условій, среди которыхъ онъ жилъ; его собственное сердце произвело то, что было въ немъ хорошаго". Подобно одному изъ героевъ „Портрета", Гоголь также „былъ художникъ, какихъ мало — одно изъ тѣхъ чудъ, которыхъ извергаетъ изъ своего непочатаго лона только одна Русь, художникъ-самоучка, отыскавшій самъ въ душѣ своей, безъ учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованія и шедшій, по причинамъ, можетъ быть, неизвѣстнымъ ему самому, одной только указанной изъ души дорогою: одно изъ тѣхъ самородныхъ чудъ, которыхъ часто современники честятъ обиднымъ словомъ „невѣжи", и которыя, не охлаждаясь отъ охуленій и собственныхъ неудачъ, получаютъ только новыя рвенія и силы и уже далеко въ душѣ своей уходятъ отъ тѣхъ произведеній, за которыя получили титло невѣжъ".

создавалъ въ воображеніи и не имѣлъ этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной изъ дѣйствительности, изъ данныхъ, мнѣ извѣстныхъ. Угадывать человѣка я могъ только тогда, когда мнѣ представлялись самыя мельчайшія подробности его внѣшности. Я никогда не писалъ портретъ, въ смыслѣ простой копіи. Я создавалъ портретъ, но создавалъ его вслѣдствіе соображенья, а не воображенья. Чѣмъ болѣе вещей принималъ я въ соображенье, тѣмъ у меня вѣрнѣй выходило созданье. Мнѣ нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всякимъ другимъ писателемъ, потому что стоило мнѣ нѣсколько подробностей пропустить, не принять въ соображенье — и ложь у меня выступала ярче, нежели у другихъ".

Даже, когда ему казалось, что для борьбы съ „припадками необъяснимой тоски" и „болѣзненнаго состоянія" онъ, „чтобы развлекать себя самого", „придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать", „выдумывалъ цѣликомъ (?) смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ этого выйдетъ какая польза", — даже и тогда онъ на самомъ дѣлѣ искалъ точки опоры въ записяхъ матери и родныхъ, въ устойчивыхъ традиціяхъ малорусской поэзіи, въ первыхъ русскихъ произведеніяхъ на малорусскія темы...

Какъ указалъ уже Пушкинъ [1], у него былъ исключительный талантъ постигать и воспроизводить пошлость, которой больше всего боялась его душа.

Недаромъ и Градовскій назвалъ его „поэтомъ пошлости"...

По словамъ Н. А. Котляревскаго, „сантиментальное сердце, любящее нѣжиться въ грусти, и острый, насмѣшливый умъ — вотъ тѣ двѣ силы, которыя въ немъ никакъ не могли ужиться. Сердце было всегда лирически настроено и на землѣ тосковало по туманному идеальному міру, умъ всегда былъ трезвъ и обладалъ удивительной способностью замѣчать въ этой жизни именно всѣ ея несовершенства, неизбѣжную ложь, грязь и по-

---

[1] См. „Выбран. мѣста": „Онъ (Пушкинъ) мнѣ говорилъ всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять такъ ярко пошлость жизни, умѣть очертить въ такой силѣ пошлость пошлаго человѣка, чтобы вся та мелочь, которая ускользаетъ отъ глаза, мелькнула бы крупнѣе въ глаза всѣмъ. Вотъ мое главное свойство, одному мнѣ принадлежащее и котораго точно нѣтъ у другихъ писателей". Въ этомъ отношеніи ближайшимъ преемникомъ Гоголя является А. П. Чеховъ съ его яркимъ изображеніемъ трагизма пошлости.

шлость. Трудно было жить съ такими дарами духа, и Гоголь заплатилъ за нихъ своимъ душевнымъ покоемъ и счастіемъ".

Въ интимныхъ изгибахъ своей души онъ тяготѣетъ къ „характерамъ, являющимъ высокое достоинство человѣка", къ „возвышенному строю лиры", „высокому лирическому движенію", къ „далеко отторгнутымъ отъ земли и возвеличеннымъ образамъ", хотя и не дано было ему ихъ создавать. Въ нихъ онъ видитъ высшую цѣль искусства — и много разъ долженъ былъ почувствовать свое творческое безсиліе, когда брался за воплощеніе положительныхъ идеаловъ. Платоникъ и мистикъ, глубокая метафизическая натура, въ моментъ поэтическаго экстаза онъ стремится всей душой къ горнему міру и брезгливо отворачивается отъ земной грязи. Стихійное развитіе таланта сближаетъ все болѣе и болѣе его творчество съ землей, усиливаетъ въ немъ реалистическіе элементы, заставляетъ „дать отдыхъ бѣдному добродѣтельному человѣку" и „припречь подлеца", „выставлять напоказъ бѣдность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей изъ глуши, изъ отдаленныхъ закоулковъ государства". Въ силу властныхъ велѣній собственной природы онъ не могъ не дерзнуть „вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрятъ равнодушныя очи, — всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога", — дерзнуть „крѣпкою силою неумолимаго рѣзца выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя очи".

Но все чаще и чаще въ его душу будетъ закрадываться страшный вопросъ — не унижаетъ ли искусство такое жизненное изображеніе зла и пошлости, и не составляетъ ли оно грѣха само по себѣ?

Художникъ повѣсти „Портретъ", какъ извѣстно, рѣшилъ положительно этотъ вопросъ и въ монастырѣ искалъ покоя своей треволненной и измученной душѣ. Но не звучитъ ли тотъ же мотивъ въ религіозныхъ сомнѣніяхъ и мукахъ, творческомъ переломѣ и безпокойныхъ скитаніяхъ Гоголя послѣдняго періода — Гоголя, который искалъ примиренія съ собою и возвращенія творческой силы въ Палестинѣ и Оптиной пустыни, въ католическихъ храмахъ и келліяхъ „змартвыхвстанцевъ", у отца Матвѣя и оптинскихъ отшельниковъ?

Какъ ни было ему это тяжело, по его собственному

признанію [1], онъ отрекся отъ своей литературной славы и лучшихъ результатовъ своего творчества, пробовалъ порвать съ вызванной имъ же къ жизни литературной школой, пережилъ при полномъ сознаніи весь ужасъ распаденія таланта, творческаго безсилія, рѣзкаго конфликта между новыми (конечно, въ творчествѣ) цѣлями настойчиваго религіознаго моралиста и старой, все болѣе и болѣе ослабѣвавшей техникой художника-реалиста. Подспудныя темныя силы мистицизма цѣпко, и уже окончательно, навсегда захватили его въ ту минуту, когда онъ достигъ вершинъ гуманнаго реализма и общественной сатиры — въ „Мертвыхъ душахъ".

„Духомъ схимикъ сокрушенный, а перомъ Аристофанъ", по характерному выраженію кн. П. А. Вяземскаго, онъ самъ сознаетъ свою внутреннюю раздвоенность и тщетно пытается примирить противорѣчивыя стихіи своей души [2]: глубокій романтизмъ настроенія — и яркій реализмъ творчества; ультраидеалистическіе порывы, обожествленіе искусства — и стихійныя стремленія „озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія"; „высокій восторженный смѣхъ", „который излетаетъ изъ свѣтлой природы человѣка", — и „высокое лирическое движеніе".

Ненадолго ему удавалось успокаивать себя: „возмущаетъ только то, что мрачно, а смѣхъ свѣтелъ. Многое бы возмутило человѣка, бывъ представлено въ наготѣ своей; но, озаренное силою смѣха, несетъ уже примиренье въ душу"...

Скоро пришлось ему отречься отъ своего смѣха, признать его легкомысленнымъ и грѣховнымъ, налагать на себя за него все болѣе и болѣе тяжелыя эпитиміи...

Неустанная внутренняя борьба подорвала и безъ того некрѣпкія силы, и какъ то безсмысленно, чудо-

---

[1] „Авт. исповѣдь": „Мнѣ, вѣрно, потяжелѣй, чѣмъ кому-либо другому, отказаться отъ писательства, когда это составляло единственный предметъ всѣхъ моихъ помышленій, когда я все прочее оставилъ, всѣ лучшія приманки жизни и, какъ монахъ, разорвалъ связи со всѣмъ тѣмъ, что мило человѣку на землѣ, затѣмъ, чтобы ни о чемъ другомъ не помышлять, кромѣ труда своего".

[2] Срв. „Авт. испов.": „Я думалъ, что лирическая сила, которой у меня былъ запасъ, поможетъ мнѣ изобразить такъ эти достоинства русскаго народа — „преимущественно предъ другими народами", что къ нимъ возгорится любовью русскій человѣкъ, а сила смѣха, котораго у меня также былъ запасъ, поможетъ мнѣ такъ ярко изобразить недостатки, что ихъ возненавидитъ читатель, еслибы даже нашелъ въ себѣ самомъ. Но я почувствовалъ въ то же время, что все это возможно будетъ сдѣлать мнѣ только въ такомъ случаѣ, когда узнаешь очень хорошо самъ, что дѣйствительно въ нашей природѣ есть достоинства, и что въ ней дѣйствительно есть недостатки". Но достоинства то эти какъ разъ и не давались..

вищно странно и обидно оборвалась эта многострадальная жизнь...

Смутныя чувства переживали сопровождавшіе его на кладбище и въ могилу — какую то растерянность, сознаніе своей отвѣтственности, даже вины. Эти чувства мелькаютъ почти во всѣхъ некрологахъ и воспоминаніяхъ о похоронахъ и отчасти въ стихотвореніи Берга:

Какъ будто смерть разоблачила намъ
Его нераздѣленныя страданья,
И шутки со слезами пополамъ,
И вѣчное, упорное молчанье;
Какъ будто намъ теперь лишь уяснилъ
Великій духъ — и мы должны сознаться,
Что въ правѣ былъ задумываться онъ
И въ самого себя уединяться...

Какъ всегда, сознаніе и признаніе пришли слишкомъ поздно...

Окружающая среда только увеличивала основной душевный разладъ Гоголя. Въ страшный моментъ душевнаго кризиса она не только не поддержала его, но даже затравила.

Во всей исторіи міровой литературы трудно подъискать что-нибудь трагичнѣе исторіи послѣднихъ лѣтъ жизни Гоголя.

Онъ, который, казалось, „болѣе всѣхъ смѣялся на свѣтѣ“, лилъ „часто душевныя, глубокія слезы“ и умеръ непонятымъ и неразгаданнымъ, одинокимъ, покинутымъ почти всѣми прежними друзьями, окруженнымъ свѣтскими святошами и разными во Христѣ юродствующими, всецѣло подчиняясь грубому и тупому авторитету о. Матвѣя.

Многіе видѣли, но немногіе поняли его „горькій смѣхъ“, почти никто не сумѣлъ въ немъ разсмотрѣть тогда „незримыя, невѣдомыя слезы“, „горячія искры вѣчной могучей любви“. Такъ и не дождался онъ, замучивъ самого себя и замученный жизнью, той всѣмъ сердцемъ желанной минуты, когда „иглымъ ключомъ грозная вьюга вдохновенья подымется изъ облеченной въ священный ужасъ и въ блистанье главы, и почуютъ, въ священномъ трепетѣ, величавый громъ другихъ рѣчей“...

Силою могучаго таланта вызвалъ онъ „на всенародныя очи“ весь легіонъ бѣсовъ тогдашняго русскаго ада; жутко и страшно сдѣлалось ему, но не спасли его отъ смертной тоски и полной душевной растерянности ни изувѣрныя молитвы и наставленія о. Матвѣя, ни видѣнія оптинскихъ старцевъ, ни сплы-

вающіеся, безжизненные облики Уленьки, добродѣтельныхъ откупщиковъ и идеальныхъ генералъ-губернаторовъ...

Онъ запутался и погибъ среди сбивчивыхъ и противорѣчивыхъ впечатлѣній русской дѣйствительности, разрозненныхъ и несоединимыхъ осколковъ своего больного міровоззрѣнія.

Мучительная загадка для близкихъ, капризный чудакъ для ограниченныхъ наблюдателей, онъ такъ и покинулъ міръ „сфинксомъ, не разгаданнымъ до гроба".

Только отчасти въ глубокіе тайники его души, представляющіе исключительный историко-литературный и психологическій интересъ, вводятъ его письма, впервые собранныя В. И. Шенрокомъ въ редактированномъ имъ изданіи Маркса, — драгоцѣнномъ подаркѣ, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, всѣмъ поклонникамъ великаго писателя.

Раскрыть и объяснить всю психологію Гоголя, сложную, противорѣчивую и больную, — задача, по нашему мнѣнію, врядъ ли достижимая и возможная. Но письма, освѣщенныя біографическими фактами, сочиненіями и общими историко-литературными соображеніями, даютъ ключъ ко многимъ ея сторонамъ и сами по себѣ являются глубоко поучительными.

III.

Дѣтскія и юношескія письма Гоголя, напечатанныя г. Шенрокомъ въ первомъ томѣ редактированнаго имъ изданія, прекрасно вводятъ насъ въ условія семейной и школьной жизни „великаго меланхолика" (выраженіе Пушкина), въ которыхъ началъ слагаться и въ значительной степени опредѣлился его своеобразный нравственный характеръ.

Вначалѣ очень элементарныя и ребяческія, они постепенно осложняются все новыми и новыми мотивами, указываютъ на его необычайно быстрый умственный ростъ.

Какое удивительное соединеніе вообще въ его письмахъ самой задушевной искренности, непосредственности съ явными признаками наивной пока еще хитрости, — преждевременной практичности, ранняго умѣнія играть на самыхъ затаенныхъ струнахъ человѣческой души! Въ нихъ и искательность, преклоненіе передъ сильными бѣднаго провинціала, и гордость геніальной натуры, стремленіе найти родную душу, вы-

сказаться ей, и полная самостоятельность отношеній [1], могучее чутье дѣйствительности и сантиментально-элегическая мечтательность, способность далеко уноситься отъ нея въ міръ грезъ и идеала, капризная надменность, широковѣщательныя, навязчивыя, чисто-мессіаническія предсказанія и поученія, и острое сожалѣніе къ обиженному человѣку, самобичеваніе, всегдашнее исканіе совершенства — постоянная личная неудовлетворенность, чисто-дѣтская, теплая религіозность — наслѣдіе матери, высокомѣрное ханжество, вѣра въ свое избранничество [2], — смѣхъ и слезы.

Въ зародышѣ всѣ эти элементы есть и въ письмахъ 1820—1828 гг.

Послѣ семейнаго приволья тяжело пришлось ему въ однообразномъ и скучномъ заключеніи нѣжинскаго интерната. Онъ рвется отсюда душой, ждетъ, не дождется пріѣзда „дражайшихъ родителей“ и въ глубинѣ души, повидимому, надѣется, что преувеличеніе страданій можетъ разжалобить главу семьи и привести къ избавленію: „мнѣ послѣ каникулъ сдѣлалось такъ грустно, что всякій Божій день слезы рѣкой льются, и самъ не знаю отчего, а особливо, когда вспомню о васъ, то градомъ такъ и льются. И теперь у меня грудь такъ болитъ, что даже не могу много писать. Простите мнѣ за мою дерзость, но нужда все заставитъ дѣлать. Прощайте, дражайшіе родители! Далѣе слезы мѣшаютъ мнѣ писать“.

Онъ не забываетъ при этомъ замолвить слово за своего стараго вѣрнаго слугу, вмѣстѣ съ нимъ посланнаго въ Нѣжинъ: „не забудьте также добраго моего Симона, который такъ старается обо мнѣ, что не прошло ни одной ночи, чтобы онъ не увѣщевалъ меня не плакать объ васъ, дражайшіе родители; и часто просиживалъ по цѣлой ночи надо мною. Уже его просилъ, чтобы онъ пошелъ спать, но никакъ не могъ его принудить“ (т. I, стр. 10—11).

Онъ не проситъ прямо взять его изъ Нѣжина, но представляетъ родителямъ всѣ посылки для этого вывода.

Просьба выслать деньги сопровождается маловѣ-

---

[1] Ср. его собственное признаніе: „Я былъ только скрытенъ, потому что не былъ глупъ, — вотъ и все“ и слова о немъ хорошо знавшаго его гравера Іордана: Гоголь „могъ брать, что ему нужно было и что стоило этого, полной рукой, не давая самъ ничего“.

[2] Напр., „въ умиленіи я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся обо мнѣ, и благословилъ такъ дивно назначенный мнѣ путь“ (т. I, стр. 126).

роятной, скорѣе всего придуманной мотивировкой: „еще ежели бы прислали денегъ мнѣ, потому что моя казна вся истощилась. Одинъ мой товарищъ купилъ за восемь рублей ножикъ; я просилъ его, чтобы далъ мнѣ посмотрѣть; я забылъ ему отдать сейчасъ, и положилъ въ свой ящикъ; но чрезъ минуту посмотрѣлъ въ ящикъ, и его уже тамъ не было. Теперь онъ говоритъ, чтобы я отдалъ сейчасъ ему восемь рублей, а не то, такъ онъ возьметъ всѣ мои вещи и еще пожалуется гувернерамъ, и они меня накажутъ со всею строгостію. Простите мнѣ это. Я впередъ ужъ никогда не буду чужихъ вещей брать, а когда и попрошу впередъ, то буду сейчасъ отдавать и со всею осторожностью. И прошу васъ, пожалуйста, пришлите мнѣ денегъ, хоть рублей десять: то я отдамъ ему восемь рублей, а два рубля оставлю на письма“ (стр. 13—14).

Мелькаютъ и черты суетности, наприм., того нѣсколько провинціальнаго франтовства, которое многимъ бросалось въ глаза у молодого Гоголя: „и еще ежели-бъ вы прислали жилетовъ хоть два. Здѣсь намъ даютъ по одному жилету“ (стр. 14). Романтическія изліянія одному изъ своихъ друзей онъ прерываетъ просьбой заказать синій фракъ и признаніемъ, что у него много черныхъ фраковъ, сильно надоѣвшихъ. Отсутствіе свѣжаго платья мѣшаетъ ему заѣхать въ Кибинцы къ родственнику матери, Трощинскому (стр. 31—34).

Прося о присылкѣ съѣстныхъ припасовъ, онъ не забываетъ прибавить съ лукавой скромностью (стр. 17): „мнѣ хоть чего-нибудь и похуже“... Въ то же время у него складываются литературные интересы и, что особенно важно, страстное увлеченіе театромъ.

Интереснѣе всего, что въ этотъ періодъ онъ отовсюду окруженъ малорусскими литературными традиціями, которыя пока еще безсознательно залегаютъ въ его душу. Въ Нѣжинъ онъ требуетъ малорусскія пьесы своего отца, во время представленія которыхъ въ Кибинцахъ онъ, вѣроятно, не разъ присутствовалъ; въ его юношескихъ бумагахъ сохранились выписки изъ „Энеиды“ Котляревскаго; даже земляковъ своихъ онъ будетъ поражать потомъ удивительнымъ знаніемъ малорусскихъ народныхъ преданій и пѣсенъ; въ Петербургѣ онъ вспомнитъ потомъ, еще сильнѣе подхваченный романтической волной, о прекрасномъ знаніи національной старины и современнаго народнаго быта — своей матери и нѣкоторыхъ другихъ родственниковъ.

Въ его „Вечерахъ“ и „Миргородѣ“ широкимъ потокомъ хлынутъ основныя стихіи украинской поэзіи и

жизни. Все это, конечно, создавалось и назрѣвало постепенно, подготовлялось еще отъ „младыхъ ногтей".

И до него романтизмъ и наплывъ южнорусскихъ уроженцевъ въ столицы создали значительную малорусскую струю въ русской литературѣ. Онъ шелъ по проторенному пути, но сила и яркость таланта сразу создали ему первенствующее положеніе. Онъ былъ литературнымъ посредникомъ, носителемъ украинскихъ поэтическихъ традицій „на сѣверѣ дальнемъ", виновникомъ ихъ своеобразнаго сліянія съ традиціями великорусскими, и въ этомъ заключается одна изъ его величайшихъ заслугъ. Слабѣе всего и позднѣе всего онъ усвоилъ соціальную закваску украинской литературы, и она оставила самые слабые слѣды въ его творчествѣ; у него мало отголосковъ исконнаго малорусскаго демократизма, нѣтъ рѣзкаго протеста противъ „крипацства" и негодованія за „руйнованія гетьманщины", зато все шире и шире шелъ самый захватъ общественной жизни, все болѣе и болѣе серьезнымъ, глубокимъ дѣлался его смѣхъ.

Онъ принесъ, между прочимъ, съ собою готовымъ то, къ чему долгимъ и кружнымъ путемъ шла русская литература: вполнѣ сложившіяся требованія реализма и народности, съ присовокупленіемъ „смѣха сквозь слезы".

На эту сторону Гоголевскаго творчества до сихъ поръ еще совсѣмъ не обращали вниманія изслѣдователи, хотя она очень важна. Но еще въ 1831 году къ ней довольно близко подошелъ одинъ изъ рецензентовъ „Вечеровъ" В. („Сѣверная Пчела" 1831 г., № 219. Думаемъ, что В. — В. Ушаковъ): „небольшое литературное общество, издавна составившееся въ Малороссіи и постоянно дѣйствовавшее въ духѣ мѣстнаго патріотизма, сколько можно судить по первымъ трудамъ онаго, имѣло сперва цѣлью сохранить во всей чистотѣ особенности своего нарѣчія и оригинальность давно прошедшаго быта. Къ сему періоду принадлежатъ опыты гг. Котляревскаго, Артемовскаго-Гулака и издателей „Украинскаго Вѣстника", кромѣ другихъ опытовъ, не изданныхъ и составляющихъ нѣкотораго рода домашнюю литературу малороссіянъ. Но въ послѣднее время малороссійская школа оставила сію слишкомъ мѣстную цѣль свою и обратилась къ мысли болѣе глубокой — удерживать только характерное отличіе своего нарѣчія, поставляя главнѣйшею цѣлью раскрывать народность во всей обширности этого понятія. Анекдоты, напечатанные въ книжкахъ „Вѣстника Европы", кажется, были

первымъ шагомъ къ новой цѣли; публикѣ извѣстны прекрасныя мелодіи Маркевича. Повѣсти, изданныя пасѣчникомъ Рудымъ Панькомъ, представляютъ намъ новый, изящный плодъ этого же умнаго и истинно народнаго усилія".

Быстрый расцвѣтъ малорусской поэзіи въ началѣ XIX в. и усиленіе малорусскихъ стихій въ русской литературѣ [1] оставили вообще глубокіе слѣды въ творчествѣ Гоголя. Многое въ раннихъ его произведеніяхъ, что казалось новымъ и своеобразнымъ великорусскимъ читателямъ, цѣликомъ объясняется его малорусскими отношеніями.

Велико значеніе украинской струи въ исторіи русской литературы, и Гоголь былъ самымъ яркимъ и талантливымъ ея представителемъ. Его мягкій, незлобивый, игривый юморъ, полный любви и гуманности, порою переходящій въ страстный лиризмъ, его тонкая наблюдательность и умѣніе схватывать явленія съ смѣшной стороны, романтическое томленіе по казацкой старинѣ, сантиментально-идиллическое освѣщеніе крестьянской жизни (свойственное, напр., Котляревскому и Квиткѣ), реализмъ и глубокій общественный смыслъ отдѣльныхъ картинъ, рядъ типовъ, положеній и сценъ — все это племенное наслѣдіе, все это навѣяно украинской поэзіей, виршами и интерлюдіями, богатымъ міромъ народныхъ сказаній и пѣсенъ, сочиненіями первыхъ малорусскихъ писателей новаго направленія.

Въ этой посреднической роли Гоголя, конечно, заключается очень важная сторона его литературнаго значенія.

Далеко не чужда ему и русская литература того времени. Онъ увлекается „Вѣстникомъ Европы", комедіями Загоскина, трагедіями Озерова, позднѣе Пушкинымъ и нашими ранними романтиками. Вмѣсто повѣстей онъ проситъ „Собраніе образцовыхъ сочиненій въ стихахъ" — классическую хрестоматію русской поэзіи для своего времени.

Родителей онъ прямо засыпаетъ требованіями все новыхъ и новыхъ книгъ (стр. 24, 25, 34 и пр.).

„Таинственный карло" нѣжинской гимназіи пробуетъ склонить на „пособія для театра" отца широкой перспективой своихъ будущихъ театральныхъ успѣховъ и не безъ чувства собственнаго достоинства предъявляетъ требованія своихъ, такъ сказать, интеллектуаль-

---

[1] См. нашу работу: „Изъ исторіи малорусской литературы 20-хъ и 30-хъ годовъ XIX в.", Кіевъ, 1900 г.

ныхъ правъ (стр. 19): „Увѣдомляю васъ, что я учусь хорошо, по крайней мѣрѣ, сколько дозволяютъ силы[1]. Вы пишете, что я васъ не извѣщаю о томъ, что у насъ дѣлается и случается со мною. Позвольте мнѣ вамъ сказать, что мнѣ бы самому очень бы было любопытно знать, что дѣлается какъ съ вами, такъ и съ посторонними лицами. Напримѣръ, къ величайшему моему сожалѣнію, узналъ я о смерти В. В. Капниста[2]; но вы объ этомъ ничего не сказали, какъ будто бы я еще о сю пору ребенокъ и еще не въ совершенныхъ лѣтахъ, и будто бы на меня ничего нельзя положиться".

Онъ набилъ уже руку въ литературности изложенія, не безъ самоудовлетворенія щеголяетъ въ письмахъ изысканной фразой, иногда впадаетъ немного въ трескучую реторику. Между простыми, самыми обыденными фразами (въ письмѣ о близкомъ отъѣздѣ домой послѣ экзаменовъ, стр. 21): „Я думаю, папенька не забылъ сдѣлать того, о чемъ я его просилъ, — именно для меня лошадку" и „время не позволяетъ болѣе писать: мы теперь приготовляемся къ экзамену" сами собою врываются другія слова: „Уже вижу все милое сердцу, вижу васъ, вижу милую родину, вижу тихій Псёлъ, мерцающій сквозь легкое покрывало, которое я скоро сброшу, насладясь истиннымъ счастіемъ, забывъ протекшія быстро горести. Одна счастливая минута можетъ вознаградить за годы скорбей!"

Молодой орелъ расправляетъ свои крылья. Скоро почуется „въ смущенномъ трепетѣ величавый громъ другихъ рѣчей"...

А пока юная реторика начинающаго стилиста можетъ глушить въ отдѣльныхъ случаяхъ даже искреннее чувство. Прислушайтесь, положимъ, хотя бы къ такому поздравленію матери, которую Гоголь, несомнѣнно, искренно любилъ: „Позвольте, дражайшая маменька, позвольте поздравить васъ съ днемъ ангела вашего, съ симъ блаженнѣйшимъ днемъ для каждаго нѣжнаго и благороднаго (благодарнаго?) сына. Ваша родительская любовь и нѣжность, ваши благодѣянія, ваши о мнѣ попеченія — все сіе побуждаетъ меня приняться за перо, чтобъ изъявить вамъ свою благодарность. Но, къ несчастію, оно столь нетвердо, силы мои такъ слабы, а о благодарности я и думать не могу: она не что иное

[1] Характерная оговорка: самому Гоголю пришлось потомъ признаться, что онъ учился очень мало...

[2] Извѣстный русскій писатель, авторъ „Ябеды", родомъ малороссъ, знакомый родителей Гоголя.

есть, какъ слабая тѣнь, въ сравненіи со всѣмъ тѣмъ, что я вамъ долженъ. Но если не имѣю возможности воздать вамъ болѣе, если мои силы не позволяютъ сдѣлать того, если уже и мой умъ отказывается отъ сего; то всякій бы на моемъ мѣстѣ пришелъ бы въ отчаяніе, бросилъ бы съ досады перо и не захотѣлъ болѣе ломать голову надъ тщетнымъ. Но я знаю, что вы и сіе малое мое желаніе примете съ искреннимъ удовольствіемъ, и тѣмъ вознаградите меня болѣе всего, могущаго прельстить взоры другого" (стр. 22).

Иногда проскальзываетъ нѣсколько заносчивая самоувѣренность: прося, напр., отца прислать рамки, онъ прибавляетъ (стр. 24): „Вы, я думаю, не допустите погибнуть столько себя прославившимъ рисункамъ".

Сознавая свою полную неподготовленность къ экзаменамъ, онъ, однако, прибавляетъ (стр. 94): „Объ потерянномъ времени жалѣть нечего. Нужно стараться вознаградить его, и въ короткіе эти полгода я хочу произвесть, и произведу (я всегда достигалъ своихъ намѣреній) вдвое болѣе, нежели во все время моего здѣсь пребыванія, нежели въ цѣлыя шесть лѣтъ". И далѣе (стр. 95): „На первый только случай, къ новому году только, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, выслать 60 рублей на учебныя для меня книги, при которыхъ я еще буду терпѣть недостатокъ; но при неусыпности, при моемъ желѣзномъ терпѣніи, я надѣюсь положить съ ними начало, по крайней мѣрѣ, котораго уже невозможно бы было сдвинуть, начало великаго предначертаннаго мною зданія. Все это время я занимаюсь языками. Успѣхъ, слава Богу, вѣнчаетъ мои начинанія. Но это еще ничто, въ сравненіи съ предполагаемымъ: въ остальные полгода я положилъ себѣ за непремѣнное — окончить совершенно изученіе трехъ языковъ. На успѣхъ я не могу пожаловаться. Отъ него и отъ своего непоколебимаго намѣренія я много надѣюсь".

Между тѣмъ, какъ извѣстно, Гоголь вышелъ изъ лицея съ очень слабымъ знаніемъ языковъ...

Тѣ же горделивыя обѣщанія слышатся и въ мечтахъ о петербургской жизни (стр. 95): „Не старайтесь сохранять для меня имѣнія: къ чему мнѣ оно? Только развѣ на первые два или три года въ Петербургѣ мнѣ будетъ нужно вспоможеніе, а далѣе развѣ я не умѣю трудиться? развѣ я не имѣю твердаго, непоколебимаго намѣренія къ достиженію цѣли, съ которымъ можно будетъ все побѣждать? и эти деньги, которыя вы будете теперь по-

сылать, не значитъ ли это отдать въ ростъ, съ тѣмъ, чтобъ послѣ получить утроенный капиталъ съ великими процентами?" Увидѣвши, что мать испугана печальными итогами его гимназическаго образованія, онъ спѣшитъ ее успокоить (стр. 97): „Я не говорилъ никогда, что утерялъ цѣлыя 6 лѣтъ даромъ; скажу только, что нужно удивляться, что я въ этомъ глупомъ заведеніи могъ столько узнать еще. Вы изъявили сожалѣніе, что меня въ началѣ не поручили кому; но знаете ли, что для этого нужны были тысячи? Да что бы изъ этого было? Видѣлъ я здѣсь и тѣхъ, которые находились подъ особеннымъ покровительствомъ. Имъ только лучше ставили классные шары, а, впрочемъ, они были глупѣе прочихъ, потому что они совершенно ничѣмъ не занимались. Я не тревожилъ васъ увѣдомленіемъ объ этомъ, зная, что лучшаго воспитанія вы дать мнѣ были не въ состояніи, что не во всякое заведеніе можно было такъ счастливо на казенный счетъ попасть. Кромѣ неискусныхъ преподавателей науки, кромѣ великаго нерадѣнія и проч., здѣсь языкамъ совершенно не учатъ. Доказательствомъ сему служатъ тѣ, которые, пріѣхавши сюда съ нѣкоторыми познаніями въ языкахъ, бывъ тамъ, позабыли послѣднія. Ежели я что знаю, то этимъ обязанъ совершенно одному себѣ. И потому не нужно удивляться, если надобились деньги иногда на мои учебныя пособія [1], если не совершенно достигъ того, что мнѣ нужно. У меня не было другихъ путеводителей, кромѣ меня самого, а можно ли самому, безъ помощи другихъ, совершенствоваться? Но времени для меня впереди еще много; силы и стараніе имѣю. Мои труды, хотя я ихъ теперь удвоилъ, мнѣ не тягостны ни мало; напротивъ, они не другимъ чѣмъ мнѣ служатъ, какъ развлеченіемъ, и будутъ также служить имъ и въ моей службѣ, въ часы, свободные отъ другихъ занятій".

Глубокій психологическій интересъ представляютъ письма, показывающія, какъ юный Гоголь отнесся къ смерти отца.

Первое изъ нихъ открывается „извитіемъ" и „плетеніемъ словесъ" въ сантиментально-дидактическомъ тонѣ.

Не можетъ быть никакихъ сомнѣній, что Гоголь искренно и горячо любилъ своего отца, и что его смерть

---

[1] Часть денегъ, выпрошенныхъ изъ дому, шла на покупку книгъ для чтенія и франтовство. Гоголь много разъ искренно раскаивался потомъ, что „имѣлъ нужды не по своему состоянію" (I, стр. 96 и проч.).

была страшнымъ ударомъ для юноши. Въ припискѣ къ первому письму и въ письмѣ, написанномъ на другой день, звучатъ простыя, непосредственныя нотки растерянности, тревоги за близкихъ, отчаянія, что онъ такъ далекъ отъ нихъ въ страшную минуту общаго горя: „Охъ, чего бъ я не сдѣлалъ, чтобы быть теперь съ вами! Мое нетерпѣніе увеличивается: мнѣ хочется васъ видѣть, слушать, говорить съ вами; но пространство разлучаетъ насъ. Говорите хотя со мною письменно! Сдѣлайте милость, скорѣе только пишите, прошу васъ, умоляю. Ахъ, вы не знаете, въ какомъ безпокойствѣ теперь я нахожусь и днемъ, и ночью! Мысли объ васъ наполняютъ мою душу, я съ нетерпѣніемъ ожидаю вашего письма, по первой же почтѣ. Какъ для меня долго это время"! (стр. 28).

Но первое проявленіе чувства облекалось въ крайне искусственную, надуманную форму. Въ немъ видны сочинительство и фраза, исключающія искренность и непосредственность чувства, — производящія на читателя прямо непріятное впечатлѣніе.

Возобладали рефлексія, разсудочность, стилистическія привычки, ярко сказалась способность отвлечься отъ себя, не отдаваться свободному потоку ощущеній, слѣдить за собой и не упускать изъ виду вызываемыхъ своею личностью впечатлѣній. Какъ все это похоже на настроеніе Николеньки Иртеньева у гроба матери! И неумѣнье быть вполнѣ искреннимъ, стыдъ за себя, за проявленіе чувства, и затаенная боязнь неискренности!

Прислушайтесь только, что сынъ пишетъ только что овдовѣвшей матери (стр. 26): „не безпокойтесь, дражайшая маменька! Я сей ударъ перенесъ съ твердостью истиннаго христіанина. Правда, я сперва былъ пораженъ ужасно симъ извѣстіемъ; однако жъ не далъ никому замѣтить, что я былъ опечаленъ [1]. Оставшись же наединѣ, я предался всей силѣ безумнаго отчаянія. Хотѣлъ даже посягнуть на жизнь свою, но Богъ удержалъ меня отъ сего, и къ вечеру примѣтилъ я въ себѣ только печаль [2], но уже не порывную, которая, наконецъ, превратилась въ легкую, едва примѣтную меланхолію, смѣшанную съ чувствомъ благоговѣнія ко Всевышнему. Благословляю тебя, священная вѣра! Въ

---

[1] Оправданіе передъ самимъ собою послѣ того, какъ Гоголь замѣтилъ въ себѣ съ грустью недостатокъ чувства, или реторическое изображеніе дѣйствительнаго факта — признака болѣзненной стыдливости чувства?

[2] Чрезвычайно любопытно это констатируемое самимъ Гоголемъ внимательное наблюденіе его за своими душевными состояніями.

тебѣ только я нахожу источникъ утѣшенія и утоленія своей горести. Такъ, дражайшая маменька, я теперь спокоенъ, хотя не могу быть счастливъ, лишившись лучшаго отца, всего драгоцѣннаго моему сердцу. Но развѣ не осталось ничего, что бы меня привязывало къ жизни? Развѣ я не имѣю еще чувствительной, нѣжной, добродѣтельной матери, которая можетъ мнѣ замѣнить и отца, и друга, и всего, что есть милѣе, что̀ есть драгоцѣннѣе?"

Ко всему этому скорѣе всего приложимы слова Л. Н. Толстого: „тщеславіе есть чувство самое несообразное съ истинною горестью, и вмѣстѣ съ тѣмъ чувство это такъ крѣпко привито къ натурѣ человѣка, что очень рѣдко даже самое сильное горе изгоняетъ его. Тщеславіе въ горести выражается желаніемъ казаться или огорченнымъ, или несчастнымъ, или твердымъ; эти низкія желанія, въ которыхъ мы не признаемся, но которыя почти никогда, даже въ самой сильной печали, не оставляютъ насъ, лишаютъ ее силы, достоинства и искренности".

Конечно, во всей своей силѣ это скорѣе всего относится къ такимъ сложнымъ рефлективнымъ натурамъ, какъ Николенька Толстого и Гоголь.

Подобныя натуры могутъ испытывать только въ короткія минуты „самозабвенія" настоящее, безпримѣсное горе, безъ „желанія показать, что я огорченъ болѣе всѣхъ", безъ „заботъ о дѣйствіи, которое я произвожу на другихъ", при полномъ отсутствіи „безцѣльнаго любопытства". Сколько психологической глубины въ словахъ Николеньки: „я презиралъ себя за то, что не испытываю исключительно одного чувства горести, и старался скрывать всѣ другія: отъ этого печаль моя была неискренна и неестественна. Сверхъ того, я испытывалъ какое то наслажденіе, зная, что я несчастливъ, старался возбуждать сознаніе несчастія, и это эгоистическое чувство больше другихъ заглушало во мнѣ истинную печаль".

Думаемъ, что подобныя настроенія переживалъ и Гоголь, иначе нельзя понять его писемъ о смерти отца, съ ихъ перебоями сочинительства и вспышекъ искренняго горя.

Тревога за мать не мѣшаетъ ему угрозами добиваться позволенія пріѣхать на каникулы, и тѣмъ еще болѣе запугивать бѣдную женщину (стр. 29):[1] „никогда

[1] Въ другомъ мѣстѣ (стр. 37), онъ пробуетъ добиться той же цѣли возбужденіемъ ея любопытства: „также позвольте мнѣ просить васъ

еще мнѣ не хотѣлось такъ видѣть каникулы, какъ теперь. Я вамъ говорю, что ежели я васъ не увижу, я не знаю тогда, на что рѣшусь. Ежели же не получу отвѣта на это письмо, то сіе молчаніе будетъ самый ужасный для меня признакъ; тогда я прибѣгну къ отчаянію, и оно то дастъ мнѣ средство, какъ избавиться отъ сей мрачной неизвѣстности. Теперь вы видите, что отъ одного вашего слова зависитъ счастіе и несчастіе вашего сына".

Все это скрашивается цвѣтами краснорѣчія (стр. 30): „я ожидаю отъ васъ съ нетерпѣніемъ, часъ отъ часу увеличивающимся, драгоцѣнныхъ для меня строкъ, которыя возвратятъ жизнь несчастному вашему сыну, которыя, какъ цѣлительный бальзамъ, прольютъ отраду въ изнывшее сердце. Не знаю, что дѣлается дома; вы не извѣстили меня ни о сестрицахъ, ни о чемъ другомъ. Я думаю, все перемѣнилось; но мое сердце всегда останется привязаннымъ къ священнымъ мѣстамъ родины, и теперь она еще вдвое драгоцѣннѣе для сердца горестнаго".

Высокомѣріе и ребяческое хвастовство [1] часто перемежаются у него съ „униженіемъ паче гордости", самообличеніемъ и самобичеваніемъ. Онъ можетъ написать, напр., такія строки: „такъ, дражайшая маменька, я васъ скоро увижу, и восхищаюсь каждый день сею мыслію, и теперь собираюсь привезть вамъ какой-нибудь подарокъ. Но знаю, что вамъ не можетъ быть подарка лучшаго, пріятнѣйшаго, какъ привезть вамъ сердце доброе, пылающее къ вамъ самою нѣжною любовью, какую только можетъ внушить благодарность къ добродѣтельно-нѣжной матери. Но смѣю вамъ сказать, что я пріобрѣлъ уже довольно и другихъ качествъ, которыя, я думаю, вы сами увидите; можно сказать, обработалъ таки свои понятія, которыя сдѣлались гораздо проницательнѣе, дальновиднѣе. Ежели могу я угодить ими, тогда почту себя самымъ благополучнымъ человѣкомъ. Притомъ я постараюсь къ вамъ привезть нѣсколько своихъ произведеній, также хорошенькихъ картинокъ своей работы: дары скудные,

---

о присылкѣ за мной на Рождество, — тѣмъ болѣе, что я имѣю много кой-чего сказать вамъ, которое весьма интересно какъ для васъ, равнымъ образомъ и для меня; но обстоятельства, пространство письма и другія особенныя причины не позволяютъ мнѣ объявить вамъ теперь".

[1] Срв., напримѣръ, стр. 69: „четыре дня сряду былъ у насъ театръ, и, къ чести нашей, признали единогласно, что изъ провинціальныхъ театровъ ни одинъ не годится противъ нашего Правда, играли всѣ прекрасно".

но они отъ чистаго сердца, и ихъ приноситъ нѣжный, чувствительный сынъ“ (стр. 31—32).

Дальше, вѣроятно, намекъ на свои поэтическія произведенія: „не знаю, будете ли довольны, но только я намѣренъ привезть вамъ кое-что, въ засвидѣтельствованіе, что я не даромъ провелъ здѣсь протекшее полугодіе. Ваше одобреніе будетъ для меня лестною наградою“. „Присылайте за мною экипажъ умѣстительный, потому что я ѣду со всѣмъ богатствомъ вещественныхъ и умственныхъ имуществъ, и вы увидите труды мои“ (стр. 42, срв. 47).

Еще въ этомъ очень раннемъ возрастѣ сказалась своеобразная черта психологіи Гоголя — пренебрежительное отношеніе къ своимъ предшествующимъ сочиненіямъ, при чемъ онъ всецѣло возлагаетъ свои надежды на новыя, еще назрѣвающія въ его творческой фантазіи: „въ разсужденіи же сочиненія скажу вамъ, что я его не бралъ, но оно осталось между книгами въ шкапу. Но это небольшая бѣда, ежели оно и точно пропало: я постараюсь вознаградить новымъ и гораздо лучшимъ“ (стр. 37—38).

IV.

Малодушное отчаяніе матери послѣ смерти мужа, ея полная душевная растерянность внесли значительную перемѣну въ отношенія между нею и сыномъ. Тонъ Гоголя крѣпнетъ, дѣлается болѣе солиднымъ и внушительнымъ; зачастую въ немъ слышится даже повышенное собственное достоинство; чувство дѣлается все проще и задушевнѣе; у него постепенно слагается идея долга по отношенію къ семьѣ, своей отвѣтственности передъ нею. Въ перепискѣ пробиваются до сихъ поръ небывалыя ноты: „несмотря на мою нелюбовъ къ вытвержденнымъ наставленіямъ, ваше золотое правило, предписанное мнѣ въ концѣ письма вашего, глубоко врѣзалось въ мое сердце“ (стр. 100) [1]. Комплиментъ прикрываетъ тутъ защиту своей самостоятельности и рѣшительный протестъ противъ наивныхъ ма-

[1] Онъ смотритъ даже иногда на мать немножко сверху внизъ и говоритъ съ нею очень самостоятельнымъ тономъ; „пріятно мнѣ будетъ, ежели вы мнѣ будете повѣрять свои планы, мысли, также разные прожекты, новыя изобрѣтенія и проч., и проч., ежели будете принимать благосклонно и мои толки, похвалите за что-нибудь доброе и побраните за худое. Также о какихъ-нибудь посторонникъ дѣлахъ, случающихся въ нашемъ округѣ“ (стр. 45). Ср. I, стр. 203, 204, 208, 226. Отъ сестеръ онъ требуетъ искренности и полной откровенности (стр. 204).

теринскихъ морализацій. Немного позднѣе, на требованія матери сдѣлать визитъ нѣкоему Багрѣеву, „въ ожиданіи будущихъ благъ“, онъ отвѣчаетъ даже рѣзкимъ отпоромъ (I, стр. 205): „вы очень мало знаете приличія, маменька, или, лучше сказать, вы, можетъ быть, и знаете приличія, но не знаете моихъ отношеній въ свѣтѣ. Странно! вдругъ бы я пріѣхалъ къ нему потому, что вы были одинъ разъ у него и были приняты хорошо. Другое дѣло, если я встрѣчусь съ нимъ у Кутузова или гдѣнибудь въ другомъ обществѣ, я не премину съ нимъ познакомиться, и тогда, пожалуй, какъ къ человѣку знакомому, я могу къ нему пріѣхать, но не потому, чтобы онъ могъ быть для меня чѣмъ-нибудь полезнымъ, а потому, что онъ доставилъ вамъ нѣсколько, какъ вы говорите, пріятныхъ минутъ своею любезностью. Касательно же состоянія его быть мнѣ полезнымъ скажу вамъ вотъ что. Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищаго, для котораго всякій человѣкъ съ небольшимъ именемъ и знакомствомъ можетъ надѣлать кучу добра. Но прошу васъ не безпокоиться объ этомъ. Путь я имѣю гораздо прямѣе и, признаюсь, не знаю такого добра, которое бы могъ мнѣ сдѣлать человѣкъ. Добра я желаю отъ Бога“... Онъ тяготится даже подарками матери (стр. 209) и настойчиво проситъ ее „ничѣмъ не озабочиваться“ для него: „у меня совершенно все есть, что мнѣ нужно. Я не знаю, какъ уплатить вамъ хотя сотую долю старыхъ долговъ, а вы налагаете на меня безпрестанно новые. Право, маменька, вы великодушны до безчеловѣчія“. На упреки матери, что онъ урѣзываетъ свой бюджетъ для подарковъ семьѣ, Гоголь отвѣчаетъ (стр. 214): „вы мнѣ приписываете гораздо болѣе великодушія, нежели я имѣю его въ самомъ дѣлѣ. Будьте увѣрены, что я не столько глупъ, чтобы посылать вамъ тогда, когда самъ нуждаюсь. Дѣлать это — значитъ отнимать у себя возможность быть полезнымъ вамъ впослѣдствіи“.

Самостоятельность тона, замѣтная еще въ гимназіи, усиливается все болѣе и болѣе съ начала 30-хъ годовъ.

Естественною силою вещей онъ дѣлается какъ бы главой семьи, нѣжно, но настойчиво упрекаетъ мать за крайности горя, припоминаетъ ей ея же собственныя религіозно-мистическія наставленія, впадаетъ зачастую въ провиденціальный, почти мессіаническій тонъ.

Онъ возвращалъ матери то, что усвоилъ отъ нея въ раннемъ дѣтствѣ — примиреніе съ житейскими невзгодами и несчастіями на религіозной почвѣ. Значительно позднѣе (I, стр. 260) онъ вспоминалъ: „я помню: я ни-

чего сильно не чувствовалъ, я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ. Никого особенно не любилъ, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядѣлъ безстрастными глазами; я ходилъ въ церковь потому, что мнѣ приказывали или носили меня; но, стоя въ ней, я ничего не видѣлъ, кромѣ ризъ, попа и противнаго ревѣнья дьячковъ. Я крестился потому, что видѣлъ, что всѣ крестятся. Но одинъ разъ, — я живо, какъ теперь, помню этотъ случай, — я просилъ васъ разсказать мнѣ о Страшномъ Судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшныхъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность, это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли".

А теперь ему приходится напоминать матери о христіанской обязанности смиряться передъ несчастіемъ, не впадать въ отчаяніе, вѣрить, что „Божіе блюденіе лѣплѣе человѣческаго".

„Я не могъ не быть растроганъ, особливо видя вашу любовь, вашу горячность родительскую, какую вы имѣете къ вашимъ дѣтямъ; но ваши слова, что вы уже болѣе для себя и для міра сего не живете, что, можетъ быть, я скоро долженъ занять мѣсто отца малолѣтнимъ моимъ сестрамъ [1], слова сіи поселили печальныя предчувствія въ моемъ сердцѣ. Зачѣмъ предаваться горестнымъ мечтаніямъ? Зачѣмъ раскрывать грозную завѣсу будущности? Можетъ быть, она готовитъ намъ спокойствіе и тихую радость, ясный вечеръ и мирную семейственную жизнь. Будемъ надѣяться на Всевышняго, въ рукахъ Котораго находится судьба наша. Что касается до меня, то я совершу свой путь въ семъ мірѣ, и ежели не такъ, какъ предназначено всякому человѣку, по крайней мѣрѣ, буду стараться сколько возможно быть таковымъ" (стр. 33—34).

Всѣ эти событія произвели глубокую перемѣну въ душѣ Гоголя. Онъ весь исполненъ теперь высокихъ и серьезныхъ мыслей, и прежнія настроенія только случайно всплываютъ въ его душѣ.

Нѣжинъ съ его лицейской обстановкой кажется ему теперь „бѣднымъ", „глушью", „другимъ міромъ, ста-

[1] Какъ извѣстно, М. И. Гоголь пережила своего сына.

рымъ и забытымъ" (стр. 36), „заснувшимъ въ бездѣйствіи" (стр. 45), и онъ рвется изъ него всей душой.

Его задушевные интересы и думы уходятъ все дальше и дальше отъ гимназической обстановки... Онъ, по собственной характеристикѣ, „никогда неизмѣнчивый въ своихъ чувствахъ, все тотъ же пламенный, признательный, никогда не загасившій вѣчнаго огня привязанности къ родинѣ и роднымъ" (стр. 43), теперь все болѣе и болѣе захватывается безпокойнымъ стремленіемъ „туда", „на сѣверъ дальній", въ Петербургъ съ его интеллектуальными и эстетическими приманками, многообѣщающими жизненными перспективами.

Сгустившееся тогда всюду въ литературной атмосферѣ разочарованіе подбирается и къ нему. Онъ пишетъ, наприм., въ альбомъ своему товарищу Любичу-Романовичу въ 1826 г. такую замѣтку (стр. 43): „Свѣтъ скоро хладѣетъ въ глазахъ мечтателя. Онъ видитъ надежды, его подстрекавшія, несбыточными, ожиданія неисполненными, и жаръ наслажденія отлетаетъ отъ сердца... Онъ находится въ какомъ то состояніи безжизненности... Но счастливъ, когда найдетъ цѣну воспоминанію о дняхъ минувшихъ, о дняхъ счастливаго дѣтства, гдѣ онъ покинулъ раждавшіяся мечты будущности, гдѣ онъ покинулъ друзей, преданныхъ ему сердцемъ".

Подобно многимъ нашимъ романтикамъ, онъ отодвигаетъ пору счастія и вѣры въ жизнь къ годамъ безсознательнаго дѣтства и горько толкуетъ о раннемъ увяданіи души — „безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ" и рѣзкомъ столкновеніи юнаго оптимизма съ грязью и мракомъ дѣйствительности. Какъ у Эсхина Жуковскаго, этого перваго разочарованнаго въ нашей литературѣ, у него

Цвѣтъ жизни былъ сорванъ, увяла душа,
Въ ней скука смѣнила надежду...

Витавшій „въ царствѣ идеала" юный романтикъ не можетъ, однако, отдѣлаться вначалѣ отъ созданнаго семьей раболѣпнаго отношенія къ Трощинскому, хотя въ глубинѣ души, повидимому, уже начало шевелиться чувство какой то неловкости по поводу этихъ отношеній, которая скоро перейдетъ въ сознательное отчужденіе.

Въ 1826 г. онъ могъ еще писать матери (стр. 46—47): „увѣдомьте, когда его высокопревосходительство[1] Дмитрій Прокофьевичъ будетъ у насъ,

[1] И это въ интимномъ семейномъ письмѣ!

что онъ тамъ найдетъ хорошаго, что ему понравится. Мнѣ съ нетерпѣніемъ хочется знать мнѣніе великаго (?) человѣка даже о самыхъ маловажностяхъ. Сдѣлайте милость, маменька, не пропустите ничего; большое вы дадите мнѣ удовольствіе . . . Къ Дмитрію Прокофьевичу постараюсь написать, только не знаю, когда его высокопревосходительства именины" . . .

17 лѣтъ онъ считаетъ себя умудреннымъ годами и житейскимъ опытомъ, и подчасъ черезчуръ глубокомысленно философствуетъ въ своихъ письмахъ: „таковъ свѣтъ: рѣдко сыщется человѣкъ благодарный" (стр. 48); „трудно, весьма трудно поддержать о себѣ хорошее мнѣніе: иногда самая малость — и оно потеряно" (стр. 49). И позднѣе (стр. 209): „плохо бы было на свѣтѣ намъ, еслибы мы слѣдовали одному только движенію сердца, не призывая на свѣтъ разсудокъ".

Это не мѣшаетъ, однако, ему быстро смѣнять серьезность моралиста игривой рѣзвостью ребенка и писать, наприм., своей пріятельницѣ (стр. 48—49): „милая, добрая, злая, усердная, неумолимая, исполненная ядомъ злѣйшихъ насмѣшекъ и ядовитѣйшихъ колкостей, милостивая государыня Елизавета Петровна! Вы, я думаю, готовы съѣсть меня, хотя за цѣлый прошедшій мѣсяцъ жаръ вашъ долженъ былъ бы остудиться. Не знаю, чѣмъ умилостивить васъ: еще чрезъ цѣлые восемь мѣсяцевъ придетъ время, когда брошусь на колѣни предъ вами, а теперь скажу вамъ тайну: Карпъ Дементьевичъ Прохвоцкій (?) признался мнѣ, что влюбленъ въ васъ по уши, и вамъ кланяется. Что вы буркалы пялите?"

Въ отношеніяхъ съ матерью ему приходится постоянно быть на чеку и не разъ наталкиваться на ея болѣзненную мнительность (перешедшую и къ нему по наслѣдству), опровергать, наприм., ея обвиненіе, что въ одномъ изъ писемъ онъ „себя возвысилъ", а ее „унизилъ" (стр: 51).

Съ наивною материнскою гордостью носится она всюду съ его письмами, рисунками и сочиненіями, всѣмъ ихъ читаетъ и показываетъ, иногда помимо своей воли затрагивая чуткое и болѣзненно настороженное самолюбіе сына. Особенно любопытно въ этомъ отношеніи одно мимолетное недоразумѣніе между ними. Марья Ивановна совѣтовала сыну послать Трощинскому какое-нибудь свое сочиненіе и, повидимому, очень была недовольна, когда онъ не послѣдовалъ ея совѣту. Н. В. ей пишетъ (стр. 51): „писали вы, чтобы я прислалъ его высокопревосходительству какое-нибудь

сочиненіе: думалъ и я было сперва то сдѣлать, но послѣ разсудилъ, что, поднесши какую-нибудь эфемерную мелочь, я мало принесу себѣ пользы и мало хорошаго дамъ о себѣ мнѣнія, рѣшился, что лучше пріуготовить себя къ занятіямъ гораздо важнѣйшимъ и сдѣлать что-нибудь достойное вниманія просвѣщеннаго (?) вельможи, благодѣтеля (?) Малороссіи... Не хочу, ежели благодарность моя будетъ слаба и не покажетъ сердечныхъ моихъ чувствованій. Лучше пусть она будетъ сокрыта до времени и послѣ выявитъ сердце, чувствующее благодѣянія, средствомъ хотя менѣе достойнымъ сихъ благодѣяній".

Тутъ видно и критическое отношеніе къ плодамъ своего теперешняго творчества, и горделивыя мечтанія о лучшемъ, даже блистательномъ будущемъ, и внимательное отношеніе къ производимому на другихъ впечатлѣнію, и очевидное, прикрываемое только высшими соображеніями нежеланіе вводить Трощинскаго въ святая святыхъ своей души...

Отъ матери съ своимъ творчествомъ онъ вообще не прячется, заранѣе разсчитывая на ея благодарность и радость: „Судите вы объ радости свиданія. Сколько везу къ вамъ теперь сочиненій, картинъ! Радъ буду, сильно радъ, когда сдѣлаю вамъ удовольствіе" (стр. 53). „Думаю, удивитесь вы успѣхамъ моимъ, которыхъ доказательства лично вручу вамъ. Сочиненій моихъ вы не узнаете: новый переворотъ постигнулъ ихъ. Родъ совершенно особенный. Радъ буду, весьма радъ, когда принесу вамъ удовольствіе".

Не можетъ быть никакого сомнѣнія, что этотъ переворотъ совершился въ направленіи сантиментально-романтической мечтательности.

Въ то же время въ письмахъ этого времени разсѣяно много чертъ, доказывающихъ, насколько созрѣлъ умственно Гоголь.

Въ отзывахъ о мелькнувшемъ на минуту попечителѣ „Гимназіи высшихъ наукъ" и ея бывшемъ директорѣ Орлаѣ слышится нескрываемая иронія, взглядъ сверху внизъ (стр. 54): „Къ намъ пріѣзжалъ графъ, былъ у насъ не малое время, много говорилъ, ничего не сдѣлалъ и уѣхалъ восвояси. Орлай нашъ успѣлъ вездѣ такъ охулить нашу гимназію [1], что, думаю, и онъ оттого такъ мало объ ней печется. Изъ Одессы полу-

[1] Самъ Гоголь отзывается о ней зачастую болѣе чѣмъ рѣзко. Дѣйствительно, онъ не вынесъ оттуда ничего, кромѣ литературнаго интереса.

чили на сихъ дняхъ письмо отъ Орлая. Онъ и тѣмъ заведеніемъ недоволенъ". Чѣмъ меньше Нѣжинская гимназія удовлетворяетъ Гоголя, тѣмъ болѣе онъ мечтаетъ о Петербургѣ, куда уѣхалъ его старшій товарищъ и большой пріятель Высоцкій, — о тамошней жизни, бьющей ключомъ, театрахъ, службѣ и (несомнѣнныхъ пока для него) будущихъ своихъ жизненныхъ успѣхахъ. Онъ пишетъ Высоцкому (стр. 55): „Ни къ кому сердце мое такъ не привязывалось, какъ къ тебѣ. Съ первоначальнаго нашего здѣсь пребыванія уже мы поняли другъ друга, и глупости людскія уже рано сроднили насъ [1]; вмѣстѣ мы осмѣивали ихъ и вмѣстѣ обдумывали планъ будущей нашей жизни. Половина нашихъ думъ сбылась: ты ужъ на мѣстѣ, уже имѣешь сладкую увѣренность, что существованіе твое не ничтожно, что тебя замѣтятъ, оцѣнятъ, а я... Зачѣмъ намъ такъ хочется скоро видѣть наше счастіе? Зачѣмъ намъ дано нетерпѣніе? Мысль о немъ днемъ и ночью мучитъ, тревожитъ мое сердце: душа моя хочетъ вырваться изъ тѣсной своей обители, и я весь нетерпѣнье. Ты живешь уже въ Петербургѣ, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслажденія, а мнѣ еще не ближе полтора года видѣть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемымъ вѣкомъ"...

Тѣмъ же настроеніемъ проникнуто и одно изъ писемъ къ матери (стр. 58—59): „ежели объ чемъ я теперь думаю, такъ это все о будущей жизни моей. Во снѣ и наяву мнѣ грезится Петербургъ, съ нимъ вмѣстѣ и служба государству. До сихъ поръ я былъ счастливъ; но ежели счастіе состоитъ въ томъ, чтобы быть довольну своимъ состояніемъ, то не совсѣмъ, — не совсѣмъ до вступленія въ службу, до пріобрѣтенія, можно сказать, собственнаго постояннаго мѣста".

Такъ подготовляется психологія Ганца Кюхельгартена, яркаго отраженія всѣхъ душевныхъ треволненій юнаго Гоголя, съ его неопредѣленными порывами, жгучими, но несбыточными мечтами, романтическимъ стремленіемъ вдаль, тоской по идеалу...

Письмо Высоцкаго, уже обвѣяннаго впечатлѣніями столичной жизни, глубоко заинтересовало Гоголя и даже польстило его молодому самолюбію. Это не помѣшало

[1] См. ниже, стр. 56: „Что тебѣ сказать объ нашихъ новостяхъ? Здѣсь ихъ совершенно нѣтъ.. Дураки все также глупы" и пр.

ему допустить большую небрежность — не отвѣчать на письмо друга, спохватиться очень поздно, испытать и ярко выразить острое раскаяніе, наложить даже на себя своеобразную эпитимію — черта, которая останется уже у Гоголя навсегда.

Онъ не находитъ себѣ сначала никакого оправданія, но потомъ успокаиваетъ себя пылкими обѣщаніями и жаромъ самообличеній: „послѣ всего этого, послѣ всей радости, которую ты прислалъ ко мнѣ съ письмомъ, я ни слова не сказалъ тебѣ. Какая неблагодарность чернѣе этой? Но еще разъ прошу тебя, не вини меня: ты знаешь мою оплошность, которую теперь уже оставилъ и принялъ твердое намѣреніе писать нарочно побольше писемъ въ разныя мѣста, чтобы тѣмъ пріучить себя къ исправности“ (стр. 55).

Трудно сказать, насколько искренне было это обѣщаніе и насколько оно явилось плодомъ растерянности передъ собственнымъ необъяснимымъ поступкомъ — или своеобразной хитростью. Гоголь съ недоумѣніемъ приглядывается къ процессамъ, происходившимъ въ таинственныхъ глубинахъ его души, пробуетъ разобраться въ нихъ — и не можетъ иногда подобрать для нихъ соотвѣтствующей словесной формы, перевести, такъ сказать, ихъ на обычный языкъ. Отсюда постоянная автохарактеристика съ дополненіями и поправками, недовольство на то, что его не такъ поняли. Уже теперь онъ прекрасно понимаетъ всю сложность и оригинальность своего внутренняго міра.

Въ этомъ отношеніи особенно характерны его признанія матери, при чемъ онъ хочетъ убѣдить и ее, и себя, что только она одна прекрасно понимаетъ и прекрасно разбирается во всѣхъ противорѣчіяхъ его души. „Я былъ часто болтливый и въ одно время раздумчивый“ (стр. 87). „Вы знаете, какой я охотникъ до всего радостнаго. Вы однѣ только видѣли, что подъ видомъ иногда для другихъ холоднымъ, угрюмымъ, таилось кипучее желаніе веселости (разумѣется, не буйной)[1], и часто, въ часы задумчивости, когда другимъ казался я печальнымъ, когда они видѣли и хотѣли видѣть во мнѣ признаки сантиментальной мечтательности, я разгадывалъ науку веселой, счастливой жизни, удивлялся, какъ люди, жадные до счастья, немедленно убѣгаютъ его, встрѣтившись съ нимъ“ (стр. 58).

---

[1] Характерная оговорка: увлеченіе откровенностью, прочувствованное излишіе и мгновенное охлажденіе, — не лишенное практичности стремленіе предупредить неудовольствіе матери.

Тутъ характерно все — ясное сознаніе всей сложности своего душевнаго міра, противорѣчіе внѣшнихъ впечатлѣній и внутренняго настроенія, большое вниманіе къ отношеніямъ окружающихъ, казавшимся столь поверхностными и невѣрными...

Подобныя признанія иногда перебиваются слѣдами хитрости, неискренности, „двойной бухгалтеріи отношеній", преувеличеніемъ своего разочарованія жизнью — и гордымъ сознаніемъ исключительности своей натуры, глубокой вѣрой въ себя, свои силы и свое блистательное будущее.

Съ необыкновенною мощью и рельефностью все это выразилось въ замѣчательномъ письмѣ къ матери 20 дек. 1827 г. (стр. 97—98): „что же касается до бережливости въ образѣ жизни, то будьте увѣрены, что я буду умѣть пользоваться малымъ. Я больше поиспыталъ горя и нужды, нежели вы думаете; я нарочно старался всегда, когда бывалъ дома, показывать разсѣянность, своенравіе и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало былъ прижимаемъ зломъ. Но врядъ ли кто вынесъ столько неблагодарностей, несправедливостей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч. Все выносилъ я безъ упрековъ, безъ роптанія, никто не слыхалъ моихъ жалобъ, я даже всегда хвалилъ виновниковъ моего горя. Правда, я почитаюсь загадкою для всѣхъ; никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ, какимъ то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнѣе всѣхъ, что онъ созданъ на другой ладъ отъ людей. Вѣрите ли, что я внутренно самъ смѣялся надъ собою вмѣстѣ съ вами? Здѣсь меня называютъ смиренникомъ, идеаломъ кротости и терпѣнія. Въ одномъ мѣстѣ я самый тихій, скромный, учтивый, въ другомъ — угрюмый, задумчивый, неотесаный и пр., въ третьемъ — болтливъ и докучливъ до чрезвычайности, у иныхъ — уменъ, у другихъ — глупъ. Какъ угодно, почитайте меня, но только съ настоящаго моего поприща вы узнаете настоящій мой характеръ. Вѣрьте только, что всегда чувства благородныя наполняютъ меня, что никогда не унижался я въ душѣ, и что я всю жизнь свою обрекъ благу. Вы меня называете мечтателемъ, опрометчивымъ, какъ будто бы я внутри самъ не смѣялся надъ ними (?). Нѣтъ, я слишкомъ много знаю людей, чтобы быть мечтателемъ. Уроки, которые я отъ нихъ получилъ, останутся навѣки неизгладимыми,

и они — вѣрная порука моего счастія Вы увидите, что со временемъ за всѣ ихъ худыя дѣла я буду въ состояніи заплатить благодѣяніемъ, потому что зло ихъ мнѣ обратилось въ добро. Это непремѣнная истина, что ежели кто порядочно обтерся, ежели кому всякій разъ давали чувствовать крѣпкій гнетъ несчастій, тотъ будетъ счастливѣйшій".

Несмотря на это, Гоголь былъ большимъ мечтателемъ, при всей своей прирожденной меланхоліи прекраснодушнымъ оптимистомъ, который только рядился въ модное тогда „охлажденіе". Не повѣримъ ему, когда онъ будетъ убѣждать Высоцкаго, что только одному ему онъ обязанъ своимъ спасеніемъ отъ полнаго разочарованія и отчаянія (стр. 60).

„Много времени кануло со дня нашего разрозненія; лѣта кипучаго возраста охлаждались измѣнчивою невѣрностью счастія настоящаго. Я холодѣлъ постепенно и разучился принимать жарко къ себѣ все сбывающееся. Безъ радости и безъ горя, въ глубокомъ раздумьи, стоялъ я надъ дорогою жизни, безмолвно осматривая будущее Съ минуты твоего выбытія въ душѣ моей залегла пустота, какое то безжизненное чувство. И вотъ ты меня высвободилъ изъ моего мертваго усыпленія. Я теперь все тотъ же, какъ и прежде: веселый, преданный тебѣ, съ виду холодный, но въ сердцѣ пламенный къ чувствамъ дружбы".

Онъ не нуждался, собственно, въ поддержкѣ извнѣ, такъ какъ имѣлъ ее внутри себя — въ напряженности мечтательнаго идеализма, сложившагося вдали отъ жизни и главнымъ образомъ навѣяннаго разлитымъ во всей тогдашней литературѣ романтизмомъ. Въ тотъ моментъ, когда Гоголь писалъ своему пріятелю, его, повидимому, подчиняло себѣ искреннее, но ошибочное чувство: одиночество, тѣсная связь Высоцкаго съ мечтами о Петербургѣ, самый потокъ дружескихъ изліяній заставляли его сильно преувеличить значеніе этого пріятеля въ своей духовной жизни.

Онъ не вполнѣ откровененъ съ Высоцкимъ и не дѣлится съ нимъ своими горделивыми мечтами о широкой государственной дѣятельности, своими желаніями, ни болѣе, ни менѣе, какъ облагодѣтельствовать цѣлую страну: для этого стоитъ только поѣхать въ Петербургъ... Кажется, ему страшно показаться смѣшнымъ.

Онъ откровеннѣе въ этомъ отношеніи съ матерью и въ особенности съ любимымъ дядей Косяровскимъ.

Упоминая мимоходомъ въ письмѣ къ матери (стр. 68) объ „изящномъ занятіи" — садоводствѣ, онъ при-

бавляетъ: „Оно было любимымъ упражненіемъ папеньки, моего друга, благодѣтеля, утѣшителя... не знаю, какъ назвать этого небеснаго ангела. Это чистое высокое существо, которое одушевляетъ меня въ моемъ трудномъ пути, живитъ, даетъ даръ чувствовать самого себя и часто, въ минуты горя, небеснымъ пламенемъ входитъ въ меня, разсвѣтляетъ сгустившіяся думы. Въ сіе время сладостно мнѣ быть съ нимъ; я заглядываю въ него, т. е. въ себя, какъ въ сердце друга, — испытую свои силы для поднятія труда важнаго, благороднаго на пользу отечества, для счастія гражданъ, для блага жизни подобныхъ, и дотолѣ нерѣшительный, неувѣренный (и справедливо) въ себѣ, я вспыхиваю огнемъ гордаго самосознанія, и душа будто видитъ этого названнаго ангела твердо и непреклонно все указующаго въ мѣту жаднаго исканія... Черезъ годъ вступаю я въ службу государственную..."

Широкій діапазонъ идеалистическихъ настроеній!

Но среди повышенныхъ патетическихъ строкъ мелькаютъ отдѣльныя черточки житейскаго благоразумія и практичности, иногда очень наивной. Онъ спрашиваетъ, напр., Высоцкаго (стр. 68): „кстати, ты еще о много — чемъ не извѣстилъ меня касательно жизни петербургской; каковы тамъ цѣны, въ чемъ именно дороговизна? Все это съ нетерпѣніемъ хочу я знать и заранѣе сообразоваться съ своими предположеніями. Каковы тамъ квартиры? Что нужно платить въ годъ за двѣ или три хорошенькія комнаты? Въ какой части города дороже? Гдѣ дешевле? Что стоитъ въ годъ протопленіе ихъ? и проч. и проч Да, и позабылъ было совсѣмъ: какъ значительны жалованья, сколько ты получаешь? Сколько часовъ ты бываешь въ присутствіи и когда возвращаешься домой?" (стр. 64). Какой то у васъ модный цвѣтъ на фраки?" (стр 80).

Гоголь старается предусмотрѣть все и, разсчитывая больше всего на государственную службу, на всякій случай успокаиваетъ себя мыслью о своихъ другихъ рессурсахъ — драматическомъ, художественномъ и, менѣе всего, писательскомъ талантахъ Напр., Косяровскому онъ какъ то писалъ (стр 106—107): „ежели для постояннаго пріобрѣтенія знаній не буду имѣть всѣхъ способовъ, могу прибѣгнуть покуда къ другому; вы еще не знаете всѣхъ моихъ достоинствъ Я знаю кой-какія ремесла: хорошій портной, недурно раскрашиваю стѣны алфреской живописью, работаю на кухнѣ и много кой-чего уже разумѣю изъ повареннаго искусства. Вы

думаете, что я шучу — спросите нарочно у маменьки. А что̀ еще болѣе, за что я всегда благодарю Бога, это за свою настойчивость и терпѣніе, которыми я прежде мало обладалъ: теперь ничего изъ начатаго мною я не оставлю, пока совершенно не окончу. Не для того, чтобы хвалить себя я говорю это, но чтобы обезпечить васъ насчетъ моей будущей участи. Итакъ, хлѣбъ у меня будетъ всегда"...

Съ довѣріемъ глядитъ онъ въ будущее, вполнѣ надѣется на свои силы — чтобы разочароваться тамъ, гдѣ онъ этого меньше всего ожидалъ...

Его самого удивляетъ психологія томленія по далеко поставленной идеальной цѣли, и онъ не безъ изумленія приглядывается къ ней въ себѣ самомъ (стр. 71): „человѣкъ страненъ касательно внутренняго своего положенія. Онъ завидѣлъ что то вдали, и мечта о немъ ни на минуту не оставляетъ его; она смущаетъ покой его и заставляетъ употребить всѣ силы для доставки существеннаго".

Всѣ свои колебанія и сомнѣнія онъ изливаетъ въ письмахъ, такъ какъ среди товарищей не было ни одной родной ему, близкой души Въ 1827 г. онъ горько жаловался Высоцкому (стр 74): „уединясь совершенно отъ всѣхъ, не находя здѣсь ни одного, съ кѣмъ бы могъ слить долговременныя думы свои, кому бы могъ ввѣрить мышленія свои, я осиротѣлъ и сдѣлался чужимъ въ пустомъ Нѣжинѣ. Я иноземецъ, забредшій на чужбину искать того, что̀ только находится на одной родинѣ, и тайны сердца, вызывающіяся на лицѣ, жадныя откровенія печально опускаются въ глубь его, гдѣ такое же мертвое безмолвіе"...

Его ужасаетъ самая мысль, что подобныя условія жизни могутъ повториться въ будущемъ, и что ему можетъ предстоять судьба пошлаго „существователя": „какъ тяжко быть зарыту вмѣстѣ съ созданіями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодоволія высокое назначеніе человѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться!" (стр 75). „Уже ставлю мысленно себя въ Петербургѣ, въ той веселой комнаткѣ, окнами на Неву, такъ какъ я всегда думалъ найти себѣ такое мѣсто. Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я точно̀ живать въ этакомъ райскомъ мѣстѣ, или неумолимое веретено судьбы зашвырнетъ меня съ толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ

черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ“ (стр. 78). А рядомъ съ этимъ игривыя шуточки, проповѣдь необходимости пустяковъ (стр. 78: „неужели мы должны вѣкъ серьезничать, и отчего же изрѣдка не быть творителями пустяковъ, когда ими пестрится жизнь наша?“), заботы о „пошитьѣ самомъ отличномъ“ фрака въ Петербургѣ, просьба Высоцкому заказать его непремѣнно „портному самому лучшему“, обязательно „синій съ металлическими пуговицами“: „а черныхъ фраковъ у меня много, и они мнѣ такъ надоѣли, что смотрѣть на нихъ не хочется“ (стр. 79—80)..

Искренностью и силой дышатъ письма Гоголя къ П. П. Косяровскому. Въ общемъ онъ откровеннѣе съ нимъ, чѣмъ съ матерью и Высоцкимъ — насколько вообще онъ могъ быть откровененъ и искрененъ безъ моментовъ рефлексіи и критики, которые часто душили въ самомъ зародышѣ непосредственность и свѣжесть чувства. Въ письмахъ къ матери онъ сразу взялъ слишкомъ высокій тонъ, который пришлось потомъ выдерживать: noblesse oblige. Въ письмахъ къ Косяровскому нѣтъ напряженности и взвинченности. Только ему одному онъ признается, что изъ Петербурга „наврядъ ли залучитъ когда-либо въ Малороссію“: „да, можетъ быть, мнѣ цѣлый вѣкъ достанется отжить въ Петербургѣ, по крайней мѣрѣ, такую цѣль начерталъ я уже издавна“.

Признанія Косяровскому относительно цѣлей и задачъ будущей жизни въ Петербургѣ отличаются наибольшей полнотой и откровенностью, и Гоголь самъ удивляется, какъ это онъ могъ такъ развернуться и разойтись...

Во всей юношеской перепискѣ Гоголя его письмо къ Косяровскому съ этими признаніями должно занять первое мѣсто: въ немъ сказался весь авторъ „Ганца Кюхельгартена“ со своими глубоко затаенными мечтами о славѣ, о счастіи человѣчества, которыхъ онъ добьется государственной службой, — съ признаніемъ въ скрытности и неожиданнымъ откровенничаньемъ, съ боязнью показаться смѣшнымъ и горделивымъ сознаніемъ собственнаго превосходства.

„Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государству, и кипѣлъ принести хотя малѣйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мнѣ преградятъ дорогу, что не дадутъ возможности принесть ему малѣйшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Хо-

лодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ; быть въ мірѣ и не означить своего существованія — это было для меня ужасно. Я перебиралъ въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствѣ и остановился на одномъ — на юстиціи. Я видѣлъ, что здѣсь работы будетъ болѣе всего, что здѣсь только буду истинно полезенъ для человѣчества. Неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдѣлавъ блага. Два года занимался я постоянно изученіемъ правъ другихъ народовъ и естественныхъ, какъ основныхъ для всѣхъ законовъ; теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокія мои начертанія? Или неизвѣстность зароетъ ихъ въ мрачной тучѣ своей? Въ эти года эти долговременныя думы свои я затаилъ въ себѣ. Недовѣрчивый ни къ кому, скрытный, я никому не повѣрялъ своихъ тайныхъ помышленій, не дѣлалъ ничего, что́ бы могло выяснить глубь души моей. Да и кому бы я повѣрилъ и для чего бы высказалъ себя? Не для того ли, чтобы смѣялись надъ моимъ сумасбродствомъ, чтобы считали жалкимъ мечтателемъ, пустымъ человѣкомъ. Никому, и даже изъ своихъ товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойныхъ. Я не знаю, почему я проговорился теперь передъ вами, оттого ли, что вы, можетъ быть, принимали во мнѣ болѣе другихъ участія, или по связи близкаго родства, этого не скажу: что то непонятное двигало перомъ моимъ, какая то невидимая сила натолкнула меня, предчувствіе вошло въ грудь мою, что вы не почтете ничтожнымъ мечтателемъ того, который около трехъ лѣтъ неуклонно держится одной цѣли, и котораго насмѣшки, намеки болѣе заставятъ окрѣпнуть [1] въ предположенномъ начертаніи. Ежели же вы и не поучаствуете во мнѣ, по крайней мѣрѣ, вы затаите мое письмо, такъ же, какъ я затаилъ въ себѣ одномъ свои упрямыя предначертанія“ (стр. 89—90).

Эта идея службы красной тѣнью проходитъ черезъ все творчество Гоголя. Въ своей „Авторской исповѣди“ онъ настойчиво подчеркивалъ, что писатель, „творя тво-

[1] Какъ и „самодоволіе“, „обдумье“ и пр. — своеобразный неологизмъ у Гоголя. Пристрастіе къ нимъ сохранилось у него въ теченіе всей его писательской дѣятельности.

реніе свое", „исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы", „исполняя его, онъ служитъ въ то самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ".

Про себя самого онъ говорилъ: „Мысль о службѣ никогда не пропадала. Прежде, чѣмъ вступить на поприще писателя, я перемѣнилъ множество разныхъ мѣстъ и должностей, чтобы узнать, къ которой изъ нихъ я былъ больше способенъ; но не былъ доволенъ ни службой, ни собой, ни тѣмъ, которые надо мной были поставлены. Я еще не зналъ тогда, какъ многаго мнѣ недоставало затѣмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотѣлъ служить". „Мысль о службѣ меня никогда не оставляла. Я примирился и съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствовалъ, что на этомъ поприщѣ могу также служить землѣ своей". „Послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства: что назначеніе человѣка — служить, и вся жизнь наша есть служба".

Первоначально эту глубоко-выношенную идею государственной службы Гоголь отождествлялъ съ судебной или административной должностью, а потомъ всецѣло перенесъ ее на писательскій подвигъ.

Незадолго до выпуска въ концѣ 1827 г. онъ обѣщаетъ, что оставшееся время въ гимназіи онъ проведетъ „въ твердомъ, постоянномъ занятіи и въ глубокомъ обдумьи будущей должности и новаго бытія въ дѣятельности міра, для блага котораго посвящена жизнь моя, можетъ быть, незамѣтная, но, по крайней мѣрѣ, всѣ мои силы будутъ порываться на то, чтобы означить ее однимъ благодѣяніемъ, одною пользою отечества" (стр. 93).

Въ его упоминаніяхъ о будущей судьбѣ своей самоуничижительныя оговорки, парированіе возможной ироніи корреспондента смѣняются часто мистическими намеками на какіе то затаенные планы и открывающіяся впереди широкія, но таинственныя перспективы. Тому же Косяровскому онъ, напримѣръ, пишетъ (стр. 106): „можетъ быть, и весьма вѣроятно, что въ самомъ дѣлѣ я отлучусь и слишкомъ далеко (это и есть мое намѣреніе), обо мнѣ не будетъ и слуху, между тѣмъ уплыветъ десять лѣтъ .."

Это какъ будто бы предсказаніе будущей неожиданной и странной поѣздки въ Любекъ, которое не мѣшало

ему въ письмѣ къ матери искренно строить планы ея переѣзда въ Петербургъ (стр. 95—96): „Вы, маменька, осчастливите (чего я надѣюсь безъ сомнѣнія) меня своимъ пребываніемъ и, спустя какихъ-нибудь года три, послѣ своего бытія въ Петербургѣ, я пріѣду за вами; вы тогда не оставите меня[1]... Тогда вы будете въ Петербургѣ моимъ ангеломъ-хранителемъ, и совѣты ваши, свято мною исполняемые, загладятъ прошлое легкомысліе моей юности, и тогда то я буду совершенно счастливъ".

Въ своихъ юношескихъ письмахъ Гоголь высказался весь, со всѣми сильными и слабыми, здоровыми и больными сторонами своей необыкновенно сложной геніальной натуры, тонкой, нервной и неуравновѣшенной. Своеобразно переплетаются и скрещиваются въ нихъ искренность и скрытность, почти дѣтская неудержимая откровенность и затаенное „себѣ на умѣ", практичность не по возрасту, наивность и хитрость, тройная бухгалтерія отношеній, столь же необъятныя, сколь неопредѣленныя идеалистическія стремленія, проблески здороваго юмора отца и болѣзненнаго мистицизма[2] матери — любопытнѣйшія черты сложной наслѣдственности, которыя красною нитью проходятъ черезъ всю переписку.

Онъ былъ правъ, утверждая потомъ, на закатѣ своей литературной дѣятельности, что онъ всегда былъ вѣренъ себѣ и послѣдователенъ, что онъ очень рано сложился: „Я не совращался съ своего пути, я шелъ тою же дорогою", „отъ ранней юности у меня была одна дорога, по которой иду; я былъ только скрытенъ, потому что не былъ глупъ — вотъ и все", „послѣ долгихъ лѣтъ и трудовъ, и опытовъ, и размышленій, идя видимо впередъ, я пришелъ къ тому, о чемъ уже помышлялъ во время моего дѣтства".

То настроеніе, которое проглянуло въ „Выбранныхъ мѣстахъ", подготовлялось и слагалось у Гоголя въ теченіе всей его жизни, но раньше не обнаруживалось со-

---

[1] Дальше почему то прибавлены не имѣющія смысла слова „и когда" (никогда?).

[2] Любопытно, что самъ Гоголь въ „Старосвѣтскихъ помѣщикахъ" упоминаетъ о томъ, что еще въ дѣтствѣ ему слышались страшные и странные голоса: „признаюсь, мнѣ всегда былъ страшенъ этотъ таинственный зовъ. Я помню, что въ дѣтствѣ я часто слышалъ: иногда вдругъ кто то явственно произносилъ мое имя. День обыкновенно въ это время былъ самый ясный и солнечный; ни одинъ листъ въ саду на деревѣ не шевелился; тишина была мертвая... Я обыкновенно тогда бѣжалъ съ величайшимъ страхомъ и занимавшимся дыханіемъ изъ сада, и тогда только успокаивался, когда попадался мнѣ навстрѣчу какой-нибудь человѣкъ, видъ котораго изгонялъ эту страшную сердечную пустыню".

всѣмъ или сказывалось въ видѣ малопонятныхъ намековъ въ его творчествѣ — и только съ „Мертвыхъ Душъ“ стремительнымъ потокомъ хлынуло по литературному руслу. Зато въ письмахъ и интимныхъ бесѣдахъ оно всегда играло преобладающую роль. Разные литературные круги, собственно, знали двухъ различныхъ Гоголей, недаромъ принципіальные противники могли сталкиваться на культѣ Гоголевскаго творчества или Гоголевской личности.

Далеко не всегда была ясна связь между основнымъ строемъ души Гоголя и его творчествомъ, и немногіе ее чувствовали. Часто настроеніе пробивалось еле замѣтными струйками въ произведеніи, чуждомъ ему по духу, очень различно понимаемомъ самимъ авторомъ и пестрой толпой его читателей. Только необычайно тонкое критическое чутье Бѣлинскаго позволило ему почувствовать опасность и болѣзненную фальшь нѣкоторыхъ лирическихъ мѣстъ „Мертвыхъ Душъ“, величайшаго созданія русскаго гуманитарнаго реализма, разрушаемаго подспудными силами мистицизма ...

Разницу между психическимъ субстратомъ своего творчества и его внѣшнимъ выраженіемъ прекрасно понималъ Гоголь. Вотъ его характернѣйшее признаніе: „Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому необъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать самого себя, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ вылумать. Выдумывалъ цѣликомъ смѣшные лица и характеры, поставлялъ ихъ мысленно въ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего, и кому отъ этого выйдетъ какая польза“.

То, что случайно и зачастую непримѣтно вкрапливалось въ сочиненія, въ письмахъ обыкновенно выступаетъ ярко и выпукло. Постоянныхъ корреспондентовъ Гоголя и близко знавшихъ его лицъ нисколько не удивили его „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“, которыя показались неожиданной и ужасной измѣной Бѣлинскому и его единомышленникамъ.

Къ одному и тому же факту подошли съ разныхъ сторонъ и отнеслись къ нему діаметрально противоложнымъ образомъ. Недоразумѣніе было болѣзненнымъ для обѣихъ сторонъ, и та, и другая были по своему правы...

Но не значитъ ли это, что переписка Гоголя соста-

вляетъ основной источникъ для уясненія его личности и творчества?

Въ характеристикѣ ея первой, юношеской части у насъ проскользнули, можетъ быть, не юбилейныя нотки, если понимать „юбилей“ въ русскомъ смыслѣ слова — какъ „апоѳеозъ“. Но Гоголь слишкомъ большой человѣкъ и писатель, чтобы нуждаться въ нашихъ замалчиваніяхъ, оправданіяхъ и извиненіяхъ: его нужно только понять, насколько вообще его можно понять...

Въ этомъ пониманіи для насъ — нравственное удовлетвореніе и высокопоучительный урокъ, для него и для его памяти — слишкомъ, положимъ, опоздавшее, но все же не лишнее воздаяніе за долгіе годы преслѣдованій и душевныхъ мукъ...

V.

Петербургская дѣйствительность далеко не оправдала ожиданій Гоголя. Столица встрѣтила нашего идеалиста непривѣтливо и даже враждебно. Онъ сразу почувствовалъ себя въ ней сирымъ и одинокимъ. Устроиться на службѣ и облагодѣтельствовать родину оказалось на практикѣ совсѣмъ не такимъ легкимъ дѣломъ, какъ думалось раньше. Гоголь бросается въ разныя стороны, пробуетъ пристроиться къ канцеляріи или на сцену, прибѣгаетъ къ своему послѣднему рессурсу — издательству, и все напрасно. На домашнюю поддержку разсчитывать трудно, взятыя съ собою деньги, благодаря непрактичности и незнанію условій петербургской жизни, таяли слишкомъ быстро. Онъ чувствовалъ себя затерянным въ этой непріютной, сырой и холодной громадѣ, гдѣ никому нѣтъ дѣла до него самого и до обуревающихъ его тревогъ, гдѣ онъ, одинокій провинціалъ, никѣмъ не замѣченный, свободно могъ умереть съ голоду.

Какъ это ни было ему тяжело, онъ долженъ былъ признаться въ своихъ разочарованіяхъ близкимъ, которыхъ такъ обнадеживалъ незадолго передъ тѣмъ[1]. Матери онъ пишетъ (т. I, стр. 114): „На меня напала хандра или другое подобное, и я уже около недѣли сижу, поджавши руки, и ничего не дѣлаю“. Не можетъ онъ скрыть отъ нея и своихъ теперешнихъ отношеній къ Петербургу (стр. 115): „Петербургъ мнѣ показался вовсе не такимъ, какъ я думалъ. Я его воображалъ гораздо

[1] Срав. т. I, стр. 171. „Ничего нѣтъ хуже и горестнѣе для человѣка несбывшихся надеждъ“.

красивѣе, великолѣпнѣе, и слухи, которые распускали другіе о немъ, такъ же лживы. Жить здѣсь не совсѣмъ по-свински, т. е. имѣть разъ въ день щи да кашу, несравненно дороже, нежели думали". Отзывы его о центрѣ своихъ прежнихъ самыхъ задушевныхъ стремленій, „райскомъ мѣстѣ", дѣлаются все болѣе и болѣе рѣзкими (стр. 117—118): „на Петербургѣ нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились здѣсь, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе, да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ, да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездѣльныхъ, ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ". „Душныя стѣны столицы" (стр. 145) прямо давятъ его, и онъ всей душою рвется въ благословенную Малороссію. Удерживаютъ его отсутствіе денегъ и юношеское самолюбіе: слишкомъ много онъ наобѣщалъ, чтобы теперь можно было вернуться безъ урона для своего достоинства и самолюбія. Съ другой стороны, его ужасаетъ самая возможность потратить всю жизнь на „переписыванье старыхъ бредней и глупостей господъ столоначальниковъ" (стр. 125), на „пресмыканіе въ столицѣ здѣшней между сими служащими, издерживающими жизнь такъ безплодно" (стр. 124). И это послѣ „божественныхъ помысловъ", „вѣчно неумолкаемыхъ желаній души", которыя въ нашего мечтателя „вдохнулъ одинъ Богъ, претворивъ его въ жажду, ненасытимую бездѣйственною разсѣянностью свѣта" (стр. 124)! „Что за счастье дослужиться въ 50 лѣтъ до какого-нибудь статскаго совѣтника, пользоваться жалованьемъ, едва достающимъ себя содержать прилично, и не имѣть силы принести на копѣйку добра человѣчеству" (стр. 124—125)!

Онъ встрѣчаетъ однѣ неудачи „и, что всего страннѣе, тамъ, гдѣ ихъ вовсе нельзя было ожидать" (стр. 125) — подразумѣвается, конечно, провалъ „Ганца Кюхельгартена" и неудача протекцій и взятыхъ съ собою рекомендательныхъ писемъ, которыя и вообще то были ему очень непріятны (стр. 116), хотя къ нимъ приходилось не разъ прибѣгать (стр. 163). Тяжелѣе всего матеріальная зависимость. Ему приходится прибѣгать къ „благодѣяніямъ" „ангела-спасителя", „благодѣтеля, его превосходительства А. А. Трощинскаго", вручать ему свои письма къ матери незапечатанными и потомъ признаваться ей, что онъ „немного польстилъ ему" (стр.

138—139), — „прислуживаться“ древними монетами и рѣдкостями „одному вельможѣ“ (стр. 146), „выпрашивать“ деньги у Трощинскаго, хотя тотъ ясно давалъ понять, какъ ему это непріятно (стр. 148—149).

И все-таки Гоголь долженъ былъ „отхватать всю зиму въ лѣтней шинели“ (стр. 148) и утѣшать себя такими, наприм., разсужденіями (стр. 117): „Что за бѣда посидѣть какую-нибудь недѣлю безъ обѣда? Того ли еще будетъ на жизненномъ пути? Всего понаберешься!“

Только этими тяжелыми впечатлѣніями, полною растерянностью и можно объяснить два наиболѣе странныхъ факта этого періода жизни Гоголя: его поѣздку въ Любекъ и кратковременную службу въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

Мечтательное стремленіе „dahin!“ Ганца Кюхельгартена соединяется тутъ съ отчаяніемъ отъ неудачъ и ужасомъ передъ „безжизненнымъ пребываніемъ“ въ Петербургѣ. Гоголь бѣжитъ отъ себя, бѣжитъ, не отдавая себѣ отчета, куда и зачѣмъ онъ стремится. Онъ пробуетъ объяснить матери свое душевное состояніе — и не можетъ. Подыскивается одна мало-мальски подходящая причина за другой, онъ нѣсколько разъ противорѣчитъ себѣ; искреннія попытки разобраться въ сумятицѣ собственныхъ чувствъ смѣняются искусственными объясненіями и очень неудачными выдумками. Искреннее и глубокое раскаяніе перемежается съ хитрецой и большимъ „себѣ на умѣ“

То Богъ указалъ ему „путь въ землю чуждую, чтобы тамъ воспиталъ онъ свои страсти въ тишинѣ, въ уединеніи, въ шумѣ вѣчнаго труда и дѣятельности“, чтобы онъ самъ „по нѣсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы былъ въ состояніи разсѣевать благо и работать на пользу міра“ (стр. 124): только тамъ онъ могъ „передѣлать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвѣсть силою души въ вѣчномъ трудѣ и дѣятельности“ (стр. 127). То его заставила уѣхать за границу неудачная любовь къ какому то миѳическому „ангелу“, „слишкомъ высокому для каждаго, не только для него“, „божеству, но облеченному слегка въ человѣческія страсти“ (стр. 126). То онъ „бѣжалъ отъ самого себя“, старался „забыть все окружавшее“ (стр. 129), то онъ будто бы былъ понуждаемъ къ этому какою то (конечно, выдуманною) „большою сыпью“ (стр. 130): и, когда мать перепугалась, долженъ былъ идти на попятную (стр. 127): „Мнѣ кажется, я вамъ писалъ про мою грудную болѣзнь, отъ которой я насилу могъ дышать, которая, къ счастью, теперь меня

оставила“ (стр. 137). Онъ признается даже, что эта сумасбродная поѣздка была задумана уже давно (стр. 133) „сначала, за годъ передъ симъ, думалъ я: каковы то будутъ первыя впечатлѣнія при взглядѣ на совершенно новое, совершенно бывшее чуждымъ доселѣ для меня, на другіе нравы, другихъ людей! Какъ любопытство мое будетъ разгараться постепенно! Ничего не бывало. Я въѣхалъ такъ, какъ бы въ давно знакомую деревню, которую привыкъ видѣть часто“. Искреннѣе всего и ближе къ правдѣ онъ въ слѣдующемъ признаніи (стр. 136): „Одни только гордые помыслы юности, проистекавшіе, однако жъ, изъ чистаго источника, изъ одного только пламеннаго желанія быть полезнымъ, не будучи умѣряемы благоразуміемъ, завлекли меня слишкомъ далеко“. Позднѣе, указывая на всю тяжесть проводить лѣто въ Петербургѣ, онъ прибавляетъ (стр. 145) „не мудрено, когда прошлый годъ со мною произошло такое странное, безразсудное явленіе: я былъ утопающій, хватавшійся за первую попавшуюся ему вѣтку“.

Истративъ на поѣздку деньги, предназначенныя для уплаты процентовъ въ опекунскій совѣтъ, Гоголь прекрасно понималъ, что еще болѣе запутываетъ и безъ того тяжелое матеріальное положеніе семьи. Въ его письмахъ ярко проглядываетъ жгучее раскаяніе и отчаяніе, рядомъ съ которыми находятся совѣты, какъ раздобыть деньги для уплаты процентовъ, насколько можно ее „просрочить“, и комплименты по адресу сестеръ-любимицъ матери (стр. 129)[1].

Ему хотѣлось бы теперь одного (стр. 130) — „повергнуться въ объятья“ матери и излить передъ нею „изрытую и опустошенную бурями душу свою, разсказать всю тяжкую повѣсть свою“. При этомъ Гоголь дѣлаетъ очень любопытную попытку самоопредѣленія: „часто я думалъ о себѣ: зачѣмъ Богъ, создавъ сердце, можетъ, единственное, по крайней мѣрѣ, рѣдкое въ мірѣ, чистую, пламенѣющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, — зачѣмъ Онъ далъ всему этому такую грубую оболочку? Зачѣмъ Онъ одѣлъ все это въ такую страшную смѣсь противорѣчій, упрямства, дерзкой самонадѣянности и самаго униженнаго смиренія? Но

[1] Ср. стр. 158: Гоголь не поблагодарилъ сестру за собранныя ею свѣдѣнія и, когда она обидѣлась за это, въ письмѣ къ матери попробовалъ вывернуться такимъ образомъ: „Я не упом нулъ объ ней ни слова, потому что хотѣлъ писать къ ней особо. И для этого то самаго я и теперь въ письмѣ вашемъ не пишу ничего, относящагося къ ней“

мой бренный разумъ не въ силахъ постичь великихъ опредѣленій Всевышняго". Съ удивительною ловкостью онъ сумѣлъ успокоить мать, заставить ее забыть о своемъ поступкѣ и перешелъ въ перепискѣ отъ самообличеній и оправданій къ тону спокойному, увѣренному, зачастую даже наставительному[1]. Подобно матери, въ каждомъ своемъ шагѣ онъ видитъ высшее руководительство Промысла.

„Два дня только, какъ я пріѣхалъ изъ Гамбурга въ С.-Петербургъ. Богъ унизилъ мою гордость — Его святая воля! Но я здоровъ, и если мои ничтожныя знанія не могутъ доставить мнѣ мѣста, я имѣю руки, слѣдовательно, не могу впасть въ отчаяніе: оно — удѣлъ безумца. Одно только мое моленіе къ Богу, одно желаніе: пусть Онъ изгладитъ изъ сердца вашего сына неблагодарнаго, вмѣстѣ съ несчастіями, имъ вамъ нанесенными, и да осчастливитъ васъ счастіемъ моихъ добрыхъ и безцѣнныхъ сестеръ! Пусть онѣ будутъ вамъ утѣшеніемъ, пусть ни одна изъ нихъ не напомнитъ собою недостойнаго брата! Если же Всевышнему угодно будетъ дать мнѣ возможность и состояніе хотя со временемъ поправить разстройство и разореніе, мною вамъ причиненное, тогда только почту я, что надо мною произнесено Богомъ прощеніе. Не тревожьтесь, ради Бога, ради счастія вашихъ дѣтей, мыслью обо мнѣ. Но объ одномъ только прошу я васъ со слезами: не считайте меня способнымъ на развратъ, не принимайте безумія за него, хотя бы вы услышали, что нахожусь между развратнѣйшими изъ развратнѣйшихъ. Вѣрьте, что никогда не отступлю отъ священныхъ правилъ добродѣтели, которыя неизгладимымъ рѣзцомъ врѣзались мнѣ въ сердце" (стр. 137).

Даже свои неудачи склоненъ объяснять Гоголь велѣніями Промысла (стр. 125): „Люди, совершенно неспособные, безъ всякой протекціи, легко получали то, чего я, съ помощью своихъ покровителей, не могъ достигнуть. Не явный ли былъ здѣсь надо мною Промыслъ Божій? не явно ли Онъ наказывалъ меня этими всѣми неудачами, въ намѣреніи обратить на путь истинный?"[2].

Его „посѣщаетъ мысль", что недоразумѣнія между нимъ и матерью идутъ отъ „Самого Бога", „все это дѣ-

[1] Т. I. стр. 175, 180, 191—192. Указывая, между прочимъ, матери на свое стѣсненное матеріальное положеніе, въ письмѣ къ Данилевскому онъ вполнѣ опредѣленно упоминаетъ, такъ сказать, о „свободной наличности" (стр. 195): опять характерная черта двойственности.

[2] Срв. т. I, стр. 171, 172, 193.

лается съ намѣреніемъ": „можетъ быть, сѣются между нами огорченія для того только, чтобы мы могли потомъ безмятежно и радостно пользоваться жизнью" (стр. 134). „Пора бы, кажется, счастію обратиться къ намъ; но Провидѣніе, вѣрно, съ намѣреніемъ такъ долго медлитъ, и мы должны благословлять Его святую волю" (стр. 141). Реторически браня себя за то, что онъ приходитъ въ отчаяніе, хотя судьба послала ему такое рѣдкое сокровище, какъ мать, онъ прибавляетъ (стр. 155): „одно только заставляетъ меня терпѣть и покорствовать, что, вѣрно, Богъ, пославшій мнѣ такое рѣдкое благо въ этомъ мірѣ, имѣетъ обо мнѣ особенное Свое попеченіе". „Мнѣ вѣрится, что Богъ особенное имѣетъ надъ нами попеченіе: въ будущемъ я ничего не предвижу для себя, кромѣ хорошаго" (стр. 162).

Эти строки были написаны, когда Гоголь началъ уже приживаться въ Петербургѣ, приспособляться къ его своеобразной обстановкѣ. Но раньше ему пришлось выпить еще одну чашу униженій[1].

Исторія первоначальной службы Гоголя до сихъ поръ еще очень темна. Данныя его формуляра расходятся съ письмами и другими біографическими матеріалами. Извѣстно, что онъ служилъ вначалѣ въ департаментѣ удѣловъ[2], но въ письмахъ есть упоминанія и о какой то службѣ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ. Въ 1829 г. Гоголь пишетъ матери (стр. 139): „я надѣюсь получить довольно порядочное мѣсто въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ". Немного позднѣе мать его извѣщаетъ Косяровскаго (стр. 149). „Никоша мой служитъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ". Взялся за эту службу Гоголь не безъ колебаній (стр. 131): „я въ Петербургѣ могу имѣть должность, которую и прежде хотѣлъ, но какія то глупыя людскія предубѣжденія и предразсудки меня останавливали". Эти „глупыя предубѣжденія" были, впрочемъ, настолько сильны и у самого Гоголя, что онъ скоро оставилъ эту службу и старательно замалчивалъ ее, благо, онъ такъ мало прослужилъ, что не попалъ въ штатъ и даже не былъ внесенъ въ списки.

Условія, при которыхъ онъ получилъ это мѣсто, вскрываются клеветническими по своему основному тону статьями Булгарина.

---

[1] Нѣкоторые изъ дальнѣйшихъ фактовъ, по нашему указанію, вошли въ работу А. И. Кирпичникова: „Сомнѣнія и противорѣчія въ біографіи Гоголя" (Спб., 1900 г.).

[2] Сборникъ петербургскихъ студентовъ, 1857 г., т. I. Спб., стр. 345.

Булгаринъ ненавидѣлъ отъ всей души Гоголя и за его крупные, очень быстрые литературные успѣхи, и за его принадлежность къ Пушкинскому кружку, и за его насмѣшки надъ пресловутымъ „Фигляринымъ“. При жизни онъ обливалъ его помоями въ своей Сѣверной Пчелѣ, не постѣснился и про мертваго огласить позорящіе факты, пріукрасивъ ихъ и сгустивъ сильно краски.

По его словамъ (Сѣверная Пчела, 1854 г., № 175, стр. 829), „въ концѣ 1829 или въ началѣ 1830 года, хорошо не помню, одинъ изъ нашихъ журналистовъ, жившій тогда въ Почтамтской... сидѣлъ утромъ за литературною работою, какъ вдругъ зазвенѣлъ въ передней колокольчикъ, и въ комнату вошелъ молодой человѣкъ, бѣлокурый, низкаго роста, расшаркался и подалъ журналисту бумагу. Журналистъ, попросивъ посѣтителя присѣсть, сталъ читать поданную ему бумагу — это были похвальные стихи, въ которыхъ журналиста сравнивали съ Вальтеръ-Скоттомъ, Адиссономъ и т. д. Разумѣется, что журналистъ поблагодарилъ посѣтителя, автора стиховъ, за лестное о немъ мнѣніе и спросилъ, чѣмъ онъ можетъ ему служить. Тутъ посѣтитель разсказалъ, что онъ прибылъ въ столицу изъ учебнаго заведенія искать мѣста и не знаетъ, къ кому обратиться съ просьбою. Журналистъ просилъ посѣтителя придти черезъ два дня, обѣщалъ въ это время похлопотать у людей, которые могутъ опредѣлять на мѣста. Журналистъ въ тотъ же день пошелъ къ покойному М. Я. фонъ-Фоку, управлявшему III отдѣленіемъ собственной канцеляріи Его Императорскаго Величества, разсказалъ о несчастномъ положеніи молодого человѣка и усердно просилъ спасти его и пристроить къ мѣсту, потому что молодой человѣкъ казался близкимъ къ отчаянію. Кто только зналъ покойнаго М. Я. фонъ-Фока, тотъ умѣлъ цѣнить его добрую, благородную, нѣжную душу. Журналиста зналъ М. Я. фонъ-Фокъ еще въ дѣтствѣ, въ родительскомъ домѣ, бывъ самъ молодымъ человѣкомъ офицеромъ въ легко-конномъ харьковскомъ полку, и потому охотно согласился помочь пріѣзжему изъ провинціи, и далъ мѣсто Гоголю въ канцеляріи III отдѣленія. Не помню, сколько времени прослужилъ Гоголь въ этой канцеляріи, въ которую онъ являлся только за полученіемъ жалованія; но знаю, что какой то пріятель Гоголя принесъ въ канцелярію просьбу объ отставкѣ и взялъ обратно его бумаги. Самъ же Гоголь исчезъ, куда — неизвѣстно! У журналиста до сихъ поръ хранятся похвальные стихи Гоголя и два

его письма (о содержаніи которыхъ считаю излишнимъ извѣщать), но болѣе Гоголь журналиста не навѣщалъ. Вотъ истина, которую можно подтвердить стихами и двумя письмами!"

Въ другомъ мѣстѣ онъ же говоритъ (ibid., № 99, стр. 394): „Г. Гоголь, пріѣхавъ въ Петербургъ, явился къ первому ко мнѣ, съ тетрадью малороссійскихъ разсказовъ и повѣстей, которые послѣ по совѣту пріятелей, назвалъ: „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки". Еще при жизни Гоголя Булгаринъ писалъ (Сѣверная Пчела, 1847, № 8): „Г. Гоголь едва ли не съ первыми нами познакомился, прибывъ въ Петербургъ изъ Малороссіи, прежде чѣмъ напечаталъ первое свое сочиненіе, и еслибъ не увлекся духомъ партіи, то, вѣрно послушался бы нашихъ совѣтовъ, пошелъ бы въ литературѣ чистымъ и свѣтлымъ путемъ, проложеннымъ Карамзинымъ и Жуковскимъ, и теперь, съ своимъ оригинальнымъ талантомъ, стоялъ бы высоко". Стихотвореніе Гоголя „Италія" было напечатано въ журналѣ Греча и Булгарина въ 1829 г.

При всей своей подлости, Булгаринъ не могъ цѣликомъ выдумать всей этой исторіи и долженъ былъ имѣть въ рукахъ оправдательные документы.

Его поступокъ нашелъ себѣ должную оцѣнку въ письмѣ И. С. Аксакова къ отцу („И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", III, М., 1892 г., стр. 64—66): „эти двѣ статьи гнусны въ высшей степени по той явной цѣли, съ которой писаны, по старанію представить Гоголя человѣка подлецомъ, и по самому тону. Вѣрно, онѣ вызовутъ возраженія. Очень могло быть (Булгаринъ обѣщаетъ, въ случаѣ нужды, напечатать и стихи и письмо Гоголя, послѣднее чуть ли не о деньгахъ), что мальчикъ Гоголь, попавши въ Петербургъ и не имѣя ни о чемъ вѣрнаго понятія, ни о Булгаринѣ, ни о III отдѣленіи, послѣдовалъ совѣту какого-нибудь пріятеля, увѣрившаго его, что таковъ обычай и порядокъ, что такъ у практическихъ людей заведено и проч. Вообще люди съ натурами чисто художническими способны дѣлать страшныя глупости и простымъ, яснымъ, здравымъ умомъ не отличаются большею частью. Такъ и должно быть. Все это очень понятно и легко можетъ быть объяснено... Человѣкъ самъ себя очищаетъ, внутренняя его работа надъ собою есть тайна между нимъ и Богомъ, и только Богу извѣстно, какія плевелы жили въ его душѣ и исторгнуты имъ... Вотъ теперь поднимется печатный споръ о томъ, подлецъ ли Гоголь или нѣтъ!!! Очень можетъ быть, что онъ и былъ въ состо-

яніи, въ первое время жизни, сдѣлать маленькую подлость, которая могла не казаться ему настоящею подлостью, но все это ничего не значитъ передъ его смертью, передъ трудами его жизни. Онъ, болѣвшій своимъ несовершенствомъ, онъ, по собственнымъ словамъ, навязывавшій или преслѣдовавшій въ своихъ геройхъ собственные свои недостатки, конечно, носилъ въ себѣ много и дряни, отъ которой и освобождался постепенно"... Къ этимъ словамъ, собственно, нечего прибавить. Только отчаяніе и „невѣдѣніе творимаго" могли погнать Гоголя къ Булгарину и фонъ-Фоку. Понявъ, куда онъ попалъ, Гоголь поспѣшилъ „отрясти прахъ отъ ногъ своихъ" и стереть даже самое воспоминаніе объ этомъ наиболѣе непріятномъ эпизодѣ своей жизни.

Небо надъ нимъ начало уже постепенно проясняться. Онъ былъ слишкомъ живучъ, жизнеспособенъ и энергиченъ, чтобы надолго отдаться отчаянію. Медленно, но неуклонно идетъ онъ къ своей цѣли — завоевать себѣ опредѣленное, независимое положеніе въ Петербургѣ. У него завязываются знакомства и связи (стр. 174, 175, 188, 196, 202), онъ входитъ въ кругъ художниковъ (стр. 158) и литераторовъ, сближается съ Пушкинскимъ кружкомъ, получаетъ уроки и литературныя занятія. Онъ не только свыкается и примиряется съ Петербургомъ, но и постепенно втягивается въ его жизнь. Ему и жаль прежнихъ иллюзій, и немножко смѣшнымъ кажется самое разочарованіе[1], отъ котораго не такъ то легко было отдѣлаться; практическія нотки мѣстами звучатъ очень сильно[2]:

„Въ столицѣ нельзя пропасть съ голоду имѣющему хотя скудный отъ Бога талантъ" (стр. 145). „Я совершенно потеряю все, если удалюсь изъ Петербурга. Здѣсь только человѣку достигнуть можно чего-нибудь, тутъ тысячи путей для него, нужно только употребить терпѣніе, съ которымъ можно таки дождаться своего" (стр. 152).

Мечта о службѣ окончательно разлетѣлась при грубыхъ столкновеніяхъ съ дѣйствительностью. Гоголь тѣшитъ еще себя иллюзіями славы художника и педагога, но литература захватываетъ его все сильнѣе и сильнѣе, призваніе опредѣлило, наконецъ, настоящій жизненный путь.

---

[1] I, стр. 179 (Данилевскому); „я думаю, нами обоими не слишкомъ довольны дома: мною, что вмѣсто министра сдѣлался учителемъ, тобою — что изъ фельдмаршаловъ попалъ въ юнкера".

[2] Ср., наприм., т. I, стр. 248, 170: „мнѣ странно только было найти въ этомъ человѣкѣ... черты юношеской неосновательности".

Очень ярко сказывается въ немъ чувство литературнаго достоинства. Когда мать приписала ему нѣсколько статей въ журналѣ Свиньина, онъ жестоко обидѣлся (стр. 167): „зачѣмъ марать мое доброе, еще незапятнанное ничѣмъ имя?.. Я, посвятившій себя всего пользѣ, обрабатывающій себя въ тишинѣ для благородныхъ помысловъ, пущусь писать подобныя глупости! Унижусь до того, чтобы описывать презрѣнную жизнь какихъ то низкихъ тварей, и такимъ площаднымъ, вялымъ слогомъ!“..

Это пишетъ будущій авторъ „Шинели“, „Ревизора“, „Женитьбы“ и „Тяжбы“!..

Пока онъ не выходитъ еще изъ сферы малорусскихъ литературныхъ традицій. Родина слишкомъ ярко еще рисуется въ его творческомъ воображеніи, тоска по ней и ея идеализація не совсѣмъ еще исчезли изъ его души, а спросъ на все малорусское былъ очень значителенъ.

Въ другомъ мѣстѣ[1] мнѣ приходилось уже указывать, что малороссійскія повѣсти Гоголя не создали интереса къ Малороссіи въ тогдашнемъ русскомъ обществѣ, а, наоборотъ, сами шли навстрѣчу уже опредѣлившемуся и сложившемуся интересу. Недаромъ въ 1829 году Гоголь писалъ матери изъ Петербурга: „здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское“... Въ погонѣ за „мѣстнымъ“ и „историческимъ“ колоритомъ, свѣжестью и своеобразіемъ красокъ, непосредственностью и цѣльностью жизни, русскій романтизмъ 20-хъ и 30-хъ годовъ широко раздвинулъ литературный горизонтъ своихъ поклонниковъ — „отъ Перми до Тавриды, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, отъ потрясеннаго Кремля до стѣнъ недвижнаго Китая“. Малорусское прошлое и настоящее давали слишкомъ много оригинальныхъ, глубоко захватывающихъ поэтическихъ чертъ, чтобы романтикъ ими не воспользовался. „Гетьманщина“ и малорусскій мужикъ на много лѣтъ захватили для себя прочную позицію въ поэзіи „хладнаго Сѣвера“, дали матеріалъ для многочисленныхъ романовъ, балладъ, думъ, поэмъ и пѣсенъ. Но тамъ шелъ свой процессъ подъема народнаго самосознанія, литературной демократизаціи, идеализаціи прошлаго. Близость настроеній, общность интересовъ и взглядовъ привели къ литературному сближенію. Одни изъ малороссовъ цѣликомъ уходятъ въ русскую литературу,

[1] Къ исторіи малорусск. лит. 20-хъ и 30-хъ годовъ XIX в., I, стр. 1—2. Кіевъ, 1900 г.

сохраняя, однако, симпатіи къ своей родинѣ и пропагандируя ее въ новой общественной средѣ; другіе продолжали работать на „родной нивѣ“, принимая участіе и въ трудѣ сосѣдей.

Гоголь прямо засыпаетъ своихъ родныхъ просьбами собирать матеріалы для его малорусскихъ повѣстей. Онъ боится опереться на личныя воспоминанія, прибѣгаетъ къ этнографическимъ записямъ матери и сестеръ, проситъ ихъ вездѣ собирать данныя про „старовину“ и остатки прежняго украинскаго быта[1].

Все это вырастаетъ на очень сложной психической почвѣ. Напоминанія и воспоминанія о Малороссіи дороги ему, потому что тоска по родинѣ, и въ особенности по ея веснѣ (I, стр. 122—123, 179, 212, 213, 242, 247), все еще сильна у него[2]. Но у него есть и стремленіе воспользоваться спросомъ на все малорусское (стр. 121): „ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе: если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ — въ третьему, и такъ далѣе — самая малость иногда служитъ большою помощью“. Къ этому примѣшиваются и затаенныя горделивыя мечтанія (стр. 128): „принося чувствительнѣйшую и невыразимую благодарность за ваши (пишетъ онъ матери) драгоцѣнныя извѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдительно не оставлять и впредь таковыми письмами. Въ тиши уединенія я готовлю запасъ, котораго, порядочно не обработавши, не пущу въ свѣтъ; я не люблю спѣшить, и тѣмъ болѣе занимать (?) поверхностно. Прошу также, добрая и несравненная маменька, ставить какъ можно четче имена собственныя и вообще разныя малороссійскія проименованія. Сочиненіе мое, если когда выйдетъ, будетъ на иностранномъ языкѣ, и тѣмъ болѣе мнѣ нужна точность, (чтобы) не исказить неправильными именованіями существеннаго имени націи“.

Но вышло не „сочиненіе на иностранномъ языкѣ“ (Гоголь самъ про себя говоритъ, — I, стр. 197 — „то-то онъ еще сызмалу былъ затѣйникъ“, но, можетъ быть, это только обычная у него мистификація), а „Вечера“,

---

[1] См. т. I, стр. 119—123, 128, 140, 144—145, 190, 238, 239 и гр.

[2] Гоголь вообще страстно любилъ природу (наприм., I, стр. 223: „можетъ быть, нѣтъ въ мірѣ другого, влюбленнаго съ такимъ пступленіемъ въ природу, какъ я Я боюсь выпу тить ее на минуту, ловлю всѣ движенія ея, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе открываю въ ней неуловимыхъ прелестей“. Сѣверная природа ему вообще не по душѣ (I, стр. 219): „мнѣ надоѣло сѣрое, почти зеленое сѣверное небо такъ же, какъ и тѣ однообразно-печальныя сосны и ели, которыя гнались за мною по пятамъ отъ Петербурга до Москвы“.

въ которыхъ „бенгальское освѣщеніе" природы и навѣянный украинскими народными пѣснями страстный лиризмъ такъ своеобразно переплетаются съ юморомъ и затаенною грустью...

Гоголь весь охваченъ теперь обаяніемъ первыхъ литературныхъ успѣховъ, своимъ сближеніемъ съ корифеями русской литературы.

Про одну изъ своихъ повѣстей онъ пишетъ матери (стр. 190): „она понравилась здѣсь всѣмъ, начиная отъ государыни" — и кончая наборщиками (стр. 185 письмо къ Пушкину): „любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворотившись къ стѣнкѣ. Это меня нѣсколько удивило; я къ фактору, и онъ, послѣ нѣкоторыхъ ловкихъ уклоненій, наконецъ, сказалъ, что штучки, которыя изволили прислать изъ Павловска для печатанія, очинно до чрезвычайности забавны и наборщикамъ принесли большую забаву. Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусѣ черни" (Ср. I, стр. 201).

Чѣмъ больше отдалялась и блекла Малороссія, чѣмъ крѣпче становились петербургскія связи, тѣмъ глубже входилъ Гоголь въ русло русской литературы, не теряя своей оригинальной окраски. Было только одно колебаніе, возвращеніе къ прошлому подъ вліяніемъ возобновленныхъ впечатлѣній родины — въ эпоху „Миргорода", а потомъ процессъ перерожденія пошелъ еще быстрѣе и сильнѣе. Тутъ сказалось и естественное развитіе таланта съ его глубокимъ реализмомъ, отсутствіемъ „выдумки", стремленіемъ цѣпляться за текущую дѣйствительность; тутъ дали себя знать и вліяніе Пушкина и Пушкинскаго кружка (въ общемъ сильно преувеличенное біографами), и отраженіе критики Бѣлинскаго, пока еще совершенно незатронутое изслѣдователями...

VI.

Каковы вообще были отношенія Гоголя къ Пушкину и Пушкинскому кружку?

Общепринятый взглядъ рисуетъ такую картину.

Наивный и невѣжественный провинціалъ, творившій безотчетно и безсознательно, очень легко относившійся къ своему колоссальному таланту, по счастливому случаю попадаетъ въ кругъ передовыхъ литераторовъ своего времени. Тамъ его образовали и довоспитали, за-

ставили серьезнѣе отнестись къ своему исключительному дарованію, приняться за болѣе крупные труды, сознать вполнѣ свое призваніе. Благодаря этому его смѣхъ дѣлался все болѣе и болѣе глубокимъ, захватывающимъ, серьезнымъ; въ немъ, наконецъ, зазвучали „невѣдомыя слезы“ и проглянули „горячія искры вѣчной, могучей любви“. Въ этомъ процессѣ развитія особенно крупную роль сыграла исторія постановки „Ревизора“: вызванная имъ буря показала Гоголю все значеніе смѣха и всю отвѣтственность роли писателя и сатирика...

Нетрудно замѣтить, насколько упрощена и далека отъ всей сложности истиннаго положенія дѣла эта схема.

Мы видѣли, сколько горделиваго сознанія своей исключительности и всего величія своего будущаго призванія было у Гоголя въ юные годы его жизни. Послѣ нѣсколькихъ колебаній (въ сторону чиновничьей, артистической и педагогической карьеры) онъ окончательно останавливается на литературѣ и съ нею связываетъ свои горделивые замыслы, которые, какъ и всегда и во всемъ у него, перебиваются моментами сомнѣнія и самоуничиженія. Еще до болѣе тѣснаго сближенія съ Пушкинскимъ кружкомъ въ его творчествѣ много реализма, въ смѣхѣ (вспомнимъ, наприм., „Сорочинскую ярмарку“ и въ особенности ея конецъ) проглядываетъ грусть, въ картинахъ воспроизводимой жизни уже намѣчаются черты „пошлости пошлаго человѣка“ (Шпонька, какъ прототипъ Подколесина и какъ ранній типъ малорусскаго провинціальнаго дворянства). Сколько глубокой жизненности въ Ѳомѣ Григорьевичѣ и самомъ Рудомъ Панькѣ, этомъ Гоголевскомъ Бѣлкинѣ, сквозь призму взглядовъ котораго мы невольно пропускаемъ всѣ разсказы „Вечеровъ“!

Пушкину, Губеру и многимъ другимъ современникамъ „Вечера“ показались большой литературной новинкой. Около нихъ скоро закипѣла литературная война, въ которой приняли участіе: Пушкинъ, Полевой, Булгаринъ, В. Ушаковъ и др. И „Вечера“, и вызванная ими полемика очень скоро выдвигаютъ Гоголя въ первые ряды тогдашней литературы, даютъ ему видное мѣсто въ кругу литературной аристократіи, которая вообще держала себя замкнуто и гордо и которая очень скоро дѣлается ему близкой [1].

---

[1] См., т. I. стр. 321: „Наши почти всѣ разъѣхались: Пушкинъ въ деревню, Вяземскій уѣхалъ за границу, для поправленія здоровья своей дочери“.

Какъ наблюдательный и чуткій человѣкъ, Гоголь сразу же долженъ былъ понять все значеніе этого факта: тѣ ряды, на недоступность и замкнутость которыхъ такъ много жаловались въ обществѣ и литературѣ, очень охотно разступились передъ нимъ, давъ высшую санкцію его талантливости. Тонъ Гоголя замѣтно крѣпнетъ въ письмахъ, мѣстами даже проглядываетъ повышенное литературное самолюбіе.

Но онъ вообще былъ всегда настолько скрытенъ, самостоятеленъ и независимъ въ своемъ развитіи и своихъ отношеніяхъ, настолько уже опредѣлился и сложился къ этому времени, что не могъ измѣниться слишкомъ рѣзко подъ чужимъ вліяніемъ: онъ — все тотъ же „таинственный карло", всегда вѣрный себѣ и послѣдовательный...

Конечно, въ тогдашнихъ литературныхъ кругахъ наибольшее вліяніе на него могъ оказать Пушкинъ — насколько вообще можно допустить вліяніе со стороны на Гоголя... Не слѣдуетъ только его преувеличивать.

Вспомнимъ, какіе критическіе, прямо страшные годы переживалъ тогда самъ великій писатель...

Измученный долгами, административными и цензурными преслѣдованіями, всей путаницей своихъ семейныхъ, свѣтскихъ, придворныхъ и литературныхъ отношеній, великій поэтъ, „усталый рабъ" по собственному признанію, приходитъ къ безотрадному жизненному выводу: „на свѣтѣ счастья нѣтъ, а есть покой и воля", проповѣдуетъ „угрюмое" отчужденіе отъ толпы, отрекается отъ своихъ прежнихъ увлеченій „народными правами" и освобождаетъ свое творчество отъ злободневныхъ вопросовъ. Отъ опостылѣвшей пошлой и низменной дѣйствительности онъ все болѣе и болѣе уходитъ въ міръ античной, въ особенности эллинской красоты, отзвуковъ старины или фантастическихъ призраковъ. Только вполнѣ опредѣлившееся и окрѣпнувшее реальное чутье, опиравшееся на основныя особенности поэтической организаціи и естественное развитіе таланта, помѣшало ему вернуться къ „высокопарнымъ мечтаньямъ" юности, снова окунуться въ нараставшія и набѣгавшія отовсюду волны романтизма, который все глубже и глубже захватывалъ русское общество. Искренній и яркій байронизмъ Лермонтова, трескучій и взвинченный романтизмъ Марлинскаго, Полевого и Кукольника, романтическія томленія „идеалистовъ 30-хъ годовъ" — симптомы одного и того же общественнаго настроенія, которому не поддавался только одинъ Пушкинъ.

Переданные Пушкинымъ Гоголю сюжеты „Ревизора"

и „Мертвыхъ Душъ“ подъ его собственнымъ перомъ, конечно, получили бы совершенно иное развитіе, чѣмъ какъ ихъ разработалъ Гоголь: вспомнимъ хотя бы тягостное впечатлѣніе, произведенное на великаго поэта чтеніемъ первыхъ набросковъ „Мертвыхъ Душъ“, и его же знаменательное восклицаніе: „Боже! какъ грустна наша Россія!“ Многое въ нихъ, конечно, было для него открытіемъ и даже откровеніемъ. Самъ онъ, несомнѣнно, разработалъ бы этотъ сюжетъ въ духѣ своего „Русскаго Пелама“, а не въ видѣ энциклопедіи, „Божественной Комедіи“ русской жизни, какъ это получилось у Гоголя. Вопросъ шелъ только о формѣ, повѣствовательныхъ рамкахъ, которыя у обоихъ писателей должны были наполниться совершенно различнымъ содержаніемъ.

Пушкинъ настойчиво совѣтовалъ Гоголю взяться за болѣе крупную литературную работу, восполнять пробѣлы своего литературнаго образованія, указалъ ему отличительную особенность его таланта — необыкновенно тонкое пониманіе и изображеніе „пошлости пошлаго человѣка“. Все это, конечно, очень важно, но отъ него еще очень далеко до предопредѣленія, такъ сказать, будущаго содержанія произведеній Гоголя, систематическаго воспитательнаго воздѣйствія на него, даже его пересозданія.

Потрясенный всею неожиданностью катастрофы, Гоголь, при первомъ извѣстіи о трагической гибели Пушкина, вполнѣ естественно и искренно преувеличиваетъ значеніе покойника въ своемъ внутреннемъ развитіи.

Плетневу онъ писалъ (т. I, стр. 432): „Что мѣсяцъ, что недѣля, то новая утрата: но никакой вѣсти хуже нельзя было получить изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Что скажетъ онъ, что̀ замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что̀ меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу... Боже! нынѣшній трудъ мой („Мертвыя Души“), внушенный имъ, его созданіе... Я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался за перо — и перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска“!...[1].

[1] Ср. 441: „Я долженъ продолжать мною начатый большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе“.

Еще сильнѣе и выразительнѣе письмо къ Погодину (стр. 434): „Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь, какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Мои свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собой только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь; мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его[1] не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?...[2].

Эти признанія особенно характерны тѣмъ, что мало говорятъ о реальномъ вліяніи самого Пушкина и выдвигаютъ на первый планъ его идеализованное значеніе — такъ сказать, значеніе олицетворенія литературной совѣсти Гоголя. Если принять во вниманіе разъѣзды обоихъ писателей, то ихъ непосредственное общеніе окажется очень непродолжительнымъ. Гоголь больше считался съ идеальнымъ образомъ Пушкина, выношеннымъ въ своей душѣ, чѣмъ съ самимъ великимъ поэтомъ...

Для него теперь Пушкинъ — символъ русской поэзіи и печальной судьбы ея лучшихъ представителей; позднѣе, какъ обобщенный и идеализованный образъ (вспомнимъ извѣстное начало седьмой главы „Мертвыхъ Душъ"), онъ же — антитеза творчеству и судьбѣ писателя, „дерзнувшаго вызвать наружу на всенародныя очи всю страшную, потрясающую тину мелочей".

Въ 1837 г., по поводу смерти Пушкина, онъ пишетъ (стр. 434—35): „Ты приглашаешь меня ѣхать къ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобы повторить вѣч-

---

[1] Конечно, труда.

[2] Ср. стр. 435 (письмо Прокоповичу): „Отъ вашихъ хладныхъ береговъ такія грустныя несутся вѣсти. Великаго не стало. Вся жизнь моя теперь отравлена"; стр. 454: „смерть Пушкина, кажется, какъ будто отняла ото всего, за что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекать".

ную участь поэтовъ на родинѣ?... Для чего я пріѣду? Не видалъ я развѣ дорогого сборища нашихъ просвѣщенныхъ невѣждъ? Ты пишешь, что всѣ люди, даже холодные, были проникнуты этою потерею. А что эти люди готовы были дѣлать ему при жизни? Развѣ я не былъ свидѣтелемъ горькихъ, горькихъ минутъ, которыя приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что самъ монархъ (буди за то благословенно имя его!) почиталъ (его) талантъ? О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство [1], сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильны причины, когда онѣ меня заставили рѣшиться на то, на что бы я не хотѣлъ рѣшиться, т. е. на бѣгство за границу..."

Его „одолѣваютъ теперь такія печальныя мысли", что онъ даже „опасается быть несправедливымъ теперь ко всему, что должно утѣшать и восхищать душу: можетъ быть, это отчасти дѣйствіе той ужасной утраты, которую „понесло русское общество", и въ которой самъ Гоголь „до сихъ поръ не имѣетъ силъ увѣриться, которая, кажется, какъ будто бы оборвала въ его жизни лучшія ея украшенія и сдѣлала ее обнаженнѣе и печальнѣе" (стр. 444).

Въ 1839 году онъ писалъ Плетневу (т. II, стр. 12): „Одного я никакъ не могъ предчувствовать — смерти Пушкина, и я разстался съ нимъ, какъ будто бы разлучаясь на два дня. Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ — и Пушкина нѣтъ! Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ? Къ чему вамъ теперь ваши милыя прежнія привычки, ваша прежняя жизнь? Бросьте все, и ѣдемъ въ Римъ! О, еслибъ вы знали, какой тамъ пріютъ для того, чье сердце испытало утраты. Какъ наполняются тамъ незамѣстимыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу!..."

Вся острота утраты могла смягчаться только мистико-эстетическими вѣяніями римской жизни...

Глубокое сожалѣніе къ трагической жертвѣ всей ненормальности нашего общественнаго строя и преклоненіе передъ геніальнымъ вождемъ новѣйшей русской

[1] Такое же презрительное и знаменательное для своего времени и для характеристики взглядовъ Гоголя выраженіе, какъ „офицерье" (т. I, стр. 321) и „ученый дрязгъ нашъ" (т. I, стр. 320). По поводу историческихъ пьесъ Погодина Гоголь проситъ его „ради Бога" прибавить „боярамъ глупой физіономіи" (стр. 235—6): „Это необходимо. Такъ даже, чтобы они непремѣнно были смѣшны. Чѣмъ знатнѣе, чѣмъ выше классъ, тѣмъ онъ глупѣе. Это вѣчная истина. А доказательство въ наше время".

литературы, принявшимъ такъ привѣтливо и ласково своего молодого товарища-новичка, не слѣдуетъ смѣшивать у Гоголя съ признаніемъ своей большой литературной зависимости отъ Пушкина: во всемъ этомъ слишкомъ сильно перепутались и „ума холодныя наблюденія“, и „сердца горестныя замѣты“; склонный вообще къ гиперболизаціи собственныхъ ощущеній, Гоголь имѣлъ для этого въ данномъ случаѣ болѣе чѣмъ достаточныя основанія.

Уже въ концѣ 1837 г. онъ писалъ Жуковскому (стр. 459): „О, Пушкинъ, Пушкинъ! Какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе! Что бы за жизнь моя была послѣ этого въ Петербургѣ: но какъ будто съ цѣлью всемогущая рука Промысла бросила меня подъ сверкающее небо Италіи, чтобы я забылъ о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красы. Она замѣнила мнѣ все“... Все, даже Пушкина!

Идеи „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“ назрѣвали и росли постепенно, независимо отъ Пушкина и незамѣтно для самого автора; то, что возникало подъ непосредственнымъ наблюденіемъ Пушкина, было оставлено далеко позади послѣдующими совершенно самостоятельными переработками, углубленіемъ и расширеніемъ темъ. Самъ Гоголь не безъ удивленія приглядывался къ таинственному и своеобразному прорастанію въ его душѣ сѣмени, заброшеннаго Пушкинымъ, — далеко не во всемъ отдавалъ себѣ отчетъ и иногда очень оригинально понималъ свое собственное творчество...

Однако, трезвый и ясный умъ Пушкина, при всей его обаятельности, долженъ былъ имѣть сдерживающее вліяніе на ростъ болѣзненнаго мистицизма въ душѣ Гоголя, и въ этомъ отношеніи безвременная смерть великаго поэта была наибольшей личной потерей для геніальнаго сатирика.

Такой роли пушкинскій кружокъ, послѣ смерти своего главы, конечно, не могъ сыграть въ жизни Гоголя.

Присущее всѣмъ его выдающимся членамъ высокое, идеалистическое пониманіе искусства и его общественной роли, примиреніе съ современнымъ режимомъ и почти полное отсутствіе критическаго къ нему отношенія, общая слабость политическаго и соціальнаго сознанія, одностороннее пониманіе литературнаго реализма, — все это если и вліяло на Гоголя, то исключительно въ отрицательномъ отношеніи: усиливало вну-

тренній разладъ, не давало никакой точки опоры, не только не помогало, но даже мѣшало разобраться въ нестрыхъ проявленіяхъ современной дѣйствительности.

Жуковскій [1], „мечтательнаго зритель“, „безпечный жилецъ земли“, „вѣчный дитя“, къ тому времени все болѣе и болѣе дѣлался мистикомъ и піэтистомъ, дошелъ даже до проповѣди духовидѣнія. Ему всегда былъ чуждъ реализмъ Гоголевскаго творчества, и, конечно, его симпатіи были на сторонѣ „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“, „Развязки Ревизора“ и „Размышленій о литургіи“.

Кн. Вяземскій, бурливщій и даже неистовавшій раньше, теперь „поумнѣлъ“, со многимъ примирился, еще отъ большаго отступился и вызвалъ такую, напр., характеристику императора Николая въ его знаменательномъ разговорѣ съ Жуковскимъ (1830 года, см. „Рус. Старину“, 1902 г., т. IV, стр. 79—80): „Ты имѣлъ связь съ Вяземскимъ, который дѣлалъ множество непозволительныхъ поступковъ, лгалъ самъ, подбивалъ лгать и дѣйствовать другихъ, былъ настоящій boute-feu (зажигатель). До вчерашняго дня онъ былъ таковъ. Теперь я и самъ позволю тебѣ его обнять — можно. Я все, все скажу ему самъ, когда увижу его: теперь онъ все сгладилъ своимъ раскаяніемъ! Онъ поступилъ такъ, какъ очень рѣдко поступаютъ, — смирился, писалъ къ великому князю. Еслибы онъ за четыре года сдѣлалъ это съ покойнымъ императоромъ, то получилъ бы тоже прощеніе, и тотъ открылъ бы ему объятія; теперь все забыто“...

Слишкомъ мягкій и елейный Плетневъ, съ его „прекрасной душой“,

Святой исполненной мечты,
Поэзіи живой и ясной,
Высокихъ думъ и простоты,

человѣкъ черезчуръ незлобивый и вялый, склонный къ компромиссамъ и примиренію, могъ дать еще меньше трезваго отношенія къ дѣйствительности, вѣрной ея критической оцѣнки, яснаго общественнаго и литературнаго міровоззрѣнія, какъ и Языковъ, Погодинъ, Шевыревъ съ ихъ беззаконною смѣсью славянофильства и идей „официальной народности“.

Плодотворнѣе могло бы быть сближеніе съ кружк-

---

[1] Гоголь говоритъ про его пріѣздъ въ Римъ (т. I, стр. 553): „Это былъ какой то небесный посланникъ ко мнѣ, какъ тотъ мотылекъ, имъ описанный, влетѣвшій къ узнику, хотя Римъ ни въ какую минуту горя нельзя назвать темницею“. — Ср. т. I, стр. 883 и проч.

комъ „идеалистовъ 30-хъ годовъ“, но они опредѣлились и сложились слишкомъ поздно для Гоголя, когда онъ былъ уже охваченъ весь мистическимъ идеализмомъ, и когда для него не было уже возврата.

При всемъ желаніи даже, онъ не можетъ сойтись съ молодыми Аксаковыми и ихъ ближайшими друзьями, сознательно сторонится отъ Бѣлинскаго и его единомышленниковъ. Отталкивали отъ нихъ Гоголя прежде всего и больше всего отсутствіе у него философской закваски, темное чутье всей безпочвенности и искусственности молодыхъ кружковыхъ увлеченій, которымъ онъ не умѣлъ противопоставить своей болѣе ясной и трезвой программы. Примкни онъ къ нимъ, ему пришлось бы доучиваться и переучиваться въ то время, какъ ему уже настоятельно хотѣлось учить. Какъ зрѣлый человѣкъ и тонкій наблюдатель, онъ прекрасно могъ понимать всѣ шероховатости и взвинченность новыхъ идей и настроеній, но не всегда умѣлъ выдѣлять изъ нихъ здоровыя зерна, давшія потомъ сторицею плодъ.

Подобно Пушкину, онъ прозрѣваетъ силу Бѣлинскаго, также вступаетъ съ нимъ въ тайныя сношенія и не рѣшается пренебречь ожесточенною ненавистью къ нему своихъ литературныхъ друзей-аристократовъ. Онъ отталкиваетъ великаго критика своею скрытностью и неискренностью, платитъ ему за страстное преклоненіе даже неблагодарностью, хотя прислушивается внимательно къ его статьямъ и черпаетъ оттуда общія идеи объ искусствѣ, общественной роли поэзіи, значеніи смѣха, комедіи и сатиры, отплачивая за это широкимъ воспитательнымъ значеніемъ воспроизводимыхъ жизненныхъ картинъ.

Въ своемъ творческомъ развитіи, полномъ всевозможныхъ противорѣчій и колебаній, Гоголь долженъ былъ, такимъ образомъ, опираться только на самого себя.

VII.

Нами была уже намѣчена выше борьба въ душѣ юнаго Гоголя реалистическихъ и идеалистическихъ, практическихъ и ультра-романтическихъ элементовъ, сложная смѣсь простоты, искренности, непосредственности чувства — и скрытности, двойной игры въ его отношеніяхъ даже къ самымъ близкимъ людямъ.

Сближеніе съ Пушкинскимъ кружкомъ нисколько не сгладило этихъ противорѣчій. Въ перепискѣ этого періода (1831—1836 гг.) они даже сказываются иногда рѣзче прежняго. Прежде всего бросаются въ глаза яркіе

реалистическіе проблески на общемъ романтическомъ фонѣ. Въ шуточномъ, положимъ, письмѣ къ Данилевскому (т. I, стр. 200) онъ подчеркиваетъ, что „если не прикрѣпить красавицу къ землѣ, то черты ея будутъ слишкомъ воздушны, неопредѣленно-общи и потому безхарактерны“: пріуроченіе къ „чертамъ красавицы“ того, что лежало въ основѣ всего Гоголевскаго творчества. Кукольника, за его трескучій, ложно-величавый паѳосъ, онъ называетъ „возвышеннымъ“ и даетъ о немъ такіе, наприм., полные глубокаго сарказма и тонкаго литературнаго чутья отзывы (стр. 211): „Возвышенный все тотъ же. трагедіи его все тѣ же. „Тассо“ его, котораго онъ написалъ уже въ шестой разъ, необыкновенно толстъ, занимаетъ четверть стопы бумаги. Характеры всѣ необыкновенно благородны, полны самоотверженія, и, вдобавокъ, выведенъ на сцену мальчишка 13 лѣтъ, поэтъ и влюбленный въ Тассо по уши. А сравненіями играетъ, какъ мячиками; небо, землю и адъ потрясаетъ, будто перышко. Довольно, что прежнія „губы посинѣли у него цвѣтомъ моря“ или „тростникъ шепчетъ, какъ шепчутъ во мракѣ цѣпи“ — ничто противъ нынѣшнихъ. Пушкина все по-прежнему не любитъ; „Борисъ Годуновъ“ ему не нравится“ [1].

Напряженный и вымученный восторгъ ему такъ же противенъ, какъ сухой педантизмъ; отъ описаній онъ требуетъ прежде всего, чтобы они „не пахли каѳедрой“ (т. I, стр. 258).

Въ сужденіяхъ его о литературныхъ, семейныхъ и общественныхъ дѣлахъ много трезвости, ясности сознанія, здоровой сметки.

Относительно воспитанія сестеръ онъ даетъ рядъ очень практическихъ и продуманныхъ совѣтовъ, прекрасно намѣчаетъ отрицательное вліяніе на подрастающія поколѣнія дѣвичьей, мелкой провинціальной среды (т. I, стр. 259—261, 265—6, 508, 584—586, т. II, стр. 14, 19), — требуетъ искренности и простоты отъ сестеръ (т. I, стр. 532), хотя въ то же время по поводу неаккуратности ихъ въ перепискѣ пускается въ довольно сомнительныя умствованія (т. I, стр. 624): „Я могу, и не писавши къ вамъ, любить васъ, а вамъ никакъ нельзя доказать, что вы любите меня, не писавши“.

Въ отношеніяхъ къ матери часто слышится теперь не только наставительный, но даже и властный тонъ. Гоголя прямо пугаютъ нараставшія у нея мечтательность,

---

[1] Срв. т. I, стр. 258: „Кукольникъ навалялъ дюжину дюжинныхъ трагедій“, стр. 503 — 504 и проч.

наивное прожекторство и полное неумѣніе вести дѣла, довѣріе къ самымъ невѣроятнымъ слухамъ и неумѣренность материнской любви и гордости [1]. Ея затѣи разоряютъ и безъ того запущенное имѣніе и ухудшаютъ незавидное давно уже матеріальное положеніе дѣлъ семьи [2]. Въ началѣ онъ еще извиняется, что, „позабывшись“, „читаетъ ей наставленія“ (т. I, стр. 297), но потомъ доходитъ даже до откровенныхъ выговоровъ и распеканій: „О, Бога ради, маменька, не заводите никакихъ новыхъ предпріятій и фабрикъ! Для того, чтобы заводить ихъ, нужно слишкомъ быть свѣдущимъ въ этомъ дѣлѣ“ (т. I, стр. 315). „Вы до сихъ поръ еще не охладѣли отъ страсти къ чинамъ... Еслибы я имѣлъ какую-нибудь существенную выгоду для себя въ чинѣ, я вѣрно бы не упустилъ этимъ воспользоваться: я не такъ глупъ, чтобы пренебречь этимъ. Но мои обстоятельства и мое положеніе таково... Но мнѣ нельзя этого растолковать вамъ. Мы можемъ не понять другъ друга и будемъ только переводить напрасно бумагу. Оставимъ чины“ (т. I, стр. 326).

Не понимая всей скрытой иронiи своихъ словъ, Гоголь, этотъ неисправимый мечтатель, предлагаетъ своей мечтательницѣ-матери себя въ качествѣ постояннаго „совѣтника, который бы практическимъ образомъ глядѣлъ на жизнь“: „Я очень постигаю васъ. Я знаю, что ваша вся жизнь была въ заботахъ, что вы вѣчно должны были бороться съ критическими обстоятельствами. Отъ этого не мудрено, что душа ваша ищетъ успокоенія въ мечтѣ, и что вы любите предаваться ей, какъ вѣрному своему другу, и не мудрено, что она завлекаетъ васъ иногда. Вамъ нуженъ совѣтникъ, который бы практическимъ образомъ глядѣлъ на жизнь. Этотъ совѣтникъ вамъ буду я. Почитайте меня за друга, съ которымъ вы должны дѣлить свои мысли и не сердиться, если этотъ другъ будетъ подавать вамъ совѣты. Если же вы совѣты станете почитать за строгія наставленія и умничанья, вашъ другъ тогда замолчитъ, и вы ничего отъ него не услышите“ (стр. 342).

Но „строгое наставленіе“ слышится сейчасъ же вслѣдъ за этимъ, и по очень характерному поводу: у матери Гоголя была привычка носиться съ его письмами

---

[1] См. напр., т. II, стр. 21—23: „Маменька моя глядитъ и не видитъ, что она дѣлаетъ то, чего никакъ не воображаетъ дѣлать и, думая объ ихъ (сестеръ Гоголя) счастіи, сдѣлаетъ ихъ несчастными и потомъ всю вину сложитъ на Бога, говоря, что такъ Богу было угодно поступить“.

[2] См. т. 2, стр. 23, 15.

и сочиненіями, очень фантастическими иногда слухами о немъ, — неумѣренно расхваливать его при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, поднимать изъ-за него не всегда умѣстные споры, которые волновали и мучили Гоголя, крайне щепетильнаго, болѣзненно-самолюбиваго, боявшагося какъ огня, показаться смѣшнымъ (см., наприм., т. I, стр. 380).

Съ поразительною силою, весь охваченный стыдомъ передъ неумѣренными родственными похвалами, онъ пытается умѣрить материнскіе наивные восторги (т. I, стр. 342—4). „Вы слишкомъ предаетесь вашимъ мечтаніямъ. Вы, говоря о моихъ сочиненіяхъ, называете меня геніемъ. Какъ бы это ни было, но это очень странно. Меня, добраго, простого человѣка, можетъ быть, не совсѣмъ глупаго, имѣющаго здравый смыслъ, называть геніемъ! Нѣтъ, маменька, этихъ качествъ мало, чтобы составить его; иначе у насъ столько геніевъ, что и (не) протолпиться. Итакъ, я васъ прошу, маменька, не называйте меня никогда такимъ образомъ, а тѣмъ болѣе еще въ разговорѣ съ кѣмъ-нибудь. Не изъявляйте никакого мнѣнія о моихъ сочиненіяхъ и не распространяйтесь о моихъ качествахъ. Скажите только просто, что онъ добрый сынъ, и больше ничего не прибавляйте и не повторяйте нѣсколько разъ. Это для меня будетъ лучшая похвала. Я знаю очень много умныхъ людей, которые вовсе не обращаютъ вниманія на литературу, и тѣмъ не менѣе я ихъ уважаю. Литература вовсе не есть слѣдствіе ума (?), а слѣдствіе чувства, — такимъ самымъ образомъ, какъ и музыка, какъ и живопись. У меня, напр., нѣтъ уха къ музыкѣ, и я не говорю о ней, и меня оттого никто не презираетъ. Я не знаю ни въ зубъ математики, и надо мною никто не смѣется. Но если, не зная математики, начну говорить о ней, тогда надо мною будетъ всякій смѣяться. Еслибы вы знали, какъ непріятно, какъ отвратительно слушать[1], когда родители говорятъ безпрестанно о своихъ дѣтяхъ и хвалятъ ихъ! Я вамъ говорю, что я никогда не чувствовалъ уваженія къ такимъ родителямъ; я ихъ считалъ всегда такими хвастунами, и сколько мнѣ приходилось слышать отъ другихъ, то и имъ казались отвратительными похвалы эти. Еще одна просьба: не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературѣ. Вы въ большомъ заблу-

[1] Гоголь, повидимому, это не разъ чувствовалъ, страдалъ отъ безтактности другихъ и за безтактность другихъ, и въ данномъ случаѣ съ особенною силою примѣнилъ это къ себѣ и къ своей матери.

жденіи. Вы воображаете, что умный человѣкъ непремѣнно долженъ судить о литературѣ и понимать ее — ничуть не бывало! Знаете ли вы, въ какой можно попасть просакъ. Вотъ вы, наприм., приписали мнѣ сочиненія такого автора, которымъ гнушается истинный вкусъ автора, который ничего рѣшительно не имѣетъ общаго со мною, которымъ только на хуторахъ восхищаются и который пользуется презрѣніемъ даже отъ не совсѣмъ постигающихъ читателей[1], а вы его приписали мнѣ, и когда я увѣрялъ васъ, въ моемъ письмѣ клялся — вы упрямо стояли на своемъ. Когда я прочиталъ этотъ кусокъ изъ вашего письма одному человѣку, имѣвшему вкусъ (я, однакожъ, ни слова не сказалъ, что это письмо ваше)[2], онъ захохоталъ. Мнѣ самому было смѣшно, когда я читалъ его, но вмѣстѣ досадно, когда я видѣлъ, какъ умная, прекрасная дама, исполненная истиннаго благородства души[3], можетъ себя компрометировать и унизить, не видѣть то, какъ много нужно тонкости и особеннаго чутья въ литературѣ, которое и литераторамъ дается немногимъ, чтобы судить вѣрно. Васъ обмануло то, что вамъ точно дано чувство и вкусъ вообще, и что вамъ показались понятными и хорошими нѣкоторыя мѣста, и вы положили, что можете разобрать и осудить строго твореніе. Но знаете ли вы, что именно тѣ мѣста, которыя вамъ незамѣтны, тѣ то и есть, можетъ быть,

---

1 Характерная черта повышеннаго литературнаго самолюбія у Гоголя, которое у него часто проглядывало по разнымъ поводамъ. Въ 1833 г. онъ пишетъ матери (т. I, стр. 255): „Сдѣлайте милость, не приписывайте мнѣ всякаго вздору"; въ слѣдующемъ году Погодину (стр. 274): „Почтенные редакторы („Библіотеки для Чтенія") зазвонили нашими именами, набрали подписчиковъ, заставили народъ разинуть ротъ и на нашихъ же спинахъ и разъѣзжаютъ теперь"; когда мать начала разсказывать, что баронъ Брамбеусъ — псевдонимъ ея сына, Гоголь опять повторяетъ при этомъ: „Я сдѣлалъ это замѣчаніе потому только, что авторъ баронъ Брамбеусъ не на слишкомъ хорошемъ счету. Его грязныя сочиненія нравятся только низшему классу". (Срв. т. I, стр. 312.) Обѣщая свое сотрудничество Погодину, онъ прибавляетъ (стр. 324): „Теперь мое имя не слишкомъ видно; но послѣ напечатанія моихъ небольшихъ мараканій все-таки лучше". Спрашивая Прокоповича о „Литературныхъ прибавленіяхъ" Краевскаго, Гоголь жалуется своему задушевному другу: „Отчего мое бѣдное имя туда заѣхало? или ему суждено валяться, какъ векселю несостоявшагося (?) банкрота, отъ котораго хотя не ждутъ никакой пользы, но не раздираютъ его потому только, что когда то онъ стоилъ денегъ. Впрочемъ, мнѣ это непріятно, и только въ нашемъ литературномъ мірѣ могутъ случаться такія самоуправства. Я не желалъ бы, чтобы мое имя упоминалось въ печати" и проч.

2 Оговорка, характерная какъ для самого Гоголя, такъ и для его матери: и желаніе запугать ее чужимъ, якобы компетентнымъ мнѣніемъ (можетъ быть, даже вымышленнымъ), и стремленіе возможно больше пощадить ея щекотливое самолюбіе, при всей рѣзкой откровенности сужденій.

3 Вѣрно, умѣло и своевременно разсчитанная лесть.

истинно достойныя, и что, можетъ быть, вы видѣли только сотую долю того, что̀ другой видитъ или долженъ бы видѣть все... Очень трудно это искусство! Знаете ли, что въ Петербургѣ, можетъ быть, только человѣкъ пять и есть, которые истинно и глубоко понимаютъ искусство; и между тѣмъ въ Петербургѣ есть множество истинно прекрасныхъ, благородныхъ, образованныхъ людей. Я самъ, преданный и погрязшій въ этомъ ремеслѣ, я самъ никогда не смѣю быть дерзокъ, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое то произведеніе. Нѣтъ, можетъ быть, я только десятую долю понимаю. Итакъ, не говорите объ этомъ. Если васъ спросятъ, отвѣчайте, но отвѣчайте односложно и перемѣняйте тотчасъ разговоръ на другое. Помните, что это говоритъ вамъ другъ вашъ, который желалъ бы, чтобы весь свѣтъ почиталъ васъ такъ, какъ вы того заслуживаете прекрасными вашими качествами".

Онъ очень недоволенъ ея спорами относительно его сочиненій съ знакомыми и сосѣдями, совѣтуетъ на „замѣчанія и толки" отвѣчать: „я не могу быть судьею его сочиненій, мои сужденія будутъ пристрастны, потому что я его мать, но я могу сказать только, что онъ добрый, меня любящій сынъ, и съ меня этого довольно". Онъ даже рекомендуетъ ей перечитать отрицательные отзывы Булгарина и Сенковскаго объ его сочиненіяхъ: „вы увидите, что ихъ вовсе не такъ хвалятъ, какъ вы о нихъ думаете, и почти всегда эти замѣчанія справедливы" (стр. 552).

Что эта замѣчательная литературная скромность[1] въ данномъ случаѣ вполнѣ искренна, можно видѣть изъ отрицательнаго, часто даже пренебрежительнаго отношенія Гоголя къ его прежнимъ произведеніямъ — при всемъ ихъ успѣхѣ.

Въ 1833 г. онъ пишетъ Погодину (стр. 237): „Я даже позабылъ, что я творецъ этихъ „Вечеровъ"... Да обрекутся они неизвѣстности, покамѣстъ что-нибудь увѣсистое, великое, художническое не изыдетъ изъ меня! Но я стою въ бездѣйствіи, въ неподвижности. Мелкаго не хочется, великое не выдумывается". „Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ" онъ „стыдился назвать своею", считаетъ „неуклюжей" (стр. 262), все свое творчество до „Мертвыхъ душъ" называетъ ученическими попытками — „изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалитъ развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ

[1] Срв стр. 549: „Ничего не сдѣлалъ я! Какъ бѣденъ мой талантъ!"

будущаго" (стр. 384). Даже въ 1838 г. онъ только еще собирается въ будущемъ „много сдѣлать" (стр. 511). Ему даже „страшно вспомнить обо всѣхъ своихъ мараньяхъ" (стр. 495): „Они вродѣ грозныхъ обвинителей являются глазамъ моимъ. Забвенья, долгаго забвенья проситъ душа! И еслибы появилась такая моль, которая бы съѣла внезапно всѣ экземпляры „Ревизора", а съ ними „Арабески", „Вечера" и всю прочую чепуху, и обо мнѣ, въ теченіе долгаго время, ни печатно, ни изустно не произносилъ никто слова — я бы благодарилъ судьбу. Одна только слава по смерти (для которой — увы! — не сдѣлалъ я, до сихъ поръ, ничего) знакома душѣ неподдѣльнаго поэта. А современная слава не стоитъ копейки"... „Я на „Ревизора" — плевать".

Безтактныя похвалы матери только усиливали это отрицательное отношеніе къ своимъ сочиненіямъ — въ силу естественной реакціи, придавали ему болѣе рѣзкій характеръ.

Въ ея общемъ настроеніи Гоголю чувствуется много больного и зловѣщаго. Ему приходится даже бороться противъ вѣры въ сны, предзнаменованія и примѣты у матери (т. I, стр. 354—355), напоминать ей настойчиво о томъ, что „истинный и добрый христіанинъ никогда не бываетъ суевѣренъ и не вѣритъ пустякамъ", ссылаясь между тѣмъ на свои собственныя „предчувствія" (стр. 358).

Веденіе хозяйства матерью онъ сравнивалъ съ Тришкинымъ кафтаномъ (стр. 366), довольно сердито выговариваетъ ей за „секретничанье", „потому что это дѣлается только съ маленькими дѣтьми" (стр. 379), настойчиво предупреждаетъ ее отъ всего, что могло бы быть „смѣшно" (стр. 380).

Отмѣчая всѣ ея промахи и ошибки, онъ не забываетъ при этомъ сослаться на смягчающія вину обстоятельства (стр. 575): „виноваты несчастія, которыя подавили васъ, которыя навалили на васъ кучи заботъ, требовавшихъ силъ твердаго мужа, а не доброй, чувствительной женщины. Виноваты эти заботы, которыя лишили насъ прежняго милаго, веселаго характера нѣжно любимой нами маменьки и навели на него мрачное облако задумчивости, разсѣянности, вѣчно тревожныхъ мыслей, отлучавшихъ и отвлекавшихъ ее невольно отъ дѣйствительности и происходившаго передъ глазами теченія дѣлъ и обстоятельствъ, которыя, чтобы вести хорошо, нужно было имѣть слишкомъ твердый характеръ, какой имѣетъ мужчина, нужно быть слишкомъ спокойну и не поражену несчастіемъ".

Объ этой перемѣнѣ въ характерѣ матери онъ считаетъ нужнымъ предупредить своихъ сестеръ институтокъ.

Данилевскому (стр. 572—3) онъ пишетъ еще откровеннѣе[1]: „маменька, кажется, дохозяйничалась, наконецъ, до того, что теперь рѣшительно, кажется, не знаетъ, что̀ дѣлать. Дѣла наши по деревнѣ, кажется, такъ разстроены, какъ только возможно, и я никакихъ не имѣю средствъ помочь. Какъ нарочно къ этому времени приближается и срокъ или выпускъ моимъ сестрамъ!“...

Во всемъ этомъ проглядываетъ ясное реальное сознаніе, какъ и въ настойчивой проповѣди веселья, чтобы спастись отъ слишкомъ печальныхъ жизненныхъ взглядовъ (т. I, стр. 308, 340, 352), въ глубокомъ и быстромъ пониманіи своихъ ошибокъ (стр. 327), всей отвѣтственности и всей тяжести положенія писателя на Руси (стр. 441—2), всего трагизма такъ быстро улетающей юности и столь опустошительной для души старости (стр. 486, 562, 611; 562)[2].

Отдаваясь идеалистическимъ мечтаніямъ, мучительно работая надъ вопросомъ объ отношеніяхъ между идеаломъ и дѣйствительностью, о роли искусства въ жизни, онъ не забываетъ дать очень практическій и своевременный совѣтъ, какъ удешевить почтовую посылку (стр. 265), какъ контролировать завѣдывающаго фабрикой (стр. 282—4, 296—297), какъ пустить кстати „скромныя похвалы“ и разные экивоки (стр. 290, 313), даже рекламу (стр. 341), не „предаваться безплоднымъ мечтаніямъ“ и не „сидѣть сложа руки, надѣясь во всемъ на милосердіе Божіе“, а „трудиться съ благоразуміемъ“ и „съ осмотрительностью приниматься за дѣло“ (стр. 311), — какъ дешевизною новаго журнала „оттянуть привалъ черни къ глупой „Библіотекѣ“ (стр. 324, 328), поразить ее „количествомъ и массой“, „разнообразіемъ“ и „оглавленіемъ статей подлиннѣе“, „книжками потолще“ и „пестротой“, „шпигованіемъ“ листковъ смѣхомъ, — „постоянствомъ, трудомъ, ловкостью и мудростью“ (стр. 335).

---

[1] Разореніе матери онъ ставитъ въ связь въ письмѣ къ Дмитріеву (стр. 219) съ общимъ экономическимъ разстройствомъ Малороссіи. „Народъ бѣденъ, имѣнія разорены и недоимки неоплатныя... Всему виною недостатокъ сообщенія: онъ усыпилъ и облѣнивалъ жителей. Помѣщики видятъ теперь сами, что съ однимъ хлѣбомъ и винокуреніемъ нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинаютъ понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталовъ нѣтъ, счастливая мысль дремлетъ, наконецъ, умираетъ, а они рыскаютъ за зайцами“. Какое ясное и глубокое пониманіе положенія дѣлъ!

[2] Ср. еще т. II, стр. 17, 18, 22 и пр.

Онъ настаиваетъ на внимательномъ отношеніи къ политикѣ свѣтскихъ отношеній (стр. 474), говоритъ о разумномъ бракѣ (стр. 474—475), постепенномъ пріученіи молодежи къ „наукѣ жизни“ и правильнымъ общественнымъ отношеніямъ (стр. 541, 614).

Рядомъ съ этимъ мелькаютъ черты повышенной и даже болѣзненной религіозности (стр. 260—261, 281, 297, 304, 516, 524, 551, т. II, стр. 15, 18), глубокая вѣра не только въ то, что Провидѣніе руководитъ его творчествомъ (стр. 255), но даже и удачнымъ выборомъ квартиры (стр. 415). Во многомъ онъ видитъ „предопредѣленіе“ (стр. 364, 412), испытываетъ чувства, „которыя рѣдко достаются въ удѣлъ жителю земли“ (стр. 283—384):[1] „мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ“. „Хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будетъ удаленъ отъ нея“ (стр. 385)

Онъ самъ подмѣчалъ въ себѣ эту двойственность и поражался ею (стр. 543): „трудно, трудно удержать середину, трудно изгнать воображеніе и любимую прекрасную мечту, когда онѣ существуютъ въ головѣ нашей; но труднѣе всего согласить эти два разнородные предмета вмѣстѣ — жизнь вдругъ въ томъ и другомъ мірѣ“. Именно это и пробовалъ всю жизнь дѣлать Гоголь...

Ему глубоко претитъ пошлая прозаичность современной жизни:[2] „все рынокъ, да рынокъ, презрѣнный холодъ торговли, да ничтожество! Доселѣ все жила надежда, что снидетъ Іисусъ, гнѣвный и неумолимый, и безпощаднымъ бичомъ изгонитъ и очиститъ святой храмъ отъ торга и продажи, да свободнѣе возлетитъ святая молитва“ (стр. 481). Въ его тонѣ слышатся все болѣе и болѣе нарастающія властныя, иногда прямо мессіаническія нотки. Въ 1833 г. онъ пишетъ матери (стр. 261): „я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе. Въ немногіе годы я много узналъ, особливо по этой части. Я изслѣдовалъ человѣка отъ его колы-

[1] Ср. т. II, стр. 12: „предчувствія мои вѣрны, и я не знаю, отчего во мнѣ поселился теперь даръ пророчества“.

[2] Ср. стр. 310: „Смотри на міръ такъ, какъ смотритъ на него поэтъ, у котораго онъ подъ ногами - и употребляется на обтирку ногъ его“.

бели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ, а между тѣмъ не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы, кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ свѣтлый природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ". Въ 1837 году „своимъ голосомъ, который теперь долженъ имѣть надъ нимъ двойную силу и власть", онъ „заклинаетъ" Прокоповича „стряхнуть лѣнь" (стр. 425).

Онъ настойчиво проповѣдуетъ спасительность несчастій (стр. 397) и необходимость испытаній (стр. 384): „О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія!"

Несомнѣнная болѣзненность, вслѣдствіе мнительности, часто преувеличивается; о своихъ болѣзняхъ[1] Гоголь часто даетъ самыя противорѣчивыя свѣдѣнія (напр., 385, 387, 390, 392) — и искренно, и изъ своеобразнаго политиканства, которое вообще очень сильно въ его перепискѣ. Онъ часто приспособляется къ тону своего корреспондента: грубовато практиченъ съ Погодинымъ и поэтично романтиченъ съ Максимовичемъ, въ письмахъ часто пользуется словомъ для того, чтобы скрыть свои настоящія мысли и свое дѣйствительное положеніе. Онъ можетъ, если это нужно для чего-нибудь, проставить ложную дату, невѣрно обозначить мѣстопребываніе, систематически мистифицировать человѣка, выдавая свои русскія письма за заграничныя[2]: все это только „фокусы въ письмахъ" (стр. 482). Горделивые намеки на значительность и содержательность институтскихъ лекцій смѣняются боязнью, что онѣ могутъ попасть въ руки корреспондента, и совсѣмъ невѣроятными розсказнями о томъ, что сами институтки попортили ихъ произвольными вставками изъ постороннихъ источниковъ; нѣсколько хвастливыя даже упоминанія о близкихъ къ завершенію многотомныхъ научныхъ трудахъ — робкими ссылками на неблагопріятныя обстоятельства, сопровождавшія появленіе отрывковъ изъ нихъ въ свѣтъ. Ему хочется, повидимому, воспользоваться для своихъ курсовъ лекціями Погодина, и, требуя ихъ, онъ приводитъ для этого всѣ основанія, кромѣ дѣйствительныхъ. Въ отзывахъ о человѣкѣ и личныхъ обращеніяхъ къ нему часто сказывается очень значительная разница; иногда слышится откровенная лесть хитреца

[1] На нихъ онъ вообще постоянно жалуется (т. I, стр. 454, 465, 486, 511, 514, 519, 520, 549, 555, т. II, стр. 23 и т. д.).

[2] См., наприм., т. II, стр. 7—11 и пр.

и тонкая изворотливость[1], при жаждѣ искренности и простоты, у себя и у другихъ,—при какомъ то болѣзненномъ, жгучемъ любопытствѣ къ чужому мнѣнію.

Въ 1838 г. Гоголь признавался Балабиной въ этой чертѣ своего характера, не совсѣмъ справедливо пріурочивая ее только къ школѣ (стр. 544): „когда я былъ въ школѣ и былъ юношей, я былъ очень самолюбивъ... мнѣ хотѣлось смертельно знать, что̀ обо мнѣ говорятъ и думаютъ другіе. Мнѣ казалось, что все то, что̀ мнѣ говорили, было не то, что обо мнѣ думали. Я нарочно старался завести ссору съ моимъ товарищемъ, и тотъ, натурально, въ сердцахъ высказывалъ мнѣ все то, что̀ во мнѣ было дурного. Мнѣ этого было только и нужно; я уже бывалъ совершенно доволенъ, узнавши все о себѣ“. Но развѣ не засыпалъ позднѣе Гоголь своихъ друзей настойчивыми требованіями сообщать всѣ общественные толки о немъ, рискуя получить, наприм., то, что когда то написалъ ему наивный Шевыревъ („Отчетъ публичной библіотеки“ 1893 г., стр. 31): „говорятъ иные, что ты съ ума сошелъ, меня встрѣчали даже добрые знакомые твои такими вопросами: „скажите, пожалуйста, правда ли это, что Гоголь съ ума сошелъ? Скажите, сдѣлайте милость, точно ли это правда, что Гоголь съ ума сошелъ?“

Несомнѣнно добрый, гуманный и вдумчивый человѣкъ, съ такою яркостью и силою раскрывавшій всю призрачность и мертвенность русской жизни, слагавшейся на болотѣ крѣпостныхъ отношеній, весь ужасъ ея разложенія, онъ могъ писать про своихъ крѣпостныхъ: „точно ли... вы увѣрены, что люди дѣйствительно добры? Вѣдь имъ самимъ вѣрить нельзя. Этотъ народъ лукавъ: это ничего не значитъ, что они многіе помнятъ васъ сызмалу. Они, пожалуй, будутъ падать въ ноги и при этомъ будутъ самыя бестіи“ (стр. 266). Своего крѣпостного лакея Якима за пьянство онъ „больно высѣкъ“ (стр. 226); за то, что мужики не помѣшали кн. Кочубею вымѣрять землю Гоголей, онъ бы „хорошенько высѣкъ ихъ“, еслибы былъ дома (стр. 251)[2].

Онъ совѣтуетъ матери „обращать наиболѣе вниманія на то, чтобы работниковъ какъ можно болѣе было изъ своихъ людей, нежели изъ нанятыхъ, чтобы исподволь пріучать и занимать всѣхъ мальчишекъ, даже дѣвочекъ, и все, что̀ ни есть изъ мелкаго народа. Работа

---

[1] Т. I, стр. 236, 244, 262, 300, 301, 362, 267, 319, 326, 332, 336 (341), 402, 373, 374, 377, 383, 597, 600—601.

[2] Ср. т. I, стр. 571—Поэзія крѣпостного человѣка, неизвѣстная Западу.

и сбытъ будутъ.. Я нарочно сдѣлалъ для этого сношенія и знакомства со многими нужными людьми" (стр. 281) [1].

Сѣвера и сѣверной природы, въ частности Петербурга, онъ попрежнему не любитъ (стр. 254, 268, 274, 275, 543, 544, 582, 606, 609—610, т. II, стр. 20, 21), называетъ его климатъ „проклятымъ", мечтаетъ отсюда „навострить лыжи", считаетъ его „холоднымъ для тѣла и для души", „бездушнымъ"; отъ Москвы, „кромѣ щей и м..... ничего не услышишь" (стр. 281, ср. 582). Въ то же время въ 1834 г. онъ могъ писать Погодину (стр. 303, ср. 400): „оставляя Петербургъ, знаешь ли, что я оставляю? Мнѣ оставить Петербургъ не то, что тебѣ Москву: здѣсь все, что дорого, что было мило моему сердцу, люди, съ которыми сдружился и которыхъ алчетъ душа, все, что привычка сдѣлала еще драгоцѣннѣйшимъ. Бросивши все это, нужно стараться всѣми силами затушить сердечную тоску; нужно отдалять всѣми мѣрами то, что можетъ вызывать ее".

Всѣ эти противорѣчія нельзя объяснить только разницею во времени, разновременными колебаніями слишкомъ эмоціональной натуры подъ вліяніемъ всей пестроты жизненныхъ впечатлѣній: очень часто они сталкиваются одновременно или послѣдовательно, по мѣрѣ того какъ выступаютъ тѣ или другія стороны слишкомъ сложной и противорѣчивой душевной организаціи, то мирно уживавшіяся рядомъ, то вступавшія другъ съ другомъ въ яростную борьбу...

Сантиментальный лиризмъ сердца попрежнему направленъ на идеализованную Малороссію, о которой Гоголь не можетъ вспомнить безъ восторга и приподнятаго патріотизма.

Максимовичу онъ совѣтуетъ бросить „кацапію" и ѣхать „въ гетьманщину"; „я самъ думаю то же сдѣлать и на слѣдующій годъ махнуть отсюда (изъ Петербурга). Дурни мы, право, какъ разсудишь хорошенько! Для чего и кому мы жертвуемъ всѣмъ?" (стр. 253). „Теперь я принялся за исторію нашей единственной, бѣдной Украйны. Ничто такъ не успокоиваетъ, какъ исторія. Мои мысли начинаютъ литься тише и стройнѣе. Мнѣ кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили" (стр. 263). Онъ глубоко сожалѣетъ объ ея „прошедшей жизни" и „прошедшихъ людяхъ" (стр. 264), мечтаетъ перебраться „въ древній,

[1] Матеріальное положеніе своихъ крестьянъ Гоголь считаетъ очень хорошимъ (т. II, стр. 23).

въ прекрасный Кіевъ": „онъ нашъ, онъ не ихъ — не правда ли? Тамъ или вокругъ него дѣялись дѣла старины нашей" (стр. 268); онъ проситъ затѣмъ Максимовича „ради всего нашего, ради нашей Украйны, ради отцовскихъ могилъ" „не сидѣть надъ книгами" (стр. 306—307); его душа сильно „тоскуетъ за Украйной" (стр. 319).

Какъ романтикъ, онъ большой поклонникъ народныхъ пѣсенъ вообще (стр. 596 и пр.), но съ особеннымъ увлеченіемъ относится къ украинской народной поэзіи. Онъ хочетъ обосновать на ней исторію, черпаетъ изъ нея цѣлыми пригоршнями для своихъ художественныхъ произведеній, поетъ въ ея честь страстные гимны.

Онъ хотѣлъ бы съ Максимовичемъ пересмотрѣть собраніе Ходаковскаго „съ жадностью жида, считающаго червонцы" (стр. 253—254). При этомъ онъ восклицаетъ: „Моя радость, жизнь моя, пѣсни! Какъ я васъ люблю! Что всѣ черствыя лѣтописи, въ которыхъ я теперь роюсь, предъ этими звонкими, живыми лѣтописями... Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ помогаютъ въ исторіи пѣсни. Даже не историческія, даже п.....: онѣ всѣ даютъ по новой чертѣ въ мою исторію, все разоблачаютъ яснѣе и яснѣе—увы!—прошедшую жизнь и — увы! — прошедшихъ людей". .

Въ такомъ взглядѣ на исторію много романтическаго: для Гоголя важнѣе всего — вжиться въ старину, воскресить ея поэтическую цѣльность и непосредственность, дать идеализованную картину, а не научный анализъ процесса. Вспомнимъ, что это какъ разъ пора „Арабесокъ", съ культомъ среднихъ вѣковъ, патетическими восхваленіями арабской культуры, готики, рыцарскаго идеализма, съ идеалистическимъ восторгомъ передъ міровою ролью искусства, и что многія черты этой эпохи наложили свою печать на „Тараса Бульбу".

Задумывая грандіознѣйшую исторію Малороссіи, онъ пишетъ Срезневскому (стр. 279): „еслибъ нашъ край не имѣлъ такого богатства пѣсенъ, я бы никогда не писалъ исторіи его, потому что я не постигнулъ бы и не имѣлъ понятія о прошедшемъ, или исторія моя была бы совершенно не то, что я думаю съ нею сдѣлать теперь. Эти то пѣсни заставили меня съ жадностью читать всѣ лѣтописи и лоскутки какого бы то ни было вздору". Даже въ 1839 г. онъ, читая малорусскія пѣсни, „запасается и тщится сколько возможно надышаться стариной" (стр. 621) [1].

---

[1] Срв. еще I, 269, 272, 277, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 290, 298, 299, 301, 302, 309, 312, 313, 331, 333, 352, 475, 522 и т. д.

Въ тѣсной связи съ этими историческими занятіями находится траги-комическій эпизодъ его профессуры, чрезвычайно характерный для этого періода, съ перебоями чисто романтической мечтательности и трезваго сознанія, самоувѣренности и самоуниженія, искренности и политиканства. Онъ возникъ на почвѣ историческихъ увлеченій Гоголя.

Послѣ грандіозныхъ и неудачныхъ плановъ переработать свои институтскіе курсы въ многотомные ученые труды, въ 1833 г. онъ принимается „за исторію нашей единственной, бѣдной Украйны".

„Ничто такъ не успокоиваетъ, какъ исторія. Мои мысли начинаются литься тише и спокойнѣе. Мнѣ кажется, что я напишу ее, что я скажу много того, чего до меня не говорили", пишетъ онъ Максимовичу (стр. 263). Въ то же самое время: „чортъ возьми, еслибы я не согласился взять скорѣе ботанику или патологію, нежели русскую исторію" (стр. 303). Выхлопатывая себѣ черезъ Пушкина каѳедру въ Кіевскомъ университетѣ, онъ пишетъ великому поэту (стр. 271—272): „во мнѣ живетъ увѣренность, что если я дождусь прочитать планъ мой, то въ глазахъ Уварова онъ меня отличитъ отъ толпы вялыхъ профессоровъ, которыми набиты университеты. Я восхищаюсь заранѣе, когда воображу, какъ закипятъ труды мои въ Кіевѣ... Тамъ кончу я исторію Украйны и Юга Россіи и напишу всеобщую исторію, которой, въ настоящемъ видѣ ея, до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только на Руси, но даже и въ Европѣ нѣтъ... Какъ занимательными можно сдѣлать университетскія записки, сколько можно помѣстить подробностей совершенно новыхъ о самомъ краѣ!"...

Черезъ двѣ недѣли онъ извѣщаетъ Погодина (стр. 274—275): „ я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всемірную; и та и другая у меня начинаетъ двигаться. Это сообщаетъ мнѣ какой то спокойный и равнодушный къ житейскому характеръ... Ухъ, братъ! Сколько приходитъ ко мнѣ мыслей теперь! да какихъ крупныхъ! полныхъ, свѣжихъ! Мнѣ кажется, что сдѣлаю кое-что не общее во всеобщей исторіи. Малороссійская исторія моя чрезвычайно бѣшена, да иначе, впрочемъ, и быть ей нельзя. Мнѣ попрекаютъ, что слогъ въ ней уже слишкомъ горитъ, не исторически жгучъ и живъ; но что за исторія, если она скучна!" Какъ будто бы это дилемма!

Стилемъ и подъемомъ таланта Гоголь надѣялся прикрыть скудость положительныхъ свѣдѣній, поэтиче-

скимъ прозрѣніемъ и проникновеніемъ замѣнить точный научный анализъ, для котораго у него не хватало ни методологическаго чутья, ни навыка и терпѣнія. Давали себя знать то мечты, то отраженія дѣйствительности, то романтическое настроеніе, то реальное, трезвое и ясное сознаніе, — и въ результатѣ рядъ колебаній, скачковъ, противорѣчій: хвастовство своими трудами и боязнь за нихъ, широковѣщательные намеки, даже публикаціи, эффектныя вступительныя лекціи — и отлынивaніе отъ правильныхъ университетскихъ занятій, убитый видъ, неловкое молчаніе и фиктивная зубная боль во время экзаменованія студентовъ...

Максимовичу онъ рекомендуетъ при случаѣ „вскользь“ пустить кіевскому попечителю рядъ такихъ „скромныхъ похвалъ“: „вы бы, дескать, хорошо сдѣлали, еслибы залучили въ университетъ Гоголя“, — заявить, что онъ „не знаетъ никого, кто бы имѣлъ такія глубокія историческія свѣдѣнія и такъ бы владѣлъ языкомъ преподаванія“ (стр. 289—290). Въ письмахъ къ нему хлопоты о профессурѣ объясняются стремленіемъ попасть въ „нашъ Кіевъ“ и заняться изученіемъ малорусскаго прошлаго. Для Погодина выставляется другой мотивъ (стр. 305): „я недавно только что просился профессоромъ въ Кіевъ, потому что здоровье мое требуетъ этого непремѣнно, также и труды мои. Вотъ чѣмъ можно извинить мнѣ исканіе профессорства, которое, еслибы не у насъ на Руси, то было бы самое благородное званіе“. Толки о профессурѣ идутъ объ руку съ настойчивыми совѣтами Максимовичу, „не сидѣть надъ книгами“ (стр. 307). „Чортъ возьми, если онѣ не служатъ теперь для тебя къ тому только, чтобѣ отемнить свои мысли! Будь таковъ, какъ ты есть, говори свое и то какъ можно поменьше. Студенты твои такой глупый народъ будетъ, особливо сначала, что, право, совѣстно будетъ для нихъ слишкомъ много трудиться. Но, впрочемъ, лучше всего ты дѣлай эстетическіе съ ними разборы. Это для нихъ полезнѣе всего; скорѣе разовьетъ ихъ умъ, и тебѣ будетъ пріятно. Такъ дѣлаютъ всѣ благоразумные люди. Такимъ образомъ поступаетъ и Плетневъ, который нашелъ, — и весьма справедливо, — что всѣ теоріи — совершенный вздоръ и ни къ чему не ведутъ. Онъ теперь бросилъ всѣ прежде читанныя лекціи и дѣлаетъ съ ними въ классѣ эстетическіе разборы, толкуетъ и наталкиваетъ ихъ морду на хорошее. Онъ очень удивляется тому, что ты затрудняешься, и совѣтуетъ, съ своей стороны, тебѣ работать прямо съ плеча, что придется“.

За этими словами чувствуется полное непониманіе университетскаго дѣла, болѣе чѣмъ странный взглядъ на науку, студентовъ и университетское преподаваніе, который только и могъ привести къ полному и безславному краху профессуры Гоголя...

Насколько, подчасъ, онъ былъ далекъ отъ пониманія истиннаго положенія вещей, можно видѣть хотя бы изъ слѣдующихъ словъ о каѳедрѣ въ Петербургѣ (стр. 319): „отъ меня зависитъ пріобрѣсть имя, которое можетъ заставить быть поснисходительнѣе въ отношеніи ко мнѣ и не почитать меня за несчастнаго просителя, привыкшаго чрезъ длинныя переднія и лакейскія пробираться къ мѣсту".

Лекціи для него — „казенная работа" (стр. 321). Онъ „самъ замышляетъ дернуть исторію среднихъ вѣковъ", причемъ „пять и шесть мыслей новыхъ уже для него искупаютъ все" (стр. 325). Когда Погодинъ сдѣлалъ нѣсколько возраженій по поводу его мыслей и печатныхъ статей по исторіи, Гоголь разразился такой тирадой (стр. 326—327): „если ты думаешь, что я отвлекаю народы отъ человѣчества, то ты не правъ. Ты не гляди на мои историческіе отрывки: они давно (?) написаны; не гляди также на статью о среднихъ вѣкахъ... Она сказана только такъ, чтобы сказать что-нибудь и только раззадорить нѣсколько въ слушателяхъ потребность узнать то, о чемъ нужно разсказать, что оно такое. Я съ каждымъ мѣсяцемъ и съ каждымъ днемъ вижу новое, и вижу свои ошибки. Не думай также, чтобъ я старался только возбудить чувства и воображеніе. Клянусь, у меня цѣль высшая! Я, можетъ быть, еще мало опытенъ, я молодъ въ мысляхъ, но я буду когда-нибудь старъ. Отчего[1] же я черезъ недѣлю уже вижу свою ошибку? Отчего же передо мною раздвигается природа и человѣкъ? Знаешь ли ты, что значитъ не встрѣтить сочувствія, что значитъ не встрѣтить отзыва? Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ въ здѣшнемъ университетѣ. Никто меня не слушаетъ, ни на одномъ ни разу не встрѣтилъ я, чтобы поразила его яркая истина. И оттого я рѣшительно бросаю теперь всякую художественную отдѣлку, и тѣмъ болѣе — желаніе будить сонныхъ слушателей. Я выражаюсь отрывками и только смотрю въ даль и вижу его (?) въ той

[1] Конечно, отъ незрѣлости самыхъ мыслей, замѣны научнаго изслѣдованія поэтическимъ экстазомъ, пророчествомъ и интуиціей...

системѣ, въ какой оно (?) явится у меня вылитою черезъ годъ. Хоть бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безцвѣтный, какъ Петербургъ“...

Вспомнимъ, что среди этихъ „безцвѣтныхъ студенческихъ существъ“ сидѣли — Тургеневъ и его друзья, что понимать въ лекціяхъ Гоголя, собственно, было нечего, такъ какъ за двумя феерическими, „слишкомъ горячими“ и „бѣшеными“ послѣдовало сконфуженное бормотаніе, съ убитымъ видомъ, чего то нескладнаго и невнятнаго себѣ подъ носъ, постоянныя манкировки, полное отсутствіе плана въ курсѣ и послѣдовательности въ идеяхъ... Это не мѣшало Гоголю объявлять urbi et orbi (стр. 331): „я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая, думаю, будетъ состоять томовъ изъ 8, если не изъ 9“ и намекать на необыкновенную содержательность и оригинальность своихъ лекцій.

Прошло очень немного времени, и ему пришлось извѣщать Погодина (стр. 357): „я расплевался съ университетомъ, и черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на кафедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года — годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говоритъ, что я не за свое дѣло взялся — въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь спускаю на дно души до новаго пробужденія, — когда вы исторгнетесь съ большею силою, и не посмѣетъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика и пр. и пр... Я тебѣ одному говорю это; другому не скажу я: меня назовутъ хвастуномъ, и больше ничего. Мимо, мимо все это! Теперь вышелъ я на свѣжій воздухъ“ [1]...

Такъ кончилась эта наивная и странная затѣя, очень характерная для взглядовъ на профессуру не только самого Гоголя, но и его ближайшихъ друзей. „Годы безславія“ прошли, но послѣ нихъ остался горь-

[1] Срв. еще I, 277—9, 299—300, 315, 317, 320, 324—5, 327, 332, 340.

кій осадокъ, къ которому скоро присоединился новый „милліонъ терзаній“ — вѣчный удѣлъ романтически настроенныхъ идеалистовъ...

VIII.

Если вообще слѣдуетъ говорить о переломѣ въ настроеніи Гоголя въ послѣдній періодъ его жизни, то его можно пріурочить только къ 1836 — 1837 годамъ.

Колебанія въ настроеніи дѣлаются съ этого времени рѣзче, капризнѣе и прихотливѣе, замѣтно усиливаются; lucida intervalla сокращаются; неустойчивое вообще душевное равновѣсіе нарушается окончательно; романтическіе элементы получаютъ несомнѣнный перевѣсъ; возникаетъ „Римъ“; въ новыя редакціи „Портрета“ и „Тарасъ Бульбы“ вносится много мистико-идеалистическихъ черточекъ, которыя замѣтно пробиваются въ лирическихъ мѣстахъ „Мертвыхъ Душъ“ и составляютъ основу „Развязки Ревизора“, „Выбранныхъ мѣстъ“ и пр. Внутренній разладъ осложняется и неуклонно ведетъ къ катастрофѣ.

Искусство, по мнѣнію Гоголя, если оно искренно, чисто и высоко, должно приводить къ примиренію и просвѣтлѣнію. Между тѣмъ, его творчество приводило къ борьбѣ и взрывамъ ненависти. Все глубже въ его душу закрадывается вопросъ, не дурно ли оно въ своей основѣ и не составляетъ ли зла само по себѣ. Только на время находитъ онъ успокоеніе въ своей теоріи „свѣтлаго“ и „добраго смѣха“, чтобы потомъ отречься отъ него, приняться за тщетныя и болѣзненныя попытки насилій надъ своимъ талантомъ, — перейти къ литературному самоотреченію мистика и аскета.

Вмѣстѣ съ древне-русскимъ книжникомъ онъ готовъ повторять теперь: „смѣхъ не создаетъ, не хранитъ, но погубляетъ и созиданія разрушаетъ, смѣхъ Духа Святаго печалитъ, не пользуетъ, а тѣло растлѣваетъ, смѣхъ добродѣтели прогонитъ, потому что не помнитъ о смерти и вѣчныхъ мукахъ. Отыми, Господи, отъ меня смѣхъ и даруй плачъ и рыданіе“...

Между тѣмъ его спасеніе и опредѣленіе своей „общественной стоимости“ было въ томъ взглядѣ, который такъ ярко и сильно формулировалъ Герценъ: „смѣхъ — одно изъ самыхъ сильныхъ орудій противъ всего, что отжило и еще держится — Богъ знаетъ, на чемъ, важной развалиной, мѣшая расти свѣжей жизни и пугая слабыхъ. Смѣхъ вовсе дѣло не шуточное, и имъ мы не поступимся. Въ древнемъ мірѣ хохотали на Олимпѣ и

хохотали на землѣ, слушая Аристофана и его комедіи, — хохотали до самаго Лукіана. Съ IV столѣтія человѣчество перестало смѣяться — оно все плакало, и тяжелыя цѣпи пали на умы середъ стенаній и угрызеній совѣсти. Какъ только лихорадка изувѣрства стала проходить, люди стали опять смѣяться. Написать исторію смѣха было бы чрезвычайно интересно. Во фрунтѣ, передъ начальникомъ департамента, передъ частнымъ приставомъ, передъ нѣмцемъ управляющимъ никто не смѣется. Крѣпостные слуги лишены права улыбки въ присутствіи помѣщиковъ. Одни равные смѣются между собою. Если низшимъ позволить смѣяться при высшихъ, или если они не могутъ удержаться отъ смѣха, тогда прощай чинопочитаніе! Заставить улыбнуться надъ богомъ Аписомъ, значитъ разстричь его изъ священнаго сана въ простые быки. Снимите мундиръ съ гусара, сажу съ трубочиста, и они не будутъ страшны ни для малыхъ, ни для большихъ. Смѣхъ нивеллируетъ а этого то и не хотятъ люди, боящіеся повиснуть на своемъ собственномъ удѣльномъ вѣсѣ“ [1]...

Глухая внутренняя борьба у Гоголя все время шла о-бокъ съ тяжелыми внѣшними столкновеніями. Первымъ сильнымъ ударомъ для него была постановка „Ревизора“.

Еще въ началѣ 1833 года онъ увлекся замысломъ широкой общественной комедіи, который пришлось оставить — въ виду его сложности и изъ боязни цензуры. Погодину онъ писалъ (стр. 245): „я не знаю, отчего теперь такъ жажду современной славы. Вся глубина души такъ и рвется наружу. И я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего... Я помѣшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвѣ, въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда, не выходила изъ головы моей, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составлять, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: „Владиміръ 3-й степени“, и сколько злости, смѣха и соли!.. Но вдругъ остановился, увидѣвши, что перо такъ и толкается о такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда пьеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она, какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ принесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? Мнѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже кварталь-

[1] „Вѣстникъ Всемірной Исторіи“, 1901 г. ст. Батуринскаго.

ный не могъ обидѣться. Но что комедія безъ правды и злости! Итакъ — за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною движется сцена, шумитъ апплодисментъ, рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и — исторію къ черту! И вотъ почему я сижу при лѣни мыслей"...

Но сейчасъ же Гоголя захватилъ сюжетъ далеко не невинный, подсказанный Пушкинымъ[1] и отчасти піесою Квитки, взятый, какъ интересный анекдотъ, но очень быстро разросшійся и легшій въ основу широкой и глубокой общественной комедіи. Обидѣлся не только квартальный, а „всѣ", и „дающіе," и „берущіе", такъ что піеса могла попасть на сцену только благодаря личному распоряженію государя.

Гоголь переживалъ въ то время свѣтлую радость творчества. Все темное ирраціональное его души ушло глубоко, подъ спудъ, и реализмъ, на этотъ разъ чистый и безпримѣсный, торжествовалъ свою блистательную, предпослѣднюю побѣду.

Въ письмѣ къ Погодину онъ восклицаетъ (стр. 357): „смѣяться. смѣяться давайте теперь побольше! Да здравствуетъ комедія!"

Скоро началась расплата за минуты радости, все болѣе и болѣе тяжелое разочарованіе. Хлопоты объ ея постановкѣ и впечатлѣнія самой постановки были очень тягостными для Гоголя. Щепкину онъ жалуется на то, что „получилъ отвращеніе къ театру" (стр. 368), и такъ изображаетъ свое настроеніе (стр. 368—9): „Дѣлайте, что хотите съ моей пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она сама надоѣла такъ же, какъ и хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ, полицейскіе противъ меня, купцы противъ меня, литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на піесу, на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Еслибы не

---

[1] Очень характерна просьба Гоголя къ Пушкину (т. I, стр. 354): „Сдѣлайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ комедію. Если жъ его не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что дѣлать съ моими обстоятельствами. Я, кромѣ моего скверная университетскаго жалованья 600 рублей, никакихъ не имѣю теперь мѣстъ. Сдѣлайте же милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ, и клянусь, куда смѣшнѣе чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ".

высокое заступничество государя, піеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины — и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ только человѣкъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, еслибы я взялъ что-нибудь изъ петербугской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, чѣмъ провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей тому, который ихъ любитъ, между тѣмъ, братскою любовью".

Въ Москвѣ могли встрѣтить его сочувственныя манифестаціи, но и ихъ онъ, щепетильный, щекотливый, то горделивый и высокомѣрный, то скромный и склонный къ самоуниженію, боится, какъ огня. По всей вѣроятности, именно поэтому онъ не ѣдетъ ставить свою піесу въ Москву, а бѣжитъ за границу, полный тревожной работы надъ собою, тяжелыхъ сомнѣній и въ себѣ, и въ своемъ творчествѣ, желая отдохнуть и хорошенько взвѣсить свое положеніе. Многія обвиненія, повидимому, сильно задѣли его, и онъ не находитъ возраженій противъ нихъ. Позднѣе, разобравшись въ самомъ себѣ, прислушавшись къ толкамъ своихъ немногочисленныхъ доброжелателей (въ особенности Бѣлинскаго), онъ отвѣтилъ „Театральнымъ разъѣздомъ", идеи котораго были для него только временнымъ успокоеніемъ.

Почти передъ самымъ отъѣздомъ онъ писалъ Погодину (стр. 370—371): „чувствую, что теперь не доставитъ мнѣ Москва спокойствія, и я не хочу пріѣхать въ такомъ тревожномъ состояніи, въ какомъ нахожусь нынѣ. Ѣду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило [1]. Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ-трехъ плутовъ — тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „мы не плуты". Но Богъ съ ними! Я не

[1] Признакъ узкаго пониманія „Ревизора" самимъ авторомъ.

оттого ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постоянное пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ“[1]. „Большее размышленіе“ не указываетъ на прежнюю безсознательность, конечно.

Оно же, но съ сильною мистическою окраскою, привело его къ особому пониманію этого перелома въ своей жизни. Первое письмо изъ-за границы къ Жуковскому (стр. 384—385) говоритъ: „о, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія! Они имѣли въ себѣ что то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ казалось, я отпрыгивалъ выше, по крайней мѣрѣ, чувствовалъ въ душѣ своей крѣпче отпоръ. Могу сказать, что я никогда не жертвовалъ свѣту моимъ талантомъ. Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи были на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности. Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества — оно послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое. Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мнѣ много встрѣтится непріятнаго, что я буду терпѣть и недостатокъ, и бѣдность, но ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро. Долѣе, долѣе, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ“.

Дѣйствительно, Гоголя ждали — и болѣзни, и бѣдность, и тягостная необходимость прибѣгать къ помощи высокопоставленныхъ лицъ[2], и тяжелые удары судьбы вродѣ смерти Пушкина, и ослабленіе связи съ родною почвою, полная потеря реальнаго чутья, распаденіе таланта.

Еще въ юности онъ бредилъ „заграницею“ и мыс-

---

[1] Охлажденіе къ „Ревизору“, преувеличенное сознаніе его недостатковъ и даже отвращеніе къ нему не скоро проходятъ у Гоголя. Значительно позднѣе онъ принимается за передѣлку (стр. 375, 380, 424—425, 549—550 и пр.).

[2] Т. I, стр. 385, 441, 446, 456, 461, 488; т. II, стр. 3. Соч. Жуковскаго, т. VI, стр. 400, 412. Спб., 1885 г. Гоголь благодаритъ Жуковскаго за хлопоты „доставить отъ императрицы на дорогу“, „прибѣгаетъ“, при его посредствѣ (Жуковскій даже писалъ государю о „нищетѣ“ Гоголя), къ государю, — справляется у Плетнева, „получилъ ли онъ отъ Жуковскаго что-нибудь, что ему слѣдовало отъ государыни за поднесеніе экземпляра комедіи“ и пр.

ленно переживалъ психологію своего Ганца. Позднѣе, какъ мы уже видѣли, растерявшись отъ первыхъ впечатлѣній петербургской жизни, онъ бѣжитъ въ Любекъ. Только теперь было вполнѣ удовлетворено его чисто романтическое стремленіе къ скитальчеству и „прекрасному далеку".

Французы ему не по душѣ своей манерной вѣжливостью, жеманной воспитанностью, ему не нравится парижская жизнь — „жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная смиренно-художнической" (стр. 421, 407—408). Германія ему кажется „подлой" (стр. 516), и онъ сомнѣвается, „та ли теперь эта Германія, какою ее мы представляемъ себѣ", т.-е. въ романтически-идеальномъ освѣщеніи. „Не кажется ли она намъ такою только въ сказкѣ Гофмана? Я по крайней мѣрѣ въ ней ничего не видѣлъ, кромѣ скучныхъ табльдотовъ и вѣчныхъ, на одно и то же лицо состряпанныхъ кельнеровъ и безконечныхъ толковъ о томъ, изъ какихъ блюдъ былъ обѣдъ, и въ которомъ городѣ лучше ѣдятъ; и та мысль, которую я носилъ въ умѣ объ этой чудной и фантастической Германіи, исчезла, когда я увидѣлъ Германію въ самомъ дѣлѣ, такъ, какъ исчезаетъ прелестный голубой колоритъ дали, когда мы приближаемся къ ней близко" (стр. 542—3). Она для него — „гадкая, запачканная и закопченная табачищемъ" (стр. 607), „самая неблаговонная отрыжка гадчайшаго табаку и мерзѣйшаго пива" (стр. 508). „Всякій нѣмецъ есть Шиллеръ" — въ повѣсти „Невскій проспектъ". Отзывы объ англичанахъ всегда полны иронiи, не всегда, впрочемъ, умѣстной, и въ общемъ довольно низкопробной. „Англичанинъ есть человѣкъ довольно высокаго роста, который садится всегда довольно свободно, поворотившись спиною къ дамѣ и положивши одну ногу на другую" (стр. 389). „Англiши съ такими длинными ногами, что насилу могли выйти изъ лодки" (стр. 409). „Пиза теперь, говорятъ, потоплена и запружена несчетнымъ множествомъ разныхъ миссъ, Джонъ-пудинговъ, бульдоговъ и прочихъ аглицкихъ джентльменовъ, въ разныхъ переплетахъ и сюртукахъ". „Боюсь, — пишетъ онъ кн. Репниной, — чтобы это шипѣніе и визгъ заржавленныхъ желѣзныхъ побрякушекъ, которое въ простонародіи называется аглицкимъ языкомъ, не произвело какого нибудь непріятнаго вліянія на ваши нервы" (стр. 559).

Во всѣхъ подобныхъ отзывахъ чисто внѣшнее, поверхностное отношеніе къ строю западно-европейской жизни, полное отсутствіе интересовъ политическихъ и

соціальныхъ, замѣна вдумчивости и пытливой наблюдательности острословіемъ и балагурствомъ.

„Прекрасное далеко“ онъ нашелъ для себя въ Италіи, въ особенности въ Римѣ, куда еще съ юности стремилась его душа.

Онъ влюбляется въ Римъ, находитъ въ немъ свою вторую родину. Тоскуя и томясь когда то въ Петербургѣ, онъ создалъ въ мечтѣ идеальный образъ Малороссіи, при „бенгальскомъ освѣщеніи“, безъ семейныхъ затрудненій и непріятностей, безъ соотечественниковъ, которые его „терпѣть не могутъ“ (т. I, стр. 556), съ сіяющею красотою и бойкимъ задоромъ народной жизни. Все, что его привлекало въ ней, онъ нашелъ теперь въ Римѣ, съ полнымъ удовлетвореніемъ лирически настроеннаго идеализма, безъ сознанія отвѣтственности и нравственной связи, съ полной свободой наслажденія и художественнаго созерцанія, съ удаленіемъ отъ ужаса и „гадостей“ жизни въ міръ вѣчной красоты и высокихъ образовъ тысячелѣтнихъ героическихъ воспоминаній прошлаго. Со дна души опять всплываютъ — и пристрастіе къ яркимъ краскамъ, и гиперболизація, и повышенный лиризмъ, и поэтическій мистицизмъ.

Прислушайтесь только, чѣмъ сдѣлались для Гоголя Италія и Римъ!

„Вся земля пахнетъ и дышитъ художниками и картинами“ (стр. 433). „Небо чудно. Пью его воздухъ и забываю весь міръ“ (стр. 435). „Что сказать тебѣ вообще объ Италіи? Мнѣ кажется, какъ будто бы я заѣхалъ къ стариннымъ малороссійскимъ помѣщикамъ. Влюбляешься въ Римъ очень медленно, понемногу — и ужъ на всю жизнь. Словомъ, вся Европа для того, чтобы смотрѣть, а Италія для того, чтобы жить“ (стр. 438—9). Жизнь въ Италіи „художническо-монастырская“ (стр. 440). „Кто былъ въ Италіи, тотъ скажи „прощай“ другимъ землямъ. Кто былъ на небѣ, тотъ не захочетъ на землю... Европа въ сравненіи съ Италіей все равно, что день пасмурный въ сравненіи съ солнечнымъ“. Онъ ссвѣтуетъ жить возможно дольше въ Италіи и „пробѣжать всю Европу вдругъ, какъ можно скорѣе, не останавливаясь нигдѣ“ (стр. 451). „Съ какою радостью я бросилъ Швейцарію и полетѣлъ въ мою душеньку, въ мою красавицу Италію! Она моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня. Я родился здѣсь. Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра — все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинѣ. Какъ будто съ цѣлью всемогущая рука Провидѣнія бросила меня подъ сверкающее небо

Италіи, чтобы я забылъ о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красы. Она замѣнила мнѣ все. Гляжу, какъ изступленный, на все и не нагляжусь до сихъ поръ" (стр. 459). Въ Италіи престолъ красавицы-природы, „въ другихъ мѣстахъ мелькаетъ только воскрыліе ея ризы, а здѣсь она вся глядитъ прямо въ очи своими пронзительными очами" (стр. 460). „Когда вамъ все измѣнитъ, когда вамъ больше ничего не останется такого, что бы привязывало васъ къ какому-нибудь уголку міра, пріѣзжайте въ Италію. Нѣтъ лучшей участи, какъ умереть въ Римѣ; цѣлой верстой здѣсь человѣкъ ближе къ божеству" (стр. 461). „Не свою родину, но родину души своей я увидѣлъ (въ Италіи), гдѣ душа моя жила еще прежде меня, прежде чѣмъ я родился на свѣтъ" (стр. 493). Молитва въ Римѣ „на своемъ мѣстѣ, т.-е. въ храмѣ. Молитва же въ Парижѣ, Лондонѣ и Петербургѣ все равно, что молитва на рынкѣ" (стр. 500—501). Онъ даже ревнуетъ Италію къ форестьерамъ, особенно къ англичанамъ и русскимъ (стр. 494, 507, 547) [1].

Здѣсь, въ этой полной высокаго романтизма обстановкѣ, среди поэтическихъ восторговъ передъ природой и остатками сѣдой старины, споровъ объ искусствѣ, среди сутолоки южной жизни, ему, изъ „прекраснаго далека", легче любится, легче пишется [2]; его сильно увлекаетъ поэзія католицизма (т. I, 430, 454, 491, 502 и пр.). И въ это время пишется величайшее созданіе нашего гуманитарнаго реализма — „Мертвыя Души"!

Въ 1836 г. онъ извѣщалъ Пушкина о своей поэмѣ (стр. 353): „сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ". Въ концѣ 1836 г., уже изъ-за границы, онъ пишетъ Жуковскому (стр. 414—416): „если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ! Это будетъ первая моя порядочная вещь, — вещь, которая вынесетъ мое имя". „Огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много

---

[1] Ср. стр. 588: „если есть гдѣ на свѣтѣ мѣсто, гдѣ страданія, горе, утраты и собственное безсиліе можетъ забыться, то это развѣ въ одномъ только Римѣ. Здѣсь только тревоги не властны и не касаются души"; т. I, стр. 445, 461, 468, 479, 497, 498, 513, 541, 563, 622; т. II, стр. 5, 6, 12, 23 и пр. Въ сопоставленіи красотъ Рима — и вѣчно бродящихъ по его улицамъ свиней (стр. 543) чувствуется характерная романтическая иронія.

[2] Ср. т. I, стр. 619—620 (о вліяніи окружающей суеты и дороги на творчество Гоголя).

разныхъ господъ. Кто то незримый пишетъ предо мною могущественнымъ перомъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами, влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни“ [1].

Росли трудъ и его идея, все болѣе крѣпло мессіаническое и ультра-идеалистическое настроеніе, которое кое-гдѣ проглянуло въ „лирическихъ мѣстахъ“, вспугнуло болѣе наблюдательныхъ друзей въ письмахъ и хлынуло широкимъ потокомъ позднѣе въ цѣломъ рядѣ произведеній, которыя поразили многихъ недальновидныхъ читателей и даже такого тонкаго и чуткаго человѣка, какъ Бѣлинскій, своею неожиданностью и парадоксальностью. За послѣднимъ подъемомъ реализма наступили долгіе годы умиранія смѣха, перехода къ прямому идеализму творчества, безсильныхъ попытокъ взяться не за свое дѣло и пойти противъ самого себя, — послѣдній бой противоположныхъ стихій Гоголевской психіи и окончательное пораженіе лучшей изъ нихъ...

IX.

Какъ и все въ душѣ и въ жизни Гоголя, отношенія его къ родинѣ въ это время сильно колеблются.

На одномъ изъ торжественныхъ юбилейныхъ засѣданій общества любителей россійской словесности Д. Н. Овсянико-Куликовскій въ остроумной рѣчи: „Гоголь и Русь изъ прекраснаго далека“, отмѣтилъ это явленіе и сдѣлалъ попытку объяснить его отсутствіемъ у Гоголя въ этотъ періодъ сознанія и осуществленія (мнимаго или дѣйствительнаго) своей „общественной стоимости“ [2].

Кажется, эта формула далеко не покрываетъ всей сложности факта.

Дѣйствительное и мнимое сознаніе своей осуществленной „общественной стоимости“ колебалось у Гоголя всю жизнь; приступы любви и ненависти къ родинѣ перемежались у него все время и очень часто. Они вообще типичны не для одного его, а для всей нашей передовой интеллигенціи 20—40-хъ гг., далеко не исчезли и до сихъ поръ. Ихъ можно указать у Грибоѣдова и его Чацкаго, у Пушкина, Лермонтова съ его „странною любовью“ къ отчизнѣ, Тургенева, Бѣлин-

[1] Ср. т. I, стр. 514, 519, 520 и пр.
[2] См. его прекрасную книгу о Гоголѣ, Спб., 1907 (изд. 2).

скаго. До извѣстной степени ихъ переживаетъ и теперь каждый вдумчивый русскій человѣкъ Жизнь слишкомъ сложна, въ особенности наша, и соприкасаться приходится съ разными ея сторонами, различнымъ образомъ реагировать на нихъ. Къ родинѣ могутъ быть и стихійное влеченіе, и принципіальная ненависть. Въ частности и въ Россіи, и въ вѣстяхъ изъ нея Гоголю многое могло наносить „неотразимыя обиды", бередить старыя раны; чисто физіологическая тоска по родинѣ могла смѣняться тяжелымъ раздумьемъ о ней, вспышками гнѣва противъ ея „гадостей", острымъ сожалѣніемъ къ ея бѣдности и невѣжеству, — тягостными воспоминаніями о прошломъ.

Отрицательные отзывы о Россіи и выраженіе любви къ ней можно найти у Гоголя и тогда, когда онъ возомнилъ себя учителемъ-пророкомъ, и въ этомъ увидѣлъ, хотя бы и не надолго, осуществленіе своей „общественной стоимости", вѣрнѣе — его иллюзію.

Зависятъ они часто у нашихъ интеллигентовъ и отъ сознанія своей безпочвенности, неприспособленности къ жизни, нежизнеспособности, своего „скитальчества", — безцѣльности и неисправимой пошлости жизни, которое прерывается взрывами минутной энергіи, оптимистической бодрости, надежды и вѣры...

Намеки на все это можно найти и у самого Гоголя.

„О, Русь! старая, рыжая борода! Когда ты поумнѣешь?" пишетъ онъ въ 1832 г. (стр. 230). Въ письмѣ къ Погодину (стр. 396): „На Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что невтерпежъ мнѣ пришлось глядѣть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда о нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина; но въ сердцѣ моемъ Русь, — одна только прекрасная Русь: мы да нѣсколько другихъ близкихъ, да небольшое число заключившихъ въ себѣ прекрасную душу и вѣрный вкусъ". Прокоповичу онъ пишетъ (стр. 401): „Что тебѣ сказать о Швейцаріи? Все виды, да виды такіе, что мнѣ уже отъ нихъ, наконецъ, становится тошно, и еслибы мнѣ попалось теперь наше подлое и плоское русское мѣстоположеніе, съ бревенчатою избою и сѣренькимъ небомъ, то я бы въ состояніи имъ восхищаться, какъ новымъ".

На совѣты Погодина вернуться въ Россію онъ отвѣчаетъ (стр. 435): „Или ты думаешь, мнѣ ничего, что мои друзья, что вы отдѣлены отъ меня горами? Или я не люблю нашей неизмѣримой родной русской земли! Я живу около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но

развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строчки не могъ посвятить я чуждому, непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, не яркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядѣвшимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны? Но ѣхать, выносить надменную гордость безмозглаго класса людей, которые будутъ передо мною дуться и даже мнѣ пакостить, — нѣтъ, слуга покорный! Въ чужой землѣ я готовъ все перенести, готовъ нищенски протянуть руку, если дойдетъ до этого дѣло; но въ своей — никогда!.. Я бездомный, меня бьютъ и качаютъ волны, и упираться мнѣ только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы, — сложить мнѣ голову свою на родинѣ!“ [1] „Не житье на Руси людямъ прекраснымъ; однѣ только свиньи тамъ живутъ!“ (стр 598).

Такихъ сопоставленій можно было бы сдѣлать гораздо больше, но и приведенное достаточно разъясняетъ нашу мысль, что подобныя противорѣчія не укладываются въ рамки одного опредѣленія своей „общественной стоимости“, колебаній въ ея осуществленіи.

На этомъ мы можемъ разстаться съ перепиской Гоголя — не потому, чтобы она была нами исчерпана, а потому, что все существенное и характерное въ ней уже указано выше. Послѣдующая жизнь Гоголя почти не прибавила новыхъ чертъ, а усилила и углубила прежнія, уже извѣстныя намъ.

Почти на 10 лѣтъ затянулось медленное и страшное умираніе, нравственное разложеніе за-живо, необыкновенно характерный конецъ трагедіи, единственной въ своемъ родѣ не только въ русской, но и въ міровой литературѣ, представляющей глубокій психологическій и историко-литературный интересъ...

(1902.)

---

[1] Срв., т. I, стр. 510, 544, 606, 609, 612, 616 и пр.

О „Современникѣ“.

(Письмо къ Н. А. Плетневу.)

Наконецъ, поговорю съ тобой о „Современникѣ“. „Современникъ“ вышелъ плохимъ журналомъ, несмотря на прекрасную цѣль, которую ты имѣлъ въ виду. Даже эта самая прекрасная цѣль, во имя которой ты предпринялъ его, не обнаружилась никому очевидно и ясно изъ самаго журнала; напротивъ, всякъ спрашивалъ въ недоумѣніи другъ у друга: „Объясните мнѣ, зачѣмъ и для чего издаетъ Плетневъ свой журналъ? что̀ хочетъ онъ сказать имъ? что значатъ эти общія мѣста въ его программѣ, эти повторенія о безпристрастіи, о безкорыстной любви къ искусству, о стремленіи къ истинѣ и т. п., которыя обѣщаетъ всякій журналистъ и которыхъ не исполняетъ никто?“ Тощее содержаніе его тоненькихъ книжекъ, неживой, безучастный, вялый и неопредѣленный слогъ его сужденій обо всемъ современномъ задавалъ только загадку рѣшать: зачѣмъ онъ названъ „Современникомъ“? Будемъ говорить откровенно. У тебя нѣтъ качествъ журналиста: ни юношескаго живого участія ко всѣмъ волненіямъ современнымъ, ни того трепета любопытства къ вопросамъ, раздающимся въ массѣ общества, ни, наконецъ, энциклопедическаго науколюбиваго стремленія обнимать съ равной охотой все, что ни относится къ развитію познаній человѣческихъ во всѣхъ родахъ. Твоя антологическая душа получила только на долю себѣ одинъ возвышенный даръ — услаждаться благоуханіемъ прекрасныхъ цвѣтовъ поэзіи и обонять ароматъ высшихъ движеній души человѣческой. Не пѣвцу „Миниха“ и нѣкоторыхъ другихъ прекрасныхъ элегій, свидѣтельствующихъ о чистотѣ вкуса и скромной тишинѣ души самого пѣвца, выступать было на поприще полемическое. „Современ-

никъ“ даже и при Пушкинѣ не былъ тѣмъ, чѣмъ долженъ быть журналъ, несмотря на то, что Пушкинъ задалъ себѣ цѣль болѣе положительную и близкую къ исполненью. Онъ хотѣлъ сдѣлать четвертное обозрѣніе въ родѣ англійскихъ, въ которомъ могли бы помѣщаться статьи болѣе обдуманныя и полныя, чѣмъ какія могутъ быть въ еженедѣльникахъ и ежемѣсячникахъ, гдѣ сотрудники, обязанные торопиться, не имѣютъ даже времени пересмотрѣть то, что написали сами. Впрочемъ, сильнаго желанія издавать этотъ журналъ въ немъ не было, и онъ самъ не ожидалъ отъ него большой пользы. Получивши разрѣшенье на изданіе его, онъ уже хотѣлъ было отказаться. Грѣхъ лежитъ на моей душѣ: я умолилъ его. Я обѣщался быть вѣрнымъ сотрудникомъ. Въ статьяхъ моихъ онъ находилъ много того, что можетъ сообщить журнальную живость изданію, какой онъ въ себѣ не признавалъ. Онъ дѣйствительно въ то время слишкомъ высоко созрѣлъ для того, чтобы заключать въ себѣ это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я могъ принимать живѣй къ сердцу то, для чего онъ уже простылъ. Моя настойчивая рѣчь и обѣщаніе дѣйствовать его убѣдили; но слова моего я бы не могъ исполнить даже и тогда, еслибы онъ былъ живъ. Не зналъ я, какими путями поведетъ меня Провидѣніе, какъ отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной, и какъ умру я надолго для всего того, что шевелитъ современнаго человѣка. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всѣхъ утратой, а для тебя еще скорбнѣйшей, чѣмъ для всѣхъ, пораженный сиротствомъ современнаго общества, очутившагося безъ поэзіи, какъ безъ свѣта, — осужденнаго выслушивать пустыя и черствыя пренья и споры объ искусствѣ намѣсто дѣлъ самаго искусства, — пораженный этимъ сиротствомъ, которое, впрочемъ, началось уже и при Пушкинѣ, ты взялся горячо за изданіе журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой въ началѣ поприща Пушкина. Въ пылу великодушнаго увлеченія своего ты даже позабылъ то, что не мы управляемъ дѣлами и событіями, но чертится свыше всему чередъ свой. Ты даже не примѣтилъ того, что имѣлъ такую цѣль, которой ни въ какомъ случаѣ нельзя было достигнуть листками періодическаго ежемѣсячнаго изданія. „Современникъ“, какъ журналъ, не удался бы даже и тогда, еслибы ты заключалъ въ себѣ всѣ качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себѣ, чѣмъ можетъ быть нужно нынѣшнему

времени появленье новаго журнала. Это энциклопедическое образованіе публики посредствомъ журналовъ уже не такъ теперь потребно, какъ было прежде. Публика уже болѣе приготовлена. Уже все зоветъ нынѣ человѣка къ занятіямъ болѣе сосредоточеннымъ, не только значительность современныхъ вопросовъ, но даже самая пустота современнаго общества и легковѣсная вѣтреность дѣлъ его приглашаютъ нынѣ человѣка взглянуть строго на самого себя, вопросить съ большей отчетливостью свои силы и опредѣлить себѣ трудъ не временный, минутный, но тотъ живительный и полный, который отвѣтствуетъ однѣмъ тѣмъ способностямъ, которыми своеобразно надѣленъ изъ насъ каждый уже отъ самаго рожденья своего. Никакой новый журналъ не можетъ дать теперь обществу пищи питательной и существенной. „Современникъ“ долженъ отбросить отъ себя названье журнала; онъ долженъ сжаться попрежнему въ книги намѣсто листовъ и болѣе еще, чѣмъ при Пушкинѣ, походить на альманахъ: онъ долженъ скорѣй напомнить собой „Сѣверные Цвѣты“ барона Дельвига, съ которымъ было у тебя такъ много сходства въ умѣньи наслаждаться и нѣжиться благоуханными звуками поэзіи. Пусть лучше будетъ выходить онъ три раза всякій годъ въ урочныя времена: первый разъ ко дню Свѣтлаго Воскресенья, какъ свѣтлый подарокъ на праздникъ, во второй разъ къ 1-му октября, т. е. ко времени, когда всѣ съѣзжаются у насъ изъ дачъ и деревень въ города, въ третій разъ — къ новому году; словомъ — пусть онъ будетъ современенъ тѣмъ эпохамъ, когда съ большей жадностью встрѣчается новая книга. Все собственно журнальное въ немъ не должно имѣть мѣста: ни возвѣщенья о новостяхъ ежедневныхъ, ни политическія извѣстія, ни поименованія всѣхъ выходящихъ книгъ, развѣ только одинъ строгій отчетъ о замѣчательнѣйшихъ изъ нихъ за всю треть въ такомъ видѣ, чтобъ онъ самъ собой могъ уже составить замѣчательную литературную статью. Нужно, чтобы здѣсь ничто не поминало читателю о томъ, что есть какія-нибудь распри въ литературѣ и существуетъ журнальная полемика. Самыя статьи должны быть допущены сосредоточенныя, полныя, которыя ничѣмъ не походили бы на торопливыя, отрывочныя статьи журналовъ. Нужно, чтобы здѣсь были одни лучшіе цвѣты современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только такимъ изданіемъ, которое будетъ выходить не болѣе трехъ разъ въ годъ: въ три мѣсяца можно набрать книжку. Современное намъ время, слава Богу, не безъ талантовъ. Часть про-

заическая альманаха можетъ быть теперь гораздо значительнѣй и богаче, чѣмъ когда-либо прежде. Поименуемъ нарочно тѣхъ современныхъ писателей, статьями которыхъ можетъ украситься „Современникъ“. Прежде всего слѣдуетъ назвать графа Соллогуба, который безспорно есть нынѣшній нашъ лучшій повѣствователь. Никто не щеголяетъ такимъ правильнымъ, ловкимъ и свѣтскимъ языкомъ. Слогъ его точенъ и приличенъ во всѣхъ выраженьяхъ и оборотахъ. Остроты, наблюдательности, познаній всего того, чѣмъ занято наше высшее модное общество, у него много. Одинъ только недостатокъ: не набралась еще собственная душа автора содержанья болѣе строгаго, и не доведенъ еще онъ своими внутренними событіями къ тому, чтобы строже и отчетливѣй взглянуть вообще на жизнь. Но, если и это въ немъ совершится, онъ будетъ вполнѣ вѣрный живописецъ лучшаго общества; значительность твореній его выиграетъ больше, чѣмъ сто на сто. Непосредственно за нимъ слѣдуетъ назвать другого писателя, который скрылъ свое имя подъ выдуманнымъ: казакъ Луганскій [1]. Онъ не поэтъ, не владѣетъ искусствомъ вымысла, не имѣетъ даже стремленья производить творческія созданія; онъ видитъ всюду дѣло и глядитъ на всякую вещь съ ея дѣльной стороны. Умъ твердый и дѣльный виденъ во всякомъ его словѣ, а наблюдательность и природная острота вооружаютъ живостью его слово. Все у него правда и взято такъ, какъ есть въ природѣ. Ему стоитъ, не прибѣгая ни къ завязкѣ, ни къ развязкѣ, надъ которыми такъ ломаетъ голову романистъ, взять любой случай, случившійся въ русской землѣ, первое дѣло, котораго производству онъ былъ свидѣтелемъ и очевидцемъ, чтобы вышла сама собой наизанимательнѣйшая повѣсть. По мнѣ, онъ значительнѣй всѣхъ повѣствователей-изобрѣтателей. Можетъ быть, я сужу здѣсь пристрастно, потому что писатель этотъ болѣе другихъ угодилъ личности моего собственнаго вкуса и своеобразью моихъ собственныхъ требованій: каждая его строчка меня учитъ и вразумляетъ, придвигая ближе къ познанью русскаго быта и нашей народной жизни; но зато всякъ согласится со мной, что этотъ писатель полезенъ и нуженъ всѣмъ намъ въ нынѣшнее время. Его сочиненія — живая и вѣрная статистика Россіи. Все, что ни достанетъ онъ изъ своей многовмѣщающей памяти и что ни разскажетъ достовѣрнымъ языкомъ своимъ, будетъ драгоцѣннымъ по-

[1] Даль.

Памятникъ Гоголю въ Нѣжинѣ.

Съ фотографическаго снимка.

даркомъ для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчалъ Н. Павловъ, писатель, который первыми тремя повѣстями своими получилъ съ перваго раза право на почетное мѣсто между нашими прозаическими писателями и который повредилъ себѣ только тѣмъ, что, не захотѣвши быть самимъ собой, вздумалъ копировать (въ трехъ новыхъ повѣстяхъ своихъ) тѣхъ модныхъ новеллистовъ, которые гораздо его ниже. Онъ могъ бы всегда, не прибѣгая ни къ напряженнымъ вымысламъ поэтическимъ, ни къ мозаичнымъ искусственнымъ украшеніямъ рѣчи, такъ изуродовавшимъ благородный и ясный слогъ его, взять на выдержку первое психологическое явленье нашего общества и разсказать его такъ отчетливо и умно, что повѣсть его имѣла бы всѣ принадлежности тѣхъ строгихъ классическихъ произведеній, которыя остаются навсегда образцами въ литературѣ. Я вижу тоже много достоинствъ въ писателѣ, который подписываетъ подъ своими сочиненіями имя: Кулишъ. Цвѣтистый слогъ и большое познаніе нравовъ и обычаевъ Малой Россіи говорятъ о томъ, что онъ могъ бы прекрасно написать исторію этой земли. Онъ могъ бы еще съ бо́льшимъ успѣхомъ составить живыя статьи для альманаха и въ нихъ разсказать просто о нравахъ и обычаяхъ прежнихъ временъ, не вставляя этого въ повѣсть или драматическій разсказъ, подобно тому, какъ нѣкогда разсказывалъ Корниловичъ [1] о временахъ до Петра и при Петрѣ. Романъ же его [2], довольно любопытный по частямъ, вялъ и скученъ въ цѣломъ: эти драгоцѣнные перлы свѣдѣній историческихъ, которые разсыпаны на страницахъ его, погибаютъ тамъ совершенно безплодно. Мнѣ сказывали, что вообще въ послѣднее время повѣсть сдѣлала у насъ успѣхъ, и нѣсколько молодыхъ писателей показали особенное стремленье къ наблюденью жизни дѣйствительной. Изъ того, что удалось прочесть мнѣ самому, я замѣтилъ также тому признаки, хотя постройка самыхъ повѣстей мнѣ показалась особенно неискусна и неловка; въ разсказѣ замѣтилъ я излишество и многословіе, а въ слогѣ отсутствіе простоты. Но я увѣренъ, что если въ каждомъ изъ этихъ писателей прежде сформируется человѣкъ, чѣмъ писатель, — все прочее придетъ само собою, и каждый изъ нихъ, обнаружа еще сильнѣй особенности пера своего, не покажетъ ни одного изъ этихъ недостатковъ. Не могу не упомянуть о

[1] Декабристъ.
[2] „Черная рада“.

писателѣ, выступившемъ на литературное поприще драмою „Смерть Ляпунова“ [1]. Не имѣя въ себѣ полной зрѣлости строенья драматическаго, которое доступно однимъ только опытнымъ драматургамъ, драма эта имѣетъ въ себѣ много тѣхъ достоинствъ, которыя пророчатъ въ творцѣ ея писателя замѣчательнаго. Слышать живость минувшаго и умѣть заговорить о немъ такимъ живымъ языкомъ — это свойство великое! Я бы на его мѣстѣ такъ и впился въ русскія лѣтописи и ни на мигъ не оторвался бы отъ этого чтенія. Онъ можетъ много извлечь оттуда прекрасныхъ предметовъ. Почему знать, можетъ быть, отъ такого чтенія родилась бы въ немъ благословенная мысль написать правдивую исторію времени, его преимущественно поразившаго. Вполнѣ историческое произведеніе, исполненное писателемъ, умѣющимъ такъ живо чувствовать историческіе характеры, и написанное такимъ живымъ перомъ, будетъ въ нѣсколько разъ значительнѣй историческихъ драмъ. Кстати о молодыхъ и начинающихъ писателяхъ. Мнѣ бы очень хотѣлось, чтобы ты отыскалъ Прокоповича и умѣлъ склонить его взяться за перо повѣствователя. Изъ всѣхъ, тѣхъ, которые воспитывались со мною вмѣстѣ въ школѣ и начали писать въ одно время со мной, у него раньше, чѣмъ у всѣхъ другихъ, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива; все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило въ немъ плодовитѣйшаго романиста. Онъ задремалъ теперь, я это знаю; онъ далъ заснуть въ себѣ желанію дѣйствовать на поприщѣ просторномъ, самый кругъ его сталъ тѣсенъ и передъ нимъ мало жизненнаго поля для наблюденій. Но жизнь вездѣ жизнь и, чѣмъ меньше ея просторъ и тѣснѣе ея кругъ, тѣмъ основательнѣй и глубже онъ можетъ быть нами изслѣдуемъ и проникнутъ. Уже самая своя собственная душевная повѣсть, предметомъ которой будетъ взято собственное пробужденіе отъ мертвеннаго застоя, заставляющее съ ужасомъ взглянуть человѣка на животно-истраченную жизнь свою, можетъ быть высокимъ предметомъ для романа... Какой бы праздникъ былъ душѣ моей, еслибы я встрѣтилъ въ „Современникѣ“ повѣсть, подъ которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я попрежнему не могу быть работящимъ и ревностнымъ вкладчикомъ въ твой „Современникъ“. Ты уже самъ

[1] Вѣроятно, „Прокопій Ляпуновъ“ Хомякова.

почувствовалъ, что меня нельзя назвать писателемъ въ строгомъ классическомъ смыслѣ. Изъ всѣхъ тѣхъ, которые начали писать со мною вмѣстѣ, еще въ лѣта моего школьнаго юношества, у меня менѣе, чѣмъ у всѣхъ другихъ, замѣчались тѣ свойства, которыя составляютъ необходимыя условія писателя. Скажу тебѣ, что даже въ самыхъ раннихъ помышленіяхъ моихъ о будущемъ поприщѣ моемъ, никогда не представлялось мнѣ поприще писателя. Столкнулся я съ нимъ почти нечаянно. Нѣкоторыя мои наблюденія надъ нѣкоторыми, сторонами жизни, мнѣ нужными для дѣла душевнаго издавна меня занимавшаго, были виной того, что я взялся за перо и вздумалъ преждевременно подѣлиться съ читателемъ тѣмъ, чѣмъ мнѣ слѣдовало подѣлиться уже потомъ, по совершеньи моего собственнаго воспитанія. Мнѣ доставалось трудно все то, что достается легко природному писателю. Я до сихъ поръ, какъ ни бьюсь, не могу обработать слогъ и языкъ свой, первыя необходимыя орудія всякаго писателя: они у меня до сихъ поръ въ такомъ неряшествѣ, какъ ни у кого даже изъ дурныхъ писателей, такъ что надо мной имѣетъ право посмѣяться едва начинающій школьникъ. Все мною написанное замѣчательно только въ психологическомъ значеніи, но оно никакъ не можетъ быть образцомъ словесности, и тотъ наставникъ поступитъ неосторожно, кто посовѣтуетъ своимъ ученикамъ учиться у меня искусству писать или подобно мнѣ живописать природу: онъ заставитъ ихъ производить карикатуры. Доказательство этому можешь видѣть на нѣкоторыхъ молодыхъ и неопытныхъ подражателяхъ моихъ, которые именно черезъ это самое подражаніе стали несравненно ниже самихъ себя, лишивъ себя своей собственной самостоятельности [1]. У меня никогда не было стремленья быть отголоскомъ всего и отражать въ себѣ дѣйствительность, какъ она есть вокругъ насъ, — стремленья, которое тревожитъ поэта во все продолженіе его жизни и умираетъ въ немъ только съ его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чемъ, кромѣ того, что близко моей собственной душѣ. Итакъ, если я почувствую, что чистосердечный голосъ мой будетъ истинно нуженъ кому-нибудь, и слово мое можетъ принести какое-нибудь внутреннее примиренье человѣку, тогда у тебя въ „Современникѣ“ будетъ моя статья; если жъ нѣтъ — ея не будетъ, и ты на меня за это никакъ не гнѣвайся. Я здѣсь не упомянулъ также ни объ одномъ

[1] Гребенка, Григоровичъ и др.

изъ тѣхъ современныхъ прозаическихъ писателей нашихъ, которые, будучи заняты собственными изданіями или же сидя надъ трудами болѣе отвлеченными, требующими полнаго вниманія, не имѣютъ ни возможности, ни досуга поработать для твоего „Современника“ — ихъ не слѣдуетъ и безпокоить. Здѣсь кстати я долженъ тебя побранить. Ты былъ несправедливъ, приписывая безучастное невниманіе многихъ литераторовъ къ твоему журналу ихъ равнодушію къ общему дѣлу, нелюбви къ искусству, деньголюбію и т. п. У всякаго есть свое внутреннее дѣло; у всякаго совершается въ душѣ свое собственное событіе, на время его отвлекающее отъ участія въ дѣлѣ общемъ; и никакъ нельзя требовать, чтобы другой жертвовалъ собой и своей собственной цѣлью для какой-нибудь нами любимой мысли или нашей цѣли, къ которой мы предположили себѣ стремиться. Каждому опредѣляетъ Богъ дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мѣрять всѣхъ однимъ и тѣмъ же аршиномъ. А потому уважай и самый отказъ другого даже и тогда, еслибы онъ не захотѣлъ объявить причины, почему не можетъ дать статьи въ „Современникъ“. Довольствуйся тѣмъ, что дадутъ. Если только одни поименованные мною писатели дадутъ статьи свои, то и этого уже будетъ достаточно. Но я знаю, что дадутъ еще и другіе, которыхъ я не назвалъ. Вопреки людямъ, жалующимся на недостатокъ талантовъ въ нынѣшнее время, я вижу ихъ теперь гораздо больше, чѣмъ когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто изъ нихъ не умѣлъ стать самимъ собой, и это причина ихъ непримѣтности; но многіе изъ нихъ уже болѣютъ этимъ желаніемъ, хотя и не знаютъ, какъ удовлетворить ему. Стремленье узнать назначенье свое есть теперь страданье многихъ людей, одаренныхъ способностями. Оно то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездѣйственности на поприщѣ литературномъ.

Стихотворная часть „Современника“ можетъ быть также весьма богата, не взирая на то, что, повидимому, въ современномъ обществѣ угаснуло расположеніе къ поэзіи. Слава Богу, еще здравствуетъ самъ патріархъ нашей поэзіи: еще Небо хранитъ намъ Жуковскаго. Въ награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному изъ всѣхъ насъ дано почувствовать свѣжесть молодости въ старческія лѣта и силу юноши для дѣла поэтическаго. Его нынѣшніе труды далеко полновѣснѣй и значительнѣй прежнихъ. Не нужно судить о немъ по тѣмъ стихотворнымъ сказкамъ и повѣстямъ, которыя были

помѣщены въ послѣднее время въ „Современникѣ“. Онѣ не могли и не должны были произвесть никакого впечатлѣнья на общество, и нечего удивляться, что общество, оцѣнивая всякое новое произведеніе относительно своихъ собственныхъ потребностей душевныхъ, ища въ немъ отвѣта на тревожныя исканія свои, назвало эти стихотворенія ребячествомъ Жуковскаго. Они были, точно, назначены для малолѣтнихъ дѣтей. Повѣсти и сказки эти должны были выйти особой книжкой подъ названіемъ: „Подарокъ дѣтямъ отъ Жуковскаго“. Онъ сдѣлалъ ошибку, пославши ихъ въ журналъ. Я говорилъ это ему тогда же, совѣтуя или ничего не посылать, или послать то, что пришлось бы по душѣ взрослому человѣку. Но теперь я знаю, что онъ пришлетъ тебѣ въ альманахъ который-нибудь изъ тѣхъ перловъ, которые выработались въ глубинѣ его собственной души, гдѣ въ послѣднее время такъ много произошло прекраснаго. Еще, слава Богу, здравствуютъ два другіе первоклассные наши поэты: князь Вяземскій и Языковъ, и могутъ подарить „Современникъ“ новыми, дотолѣ не раздававшимися отъ нихъ звуками, — звуками, исторгнутыми изъ выстрадавшагося сердца, пѣснями самой души, уже набравшейся строгаго содержанія высшей поэзіи. Самые наши молодые, недавно показавшіеся поэты, которыхъ я здѣсь не называю по именамъ, которые показали покуда одно благозвучіе, легкость и щегольство стихосложенія, но еще не показали истинныхъ и вѣрныхъ ощущеній своихъ, могутъ заговорить струнами поэзіи, болѣе намъ близкой. Поэзія есть чистая исповѣдь души, а не порожденіе искусства или хотѣнья человѣческаго; поэзія есть правда души, а потому и всѣмъ равно можетъ быть доступна. Способность вымысла и творчества есть слишкомъ высокая способность и дается однимъ только всемірнымъ геніямъ, которыхъ появленье слишкомъ рѣдко на землѣ; опасно и вступать на этотъ путь другому. Многіе даже изъ первоклассныхъ талантовъ становились ниже себя, зашедши въ область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшіе таланты, когда событіями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспѣваетъ время, когда жажда исповѣди душевной становится сильнѣе и сильнѣе. Много поэтическихъ звуковъ издадутъ даже и тѣ, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасныхъ цвѣтковъ, много драгоцѣнныхъ вкладовъ нанесутъ къ тебѣ со всѣхъ сторонъ въ твой „Современникъ“. Ты самъ, хотя уже давно не пробовалъ звуковъ

оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, вѣрно, испыталъ въ это время тоже не мало скорбныхъ минутъ и никѣмъ не услышаннаго горя; твоя душа, вѣрно, томилась также желаніемъ передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ея, и, не найдя его нигдѣ, обратилась, наконецъ, къ тому родному всѣмъ намъ Существу, которое одно умѣетъ принимать любовно на грудь къ себѣ тоскующаго и скорбящаго и къ которому, наконецъ, все живущее обратится. Припомни же всѣ эти минуты, какъ минуты скорбей, такъ и минуты высшихъ утѣшеній, тебѣ ниспосланныхъ; передай ихъ, изобрази въ той правдѣ, въ какой онѣ были. Тебѣ помогутъ слезы умиленья и растроганныя чувства признательной души твоей; они помогутъ тебѣ передать съ такой силой, съ какой не сумѣетъ передать ихъ великій, владѣющій чародѣйствомъ вымысла, но еще не выстрадавшійся поэтъ. „Современникъ“ тогда оправдаетъ данное ему названіе, но оправдаетъ его въ другомъ — высшемъ смыслѣ: онъ будетъ современенъ всѣмъ высшимъ минутамъ русскаго писателя и человѣка. Онъ тогда ближе приблизится къ той цѣли, которая доселѣ такъ отдаленно и неясно представлялась въ твоихъ мысляхъ; онъ соединитъ эстетическимъ союзомъ прекраснаго братства всѣхъ пишущихъ. Одинъ только ты въ Россіи можешь предпринять и выполнить такое изданіе, потому что одинъ только ты питалъ о немъ постоянную мысль; одинъ только ты не имѣлъ въ виду денежныхъ интересовъ и вознагражденій за труды; одинъ ты безотчетно питалъ чистую, младенческую любовь къ искусству, сдѣлавшую тебя другомъ лучшихъ поэтовъ нашихъ и превратившую для тебя самое искусство въ твое собственное, какъ бы родное и семейственное дѣло. Стало быть, одному только тебѣ можетъ быть ввѣрено такое изданіе. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всѣхъ отношеніяхъ драгоцѣннымъ подаркомъ: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какія могутъ только быть произведены у насъ въ Россіи (граверовъ выбери русскихъ, иностранцевъ сюда не вмѣшивай). Мѣру книгамъ дай небольшую, немного чѣмъ побольше „Сѣверныхъ Цвѣтовъ“, словомъ — чтобы и по достоинству, и по виду изданье походило на драгоцѣнность. Все это можешь исполнить одинъ только ты, потому что, не имѣя въ виду пользоваться доходами съ него для своего собственнаго содержанья и прокормленья, ты можешь все употребить на красоту самаго изда-

нья и такимъ образомъ доставить хлѣбъ бѣднымъ художникамъ нашимъ, которымъ приходится иногда претерпѣвать горькую чашу.

Итакъ, если все это, что я теперь сказалъ, пришлось тебѣ по сердцу, то, благословясь, приступай съ Богомъ къ составленью первой книжки „Современника“ ко времени наступающаго праздника Свѣтлаго Воскресенія 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей въ видѣ программы или вступленія въ самую книгу. До того же времени дай его прочесть всѣмъ тѣмъ, отъ которыхъ ты пожелалъ бы имѣть статью. Какъ ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я увѣренъ, что по прочтеньи его всякъ согласится вмѣстѣ съ тобой и со мной въ необходимости такого изданья въ Россіи и вѣрно дастъ тебѣ наилучшее изъ своихъ произведеній. Въ газетныхъ листахъ ты можешь объявить о немъ только немногими словами — именно, что „Современникъ“ будетъ выходить въ трехъ книгахъ въ означенные сроки; прибавь къ этому одни только имена тѣхъ, которыхъ статьи будутъ помѣщены — этого достаточно. Пусть лучше все остальное, какъ достоинство статей, такъ и роскошь самого изданья, будетъ пріятной неожиданностью для каждаго читателя.

Письмо къ В. А. Жуковскому [1]

Неаполь. $\frac{\text{1848 генваря 10.}}{\text{1847 декабря 29.}}$

Виноватъ передъ тобой, душа моя! Всякій день собираюсь писать — и непостижимая неохота удерживаетъ. Передо мной опять Неаполь, Везувій и море! Дни бѣгутъ въ занятіяхъ; время летитъ такъ, что не знаешь, откуда взять лишній часъ. Учусь, какъ школьникъ, всему тому, чему пренебрегъ выучиться въ школѣ. Но что разсказывать объ этомъ! Хотѣлось бы поговорить о томъ, о чемъ съ однимъ тобой могу говорить: о нашемъ миломъ искусствѣ, для котораго живу и для котораго учусь теперь, какъ школьникъ. Такъ какъ теперь предстоитъ мнѣ путешествіе въ Іерусалимъ, то хочу тебѣ исповѣдаться; кому же, какъ не тебѣ? Вѣдь литература заняла почти всю жизнь мою, и главные мои грѣхи — здѣсь. Вотъ уже скоро двадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, едва вступавшій въ свѣтъ юноша, пришелъ въ первый разъ къ тебѣ, уже совершившему полдороги на этомъ поприщѣ. Это было въ Шепелевскомъ дворцѣ. Комнаты этой уже нѣтъ; но я ее вижу какъ теперь, всю, до малѣйшей мебели и вещицы. Ты подалъ мнѣ руку и такъ исполнился желаньемъ помочь будущему сподвижнику! Какъ былъ благосклонно-любовенъ твой взоръ!.. Что насъ свело, неравныхъ годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнѣйшее обыкновеннаго родства. Отъ чего? Отъ того, что чувствовали оба святыню искусства.

Не мое дѣло рѣшить, въ какой степени я поэтъ; знаю только то, что, прежде чѣмъ понимать значенье и цѣль искусства, я уже чувствовалъ чутьемъ всей души моей, что оно должно быть свято И едва ли не со вре-

---

[1] Въ этомъ письмѣ повторены нѣкоторыя мысли „Авторской Исповѣди“.

мени этого перваго свиданья нашего оно уже стало главнымъ и первымъ въ моей жизни, а все прочее вторымъ. Мнѣ казалось, что уже не долженъ я связываться никакими другими узами на землѣ, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина. и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не давалъ себѣ отчета (да и могъ ли тогда его дать?), что должно быть предметомъ моего пера, а уже творческая сила шевелилась и собственныя обстоятельства жизни моей наталкивали на предметы. Все совершалось какъ бы независимо отъ моего собственнаго (свободнаго) произволенія. Никогда, напримѣръ, я не думалъ, что мнѣ придется быть сатирическимъ писателемъ и смѣшить моихъ читателей. Правда, что, еще бывши въ школѣ, чувствовалъ я временами расположеніе къ веселости и надоѣдалъ товарищамъ неумѣстными шутками. Но это были временные припадки; вообще же я былъ характера скорѣй меланхолическаго и склоннаго къ размышленію. Впослѣдствіи присоединилась къ этому болѣзнь и хандра. И эти то самыя болѣзнь и хандра были причиной той веселости, которая явилась въ моихъ первыхъ произведеніяхъ. Чтобъ развлекать самого себя, я выдумывалъ безъ дальнѣйшей цѣли и плана героевъ, становилъ ихъ въ смѣшныя положенія — вотъ происхожденіе моихъ повѣстей! Страсть наблюдать за человѣкомъ, питаемая мною еще сызмала, придала имъ нѣкоторую естественность; ихъ даже стали называть вѣрными снимками съ натуры. Еще одно обстоятельство: мой смѣхъ вначалѣ былъ добродушенъ, я совсѣмъ не думалъ осмѣивать что-либо съ какой-нибудь цѣлью, и меня до такой степени изумляло, когда я слышалъ, что обижаются и даже сердятся на меня цѣликомъ сословія и классы общества, что я, наконецъ, задумался. „Если сила смѣха такъ велика, что ея боятся, стало быть, ее не слѣдуетъ тратить по пустому“. Я рѣшился собрать все дурное, какое только я зналъ, и за однимъ разомъ надъ нимъ посмѣяться — вотъ происхожденіе „Ревизора“! Это было первое мое произведеніе, замышленное съ цѣлью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось: въ комедіи стали видѣть желанье осмѣять узаконенный порядокъ вещей и правительственныя формы, тогда какъ у меня было намѣренье осмѣять только самоуправное отступленье нѣкоторыхъ лицъ отъ форменнаго и узаконеннаго порядка. Представленье „Ревизора“ произвело на меня тягостное впечатлѣніе. Я былъ сердитъ и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго

виной тому, что меня не поняли. Мнѣ хотѣлось убѣжать отъ всего. Душа требовала уединенья и обдуманья строжайшаго своего дѣла. Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, въ которомъ бы предстало все, что ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человѣкѣ, и обнаружилось бы предъ нами виднѣй свойство нашей русской природы. Я видѣлъ и обнималъ порознь много частей, но планъ цѣлаго никакъ не могъ предо мной выясниться и опредѣлиться въ такой силѣ, чтобы я могъ уже приняться и начать писать. На всякомъ шагу я чувствовалъ, что мнѣ многаго недостаетъ, что я не умѣю еще ни завязывать, ни развязывать событій и что мнѣ нужно выучиться постройкѣ большихъ твореній у великихъ мастеровъ. Я принялся за нихъ, начиная съ нашего любезнаго Гомера. Уже мнѣ показалось было, что я начинаю кое-что понимать и пріобрѣтать даже ихъ пріемы и замашки, — а способность творить все не возвращалась. Отъ напряженья болѣла голова. Съ большими усиліями удалось мнѣ кое-какъ выпустить въ свѣтъ первую часть „Мертвыхъ Душъ“, какъ бы затѣмъ, чтобы увидѣть на ней, какъ я былъ еще далекъ отъ того, къ чему стремился. Послѣ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — и ничего не выходило. Я думалъ, что уже способность писать просто отнялась отъ меня. И вдругъ болѣзни и тяжкія душевныя состоянія оторвали меня разомъ отъ всего и даже отъ самой мысли объ искусствѣ, обратили къ тому, къ чему прежде, чѣмъ сдѣлался писатель, уже имѣлъ я охоту — къ наблюденью внутреннему надъ человѣкомъ и надъ душой человѣческой. О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познанье, когда начнешь дѣло съ собственной своей души! На этомъ то пути поневолѣ встрѣтишься ближе съ Тѣмъ, Который одинъ изъ всѣхъ, доселѣ бывшихъ на землѣ, показалъ въ Себѣ полное познанье души человѣческой; божественность Котораго еслибы даже и отвергнулъ міръ, то ужъ этого послѣдняго свойства никакъ не въ силахъ отвергнуть, развѣ только въ такомъ случаѣ, когда сдѣлается уже не слѣпъ, а просто глупъ. Этимъ крутымъ поворотомъ, происшедшимъ не отъ моей воли, наведенъ я былъ заглянуть глубже въ душу вообще и узнать, что существуютъ ея высшія степени и явленія. Съ этихъ поръ способность творить стала пробуждаться; живые образы начинаютъ выходить ясно изъ мглы; чувствую, что работа пойдетъ, что даже и языкъ будетъ правиленъ и

звученъ, а слогъ окрѣпнетъ. И, можетъ быть, будущій уѣздный учитель словесности прочтетъ ученикамъ своимъ страницу будущей моей прозы непосредственно вослѣдъ за твоей, примолвивши: „оба писателя правильно писали, хотя и не похожи другъ на друга“. Выпускъ книги „Переписка съ друзьями“, съ которою (отъ радости, что расписалось перо) я такъ поспѣшилъ, не подумавши, что прежде, чѣмъ принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею съ толку многихъ, пришелся въ пользу мнѣ самому. На этой книгѣ я увидѣлъ, гдѣ и въ чемъ я перешелъ въ то излишество, въ которое, въ эпоху нынѣшняго переходнаго состоянья общества, попадаетъ почти всякій идущій впередъ человѣкъ. Несмотря на пристрастье сужденій объ этой книгѣ и разномыслiе ихъ, въ итогѣ послышался общій голосъ, указавшій мнѣ мѣсто мое и границы, которыя я, какъ писатель, не долженъ преступать. Въ самомъ дѣлѣ, не мое дѣло поучать проповѣдью. Искусство и безъ того уже поученье. Мое дѣло говорить живыми образами, а не разсужденьями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. Но вопросъ: могъ ли бы я безъ этого большого крюку сдѣлаться достойнымъ производителемъ искусства? могъ ли бы я выставить жизнь въ ея глубинѣ такъ, чтобы она пошла въ поученье? Какъ изображать людей, если не узналъ прежде, что такое душа человѣческая? Писатель, если только онъ одаренъ творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде, какъ человѣкъ и гражданинъ земли своей, а потомъ уже принимайся за перо! Иначе все будетъ невпопадъ. Что пользы поразить позорнаго и порочнаго, выставя его на видъ всѣмъ, если неясенъ въ тебѣ самомъ идеалъ ему противоположнаго прекраснаго человѣка? Какъ выставлять недостатки и недостоинство человѣческое, если не задалъ самому себѣ запроса: въ чемъ же достоинство человѣка? и не далъ на это себѣ сколько-нибудь удовлетворительнаго отвѣта. Какъ осмѣивать исключенья, если еще не узналъ хорошо тѣ правила, изъ которыхъ выставляешь на видъ исключенья? Это будетъ значитъ разрушить старый домъ прежде, чѣмъ имѣешь возможность выстроить на мѣсто его новый. Но искусство не разрушенье. Въ искусствѣ таятся сѣмена созданья, а не разрушенья. Это чувствовалось всегда, даже и въ тѣ времена, когда все было невѣжественно. Подъ звуки Орфеевой лиры строились города. Несмотря на неочищенное еще до сихъ поръ понятіе общества объ искусствѣ, всѣ, однакоже, говорятъ: „искусство есть

примиренье съ жизнью". Это правда. Истинное созданье искусства имѣетъ въ себѣ что то успокаивающее и примирительное. Во время чтенья душа исполняется стройнаго согласія, а по прочтеньи удовлетворена: ничего не хочется, ничего не желается, не подымается въ сердцѣ движенье негодованья противъ брата, но скорѣе въ немъ струится елей всепрощающей любви къ брату; и вообще не устремляешься на порицанье дѣйствій другого, но на созерцанье самого себя. Если же созданье поэта не имѣетъ въ себѣ этого свойства, то оно есть одинъ только благородный, горячій порывъ, плодъ временнаго состоянья автора. Оно останется, какъ примѣчательное явленье, но не назовется созданьемъ искусства. Подѣломъ. Искусство есть примиренье съ жизнью!

Искусство есть водворенье въ душу стройности и порядка, а не смущенья и разстройства. Искусство должно изобразить намъ такимъ образомъ людей земли нашей, чтобы каждый изъ насъ почувствовалъ, что это живые люди, созданные и взятые изъ того же тѣла, изъ котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всѣ доблестныя народныя наши качества и свойства, не выключая даже и тѣхъ, которыя, не имѣя простора свободно развиться, не всѣми замѣчены и оцѣнены такъ вѣрно, чтобы каждый почувствовалъ ихъ и въ себѣ самомъ и загорѣлся бы желаньемъ развить и возлелѣять въ себѣ самомъ то, что имъ заброшено и позабыто. Искусство должно выставить намъ всѣ дурныя наши народныя качества и свойства такимъ образомъ, чтобы слѣды ихъ каждый изъ насъ отыскалъ прежде въ себѣ самомъ и подумалъ бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дѣйствуя, искусство исполнитъ свое назначенье и внесетъ порядокъ и стройность въ общество!

Итакъ, благословясь и помолясь, обратимся же сильнѣй, чѣмъ когда-либо прежде, къ нашему милому искусству. Что касается до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (когда Богъ удостоитъ быть достойнымъ сколько-нибудь того), хочу заняться крѣпко „Мертвыми Душами". Съѣзжу въ Іерусалимъ (чего стало даже и совѣстно не сдѣлать); поблагодарю, какъ сумѣю, за все бывшее; помолюсь, да укрѣпится душа и соберутся силы, и съ Богомъ за дѣло. Очень, очень бы хотѣлось, чтобы привелъ Богъ насъ опять пожить вмѣстѣ, въ Москвѣ, вблизи другъ отъ друга. Перечитывать написанное и быть судьей другъ другу теперь будетъ еще

больше нужно, чѣмъ прежде. Затѣмъ отъ всей души поздравляю тебя съ новымъ годомъ. Дай Богъ, чтобъ былъ онъ намъ обоимъ очень, очень плодотворенъ, плодотворнѣе всѣхъ прошедшихъ. Прощай, мой родной! Цѣлую тебя и обнимаю крѣпко. Пиши ко мнѣ. Твое письмо еще застанетъ меня въ Неаполѣ. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вмѣстѣ съ Рейтернами [1].

Твой *Г.*

Если письмо это найдешь не безъ достоинства, то прибереги его. Его можно будетъ при второмъ изданіи „Переписки“ поставить впереди книги намѣсто „Завѣщанія“, имѣющаго выброситься, а заглавіе дать ему: Искусство есть примиренье съ жизнью [1].

---

[1] Семья тестя Жуковскаго.

[1] Конецъ письма не перепечатывается, такъ какъ онъ не представляетъ литературнаго интереса.

Духовное завѣщаніе Н. В. Гоголя.

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Отдаю все имущество, какое есть, матери и сестрамъ. Совѣтую имъ жить въ любви совокупно въ деревнѣ, и помня, что, отдавъ себя крестьянамъ и всѣмъ людямъ, помнить (!) изреченіе Спасителя: „Паси овцы моя!“ Господь да внушитъ все, что должны онѣ сдѣлать. Служившихъ мнѣ людей наградить. Якима отпустить на волю. Семена также, если онъ прослужитъ лѣтъ десять графу.

Мнѣ бы хотѣлось, чтобы деревня наша по смерти моей сдѣлалась пристанищемъ всѣхъ не вышедшихъ замужъ дѣвицъ, которыя бы отдали себя на воспитаніе сиротокъ, дочерей бѣдныхъ, неимущихъ родителей. Воспитаніе самое простое: Законъ Божій, да безпрерывное упражненіе въ трудѣ на воздухѣ около сада или около . . .

Совѣтъ сестрамъ.

„Во имя Отца и Сына... Я бы хотѣлъ, чтобы по смерти выстроенъ былъ храмъ, въ которомъ бы производились частыя поминки по грѣшной душѣ (моей?). Для того кладу въ основаніе половину моихъ доходовъ съ сочиненій. Если сестры не выйдутъ замужъ, домъ свой да превратятъ въ обитель, выстроивъ посреди двора и открывши у себя пріютъ бѣднымъ, живущимъ безъ мѣста дѣвицамъ. Жизнь должна быть самая простая, довольствоваться тѣмъ, что производитъ деревня и ничего не покупать. Современемъ обитель можетъ превратиться въ монастырь, если потомъ на старости дней сестры возымѣютъ желаніе принять иноческій чинъ. Одна изъ нихъ можетъ быть игуменьею. Я бы хотѣлъ, чтобы тѣло мое было погребено если не въ церкви, то въ оградѣ церковной, и чтобы панихиды по мнѣ не прекращались“.

Друзьямъ моимъ.

„Благодарю васъ много, друзья мои. Вами украсилась много жизнь моя. Считаю долгомъ сказать вамъ теперь напутственное слово. Не смущайтесь никакими событіями, какія ни случаются вокругъ васъ.

Дѣлай каждый свое дѣло, молясь въ тишинѣ. Общество тогда только поправится, когда всякій частный человѣкъ займется собою и будетъ жить, какъ христіанинъ, служа Богу тѣми орудіями, какія ему даны, и стараясь имѣть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все придетъ тогда въ порядокъ, сами собой установятся правильныя отношенія между людьми, опредѣлятся предѣлы законные всему. И человѣчество двинется впередъ.. Будьте не мертвыя, а живыя души. Нѣтъ другой двери, кромѣ указанной Іисусомъ Христомъ, и всякъ прелазай иначе есть тать и разбойникъ“

Письма Гоголя.

1. Къ Г. И. Высоцкому.

1827 года, генваря 17-го. Нѣжинъ.

Теперь только пріѣхалъ я изъ дому, гдѣ былъ всѣ праздники, и сегодня только получилъ твою записку отъ Шапалинскаго. Извини меня, безцѣнный другъ, что я такъ неблагодарно отплатилъ за твое дружеское расположеніе: на письмо твое не отвѣчалъ ни слова. Я знаю, что ты, зная меня, не подумаешь, чтобы это произошло отъ какого-либо небреженія, или холодности: нѣтъ, другъ! По крайней мѣрѣ, позволь сказать, что ни къ кому сердце мое такъ не привязывалось, какъ къ тебѣ. Съ первоначальнаго нашего здѣсь пребыванія, уже мы поняли другъ друга, а глупости людскія уже рано сроднили насъ; вмѣстѣ мы осмѣивали ихъ и вмѣстѣ обдумывали планъ будущей нашей жизни. Половина нашихъ думъ сбылась: ты ужъ на мѣстѣ, уже имѣешь сладкую увѣренность, что существованіе твое не ничтожно, что тебя замѣтятъ, оцѣнятъ; а я... зачѣмъ намъ такъ хочется скоро видѣть наше счастіе? зачѣмъ намъ дано нетерпѣніе? мысль о немъ и днемъ и ночью мучитъ, тревожитъ мое сердце: душа моя хочетъ вырваться изъ тѣсной своей обители, и я весь — нетерпѣнье. Ты живешь уже въ Петербургѣ, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслажденія, а мнѣ еще не ближе полутора года видѣть тебя, и эти полтора года длятся для меня нескончаемымъ вѣкомъ... Много принесло мнѣ удовольствія письмо твое; жадно перечитывалъ я тобою писанное, ловилъ слова, и мнѣ казалось, будто я слышу изъ устъ твоихъ. И послѣ всего этого, послѣ всей радости, которую ты прислалъ ко мнѣ съ письмомъ, я ни слова не сказалъ тебѣ. Какая неблагодарность черпѣе этой? Но еще разъ прошу

Т-во „Просвѣщеніе“ въ Спб.

Домъ (бывш. Талызиныхъ), въ которомъ умеръ Гоголь (Никитскій бульваръ, въ Москвѣ).

Съ фотографическаго снимка.

тебя, не вини меня: ты знаешь мою оплошность, которую теперь уже оставилъ и принялъ твердое намѣреніе писать нарочно побольше писемъ въ разныя мѣста, чтобы тѣмъ пріучить себя къ исправности. Сдѣлай милость, Г. Ив., для нашей старой привязанности, для нашей дружбы не забудь меня, — пиши ко мнѣ разъ въ мѣсяцъ. Съ этой поры никогда письмо твое не будетъ оставлено безъ отвѣта.

Пиши мнѣ объ своей жизни, о своихъ занятіяхъ, удовольствіяхъ, знакомствахъ, службѣ и обо всемъ, что только напоминаетъ прелесть жизни петербургской. Это одно для меня развѣетъ горечь моего заточенія, сблизитъ урочное время и покажетъ мнѣ тебя въ твоемъ быту. Я знаю, что не оставишь меня, и уже съ восхищеніемъ въ мечтахъ читаю письмо, забывая и мѣстопребываніе свое, и весь міръ, выключая тебя съ Петербургомъ.

Я здѣсь совершенно одинъ: почти всѣ оставили меня; не могу безъ сожалѣнія и вспомнить о вашемъ классѣ. Много и изъ моихъ товарищей удалилось. Лукашевичъ поѣхалъ въ Одессу, Данилевскій тоже выбылъ. Не знаю, куда понесетъ его. Здѣсь онъ весьма худо велъ себя. Изъ старыхъ никого нѣтъ. Насъ теперь весьма мало; но мнѣ до нихъ дѣла нѣтъ: я совершенно позабылъ всѣхъ. Изрѣдка только здѣшнія происшествія трогаютъ меня; впрочемъ, я весь съ тобою въ столицѣ. Объ твоемъ аттестатѣ я всегда надоѣдалъ Шапалинскому, и теперь крѣпко настоялъ, чтобъ отсылать къ тебѣ. Онъ уже изготовленъ, и ты скоро получишь. Каково теперь у васъ? Какъ то будете веселиться на масленицѣ? Ты мнѣ мало сказалъ про театръ, какъ онъ устроенъ, какъ отдѣланъ. Я думаю, ты дня не пропускаешь, — всякій вечеръ тамъ. Чья музыка?

Что тебѣ сказать объ нашихъ новостяхъ? здѣсь ихъ совершенно нѣтъ. Писать тебѣ про пансіонъ? онъ у насъ теперь въ самомъ лучшемъ, самомъ благородномъ состояніи, и всѣмъ этимъ мы одолжены нашему инспектору, Бѣлоусову. Къ масленицѣ затѣваютъ театръ. Дураки все такъ же глупы. Барончикъ, Доримончикъ, фонъ-Фонтикъ-Купидончикъ, Мишель Дюсенька, Хопцики здравъ и невредимъ, и часъ отъ часу глупѣетъ. Демировъ-Мишковскій, Батюшечка и Урсо кланяются по поясъ. Мыгалычъ чуть-чуть было не околѣлъ. Впрочемъ, все благополучно. Бодянъ только проситъ у тебя на водку. Но прости: я болтаю пустяки и надоѣлъ уже, думаю, тебѣ до сна. По слѣдующей почтѣ

я намѣренъ еще тебѣ сказать кое объ чемъ; а до того времени не забудь твоего вѣрнаго, всегда и вездѣ тебя любящаго стариннаго друга,

Н. Гоголя.

Божко и Миллеръ благодарятъ, что ты не забылъ ихъ.

---

2. Къ Г. И. Высоцкому.

1827-й годъ мартъ 19-е число. Нѣжинъ.

Итакъ ты все-таки любишь меня, добрый, безцѣнный другъ! Ты оторвалъ часть времени тебѣ драгоцѣннаго, чтобы порадовать того, который кипитъ неизъяснимою, жаркою къ тебѣ привязанностью. — Твое письмо блеснуло для меня звѣздою радости. — Изъ стороны чуждой льдистаго сѣвера, но гдѣ такъ же, какъ и здѣсь, воображеніе грѣетъ насъ, гдѣ уже осуществилась (въ мечтѣ) жизнь будущая для меня, мнѣ казалось, я услышалъ родные звуки сердца, меня понимающаго — это было письмо твое.

Много времени кануло со дня нашего разрозненія; лѣта кипучаго возраста охлаждались безпрерывно измѣнчивою невѣрностью счастія настоящаго. Я холодѣлъ постепенно и разучался принимать жарко къ себѣ все сбывающееся. Безъ радости и безъ горя, въ глубокомъ раздумьи, стоялъ я надъ дорогою жизни, безмолвно обсматривая будущее. — Съ минутъ твоего выбытія въ душѣ моей залегла пустота, какое то безжизненное чувство. — И вотъ ты меня высвободилъ изъ моего мертваго усыпленія. Я теперь все тотъ же, какъ прежде: веселый, преданный тебѣ, съ виду холодный, но въ сердцѣ пламенный къ чувствамъ дружбы.

Часто среди занятій — удовольствія (они иногда посѣщаютъ и не совсѣмъ забыли записного ихъ поклонника): мысленно перескакиваю въ Петербургъ: сижу съ тобою въ комнатѣ, брожу съ тобою по бульварамъ, любуюсь Невою, моремъ. Короче, я дѣлаюсь ты. — Часто, говорю, среди самыхъ удовольствій я впадаю въ странное забытіе; вспоминаю о тебѣ, и скрытая горечь ярко проскакиваетъ на лицѣ и освѣщаетъ его печальное движеніе, несмотря, что въ пансіонѣ у насъ теперь весело. Всевозможныя удовольствія, забавы, занятія доставлены намъ, и этимъ всѣмъ мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно выхвалить этого рѣдкаго человѣка. Онъ обходится со всѣми нами совер-

шенно, какъ съ друзьями своими, заступается за насъ противъ притязаній конференціи нашей и профессоровъ-школяровъ и, признаюсь, ежели бы не онъ, то у меня недостало бы терпѣнія здѣсь окончить курсъ: теперь по крайней мѣрѣ могу твердо выдержать эту жестокую пытку, эти 14 мѣсяцевъ.

Масленую мы провели прекрасно. — Четыре дни сряду былъ у насъ театръ; играли превосходно всѣ. — Всѣ бывшіе изъ посѣтителей, людей бывалыхъ, говорили, что ни на одномъ провинціальномъ театрѣ не удавалось видѣть такого прекраснаго спектакля. — Декораціи (4 перемѣны) сдѣланы были мастерски и даже великолѣпно. Прекрасный ландшафтъ на занавѣсѣ довершалъ прелесть, освѣщеніе залы было блистательное. Музыка также отличилась; нашихъ было 10 человѣкъ, но они пріятно замѣнили большой оркестръ, и были устроены въ самомъ выходномъ, въ громкомъ мѣстѣ. Разыграли четыре увертюры Россини, двѣ Моцарта, одну Вебера, одну сочиненія Севрюгина и друг. Піесы, представленныя нами, были слѣдующія: „Недоросль“, соч. фонъ-Визина, „Неудачный примиритель“, комедія Я. Княжнина, „Береговое право“ Коцебу, и вдобавокъ еще одну французскую, соч. Флоріана, и еще не насытились: къ Свѣтлому празднику заготовляемъ еще нѣсколько піесъ. Эти занятія, однакожъ, много развлекли меня, и я почти позабылъ было все грустное; но надолго ли? пришелъ постъ, а съ нимъ убійственная тоска. Никакихъ совершенно новостей, ничего любопытнаго вовсе не случалось. Скажу тебѣ только, что ожидаемъ со дня на день новаго нашего директора Ясновскаго. Какой онъ, не знаемъ. — Говорятъ: добренькій. — Что баронъ фонъ-Фонтикъ, табачный таможенный приставъ, иначе заводчикъ кунжутнаго масла, служившій только что передъ этимъ всѣмъ драгунскимъ юнкерамъ подрядчикомъ въ торговлѣ, пьяный подрался съ Капетихою, судились въ земскомъ судѣ. Но, наконецъ, батюшка фона, узнавши объ его проказахъ, прислалъ за нимъ крытую кибитку, чтобы притащить свое чудо въ Прилуку и помѣстить его въ хозяйственные форпосты. Но Девинье объявилъ, что онъ „никогда не занимался таковою презрѣнною наукою, какова политическая экономія, а непремѣнно хочетъ ѣхать въ московскій университетъ“ и вотъ слова его присланному: „скажи дураку папенькѣ, что я лучше его знаю, что должно мнѣ дѣлать“. Но, наконецъ, побивши Лауру и разнесши по всѣмъ Магеркамъ страхъ и опустошеніе, отправился во свояси. Вообрази, что и это утѣшеніе отняли у насъ! —

О Данилевскомъ ничего не могу сказать: не знаю даже, гдѣ онъ. Спиридонъ, т. е. Ѳедоръ Бороздинъ, точно въ гусарахъ и отличный гусаръ изъ самаго негоднаго попа. Кто бы думалъ? — Самъ генералъ его уважаетъ! — Барановъ находится въ собственномъ благопріобрѣтенномъ и родовомъ своемъ помѣстьѣ; преосторожно, прехитро, преинтересно ловитъ мухъ, сажаетъ въ баночку, обшиваетъ полотномъ, запечатываетъ фамильнымъ потомственнымъ гербомъ и разсматриваетъ при лунномъ свѣтѣ. Демировъ-Мишковскій здравствуетъ, духомъ бодръ (знаетъ подкрѣплять его), всегда дежуритъ у насъ и всегда иллюминованъ красными огнями, за которую, однако же, иллюминацію открываютъ ему обширный путь изъ гимназіи во всѣ закоулки многолюднаго міра. — Въ Нѣжинѣ теперь безпрестанныя движенія между греками: шумятъ, спорятъ въ магистратѣ, хотятъ новаго образа правленія, и прошедшую субботу мятежные сенаторы самовольно свергнули архонта Бафу, а на его мѣсто и въ сенаторское достоинство возвели до того неизвѣстнаго Афендулю. — Базиль уже заключилъ съ нимъ мирный трактатъ и открылъ греческую лавку. Впрочемъ, у насъ все идетъ своимъ чередомъ. Объ себѣ скажу, что я пролежалъ цѣлую недѣлю больнымъ, и былъ боленъ весьма опасно, даже отчаивался объ выздоровленіи и теперь только начинаю учиться ходить, падаю отъ слабости. — Но предъ тобою виноватъ, что долго не писалъ, и сажусь за столъ. — Это меня порадовало; я разговорился съ тобою и уже думаю, что сижу у тебя, что это вечеромъ мы пьемъ чай и не наговоримся объ проведенномъ днѣ, богатомъ разнообразными событіями... мечта! Я въ Нѣжинѣ и еще въ лазаретѣ!... Ты видѣлъ Герарда, сдѣлай милость, напиши, гдѣ онъ теперь; онъ былъ когда то изъ числа немногихъ друзей моихъ; не забылъ ли онъ меня? такъ ли привязанъ, какъ прежде? и зачѣмъ онъ ко мнѣ не напишетъ? Укори его, пожалуйста, сдѣлай ему самый строгій выговоръ, скажи, что стыдно, неблагодарно забывать тѣхъ, которые жарко его любятъ, которыхъ связало товарищество дружбою. Ежели бы я зналъ, гдѣ онъ, я бы писалъ къ нему, но... видно, такъ уже въ свѣтѣ... Изъ всѣхъ друзей моихъ одинъ ты не измѣнилъ мнѣ; это меня утѣшаетъ болѣе всего; я теперь счастливъ. Объ одномъ только молю я Бога, объ одномъ думаю: чтобы скорѣе намъ сблизиться. Кстати, ты еще о много-чемъ не извѣстилъ меня касательно жизни петербургской: каковы тамъ цѣны, въ чемъ именно дороговизна? все это съ нетерпѣніемъ хочу я узнать и за-

ранѣе сообразоваться съ своими предположеніями. Каковы тамъ квартиры? что нужно платить въ годъ за двѣ или три хорошенькія комнаты? въ какой части города дороже? гдѣ дешевле? что стоитъ въ годъ протопленіе ихъ? и проч. и проч. Да, и позабылъ было совсѣмъ, какъ значительны жалованья и сколько ты получаешь? сколько часовъ ты бываешь въ присутствіи и когда возвращаешься домой? — Извини, что я тебя забрасываю кучею вопросовъ: мнѣ ужасно какъ хочется скорѣе узнать все, а до того времени не забудь стараго твоего друга, который всегда, во всѣ времена, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы ни былъ, вездѣ живетъ духомъ съ тобою и только возлѣ тебя находитъ отдохновеніе. По крайней мѣрѣ люби меня такъ, какъ я тебя. Этого для меня довольно!

Твой другъ *Н. Гоголь.*

P. S. Кланяется тебѣ Антонъ Васильевичъ Лопухайскій, желаетъ тебѣ, чтобы такъ ты распузатѣлъ, какъ и онъ. Носятся слухи, что онъ хочетъ жениться. А батюшка почтеннѣйшій объявилъ мнѣ на ухо, что при всемъ почтеніи, съ какимъ онъ имѣетъ честь пребыть къ тебѣ, просилъ, однако же, напомнить, чтобы ты ему прислалъ давно обѣщаннаго столичнаго кованаго кабанця. — Видѣлъ я на сихъ дняхъ Романовича Николая; онъ теперь въ нарвскомъ гусарскомъ полку и смотрѣть на насъ не хочетъ, гордо потряхиваетъ саблею и безпрестанно посматриваетъ на юнкерскіе позументы. Вашъ кандидатъ Садовничій осрамился: пріѣхавши сюда, подавалъ прошеніе о принятіи его въ писцы правленія; ему отказали, и теперь онъ до сихъ поръ шатается у Билевича. — Теперь у насъ происходятъ забавныя исторіи и анекдоты съ Иваномъ Григорьевичемъ Кулжинскимъ. Онъ теперь напечаталъ свое сочиненіе подъ названіемъ „Малороссійская деревня“. Этотъ литературный уродъ причиною всѣхъ его бѣдствій: когда онъ только проходитъ черезъ классъ, тотчасъ ему читаютъ отрывки изъ „Малороссійской деревни“, и почтенный князь бѣсится, сколько есть духу; когда онъ бываетъ въ театрѣ, то кто-нибудь изъ нашихъ объявляетъ громогласно о представленіи новой пьесы; ея заглавіе: „Малороссійская деревня“ или „Законъ дуракамъ не писанъ“, комедія-водевиль. Нѣсколько разъ прибѣгая къ покровительству и защитѣ конференціи и, наконецъ, видя, что его жалобы худо чествуютъ, рѣшился унизительно и смиренно просить нашей милости не рушить стихотворное его спокойствіе и не срамить печатный

бредъ его, а особливо не запирать его въ канцеляріи съ маіоромъ Шишкинымъ, какъ до сего дѣлали.

Григоровъ, Божко, Миллеръ, Кукольникъ, Николай Бороздинъ, Власенко, Базиль, Ванновскій и всѣ наши совершенно кланяются тебѣ, благодарятъ, что не забываешь ихъ.

Кланяйся отъ меня Любичу. Что то, я думаю, его муза подѣлываетъ? То-то раздолье: сколько въ Петербургѣ домовъ, памятниковъ, иллюминацій, пожаровъ, наводненій, тезоименитствъ, а виды съ Васильевскаго острова!...

Прощай, другъ! сдѣлай милость, порадуй письмомъ: я жду; я знаю, что никогда не охладишься въ своей дружбѣ, и радостно и весело отправляю письмо мое...

Прощай! прощай! *Н. Г.*

---

3. Къ Г. И. Высоцкому.

1827 годъ, м. іюня, число 26. Нѣжинъ.

Пишу къ тебѣ таки изъ Нѣжина. Не думай, чтобы экзаменъ могъ помѣшать мнѣ писать къ тебѣ. Письмами твоими я уже болѣе сблизился съ тобою, и потому буду безпрестанно надоѣдать. Мнѣ представляется, что ты сидишь возлѣ меня, что я имѣю право поминутно тебя разспрашивать. Милый Герас. Иван., знаю привязанность твою: она вылилась вся въ письмѣ твоемъ. Она, кажется, растетъ между нами болѣе и болѣе, и утверждается нашею разлукою. Люблю тебя еще болѣе, чѣмъ прежде, и спѣшу соединиться съ тобою, хотя ты меня ужаснулъ чудовищами великихъ препятствій. Но они безсильны; или — странное свойство человѣка! — чѣмъ болѣе трудностей, чѣмъ болѣе преградъ, тѣмъ болѣе онъ летитъ туда? Вмѣсто того, чтобы остановить меня, они еще болѣе разожгли во мнѣ желаніе. Меня восхищаетъ, когда я подумаю, что тамъ есть кому ждать меня, есть кому встрѣтить роднымъ привѣтствіемъ и облеснуть лицо свѣтлою радостью. Означились мнѣ на сердцѣ также и друзья-пріятели твои. Я не знаю ихъ, никогда не видалъ, но они друзья тебѣ, и я ихъ такъ же люблю, какъ и ты. Зачѣмъ ты не наименилъ ни одного изъ нихъ? Хотя имя не опредѣлитъ человѣка, не ознакомитъ съ нимъ, однако я все бы могъ изъ письма твоего узнать ихъ характеръ, свойство, съ кѣмъ ты болѣе друженъ, — особливо, когда они будутъ

дѣйствующими лицами въ твоихъ письмахъ, чего мнѣ непремѣнно хочется. Уединясь совершенно отъ всѣхъ, не находя здѣсь ни одного, съ кѣмъ бы могъ слить долговременныя думы свои, кому бы могъ вывѣрить мышленія свои, я осиротѣлъ и сдѣлался чужимъ въ пустомъ Нѣжинѣ. Я иноземецъ, забредшій на чужбину искать того, что только находится въ одной родинѣ, и тайны сердца, вырывающіяся на лицѣ, жадныя откровенія, печально опускаются въ глубь его, гдѣ такое же мертвое безмолвіе. Въ такомъ случаѣ я желаю знать тебя въ кругу твоихъ друзей, гдѣ не скрываешься, и гдѣ ваши занятія всегда радостны; хочу даже, чтобы ты писалъ мнѣ ваши разговоры и цѣлыя происшествія замѣчательнаго дня. Можетъ быть, я требую многаго; но ты не откажешь въ этомъ тому, у котораго, кромѣ тебя, почти ничего не осталось, и который только этимъ и бываетъ веселъ. И точно: я ничего теперь такъ не ожидаю, какъ твоихъ писемъ. Они — моя радость въ скучномъ уединеніи. Нѣсколько только я разгоняю его чтеніемъ новыхъ книгъ, для которыхъ берегу деньги, не составляющія для меня ничего, кромѣ ихъ, и выписываніе ихъ составляетъ одно мое занятіе и одну мою корреспонденцію. Никогда еще экзаменъ для меня не былъ такъ несносенъ, какъ теперь. Я совершенно весь истомленъ, чуть движусь. Не знаю, что со мною будетъ далѣе. Только я и надѣюсь, что поѣздкою домой обновлю немного свои силы. Какъ чувствительно приближеніе выпуска, а съ нимъ и благодатной свободы! Не знаю, какъ то на слѣдующій годъ я перенесу это время!.. Какъ тяжко быть зарыту вмѣстѣ съ созданьями низкой неизвѣстности въ безмолвіе мертвое! Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ, населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодоволія высокое назначеніе человѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться... Изъ нихъ не исключаются и дорогіе наставники наши. Только между товарищами, и то немногими, нахожу иногда, кому бы сказать что-нибудь. Ты теперь въ зеркалѣ видишь меня. Пожалѣй обо мнѣ! Можетъ быть, слеза соучастія, отдавшаяся на твоихъ глазахъ, послышится и мнѣ.

Ты уже и успѣлъ дать за меня слово объ моемъ согласіи на наше намѣреніе отправиться за границу. Смотри только впередъ не раскаяться! можетъ быть, мнѣ жизнь петербургская такъ понравится, что я и поколеблюсь, и вспомню поговорку: „Не ищи того за моремъ, что сыщешь ближе“. Но уже такъ и быть; ты

далъ слово — нужно мнѣ спустить твоей опрометчивости. Только когда это еще будетъ? Еще годъ мнѣ нужно здѣсь да годъ, думаю, въ Петербургѣ; но, впрочемъ, я безъ тебя не останусь въ немъ: куда ты, туда и я. Только будто ли меня ожидаютъ? Меня это ужасть (sic) какъ приближаетъ къ Петербургу, — тѣмъ болѣе что я внесенъ уже въ вашъ кругъ. Мое имя, я думаю, поминается между вами, и, можетъ быть, по какому то тайному сочувствію, кто-нибудь изъ друзей твоихъ наименитъ меня, какъ друга ихъ друга, предугадывая, что онъ также добръ. На-дняхъ я получилъ письмо отъ Любича, не знаю по какой благодати. Чего только онъ въ немъ не наговорилъ! и каламбуровъ, и стишковъ. Изо всего письма я только могъ замѣтить, что, увидѣвши мое письмо къ тебѣ, онъ загорѣлся воспоминаніемъ и рѣшился подкрѣпить его посланіемъ. На четырехъ страницахъ не сказалъ объ себѣ ни слова, даже не объявилъ при концѣ письма, что онъ Любичъ-Романовичъ: а въ заключеніе просилъ меня извѣстить объ Кляроцькѣ Курдюмовой, объ которой ты, я думаю, самъ знаешь, какого я глубокаго свѣдѣнія: даже не видалъ ее ни разу. Жалѣю, однакожъ, что мнѣ нѣтъ времени писать, особливо теперь. Чтобъ онъ еще, однакожъ, не почелъ за пренебреженіе! Извини меня какъ-нибудь предъ нимъ... Нѣтъ ли тамъ у васъ Николаевича-Кобеляцкаго? Мы уже годъ какъ его не видимъ. Сначала было навѣдывался къ намъ, а теперь пропалъ безъ вѣсти. У насъ теперь въ Нѣжинѣ завелось сообщеніе съ Одессою посредствомъ парохода, или брички Ваныкина. Этотъ пароходъ отправляется отсюда ежемѣсячно съ огурцами и пикулями, и возвращается набитый маслинами, табакомъ и гальвою[1]. Семеновичъ Орлай, который теперь обрѣтается въ Одессѣ, подманилъ отсюда Демирова-Мышковскаго, которому давно уже гимназія открыла свободный, безъ препятствій пропускъ за пьянство; и по сему поводу пароходъ совершилъ седьмую экспедицію для взятія въ пассажиры Мышковскаго, а на мѣсто его въ гувернеры высадилъ директорскую ключницу, ростомъ въ сажень съ половиною, которая привела было въ трепетъ всю челядь гимназіи высшихъ наукъ кн. Безбородко, пока одинъ Бодянъ не доказалъ, что русскій солдатъ чорта не боится, и, въ славномъ сраженіи при Шуршѣ, оборотилъ переднія ея челюсти на затылокъ. Кукольникъ нашъ ходитъ теперь съ бритою головою, [опасаясь, вѣрно, плотояд-

[1] Халвой.

ныхъ животныхъ]; но чтобы не выказать срамоты, заказалъ красную шапочку, и этимъ точно охарактеризовалъ себя. И дѣйствительно, теперь онъ сдѣлался такимъ, что всякъ придетъ въ недоумѣніе, похожъ ли онъ на того человѣка, которому бреютъ голову, или на того, который ходитъ въ красной шапочкѣ, и поперемѣнно бѣсится, находясь то въ степени [употреблю твое слово] „амуристики“, то въ степени, обладавшей знаменитымъ изгнанникомъ Демировымъ-Мышковскимъ. Данилевскій находится теперь въ Москвѣ — не могу навѣрно сказать гдѣ, но, кажется, въ пансіонѣ. Петръ Александровичъ Барановъ, наскуча недѣятельною жизнію, захотѣлъ отвѣдать трудностей воинскихъ, и, мѣсяцъ назадъ, я получилъ письмо, въ которомъ объявляетъ онъ о своемъ опредѣленіи въ Сѣверскій конно-егерскій полкъ. Адресъ его: юнкеру Баранову, въ Щигры, Курской губерніи, отдать въ квартиру полкового адъютанта.

Теперь гимназія наша заселена все семействами. Всѣмъ чиновникамъ пришла блажь жениться. Объ женитьбѣ Шапалинскаго и Самойленка, я думаю, (ты) слышалъ; кромѣ того, Лаура [Персидскій] совокупился законнымъ бракомъ съ дочерью Капетихи. Ванновскій женится на Филибертисѣ [онъ овдовѣлъ при тебѣ]; Іеропесъ — на Базилёвой сестрицѣ, которая пріѣхала изъ Одессы; Лопушевскій — на какой то французской мамзели, которой имени, ей Богу, я до сихъ поръ не знаю, хотя три мѣсяца уже прошло послѣ ихъ обрученія: и даже казакъ Моисеевъ намѣревается, вѣроятно, уничтожить одиночество своей жизни, хотя это и кроется во мракѣ баснословія; но доказательствомъ сему служитъ его покупка земли, на которой уже началъ домъ строить.

Мишель нашъ, баронъ Кунжутъ-фонъ-Фонтикъ — радуйся — снова у насъ; а мы уже было думали, что онъ совсѣмъ насъ оставитъ. Уже подалъ было прошеніе о принятіи его въ драгунскій полкъ; но благоразумный отецъ, узнавъ объ этомъ, отеческою рукою расписалъ ему задній фасадъ, въ числѣ 150 ударовъ, и онъ, баронъ Хопцики, обновленный, явился у насъ снова, празднуя свое перерожденіе. Но я, думаю, надоѣлъ тебѣ пустяками. Читая письмо мое, я думаю, ты почесываешь голову и частенько поглядываешь на часы, какъ на свидѣтелей теряемаго времени. Но неужели мы должны вѣкъ серьезничать, — и отчего же изрѣдка не быть творителями пустяковъ, когда ими пестрится жизнь наша? Признаюсь, мнѣ наскучило горевать здѣсь, и, не могши ни съ кѣмъ развеселиться, мысли

мои изливаются на письмѣ и, забывшись отъ радости, что есть съ кѣмъ поговорить, прогнавъ горе, садятся нестройными толпами, въ видѣ буквъ, на бумагу, и въ это время — вообрази — я на какую мысль набрелъ! Уже ставлю мысленно себя въ Петербургѣ, въ той веселой комнаткѣ, окнами на Неву, такъ какъ я всегда думалъ найти себѣ такое мѣсто. Не знаю, сбудутся ли мои предположенія, буду ли я точно живать въ этакомъ райскомъ мѣстѣ, или неумолимое веретено судьбы зашвирнетъ меня съ толпою самодовольной черни [мысль ужасная!] въ самую глушь ничтожности, отведетъ мнѣ черную квартиру неизвѣстности въ мірѣ.

Но покуда еще неизвѣстно намъ предопредѣленіе судьбы, ужели нельзя хотя помечтать о будущемъ? Этимъ богатствомъ я всегда буду надѣленъ. Оно не оставитъ меня во все дленіе жизни. Но слушай: будто ты сидишь у меня, будто говоримъ мы долго, будто смѣемся, и — вѣришь ли? — будто забывшись, перо выпадало разъ двадцать на бумагу, разрушало мечтательныя думы и съ досады зачеркивало ничего ему не сдѣлавшія слова. Ахъ, какъ въ это время хотѣлось бы мнѣ обнять тебя, увидѣть тебя! Не знаю, можетъ ли что удержать меня ѣхать въ Петербургъ, хотя ты порядкомъ пугнулъ и пристращалъ меня необыкновенною дороговизною, особливо съѣстныхъ припасовъ. Болѣе всего удивило меня, что самые пустяки такъ дороги, какъ то: манишки, платки, косынки и другія бездѣлушки. У насъ, въ доброй нашей Малороссіи, ужаснулись такихъ цѣнъ и убоялись, сравнивъ суровый климатъ вашъ, который еще нужно покупать необыкновенною дороговизною, и благословенный малороссійскій, который достается почти даромъ; а потому многіе изъ самыхъ жаркихъ желателей уже навостряютъ лыжи обратно въ скромность своихъ недальнихъ чувствъ и удовольнились ничтожностью, почти вѣчною. Хорошо, ежели они обратятъ свои дѣла для пользы человѣчества. Хотя въ самой неизвѣстности пропадутъ ихъ имена, но благодѣтельныя намѣренія и дѣла освятятся благоговѣніемъ потомковъ..

Какое теперь ужасное у насъ плодородіе, ты не повѣришь, — особливо фруктовъ! — Деревья гнутся, ломятся отъ тяжести. Не знаемъ, дѣвать куда. Я воображаю объ необыкновенной роскоши, которою я буду пресыщаться, пріѣхавши домой. Уже два дни экипажъ стоитъ за мною. Съ нетерпѣніемъ лечу освѣжиться, ожить отъ мертваго усыпленія годичнаго въ Нѣжинѣ, отъ ядовитаго истомленія, вслѣдствіе нетерпѣнія и

скуки. Возвратясь, начну живѣе и спокойнѣе носить иго школьнаго педантизма, пока уроченное время, со всѣми своими мучительными ожиданіями и нетерпѣніемъ, не предстанетъ снова истомленному. Какая у насъ засуха! болѣе полтора мѣсяца не шли дожди. Не знаю, что будетъ далѣе. Лѣто вдругъ у насъ перемѣнилось: сдѣлалось вдругъ такъ холодно, что даже принуждены мерзнуть, особливо по утрамъ. Весна была нестерпимо жарка.

Позволь еще тебя, единственный другъ Герас. Иван., попросить объ одномъ дѣлѣ... надѣюсь, что ты не откажешь... а именно: нельзя ли заказать у васъ въ Петербургѣ портному самому лучшему фракъ для меня? Мѣрку можетъ снять съ тебя, потому что мы одинаковаго роста и плотности съ тобой. А ежели ты разжирѣлъ, то можешь сказать, чтобы немного уже. Но объ этомъ послѣ, а теперь — главное — узнай, что стоитъ пошитье самое отличное фрака по послѣдней модѣ, и цѣну выставь въ письмѣ, чтобы я могъ знать, сколько нужно посылать тебѣ денегъ. А сукно то, я думаю, здѣсь купить, оттого, что ты говоришь — въ Петербургѣ дорого. Сдѣлай милость, извѣсти меня какъ можно поскорѣе, и я уже приготовлю все такъ, чтобы, по полученіи письма твоего, сейчасъ все тебѣ и отправить, потому что мнѣ хочется ужасно какъ, чтобы къ послѣднимъ числамъ, или къ первому ноября я уже получилъ фракъ готовый. Напиши, пожалуйста, какія модныя матеріи у васъ на жилеты, на панталоны, выставь ихъ цѣны и цѣну за пошитье. Извини, драгоцѣнный другъ, что я тебя затрудняю такъ. Я знаю, что ты ни въ чемъ не откажешь мнѣ, и для того надѣюсь получить самый скорый отъ тебя отвѣтъ и увѣдомленіе. Какъ ты обяжешь только меня этимъ! Какой то у васъ модный цвѣтъ на фракѣ? Мнѣ очень бы хотѣлось сдѣлать синій съ маталлическими пуговицами; а черныхъ фраковъ у меня много, и они мнѣ такъ надоѣли, что смотрѣть на нихъ не хочется. Съ нетерпѣніемъ жду отъ тебя отвѣта, милый, единственный, безцѣнный другъ.

Письмо мое началъ укоризнами унынія и при концѣ развеселился. Тебѣ хочется знать причину? вотъ она: я началъ его въ Нѣжинѣ, а кончаю дома, въ своемъ владѣніи, гдѣ окруженъ почти съ утра до вечера веселіемъ. Желаю тебѣ вполнѣ имъ наслаждаться, и чтобы никогда минута горести не отравляла часовъ твоей радости. А я до гроба твой — неизмѣнный, вѣрный, всегда тебя любящій,

Николай Гоголь.

Изъ Нѣжина къ тебѣ кланяются всѣ, — примѣчательнѣе: Лопушевскій, буфетчикъ Марко [прежній фаворитъ твой, съ своею красною женкою], баронъ фонъ-Фонтикъ, Давинье, Гусь Евлампій, Григоровъ, Божкò, Миллеръ и проч., и проч., а отсюдова одинъ только я привѣтствую тебя поклономъ заочно.

---

4. Петру Петровичу Косяровскому.

Нѣжинъ. — 3-го октября 1827 г.

Безцѣннѣйшій отвѣтъ вашъ на письмо мое я получилъ. Не знаю чѣмъ возблагодарить вамъ, почтеннѣйшій дяденька Петръ Петровичъ! Между теперешними вашими заботами и недосугами, вы таки находите время писать ко мнѣ; это наполняетъ меня сладкою увѣренностью, что вы меня любите (можетъ быть, я сказалъ много), что, по крайней мѣрѣ, приверженность моя къ вамъ не несносна, и я сохраню ее всегда, хотя разрозненіе наше едва ли когда можетъ соединиться. Неизвѣстность вашей участи для васъ, можетъ быть, такъ темна, какъ и моей для меня. Къ тому времени, когда я возвращусь домой, можетъ быть, вашъ полкъ выступитъ Богъ знаетъ куда, а меня судьба загонитъ въ Петербургъ, откуда наврядъ ли залучу когда-либо въ Малороссію. Да можетъ быть, мнѣ цѣлый вѣкъ достанется отжить въ Петербургѣ, по крайней мѣрѣ, такую цѣль начерталъ я уже издавна. Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія, я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства, я кипѣлъ принести хотя малѣйшую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мнѣ преградятъ дорогу, что не дадутъ возможности принесть ему малѣйшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что, можетъ быть, мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ — быть въ мірѣ и не означить своего существованія — это было для меня ужасно. Я перебиралъ въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствѣ и остановился на одномъ — на юстиціи. Я видалъ, что здѣсь работы будетъ болѣе всего, что здѣсь только я могу быть благодѣяніемъ, здѣсь только буду истинно полезенъ для человѣчества. Неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдѣлавъ

блага. Два года занимался я постоянно изученіемъ правъ другихъ народовъ и естественныхъ, какъ основныхъ для всѣхъ законовъ; теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокія мои начертанія? или неизвѣстность зароетъ ихъ въ мрачной тучѣ своей? Въ эти годы, эти долговременныя думы свои я затаилъ въ себѣ. Недовѣрчивый ни къ кому, скрытный, я никому не повѣрялъ своихъ тайныхъ помышленій, не дѣлалъ ничего, что бы могло выявить глубь души моей. Да и кому бы я повѣрилъ и для чего бы высказалъ себя? не для того ли, чтобы смѣялись надъ моимъ сумасбродствомъ, чтобы считали пылкимъ мечтателемъ, пустымъ человѣкомъ? Никому, и даже изъ своихъ товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойныхъ. Я не знаю, почему я проговорился теперь передъ вами, оттого ли, что вы, можетъ быть, принимали во мнѣ болѣе другихъ участія, или по связи близкаго родства, этого не скажу: что то непонятное двигало перомъ моимъ, какая то невидимая сила натолкнула меня, предчувствіе вошло въ грудь мою, что вы не почтете ничтожнымъ мечтателемъ того, который около трехъ лѣтъ неуклонно держится одной цѣли, и котораго насмѣшки, намеки болѣе заставятъ укрѣпнуть (sic) въ предположенномъ начертаніи. Ежели же вы и не поучаствуете во мнѣ, по крайней мѣрѣ, вы затаите мое письмо, такъ же, какъ я затаилъ въ себѣ одномъ свои упрямыя предначертанія. Доказательствомъ сему, можетъ (?) во все время бытія моего съ вами, я ни разу не давалъ себя узнать, занимался игрушками и никогда почти не заводилъ рѣчь о выборѣ будущей своей службы, о моихъ планахъ и проч. Даже маменька, которая хотѣла узнать мой образъ мыслей, еще не можетъ сказать навѣрно, куда я хочу; причинъ еще нѣкоторыхъ я не могу сказать теперь; впрочемъ, это только для одного меня можетъ только (sic) быть занимательно. Прошу васъ, безцѣннѣйшій Петръ Петровичъ, не оставлять того, который къ вамъ привязанъ болѣе, нежели ко всѣмъ на свѣтѣ, который вамъ вывѣрилъ совершенно себя. Вы, думаю, будете иногда писать ко мнѣ, я знаю, что вы не почтете этого въ тягость, хотя рѣдко, хотя черезъ нѣсколько мѣсяцевъ разъ. Но не досадно ли? я не могу больше писать къ вамъ. Совершенно истомился весь. 12 часовъ проиграло, а я еще не написалъ къ сестрѣ. Прощайте, милый, безцѣнный дяденька Петръ Петровичъ, можетъ быть, до другой почты.

Н. Гоголь-Яновскій.

Бѣдный дяденька, вамъ будетъ холодно, а вы и не напомнили, когда я былъ съ вами, про тулупъ, а между тѣмъ еще и свое отдали. Ахъ, какъ вы добры! хорошо, что добрая маменька моя догадалась сказать вамъ объ этомъ. Сдѣлайте милость, закутывайтесь, онъ тепелъ, только слишкомъ тяжелъ; онъ мнѣ былъ совсѣмъ не нуженъ, я даже его ни разу не надѣвалъ.

---

5. Матери.

30 апрѣля (1829). С.-Петербургъ.

Въ сей день я только получилъ ваше письмо съ деньгами; около двадцати дней шло оно, да болѣе недѣли пролежало уже здѣсь на почтѣ, по той причинѣ, что я перемѣнилъ прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннѣйшая маменька: я, точно, сильно нуждался въ это время, но, впрочемъ, это все пустое. Что за бѣда — посидѣть какую-нибудь недѣлю безъ обѣда? того ли еще будетъ на жизненномъ пути? всего понаберешься. Знаю только, что еслибы втрое, вчетверо, всотеро разъ было болѣе нуждъ, и тогда онѣ бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дорогѣ. Вы не повѣрите, какъ много въ Петербургѣ издерживается денегъ. Несмотря на то, что я отказываюсь почти отъ всѣхъ удовольствій, что уже не франчу платьемъ, какъ было дома, имѣю только пару чистаго платья для праздника, или для выхода, и халатъ для будня, что я тоже обѣдаю и питаюсь не слишкомъ роскошно, и несмотря на это все, по разсчету менѣе 120 рублей никогда мнѣ не обходится въ мѣсяцъ. Какъ въ этакомъ случаѣ не приняться за умъ, за вымыселъ, какъ бы добыть этихъ проклятыхъ, подлыхъ денегъ, которыхъ хуже я ничего не знаю въ мірѣ? вотъ я и рѣшился... „Когда наши въ полѣ — не робѣютъ“. Но, какъ много еще и отъ меня закрыто тайною, и я съ нетерпѣніемъ желаю вздернуть таинственный покровъ, то въ слѣдующемъ письмѣ извѣщу васъ о удачахъ, или неудачахъ.

Теперь же разскажу вамъ слова два о Петербургѣ. Вы, казалось мнѣ, всегда интересовались знать его и восхищались имъ. Петербургъ вовсе не похожъ на прочія столицы европейскія или на Москву. Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петер-

бургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блеститъ въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкуютъ о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездѣльныхъ, ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ. Забавна очень встрѣча съ ними на проспектахъ, тротуарахъ: они до того бываютъ заняты мыслями, что, поровнявшись съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, слышишь, какъ онъ бранится и разговариваетъ самъ съ собою; иной приправляетъ тѣлодвиженіями и размашками рукъ. Петербургъ городъ довольно великъ. Если вы захотите пройтись по улицамъ его, площадямъ и островамъ въ разныхъ направленіяхъ, то вы, навѣрно, пройдете болѣе 100 верстъ, и, несмотря на такую его обширность, вы можете имѣть подъ рукою все нужное, не засылая далеко, даже въ томъ самомъ домѣ. Дома здѣсь большіе, особливо въ главныхъ частяхъ города, но не высоки; большею частію въ три и четыре этажа, рѣдко очень бываютъ въ пять; въ шесть только четыре или пять во всей столицѣ. Во многихъ домахъ находится очень много вывѣсокъ. Домъ, въ которомъ обрѣтаюсь я, содержитъ въ себѣ 2-хъ портныхъ, одну маршандъ де модъ, сапожника, чулочнаго фабриканта, склеивающаго битую посуду, декатировщика и красильщика, кондитерскую, мелочную лавку, магазинъ сбереженія зимняго платья, табачную лавку и, наконецъ, привилегированную повивальную бабку. Натурально, что этотъ домъ долженъ быть весь облѣпленъ золотыми вывѣсками.

Я живу на четвертомъ этажѣ, но чувствую, что и здѣсь мнѣ не очень выгодно. Когда еще стоялъ я вмѣстѣ съ Данилевскимъ, тогда ничего, а теперь очень ощутительно для кармана: что тогда платили пополамъ, за то самое я плачу теперь одинъ. Но, впрочемъ, мои работы повернулись, и я, наблюдая внимательно за ними, надѣюсь въ недолгомъ времени добыть же что-нибудь. Если получу вѣрный и несомнѣнный успѣхъ, напишу къ вамъ объ этомъ подробнѣе.

Въ Петербургѣ много гуляній. Зимою прохаживаются всѣ праздношатающіеся отъ двѣнадцати до двухъ часовъ [въ это время служащіе заняты] по Невскому проспекту; весною же, если только это время можно назвать весною, потому что деревья до сихъ поръ еще не одѣлись зеленью, гуляютъ въ Екатерингофѣ, Лѣт-

немъ саду и Адмиралтейскомъ бульварѣ. Всѣ эти, однакожъ, гулянья несносны, особливо екатерингофское первое мая. Все удовольствіе состоитъ въ томъ, что прогуливающіеся садятся въ кареты, которыхъ рядъ тянется болѣе нежели на 10 верстъ, и притомъ такъ тѣсно, что лошадиныя морды задней кареты дружески цѣлуются съ богато убранными длинными гайдуками. Эти кареты безпрестанно строятся полицейскими чиновниками и иногда пріостанавливаются по цѣлымъ часамъ для соблюденія порядка, и все это для того, чтобы объѣхать кругомъ Екатерингофъ и возвратиться чиннымъ порядкомъ назадъ, не вставая изъ каретъ. И я было направилъ смиренныя стопы свои, но, обхваченный облакомъ пыли и едва дыша отъ тѣсноты, возвратился вспять. Въ это время Петербургъ начинаетъ пустѣть: всѣ разъѣзжаются по дачамъ и деревнямъ на весну и лѣто. Ночи теперь не продолжаются болѣе часу. Лѣтомъ ихъ совсѣмъ не будетъ; только промежутокъ между захожденіемъ и восхожденіемъ солнца бываетъ занятъ столкнувшимися двумя зарями, вечернею и утреннею, и не похожъ ни на вечеръ, ни на утро.

Но на первый разъ довольно объ Петербургѣ; въ другомъ письмѣ еще я поговорю объ немъ. Теперь вы, почтеннѣйшая маменька, мой добрый ангелъ-хранитель, теперь васъ прошу, въ свою очередь, сдѣлать для меня величайшее изъ одолженій. Вы имѣете тонкій, наблюдательный умъ, вы много знаете обычаи и нравы малороссіянъ нашихъ, и потому, я знаю, вы не откажетесь сообщать мнѣ ихъ въ нашей перепискѣ. Это мнѣ очень, очень нужно. Въ слѣдующемъ письмѣ я ожидаю отъ васъ описанія полнаго наряда сельскаго дьячка, отъ верхняго платья до самыхъ сапоговъ, съ поименованіемъ, какъ это все называлось у самыхъ закоренѣлыхъ, самыхъ древнихъ, самыхъ наименѣе перемѣнившихся малороссіянъ; равнымъ образомъ названія платья, носимаго нашими крестьянскими дѣвками, до послѣдней ленты, также нынѣшними замужними и мужиками. Вторая статья: названіе точное и вѣрное платья, носимаго до временъ гетманскихъ. Вы помните, разъ мы видѣли въ нашей церкви одну дѣвку, одѣтую такимъ образомъ. Объ этомъ можно будетъ разспросить старожиловъ: я думаю, Анна Матвѣевна, или Агаѳія Матвѣевна много знаютъ кое-чего изъ давнихъ годовъ. Еще обстоятельное описаніе свадьбы, не упуская наималѣйшихъ подробностей. Объ этомъ можно разспросить Демьяна [кажется, такъ его зовутъ; прозванія не вспомню], котораго мы видѣли учредителемъ свадебъ и который

зналъ, повидимому, всѣ возможныя повѣрья и обычаи. Еще нѣсколько словъ о колядкахъ, Иванѣ Купалѣ, о русалкахъ. Если есть, кромѣ того, какіе-либо духи, или домовые, то о нихъ подробнѣе, съ ихъ названіями и дѣлами. Множество носится между простымъ народомъ повѣрій, страшныхъ сказаній, преданій, разныхъ анекдотовъ, и проч. и проч. и проч. Все это будетъ для меня чрезвычайно занимательно. На этотъ случай и чтобы вамъ не было тягостно, великодушная, добрая моя маменька, совѣтую имѣть корреспондентовъ въ разныхъ мѣстахъ нашего повѣта. Александра Ѳедоровна, которой смѣтливости и тонкимъ замѣчаніямъ я всегда удивлялся, можетъ въ этомъ случаѣ оказать намъ очень большую помощь. Скажите ей, что я, при моемъ заочномъ поцѣлуѣ ея ручки, не забылъ моего обѣщанія касательно филейныхъ иголокъ; но въ британскомъ магазинѣ онѣ всѣ вышли, а русскихъ я не хочу покупать; чуть только доставятъ ихъ въ здѣшнюю биржу, тотъ же часъ повергну ихъ къ рукамъ ея. Хотѣлось бы мнѣ очень моей милой сестрицѣ Марьѣ Васильевнѣ прислать чего-нибудь, но, Богъ видитъ — не могу: проклятая болѣзнь, посѣтившая было меня при вскрытіи Невы, помогла еще болѣе истребленію денегъ; но какъ только сколько-нибудь разживемся, то непремѣнно вышлемъ что-нибудь изъ заграничныхъ диковинокъ.

Здоровы ли всѣ наши? Свидѣтельствую мое почтеніе дѣдушкѣ [Скажите, пожалуйста, что его тяжба? имѣетъ ли конецъ?], бабушкѣ Марьѣ Ильиничнѣ, также и Аннѣ Матвѣевнѣ, а въ заключеніе всѣмъ добрымъ, искренно васъ любящимъ сосѣдямъ. Поцѣлуйте за меня Анничку. Сдѣлайте милость, прилагайте всевозможное старанье о воспитаніи этого умнаго дитяти. Тайное какое то предчувствіе мнѣ предрекаетъ, что отъ него много можно ожидать. Также шалунью Лизу, съ тѣмъ только, чтобы она не...

Еще прошу васъ выслать мнѣ двѣ папенькины малороссійскія комедіи: „Овца-Собака“ и „Романа съ Параскою“. Здѣсь такъ занимаетъ всѣхъ все малороссійское, что я постараюсь попробовать, нельзя ли одну изъ нихъ поставить на здѣшній театръ. За это, по крайней мѣрѣ, достался бы мнѣ хотя небольшой сборъ; а по моему мнѣнію, ничего не должно пренебрегать, на все нужно обращать вниманіе. Если въ одномъ неудача, можно прибѣгнуть къ другому, въ другомъ—къ третьему, и такъ далѣе. Самая малость иногда служитъ большою помощью.

Прошу васъ также, маменька, — такъ какъ пере-

писка наша теперь пойдетъ дѣятельнѣе, писать два раза въ мѣсяцъ, — тѣмъ болѣе, что сами наблюденія ваши того требуютъ...

---

6. А. С. Пушкину.

Спб., августа 21 (1831).

Насилу теперь только управился я съ своими дѣлами и получилъ маленькую осѣдлость въ Петербургѣ. Но и теперь еще половиною (что я, половиною!), цѣлыми тремя четвертями, нахожусь въ Павловскѣ и Царскомъ Селѣ. Въ Петербургѣ скучно до нестерпимости. Холера всѣхъ поразгоняла во всѣ стороны, и знакомымъ нуженъ цѣлый мѣсяцъ антракта, чтобы встрѣтиться между собою. У Плетнева я былъ, отдалъ ему въ исправности вашу посылку и письмо. Любопытнѣе всего было мое свиданіе съ типографіей: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себѣ въ руку, отворотившись къ стѣнкѣ. Это меня нѣсколько удивило; я къ фактору, и онъ, послѣ нѣкоторыхъ ловкихъ уклоненій, наконецъ, сказалъ, что „штучки, которыя изволили прислать изъ Павловска для печатанія, очечно до чрезвычайности забавны и наборщикамъ принесли большую забаву“. Изъ этого я заключилъ, что я писатель совершенно во вкусѣ черни. Кстати о черни. Знаете ли, что врядъ ли кто умѣетъ лучше съ нею изъясняться, какъ нашъ общій другъ Александръ Анфимовичъ Орловъ. Въ предисловіи къ новому своему роману: „Церемоніалъ погребенія Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина“, онъ говоритъ, обращаясь къ читателямъ: „Много, премного у меня романовъ въ головѣ (его собственныя слова), только всѣ они сидятъ еще въ головѣ; да такіе бойкіе ребятишки это романы, — такъ и прыгаютъ изъ головы; но нѣтъ, не пущу до время (sic); а послѣ извольте, полдюжинами буду поставлять. Извольте, извольте! Охъ, вы, мои други сердечные, народецъ православный!“ Послѣднее обращеніе такъ и задѣваетъ за сердце русскій народъ. Это совершенно въ его духѣ, и здѣсь то не шутя рѣшительный перевѣсъ Александр(а) Анѳ(имовича) надъ Ѳаддеемъ Бенедик(товичемъ). Другой пріятель нашъ Бестужевъ-Рюминъ здравствуетъ и недавно еще сказалъ въ своей газетѣ: „Должно признаться, что „Сѣвер(ный) Меркурій“ побойче таки иныхъ „Литера-

тур(ныхъ) Прибавленій". Какъ то теперь долженъ бѣситься Воейковъ! а онъ, я думаю, воображалъ, что бойче „Литер(атурныхъ) Прибавленій" нѣтъ ничего на свѣтѣ. Еще о черни. Знаете ли, какъ бы хорошо написать эстетическій разборъ двухъ романовъ, положимъ: Петра Ивановича Выжигина и Соколъ: „былъ бы соколъ, да курица съѣла". Начать такимъ образомъ, какъ теперь начинаютъ у насъ въ журналахъ: „Наконецъ, кажется, приспѣло то время, когда романтизмъ рѣшительно восторжествовалъ надъ классицизмомъ, и старые поборники франц(узской) короны на ходульныхъ ножкахъ (что-нибудь въ родѣ Надеждина) убрались къ чорту. Въ Англіи Байронъ, во Франціи необъятный великостью своею Викторъ Гюго, Дюканжъ и другіе, въ какомъ-нибудь проявленіи объективной жизни, воспроизвели новый міръ ея нераздѣльно-индивидуальныхъ явленій. Россія, мудрости правленія которой дивятся всѣ образованные народы Европы, и проч., и проч., не могла оставаться также въ одномъ положеніи. Вскорѣ возникли и у ней два представителя ея преображеннаго величія. Читатели догадаются, что я говорю о гг. Булгаринѣ и Орловѣ. На одномъ изъ нихъ, т. е. на Булгаринѣ, означено направленіе чисто байронское (вѣдь эта мысль не дурна — сравнить Булгарина съ Байрономъ!): та же гордость, та же буря сильныхъ, непокорныхъ страстей, рѣзко означившая огненный и вмѣстѣ мрачный характеръ британскаго поэта, видны и на нашемъ соотечественникѣ; то же самоотверженіе, презрѣніе всего низкаго и подлаго принадлежитъ имъ обоимъ. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, какъ повтореніе жизни Байрона; въ самыхъ даже портретахъ ихъ замѣтно необыкновенное сходство. Насчетъ Алекс(андра) Аѳеим(овича) можно опровергать мнѣніе Ѳеофилакта Косичкина; говорятъ, что скорѣе Орловъ болѣе философъ, что Булгаринъ весь поэтъ". Тутъ недурно взять героевъ романа: Булгарина, Наполеона и Петра Ивановича, и разсматривать ихъ обоихъ, какъ чистое созданіе самого поэта; натурально, что здѣсь нужно вооружиться очками строгаго рецензента и приводить мѣста (какихъ, само по себѣ разумѣется, не бывало въ романѣ). Не худо присовокупить: „Почему вы, г. Булгаринъ, заставили Петра Ивановича открыться въ любви такъ рано такой то, или почему не продолжили разговора Петра Ивановича съ Наполеономъ, или зачѣмъ въ самомъ дѣлѣ развязки впутали поляка (можно придумать ему и фамилію даже)?" Все это для того, чтобы читатели видѣли совершенное безпристрастіе критика. Но

самое главное — нужно соглашаться съ жалобами журналистовъ нашихъ, что дѣйствительно литературу нашу раздираетъ духъ партій ужаснымъ образомъ, и оттого никакъ нельзя подслушать справедливаго сужденія. Всѣ мнѣнія раздѣлены на двѣ стороны: одни на сторонѣ Булгарина, а другіе на сторонѣ Орлова, и что они, между тѣмъ, какъ ихъ приверженцы нападаютъ съ такимъ ожесточеніемъ другъ на друга, совершенно не знаютъ между собою никакой вражды и внутренно, подобно всѣмъ великимъ геніямъ, уважаютъ другъ друга.

У насъ бываютъ дожди и необыкновенно сильные вѣтры; вчерашнюю ночь даже было наводненіе: дворы домовъ по Мѣщанской и Екатерининскому каналу и еще кое-гдѣ, а также и много магазиновъ, были наполнены водою. Я живу на третьемъ этажѣ и не боюсь наводненій; а кстати квартира моя во 2-й Адмиралте(йской) части, въ Офицерской улицѣ, выходящей на Вознесенскій проспектъ, въ домѣ Брунста.

Прощайте. Да сохранитъ васъ Богъ вмѣстѣ съ Надеждою Николаевною отъ всего недобраго и пошлетъ здравіе на вѣки. А также да будетъ Его благословеніе и надъ Жуковскимъ.

Вашъ Гоголь.

---

7. Къ В. А. Жуковскому.

Спб. Сентября 10 (1831).

Насилу могъ я управиться съ своею книгою и теперь только получилъ экземпляры для отправленія вамъ: одинъ собственно для васъ, другой для Пушкина, третій, съ сантиментальною надписью, для Розетти, а остальныя — тѣмъ, кому вы по усмотрѣнію своему опредѣлите. Сколько хлопотъ надѣлала мнѣ эта книга! Три дня я толкался изъ типографіи въ цензур(ный) комитетъ, изъ цензур(наго) комитета въ типографію, и, наконецъ, теперь только перевелъ духъ. Боже мой! сколько бы экземпляровъ я бы отдалъ за то, чтобы увидѣть васъ хоть на минуту! Еслибы, часто думаю себѣ, появился въ окрестностяхъ Петербурга какой-нибудь бродяга, ночной разбойникъ, и укралъ этотъ несносный кусокъ земли, эти 24 версты отъ Петербурга до Цар. С. и съ ними бы далъ тягу на край свѣта; — или какой-нибудь проголодавшійся медвѣдь упряталъ ихъ вмѣсто завтрака въ свой медвѣжій желудокъ. О, съ какимъ бы я восторгомъ стряхнулъ власами головы моей прахъ са-

поговъ вашихъ, возлегъ у ногъ вашего превосходительства и ловилъ бы жаднымъ ухомъ сладчайшій нектаръ изъ устъ вашихъ, пріуготовленный самими богами изъ тьмочисленнаго количества вѣдьмъ, чертей и всего любезнаго нашему сердцу. Но не такова досадная дѣйствительность или существенность. Карантины превратили эти 24 версты въ дорогу отъ Петербурга до Камчатки. Знаете ли что я узналъ на дняхъ только? что э... но вы не повѣрите мнѣ, назовете меня суевѣромъ,— что всему этому виною не кто другой, какъ врагъ честнаго креста церквей Господнихъ и всего огражденнаго святымъ знаменіемъ. Это чортъ надѣлъ на себя зеленый мундиръ съ гербовыми пуговицами, привѣсилъ къ боку остроконечную шпагу и сталъ карантиннымъ надзирателемъ. Но Пушкинъ, какъ ангелъ святой, не побоялся сего рогатаго чиновника, какъ духъ пронесся мимо его и во мгновеніе ока очутился въ Петербургѣ, на Вознесенскомъ проспектѣ и воззвалъ голосомъ трубнымъ ко мнѣ, лѣпившемуся по низменному тротуару, подъ высокими домами. Это была радостная минута; она уже прошла. Это случилось 8-го августа. И къ вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, какъ въ домѣ опустѣломъ:

„Окна мѣломъ
Забѣлены; хозяйки нѣтъ;
А гдѣ, Богъ вѣсть! пропалъ и слѣдъ!“

Осталось воспоминаніе — и еще много кой-чего, что достаточно усладитъ здѣшнее одиночество: это извѣстіе, что сказка ваша уже окончена и начата другая, которой одно прелестное начало чуть не свело меня съ ума. И Пушкинъ окончилъ свою сказку! Боже мой, что то будетъ далѣе? Мнѣ кажется, что теперь воздвигается огромное зданіе чисто русской поэзіи. Страшные граниты положены въ фундаментъ, и тѣ же самые зодчіе выведутъ и стѣны, и куполъ, на славу вѣкамъ! Да поклоняются потомки и да имутъ мѣсто, гдѣ возносить умиленныя молитвы свои. — Какъ прекрасенъ удѣлъ вашъ, великіе зодчіе! Какой рай готовите вы истиннымъ христіанамъ! И какъ ужасенъ адъ, уготовленный для язычниковъ, ренегатовъ и прочаго сброду! Они не понимаютъ васъ и не умѣютъ молиться. Когда-то пріобщусь я этой божественной сказки?.. Но скоро 12 часовъ, боюсь опоздать на почту. Прощайте! Извините мою несвязную грамоту. Не далось божественное писаніе въ руки. Будьте здоровы, и да почіетъ надъ вами благословеніе Божіе, и да возбуждаетъ оно васъ чаще

и чаще ударять въ священныя струны; а я, вашъ вѣрный богомолецъ, буду возсылать ему теплыя за сіе молитвы. Вѣчно вашъ неизмѣнный

Гоголь.

---

8. Къ М. П. Погодину.

Февраля 20 (1833).

Я получилъ твое письмо еще февраля 12 и почти недѣлю промедлилъ отвѣтомъ. Винюсь, прости меня! Журнала дѣвицъ я потому не посылалъ, что приводилъ его въ порядокъ, и его то совершенно преобразивши, хотѣлъ я издать подъ именемъ „Земля и Люди“, но я не знаю, отчего на меня нашла тоска... корректурный листокъ выпалъ изъ рукъ моихъ, и я остановилъ печатаніе. Какъ то не такъ теперь работается! Не съ тѣмъ вдохновенно-полнымъ наслажденіемъ царапаетъ перо бумагу. Едва начинаю, и что-нибудь совершу изъ ист(оріи), уже вижу собственные недостатки: то жалѣю, что не взялъ шире, огромнѣе объемъ, то вдругъ зиждется совершенно новая система и рушитъ старую. Напрасно я увѣряю себя, что только начало, эскизъ, что оно не нанесетъ пятна мнѣ, что судья у меня одинъ только будетъ, и тотъ одинъ — другъ. Но не могу, не въ силахъ... Чортъ побери пока трудъ мой, набросанный на бумагѣ, до другого, спокойнѣйшаго времени. Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной славы. Вся глубина души такъ и рвется наружу. И я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего. Я не писалъ тебѣ: я помѣшался на комедіи. Она, когда я былъ въ Москвѣ, въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда, не выходила изъ головы моей, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой толстой тетради: „Владиміръ 3-ьей степени“, и сколько злости, смѣха и соли!.. Но вдругъ остановился, увидѣвши, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А что изъ того, когда піеса не будетъ играться: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? — Мнѣ больше ничего не остается, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже квартальный не могъ обидѣться. Но что̀ комедія безъ правды и злости! Итакъ за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною

движется сцена, шумитъ апплодисментъ, рожи высовываются изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и — исторія къ чорту! И вотъ почему я сижу при лѣни мыслей.

Беттиг(ера) я не читалъ на нѣмецкомъ, прочелъ въ переводѣ. Имѣется ли у него и новая исторія, или только одна древняя? Мнѣ нравится въ ней то, что есть по крайней мѣрѣ хоть нѣсколько вѣрный анатомическій скелетъ. У насъ и этого нигдѣ не найдешь! Не будетъ ли еще чего-нибудь у васъ историч(ескаго), переведеннаго университетскими? А что Европейская исторія?

Пушкинъ недавно говорилъ о тебѣ съ государемъ насчетъ „Петра“ и желанія твоего трудиться вмѣстѣ съ нимъ. Государь напередъ желалъ узнать о трудахъ твоихъ, и когда ему. вычислили длинный рангъ твоихъ изданій, то онъ тотъ же часъ изъявилъ согласіе, и Пушкинъ говоритъ, что ты можешь, живя здѣсь или въ Москвѣ, издавать все выкапываемое въ архивахъ и брать за это деньги. Какъ же велико будетъ твое жалованье, это ему еще неизвѣстно. Крылова нигдѣ не попалъ, чтобы напомнить ему за портретъ. Этотъ блюдолизъ, несмотря на то, что породою слонъ, летаетъ какъ муха по обѣдамъ. Смирдину напоминалъ... Читалъ ли ты Смирдинское „Новоселье?“ Книжища ужасная; человѣка можно уколотить. Для меня она замѣчательна тѣмъ, что здѣсь въ первый разъ показались въ печати такія гадости, что читать мерзко. Прочти Брамбеуса: сколько тутъ подлости, и вони, и всего! Я слышалъ, (что) у васъ въ Москвѣ альманахъ составляется и участвуютъ люди, такіе, которыхъ статьи непремѣнно будутъ значительны. Будешь ли ты тамъ? Мнѣ очень нравится комета Галлея. Есть что то чертовски утѣшительное въ минуты нѣкоторыхъ мыслей...

У меня теперь голова страшно забита кучей хлопотъ вчера и сегодня, такъ что я... я думаю, пишу довольно безтолково и спѣшу отправить.

Отъ всей души обнимаю. Остаюсь твой *Гоголь*.

Хотѣлось было предложить два историческіе вопроса, сильно меня занимавшіе: не разрѣшишь ли? — но послѣ. Они требуютъ много бумаги. Видишь, я несмотря... все-таки не могу совершенно освободиться отъ исторіи.

9. Къ матери.

1833 г., октября 2. С.-Петербургъ.

Я получилъ письма ваши. Одно, въ которомъ вы увѣдомляете меня о смерти Анны Матвѣевны, очень меня тронуло. О ней я не сожалѣю, потому что она была уже въ довольно преклонныхъ лѣтахъ и, послѣ примѣрной жизни, умерла, оплакиваемая истинно привязанными къ ней. Но я болѣе сожалѣлъ о васъ, что (вы) лишились этой почтенной женщины, которая всегда принимала въ васъ, а, стало быть, и въ насъ всѣхъ, самое жаркое участіе. Миръ ея праху! Она, вѣрно, тамъ счастлива. Жаль мнѣ, что вы останетесь заключены теперь въ Васильевкѣ. Прежде вы бывало ѣздили въ Ярески. Вамъ нужно болѣе проѣзживаться.

Въ другомъ письмѣ вы сожалѣете, что дѣти не учатся музыкѣ. Не безпокойтесь объ этомъ, моя безцѣнная маменька! Будьте увѣрены, что я не пощажу ничего, чтобы доставить имъ все нужное. Всѣ пріятныя искусства, необходимыя для дѣвицъ, будутъ имъ внушены.

Сдѣлайте милость, моя безцѣнная маменька, воспитывайте такимъ образомъ Олю. — Отдалите отъ нея дѣвичью, чтобы она никогда туда не заходила. Велите ей быть неотлучно при васъ. Лучше нѣтъ для дѣвицы воспитанія, какъ въ глазахъ матери, а особливо такой, какъ вы. Пусть она спитъ въ вашей комнатѣ. Ввечеру нельзя ли вамъ такъ завесть, чтобы всѣ (сидѣли) вмѣстѣ за однимъ столомъ: вы, сестра, Павелъ Осиповичъ и она, и каждый занимался бы своимъ. Давайте ей побольше занятій; пусть она занимается тѣми же дѣлами, что и большіе; давайте ей шить не лоскутки, а нужныя домашнія вещи; поручите ей разливать чай... Ради Бога, не пренебрегайте этими мелочами. Знаете ли вы, какъ важны впечатлѣнія дѣтскихъ лѣтъ? то, что въ дѣтствѣ только хорошая привычка и наклонность, превратится въ зрѣлыхъ лѣтахъ въ добродѣтель. Внушите ей правила религіи. Это фундаментъ всего. — Это немного тоже сдѣлаетъ добра, если она будетъ безпрестанно ходить въ церковь. Тамъ для дитяти тоже все непонятно: ни языкъ, ни обряды. Она привыкнетъ на это глядѣть, какъ на комедію. Но вмѣсто всего этого говорите, что Богъ все видитъ, все знаетъ, что она ни дѣлаетъ. Говорите ей поболѣе о будущей жизни, опишите всѣми возможными и нравящимися для дѣтей красками тѣ радости и наслажденія, которыя ожидаютъ праведныхъ, и какія ужасныя, жестокія муки

ждутъ грѣшныхъ. Ради Бога, говорите ей почаще объ этомъ, при всякомъ ея поступкѣ, худомъ или хорошемъ. Вы увидите, какія благодѣтельныя это произведетъ слѣдствія. Нужно сильно потрясти дѣтскія чувства, и тогда они надолго сохранятъ все прекрасное. Я испыталъ это на себѣ. Я очень хорошо помню, какъ меня воспитывали. Дѣтство мое донынѣ представляется мнѣ. Вы употребляли все усиліе воспитать меня какъ можно лучше. Но, къ несчастью, родители рѣдко бываютъ хорошими воспитателями дѣтей своихъ. Вы были тогда еще молоды, въ первый разъ имѣли дѣтей, въ первый разъ имѣли съ ними обращеніе, и такъ могли ли вы знать, какъ именно должно приступить, что именно нужно? Я помню: я ничего сильно не чувствовалъ, я глядѣлъ на все, какъ на вещи, созданныя для того, чтобы угождать мнѣ. Никого особенно не любилъ, выключая только васъ, и то только потому, что сама натура вдохнула это чувство. На все я глядѣлъ безстрастными глазами; я ходилъ въ церковь потому, что мнѣ приказывали, или носили меня; но стоя въ ней, я ничего не видѣлъ, кромѣ ризъ, попа и противнаго ревѣнія дьячковъ. Я крестился потому, что видѣлъ, что всѣ крестятся. Но одинъ разъ — я живо какъ теперь помню этотъ случай — я просилъ васъ разсказать мнѣ о Страшномъ судѣ, и вы мнѣ, ребенку, такъ хорошо, такъ понятно, такъ трогательно разсказали о тѣхъ благахъ, которыя ожидаютъ людей за добродѣтельную жизнь, и такъ разительно, такъ страшно описали вѣчныя муки грѣшныхъ, что это потрясло и разбудило во мнѣ всю чувствительность, это заронило и произвело впослѣдствіи во мнѣ самыя высокія мысли.

Но довольно о религіи; обратимся теперь къ наукѣ жизни. Даже играть съ своими игрушками она должна при васъ въ гостиной, или гдѣ вы будете сидѣть. Если пріѣдутъ гости, заставляйте ее быть неотлучно при гостяхъ. Пусть она говоритъ и вмѣшивается даже въ общій разговоръ, если разговоръ понятенъ для нея. Не то — пусть она приноситъ свои игрушки, или занимается дѣломъ: шьетъ или работаетъ тутъ же при гостяхъ. Это одно истребитъ ту дикость, которую получаютъ дѣти, находясь въ дѣвичьей. Этимъ однимъ она пріобрѣтетъ ту непринужденность, которая такъ мила и всегда восхищаетъ насъ. Этимъ однимъ она пріобрѣтетъ и заранѣе пріучится пріятно разсказывать и занимать другихъ своими разговорами. Найдете ли вы хоть одну дѣвицу въ окружности насъ (sic), которая умѣла бы занять, съ которой не было бы скучно?

Сколько есть такихъ, которыя не умѣютъ совсѣмъ слова связать! А отчего? отъ этихъ дѣвичьихъ, отъ неразсудительности матерей, которыя тогда только берутъ дочерей подъ свое покровительство и удаляютъ изъ дѣвичьей, когда онѣ уже дѣлаются совершеннолѣтними, и берегутъ ихъ, когда уже нечего беречь, когда глупости и предразсудки пустили слишкомъ глубоко свои корни. Я вижу яснѣе и лучше многое, нежели другіе. Въ немногіе годы я много узналъ, особливо по этой части. Я изслѣдовалъ человѣка отъ его колыбели до конца, и отъ этого ничуть не счастливѣе. У меня болитъ сердце, когда я вижу, какъ заблуждаются люди. Толкуютъ о добродѣтели, о Богѣ, и между тѣмъ не дѣлаютъ ничего. Хотѣлъ бы, кажется, помочь имъ, но рѣдкіе, рѣдкіе изъ нихъ имѣютъ свѣтлый природный умъ, чтобы увидѣть истину моихъ словъ. Вы — другое дѣло, безцѣннѣйшая маменька, вы понимаете меня въ этомъ отношеніи. Вы увидите истину моихъ словъ, которыя, можетъ быть, даже сходны съ собственными вашими, и, вѣрно, поступите по моему предложенію, — тѣмъ болѣе, что исполнить это нѣтъ ни малѣйшей трудности и нисколько не обременитъ васъ; стоитъ только разъ завесть, а тамъ все пойдетъ такъ, какъ начато.

Вы спрашиваете у меня на-счетъ ревизіи. Сдѣлайте милость, дѣлайте такъ, какъ вы увидите нужнымъ. Имѣніе гораздо лучше, если будетъ всегда записываемо на одно ваше имя.

---

10. Къ А. С. Пушкину.

(Въ декабрѣ 1834 г.)

Вышла вчера довольно непріятная зацѣпа по цензурѣ, по поводу „Записокъ Сумасшедш(аго)": но, слава Богу, сегодня немного лучше; по крайней мѣрѣ, я долженъ ограничиться выкидкою лучшихъ мѣстъ. Ну, да Богъ съ ними! Еслибы не эта задержка, книга моя, можетъ быть, завтра вышла. Жаль однакожъ, что мнѣ не удалось видѣться съ вами. Я посылаю вамъ предисловіе; сдѣлайте милость, просмотрите, и если что, то поправьте и перемѣните тутъ же чернилами. Я вѣдь, сколько вамъ извѣстно, серьезныхъ предисловій не писалъ, а потому въ этомъ дѣлѣ совершенно неопытенъ.

Вѣчно вашъ *Гоголь*.

II. Къ матери.

1835. апрѣля 12. СПБ.

Письмо ваше, писанное вами 24 марта, я получилъ. Хлопоталъ о порученности вашей перезаложить въ ломбардъ имѣніе. Это дѣлается не такъ скоро, какъ вы думаете. Еслибы даже можно было теперь приступить къ этому, то покамѣстъ я получу отъ васъ уполномочіе, т. е. довѣренность, покамѣстъ вы получите позволеніе изъ опеки на заложку (sic) имѣній малолѣтнихъ моихъ сестеръ, куда вы должны подавать просьбу, покамѣстъ все это будетъ готово, можетъ пройти, по крайней мѣрѣ, полтора мѣсяца; а между тѣмъ, черезъ три недѣли, если не раньше, я выѣзжаю изъ Петербурга. Во-вторыхъ, самое главное, перезакладывать имѣнія, заложеннаго на 12 лѣтъ, нельзя до совершенной уплаты долга. Имѣнія, по новому уставу, не на двадцать четыре, а на 26 и на 36 лѣтъ закладываются. Итакъ вы видите, что теперь этого нельзя сдѣлать. Еслибы вы раньше объ этомъ увѣдомили меня, я бы, можетъ быть, успѣлъ кое-кого упросить помочь въ этомъ дѣлѣ, но теперь уже выѣзжаютъ на дачи и не до того теперь.

Я очень постигаю васъ. Я знаю, что ваша вся жизнь была въ заботахъ, что вы вѣчно должны были бороться съ критическими обстоятельствами. Отъ этого не мудрено, что душа ваша ищетъ успокоенія въ мечтѣ, и что вы любите предаваться ей, какъ вѣрному своему другу, а не мудрено, что она васъ завлекаетъ иногда. Вамъ нуженъ совѣтникъ, который бы практическимъ образомъ глядѣлъ на жизнь. Этотъ совѣтникъ вамъ буду я. Почитайте меня за друга, съ которымъ вы должны дѣлить свои мысли и не сердиться, если этотъ другъ будетъ подавать вамъ совѣты. Если же вы совѣты станете почитать за строгія наставленія и умничанья, вашъ другъ тогда замолчитъ, и вы ничего отъ него не услышите. О дѣлахъ хозяйственныхъ, о средствахъ къ уплатѣ долговъ и о прочемъ поговоримъ, когда увидимся. Я намѣренъ не шутя приняться за хозяйство, и грѣхъ на моей душѣ лежитъ, что я не сдѣлалъ этого прежде, набросивъ на васъ цѣлый грузъ самыхъ тягостныхъ заботъ, омрачившихъ вашу драгоцѣнную для насъ жизнь.

Теперь поговоримъ о не такъ важныхъ пунктахъ вашего письма. Вы слишкомъ предаетесь вашимъ мечтаніямъ. Вы, говоря о моихъ сочиненіяхъ, называете меня геніемъ. Какъ бы это ни было, но это очень странно. Меня, добраго, простого чело-

вѣка, можетъ быть, не совсѣмъ глупаго, имѣющаго здравый смыслъ называть геніемъ! Нѣтъ, маменька, этихъ качествъ мало, чтобы составить его; иначе у насъ столько геніевъ, что и (не) протолпиться. Итакъ я васъ прошу, маменька, не называйте меня никогда такимъ образомъ, а тѣмъ болѣе еще въ разговорѣ съ кѣмъ-нибудь. Не изъявляйте никакого мнѣнія о моихъ сочиненіяхъ и не распространяйтесь о моихъ качествахъ. Скажите только просто, что онъ добрый сынъ, и больше ничего не прибавляйте и не повторяйте нѣсколько разъ. Это для меня будетъ лучшая похвала.

Я знаю очень много умныхъ людей, которые вовсе не обращаютъ вниманія на литературу, и тѣмъ не менѣе я ихъ уважаю. Литература вовсе не есть слѣдствіе ума, а слѣдствіе чувства, — такимъ самымъ образомъ, какъ и музыка, какъ и живопись. У меня, напримѣръ, нѣтъ уха къ музыкѣ, и я не говорю о ней, и меня оттого никто не презираетъ. Я не знаю ни въ зубъ математики, и надо мною никто не смѣется. Но если, не зная математики, начну говорить о ней, тогда надо мною будетъ всякій смѣяться.

Еслибы вы знали, какъ непріятно, какъ отвратительно слушать, когда родители говорятъ безпрестанно о своихъ дѣтяхъ и хвалятъ ихъ! Я вамъ говорю, что я никогда не чувствовалъ уваженія къ такимъ родителямъ; я ихъ считалъ всегда жалкими хвастунами, и сколько мнѣ удавалось слышать отъ другихъ, то и имъ казались отвратительными похвалы эти. Еще одна просьба: не судите никогда, моя добрая и умная маменька, о литературѣ. Вы въ большомъ заблужденіи. Вы воображаете, что умный человѣкъ непремѣнно долженъ судить о литературѣ и понимать ее — ничуть не бывало! Знаете ли вы, въ какой можно попасть просакъ. Вотъ вы, напримѣръ, приписали мнѣ сочиненія такого автора, которымъ гнушается истинный вкусъ автора, который ничего рѣшительно не имѣетъ общаго со мною, которымъ только на хуторахъ восхищаются и который пользуется презрѣніемъ даже отъ не совсѣмъ постигающихъ читателей, а вы его приписали мнѣ, и когда я увѣрялъ васъ, въ моемъ письмѣ клялся, — вы упрямо стояли на своемъ.

Когда я прочиталъ этотъ кусокъ изъ вашего письма одному человѣку, имѣвшему вкусъ (я, однакожъ, ни слова не сказалъ, что это письмо ваше), онъ захохоталъ. Мнѣ самому было смѣшно, когда я читалъ его, но вмѣстѣ досадно, когда я видѣлъ, какъ умная, прекрасная дама, исполненная истиннаго благородства души, можетъ себя

компрометировать и унизить, не видѣть то, какъ много нужно тонкости и особеннаго чутья въ литературѣ, которое и литераторамъ дается немногимъ, чтобы судить вѣрно. Васъ обмануло то, что вамъ точно дано чувство и вкусъ вообще, и что вамъ показались понятными и хорошими нѣкоторыя мѣста, и вы положили, что можете разобрать и осудить строго твореніе. Но знаете ли вы, что именно тѣ мѣста, которыя вамъ незамѣтны, тѣ то и есть, можетъ быть, истинно достойныя, и что, можетъ быть, вы видите только сотую долю того, что другой видитъ или долженъ бы видѣть все... Очень трудно это искусство! Знаете ли, что въ Петербургѣ, во всемъ Петербургѣ, можетъ быть, только человѣкъ пять и есть, которые истинно и глубоко понимаютъ искусство; а, между тѣмъ, въ Петербургѣ есть множество истинно прекрасныхъ, благородныхъ, образованныхъ людей. Я самъ, преданный и погрязнувшій въ этомъ ремеслѣ, я самъ нигдѣ не смѣю быть такъ дерзокъ, чтобы сказать, что я могу судить и совершенно понимать такое то произведеніе. Нѣтъ, можетъ быть, я только десятую долю понимаю. Итакъ, не говорите объ этомъ. Если васъ спросятъ — отвѣчайте, но отвѣчайте односложно и перемѣняйте тотчасъ разговоръ на другое. Помните, что это говоритъ вамъ другъ вашъ, который желалъ бы, чтобы весь свѣтъ почиталъ васъ такъ, какъ вы того заслуживаете прекрасными вашими качествами.

Но объ этомъ довольно. Посылаю вамъ, въ завершеніе, мои повѣсти, довольно давнія, которыя, впрочемъ, недавно вышли изъ печати.

Посылаю вамъ нѣсколько огородныхъ сѣмянъ. Поспѣшите ихъ приказать посѣять; только мѣсто нужно выбрать хорошее и поливать предъ восхожденіемъ солнца и по захожденіи. Сестры посылаютъ племянникамъ конфектъ.

Не знаю, буду ли я еще къ вамъ писать, или, можетъ быть, уже не удастся, — развѣ изъ Москвы напишу. Будьте здоровы и да пошлетъ вамъ Богъ все хорошее: урожай на хлѣбъ и на все хозяйство. Обнимаю сестеръ и племянниковъ, Павла Осиповича и Катерину Ивановну вмѣстѣ съ моею кузиною, если онѣ только вблизи отъ васъ.

Праздники здѣсь были [кстати, поздравляю васъ съ праздниками,] очень дурны. На первый день явилась вдругъ зима съ морозомъ и санною дорогою послѣ совершенно весеннихъ дней. Теперь идутъ безпрестанно дожди...

12. Къ А. С. Пушкину.

7 октября 1835.

Рѣшаюсь писать къ вамъ самъ; просилъ прежде Наталью Николаевну, но до сихъ поръ не получилъ извѣстія. Пришлите, прошу васъ убѣдительно, если вы взяли съ собою, мою комедію, которой въ вашемъ кабинетѣ не находится и которую я принесъ вамъ для замѣчаній. Я сижу безъ денегъ и рѣшительно безъ всякихъ средствъ; мнѣ нужно давать ее актерамъ на разыграніе, что обыкновенно дѣлается, по крайней мѣрѣ, за два мѣсяца прежде. Сдѣлайте милость, пришлите скорѣе и сдѣлайте наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замѣчаній.

Началъ писать „Мертвыхъ Душъ“. Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ. Но теперь остановилъ его на третьей главѣ. Ищу хорошаго ябедника, съ которымъ бы можно коротко сойтись. Мнѣ хочется въ этомъ романѣ показать хотя съ одного боку всю Русь.

Сдѣлайте милость, дайте какой-нибудь сюжетъ, хоть какой-нибудь смѣшной или несмѣшной, но русскій чисто анекдотъ. Рука дрожитъ написать тѣмъ временемъ комедію. Если жъ сего не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что дѣлать тогда съ моими обстоятельствами. Я, кромѣ моего сквернаго жалованья университетскаго 600 рублей, никакихъ не имѣю теперь мѣстъ. Сдѣлайте (же) милость, дайте сюжетъ; духомъ будетъ комедія изъ пяти актовъ, и клянусь — куда смѣшнѣе чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ. И пришлите „Женитьбу“. Обнимаю васъ и цѣлую и желаю обнять скорѣе лично.

Вашъ *Гоголь*.

Мои ни „Арабески“, ни „Миргородъ“ не идутъ совершенно. Чортъ ихъ знаетъ, что это значитъ! Книгопродавцы такой народъ, которыхъ безъ всякой совѣсти можно повѣсить на первомъ деревѣ.

---

13. Къ М. П. Погодину.

декабря 6. С.-Петербургъ. 1835.

Здравствуй, душа моя! Спасибо тебѣ, что ты пріѣхалъ и написалъ ко мнѣ. Но я думалъ, что ты сдѣлаешь лучше и пріѣдешь прежде въ Петербургъ. Мнѣ бы хотѣлось на тебя поглядѣть и послушать, послушать, что

и какъ было въ пути, и что Нѣмечина и нѣмцы. Этого мнѣ хотѣлось потому, что твои глаза ближе къ моимъ, чѣмъ кого другого. Но на письмѣ я знаю самъ, что писать объ этомъ слишкомъ громоздко, и для насъ, людей лѣнивыхъ, очень скучно. Я жадно читалъ твое письмо въ журналѣ просвѣщенія, но еще хотѣлъ бы слышать изустныхъ прибавленій. Увѣдомь, какія книги привезъ и что есть такого, о чемъ намъ неизвѣстно.

Я расплевался съ университетомъ, и черезъ мѣсяцъ опять беззаботный казакъ. Неузнанный я взошелъ на каѳедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года — годы моего безславія, потому что общее мнѣніе говоритъ, что я не за свое дѣло взялся — въ эти полтора года я много вынесъ оттуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня... Миръ вамъ, мои небесныя гостьи, наводившія на меня божественныя минуты въ моей тѣсной квартирѣ, близкой къ чердаку! Васъ никто не знаетъ, васъ вновь опускаю на дно души до новаго пробужденія; когда вы исторгнетесь съ большею силою, и не посмѣетъ устоять безстыдная дерзость ученаго невѣжи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч... Я тебѣ одному говорю это; другому не скажу я: меня назовутъ хвастуномъ, и больше ничего. Мимо, мимо все это!

Теперь вышелъ я на свѣжій воздухъ. Это освѣженіе нужно въ жизни, какъ цвѣтамъ дождь, какъ засидѣвшемуся въ кабинетѣ прогулка. Смѣяться, смѣяться давай теперь побольше! Да здравствуетъ комедія! Одну, наконецъ, рѣшаюсь давать на театръ, приношу переписывать экземпляръ для того, чтобы послать къ тебѣ въ Москву, вмѣстѣ съ просьбою предувѣдомить, кого слѣдуетъ, по этой части. Скажи Загоскину, что я буду писать къ нему объ этомъ и убѣдительно просить о всякомъ съ его стороны вспомоществованіи, а милому Щепкину, что ему десять ролей въ одной комедіи; какую хочетъ, пусть такую беретъ; даже можетъ разомъ всѣ играть. Мнѣ очень жаль, что я не приготовилъ ничего къ бенефису его. Такъ я былъ озабоченъ это время, что едва только успѣлъ третьяго дня окончить эту піесу. Той комедіи, которую я читалъ у васъ въ Москвѣ, давать не намѣренъ на театръ. Ну, прощай, мой Погодинъ. Обнимаю тебя очень крѣпко! Поцѣлуй за меня ручку супруги своей.

Твой *Гоголь.*

14. Къ М. С. Щепкину.

(1836. СПБ. Апрѣля 29.)

Наконецъ, пишу къ вамъ, безцѣннѣйшій Михаилъ Семеновичъ. Едва ли, сколько мнѣ кажется, это не въ первый разъ происходитъ. Явленіе точно замѣчательное: два первые лѣнивца въ мірѣ, наконецъ, рѣшаются изумить другъ друга письмомъ. Посылаю вамъ „Ревизора“. Можетъ быть, до васъ уже дошли слухи о немъ. Я писалъ къ лѣнивцу 1-й гильдіи и безпутнѣйшему человѣку въ мірѣ, Погодину, чтобы онъ увѣдомилъ васъ; хотѣлъ даже посылать къ вамъ его, но раздумалъ, желая самъ привезти къ вамъ и прочитать собственногласно, дабы о нѣкоторыхъ лицахъ не составились заблаговременно превратныя понятія, которыя — я знаю — чрезвычайно трудно послѣ искоренить, но, познакомившись съ здѣшней театральною дирекціею — я такое получилъ отвращеніе къ театру, что одна мысль о тѣхъ пріятностяхъ, которыя готовятся для меня еще и на московскомъ театрѣ, въ силѣ удержать поѣздку въ Москву и попытку хлопотать о чемъ-либо. Къ довершенію, наконецъ, возможнѣйшихъ мнѣ пакостей, здѣшняя дирекція, т. е. директоръ Гедеоновъ, вздумалъ, какъ слышу я, отдать главныя роли другимъ персонажамъ послѣ четырехъ представленій ея, будучи подвинуть какою то мелочною личною ненавистью къ нѣкоторымъ главнымъ актерамъ въ моей пьесѣ, какъ то: къ Сосницкому, къ Дюру. Мочи нѣтъ! Дѣлайте, что́ хотите съ моей пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она сама надоѣла такъ же, какъ хлопоты о ней. Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на піесу; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ. Еслибы не высокое заступничество Государя, піеса моя не была бы ни за что́ на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что́ значитъ быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины — и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ человѣкъ, а цѣлыя сословія. Воображаю, что же было бы, еслибы я взялъ что-нибудь изъ петербургской жизни, которая мнѣ больше и лучше теперь знакома, нежели провинціальная. Досадно видѣть противъ себя людей тому, который ихъ любитъ между тѣмъ братскою любовью.

Комедію мою, читанную мною вамъ въ Москвѣ, подъ заглавіемъ „Женитьба“, я теперь передѣлалъ и переправилъ, и она нѣсколько похожа на что-нибудь путное. Я ее назначаю такимъ образомъ, чтобы она шла вамъ и Сосницкому въ бенефисъ здѣсь и въ Москвѣ, что, кажется, случается въ одно время года. Стало быть, вы можете адресоваться къ Сосницкому, которому я ее вручу. Самъ черезъ мѣсяца полтора, если не раньше, ѣду за границу, и потому совѣтую вамъ, если имѣется ко мнѣ надобность, не медлить вашимъ отвѣтомъ и меньше предаваться нашей общей пріятельницѣ, лѣни...

Прощайте, отъ души обнимаю васъ и прошу не забывать стараго земляка, много, много любящаго васъ

Гоголя.

Раздайте прилагаемые при семъ экземпляры по принадлежности. Неподписанный экземпляръ отдайте по усмотрѣнію, кому разсудите.

---

15. Къ М. П. Погодину.

Мая 10, 1836. Спб.

Я виноватъ, очень виноватъ, мой добрый, мой милый Погодинъ, что бранилъ тебя за твое невниманіе къ моимъ письмамъ. Дѣло теперь объясняется само собою: всему виноваты знакомые и пріятели, черезъ которыхъ ты писалъ и которые имѣли обыкновеніе проживать на дорогѣ у знакомыхъ, или жить въ Петербургѣ по цѣлому мѣсяцу, а потомъ уже припоминали о твоихъ письмахъ. Теперь только я получаю письма твои, написанныя въ февралѣ, генварѣ и мартѣ. Прости меня за то, что напустился на тебя. На что и какъ теперь отвѣчать тебѣ? Многіе вопросы твои уже потеряли свою современность. Послѣ разныхъ волненій, досадъ и прочаго, мысли мои такъ разсѣяны, что я не въ силахъ собрать ихъ въ стройность и порядокъ. Я хотѣлъ было ѣхать непремѣнно въ Москву и съ тобою наговориться вдоволь. Но не такъ сдѣлалось. Чувствую, что теперь не доставитъ мнѣ Москва спокойствія, а я не хочу пріѣхать въ такомъ тревожномъ состояніи, въ какомъ нахожусь нынѣ. Ѣду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подальше быть отъ своей ро-

дины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя возстановленныхъ своихъ же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется пасквилемъ. Выведи на сцену двухъ, трехъ плутовъ — тысяча честныхъ людей сердится, говоритъ: „Мы не плуты". Но Богъ съ ними! Я не оттого ѣду за границу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши нѣсколько постояннѣе пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ. Лѣто буду на водахъ, августъ мѣсяцъ на Рейнѣ, осень въ Швейцаріи, уединюсь и займусь. Если удастся, то зиму думаю пробыть въ Римѣ или Неаполѣ. Можетъ быть, тамъ увидимся съ тобою, если только это правда, что ты тоже думаешь ѣхать. Отправляюсь или въ концѣ мая, или въ началѣ іюня.

Письмо твое еще можетъ застать меня. Только, пожалуйста, не пиши чрезъ пріятелей: они чрезвычайно долго задерживаютъ письма. Лучше по почтѣ, хотя и за почтой нашей, которая до сихъ поръ была примѣръ исправности, начали водиться грѣхи. Я писалъ къ тебѣ три письма и адресовалъ ихъ прямо въ университетъ. Кажется, довольно точный адресъ, а между тѣмъ, какъ вижу изъ словъ твоихъ, ты ни одного не получилъ. Это письмо я вкладываю въ письмо къ Щепкину. Авось-либо это будетъ вѣрнѣе. Прощай.

---

16. Къ М. С. Щепкину.

1836, мая 10. Спб.

Я забылъ вамъ, дорогой Михаилъ Семеновичъ, сообщить кое-какія замѣчанія предварительныя о „Ревизорѣ". Во-первыхъ, вы должны непремѣнно, изъ дружбы ко мнѣ, взять на себя все дѣло постановки ея. Я не знаю никого изъ актеровъ вашихъ, какой и въ чемъ каждый изъ нихъ хорошъ, но вы это можете знать лучше, нежели кто другой. Сами вы, безъ сомнѣнія, должны взять роль городничаго: иначе она безъ васъ пропадетъ. Есть еще труднѣйшая роль во всей піесѣ — роль Хлеста.

кова. Я не знаю, выберете ли вы для нея артиста. Боже сохрани, если ее будутъ играть съ обыкновенными фарсами, какъ играютъ хвастуновъ и повѣсъ театральныхъ! Онъ просто глупъ; болтаетъ потому только, что видитъ, что его расположены слушать; вретъ потому, что плотно позавтракалъ и выпилъ порядочнаго вина; вертлявъ онъ тогда только, когда подъѣзжаетъ къ дамамъ. Сцена, въ которой онъ завирается, должна обратить особенное вниманіе. Каждое слово его, то есть, фраза или реченіе, есть экспромтъ, совершенно неожиданный, и потому должно выражаться отрывисто. Не должно упускать изъ виду, что къ концу этой сцены начинаетъ его мало-по-малу разбирать; но онъ вовсе не долженъ шататься на стулѣ; онъ долженъ только раскраснѣться и выражаться еще неожиданнѣе и, чѣмъ далѣе, громче и громче. Я сильно боюсь за эту роль. Она и здѣсь была исполнена плохо, потому что для нея нуженъ рѣшительный талантъ. Жаль, очень жаль, что я никакъ не могъ быть у васъ: многія изъ ролей могли быть совершенно понятны только тогда, когда бы я прочелъ ихъ. Но нечего дѣлать. Я такъ теперь мало спокоенъ духомъ, что врядъ ли могъ быть слишкомъ полезнымъ. Зато, по возвратѣ изъ-за границы, я намѣренъ основаться у васъ въ Москвѣ. Съ здѣшнимъ климатомъ я совершенно въ раздорѣ. За границей я пробуду до весны, а весною къ вамъ.

Скажите Загоскину, что я все поручилъ вамъ. Я напишу къ нему, что распредѣленіе ролей я послалъ къ вамъ. Вы составьте записочку и подайте ему, какъ сдѣлано мн(ою). Да еще — не одѣвайте Бобчинскаго и Добчинскаго въ томъ костюмѣ, въ какомъ они напечатаны: это ихъ одѣлъ Храповицкій. Я мало входилъ въ эти мелочи, и приказалъ напечатать по театральному. Тотъ, который имѣетъ свѣтлые волоса, долженъ быть въ темномъ фракѣ, а брюнетъ, то есть Бобчинскій, долженъ быть въ свѣтломъ. Нижнее — обоимъ темныя брюки. Вообще, чтобы не было форсирован(ья). Но брюшки у обоихъ должны быть непремѣнно, и притомъ остренькія, какъ у беременныхъ женщинъ.

Покамѣстъ прощайте. Пишите; еще успѣете. Ѣду не раньше 30 мая, или даже, можетъ, въ первыхъ іюня.

Н. Гоголь.

Кланяйтесь всѣмъ вашимъ домашнимъ, моимъ землячкамъ и землякамъ.

---

17. Къ М. П. Погодину.

Мая 15 (1836). Спб.

Я получилъ письмо твое. Приглашеніе твое убѣдительно, но никакимъ образомъ не могу: нужно захватить время пользованія на водахъ. Лучше пусть пріѣду къ вамъ въ Москву обновленный и освѣженный. Пріѣхавши, я проживу съ тобою долго, потому что не имѣю никакихъ должностныхъ узъ и не намѣренъ жить постоянно въ Петербургѣ. Я не сержусь на толки, какъ ты пишешь, не сержусь, что сердятся и отворачиваются тѣ, которые отыскиваютъ въ моихъ оригиналахъ свои собственныя черты и бранятъ меня, не сержусь, что бранятъ меня непріятели литературные, продажные таланты; но грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупѣйшее мнѣніе ими же опозореннаго и оплеваннаго писателя дѣйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водитъ за носъ; грустно, когда видишь, въ какомъ еще жалкомъ состояніи находится у насъ писатель. Всѣ противъ него, и нѣтъ никакой сколько-нибудь равносильной стороны за него. „Онъ зажигатель! Онъ бунтовщикъ!“ И кто же говоритъ? Это говорятъ мнѣ люди государственные, люди выслужившіеся, опытные люди, которые должны бы имѣть на сколько-нибудь ума, чтобъ понять дѣло въ настоящемъ видѣ, люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ, русскій свѣтъ, называетъ образованными. Выведены на сцену плуты, и всѣ въ ожесточеніи, зачѣмъ выводить на сцену плутовъ. Пусть сердятся плуты; но сердятся тѣ, которыхъ я не зналъ вовсе за плутовъ. Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, разлитаго на наши классы. Столица щекотливо оскорбляется тѣмъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ; что же бы сказала столица, еслибы выведены были хотя слегка ея собственные нравы? Я огорченъ не нынѣшнимъ ожесточеніемъ противъ моей піесы; меня заботитъ моя печальная будущность. Провинція уже слабо рисуется въ моей памяти, черты ея уже блѣдны, но жизнь петербургская ярка передъ моими глазами, краски ея живы и рѣзки въ моей памяти. Малѣйшая черта ея — и какъ тогда заговорятъ мои соотечественники! И то, что бы приняли люди просвѣщенные съ громкимъ смѣхомъ и участіемъ, то самое возмущаетъ желчь невѣжества; а это невѣжество всеобщее. Сказать о плутѣ, что онъ плутъ, считается у нихъ подрывомъ государственной

машины; сказать какую-нибудь только живую и вѣрную черту — значитъ, въ переводѣ, опозорить все сословіе и вооружить противъ него другихъ, или его подчиненныхъ. Разсмотри положеніе бѣднаго автора, любящаго между тѣмъ сильно свое отечество и своихъ же соотечественниковъ, и скажи ему, что есть небольшой кругъ, понимающій его, глядящій на него другими глазами, утѣшитъ ли это его? Москва больше расположена ко мнѣ, но отчего? Не оттого ли, что я живу въ отдаленіи отъ ней, что портретъ ея еще не былъ виденъ нигдѣ у меня, что, наконецъ... не хочу на этотъ разъ выводить всѣ случаи. Сердце мое въ эту минуту наполнено благодарностью къ ней за ея вниманіе ко мнѣ. Прощай. Ѣду разгулять свою тоску, глубоко обдумать свои обязанности авторскія, свои будущія творенія, и возвращусь къ тебѣ, вѣрно, освѣженный и обновленный. Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ непріятности посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ на мое воспитаніе, и нынѣ я чувствую, что не земная воля направляетъ путь мой. Онъ, вѣрно, необходимъ для меня.

Цѣлую тебя несчетно. Пиши ко мнѣ; еще успѣешь.

Твой *Гоголь*.

---

18. Къ В. А. Жуковскому.

Гамбургъ 28/16 іюня (1836).

Мнѣ очень было прискорбно, что не удалось съ вами проститься передъ моимъ отъѣздомъ, тѣмъ болѣе, что отсутствіе мое, вѣроятно, продолжится на нѣсколько лѣтъ. Но теперь для меня есть что то въ этомъ утѣшительное. Разлуки между нами не можетъ и не должно быть, и гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ уголкѣ ни трудился, я всегда буду возлѣ васъ. Каждую субботу я буду въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми близкими вамъ. Вѣчно вы будете представляться мнѣ слушающимъ меня читающаго. Какое участіе, какое заботливо-родственное участіе видѣлъ я въ глазахъ вашихъ!.. Низкимъ и пошлымъ почиталъ я выраженіе благодарности моей къ вамъ. Нѣтъ, я не былъ проникнутъ благодарностью; клянусь, это что то выше, что то больше ея; я не знаю, какъ назвать это чувство, но катящіяся въ эту минуту слезы, но взволнованное до глубины сердце говорятъ, что оно одно изъ тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достаются въ удѣлъ жителю земли. Мнѣ ли

не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сихъ поръ? Мнѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой — нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводящая крючки, за которую бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалитъ развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ. О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны для меня были всѣ непріятности и огорченія! Они имѣли въ себѣ что то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ казалось, я отпрыгивалъ выше, по крайней мѣрѣ, чувствовалъ въ душѣ своей крѣпче отпоръ. Могу сказать, что я никогда не жертвовалъ свѣту моимъ талантомъ. Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи была на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности. Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое. Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни. Знаю, что мнѣ много встрѣтится непріятнаго, что я буду терпѣть и недостатокъ, и бѣдность, но ни за что въ свѣтѣ не возвращусь скоро. Долѣе, долѣе, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будутъ принадлежать Россіи, но самъ я, но бренный составъ мой будетъ удаленъ отъ нея.

Не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ императрицы на дорогу. Если это сопряжено съ неудобствами, или сколько-нибудь неприлично, то не старайтесь объ этомъ. Я надѣюсь, что, при теперешней бережливости моей, могу какъ-нибудь управиться съ моими средствами. Правда, раздѣлавшись съ Петер(бургомъ), я едва только вывезъ двѣ тысячи, но, можетъ быть, съ ними я протяну какъ-нибудь до октября, а въ октябрѣ мѣсяцѣ долженъ мнѣ Смир-

динъ вручить тысячу слишкомъ. Съ петербургскими моими долгами я кое-какъ распорядился: иные выплатилъ изъ моей суммы, другіе готовы подождать. Если же на случай вы получите для меня деньги, то вручите ихъ Плетневу, который мнѣ можетъ переслать, если мнѣ придется большая надобность. Я ѣду теперь прямо въ Ахенъ. Письмо же къ Коппу отправилъ по почтѣ вчера, раньше никакъ не могъ.

Наше плаваніе было самое несчастное. Вмѣсто четырехъ дней пароходъ шелъ цѣлыя полторы недѣли, по причинѣ дурного и бурнаго времени и безпрестанно портившейся пароходной машины. Одинъ изъ пассажировъ, графъ М(усинъ)-Пушкинъ, умеръ. Въ Ахенѣ я дождусь отвѣта Коппа, къ которому послалъ описаніе моей болѣзни, впрочемъ, не слишкомъ важной. Въ Ахенѣ я займусь мѣсяца два языками, потому что мнѣ чрезвычайно трудно изъясняться, и потомъ ѣду на Рейнъ. Передайте мой поклонъ князю Вяземскому и благодарите его отъ меня за его участіе и письмо. Даже съ Пушкинымъ я не успѣлъ и не могъ проститься; впрочемъ, онъ въ этомъ виноватъ. Для его журнала я приготовлю кое-что, которое, какъ кажется мнѣ, будетъ смѣшно: изъ нѣмецкой жизни. Плетневу скажите, что я буду писать къ нему изъ Ахена, и что я очень сильно жму его руку. Желая вамъ какъ можно лучше, веселѣе проводить время и прося васъ думать иногда о томъ, который думать о васъ почитаетъ праздникомъ и приготовляетъ только на закуску послѣ трудовъ, остаюсь навсегда вашъ

Н. Гоголь.

---

19. Къ М. П. Погодину.

Женева. Сентября $^{22}/_{10}$ 1836.

Здравствуй, мой добрый другъ! Какъ живешь? что дѣлаешь? Скучаешь ли, веселишься ли? или работаешь, или лежишь на боку да лѣнишься? Богъ въ помощь тебѣ, если занятъ дѣломъ! Пусть весело горитъ передъ тобою свѣча твоя!. Мнѣ жаль, слишкомъ жаль, что я не видался съ тобою передъ отъѣздомъ. Много я отнялъ у себя пріятныхъ минутъ... Но на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожъ, что не въ терпежъ мнѣ пришлось глядѣть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина; но въ сердцѣ моемъ Русь, — одна только прекрасная Русь:

ты, да нѣсколько другихъ близкихъ, да небольшое число заключившихъ въ себѣ прекрасную душу и вѣрный вкусъ. Я не пишу тебѣ ничего о моемъ путешествіи. Впечатлѣнія мои уже прошли, уже я привыкъ къ окружающему, и потому описаніе его, сомнѣваюсь, чтобы было любопытно. Два предмета только поразили и остановили меня: Альпы да старыя готическія церкви.

Осень наступила, и я долженъ положить свою дорожную палку въ уголъ и заняться дѣломъ. Думаю остаться или въ Женевѣ, или въ Лозаннѣ, или въ Веве, гдѣ будетъ теплѣе [здѣсь нѣтъ нашихъ теплыхъ домовъ]. Принимаюсь перечитывать вновь всего Вальтера Скотта, а тамъ, можетъ быть, за перо.

Письма адресуй ко мнѣ въ Лозанну. Ты долженъ писать ко мнѣ теперь чаще. Тебѣ должно быть извѣстно, что значитъ получить письмо изъ родины. Прощай! Обнимаю тебя. Увѣдоми меня о томъ, что говорятъ обо мнѣ въ Москвѣ. Я не имѣю до сихъ поръ ни объ чемъ никакихъ извѣстій. Ни одного русскаго журнала не вижу. До другого письма...

Твой *Гоголь*.

---

20. Къ М. П. Балабиной.

Путешествіе изъ Лозанны въ Веве.

Веве. Октября 12-го, 1836.

Хотя вы, милостивая государыня Марья Петровна, не изволили мнѣ описать вашего путешествія въ Антверпенъ и въ Брюссель, и хотя слѣдовало бы и съ моей стороны сдѣлать то же, но, несмотря на это, я рѣшаюсь описать вамъ путешествіе мое въ Веве, — во-первыхъ, потому, что я очень благовоспитанный кавалеръ, а во-вторыхъ, потому, что предметы такъ интересны, что мнѣ было бы грѣхъ не писать о нихъ.

Простившись съ вами — что, какъ вы помните, было въ исходѣ перваго часа, — я отправился въ Hôtel du Faucon обѣдать. Обѣдало насъ три человѣка: я посреди, съ одной стороны почтенный старикъ французъ, съ перевязанною рукою и орденомъ, а съ другой стороны почтенная дама, жена его. Подали супъ съ вермишелями. Когда мы всѣ трое супъ откушали, подали намъ вотъ какія блюда: говядину отварную, котлеты бараньи, вареный картофель, шпинатъ со шпигованной телятиной и рыбу средней величины къ бѣлому соусу. Когда

я откушалъ картофель, который я весьма люблю, особливо, когда онъ хорошо сваренъ, французъ, который сидѣлъ возлѣ меня, обратясь ко мнѣ, сказалъ: „Милостивый государь...“ Или нѣтъ, я позабылъ: онъ не говорилъ: „Милостивый государь“; онъ сказалъ: „Monsieur, je vous servis этою говядиною. Это очень хорошая говядина“.

На что я сказалъ: „Да, дѣйствительно, это очень хорошая говядина“.

Потомъ, когда приняли говядину, я сказалъ: „Monsieur, позвольте васъ попотчевать бараньей котлеткой“.

На что онъ сказалъ: „Съ большимъ удовольствіемъ. Я возьму котлетку, — тѣмъ болѣе, что, кажется, хорошая котлетка“.

Потомъ приняли и котлетку, и поставили вотъ какія блюда: жаркое — цыпленка, потомъ другое жаркое — баранью ногу, потомъ поросенка, потомъ пирожное — компотъ съ грушами, потомъ другое пирожное — съ рисомъ и яблоками. Какъ только мнѣ перемѣнили тарелку, и я ее вытеръ салфеткой, французъ, сосѣдъ мой, попотчевавъ меня цыпленкомъ, сказалъ: „Puis-je vous offrir цыпленка?“

На что я сказалъ: „Je vous demande pardon, monsieur, я не хочу цыпленка; я очень огорченъ, что не могу взять цыпленка; я лучше возьму кусокъ бараньей ноги, потому что я баранью ногу предпочитаю цыпленку“.

На что онъ сказалъ, что онъ, точно, зналъ многихъ людей, которые предпочитали баранью ногу цыпленку.

Потомъ, когда откушали жаркое, французъ, сосѣдъ мой, предложилъ мнѣ компотъ изъ грушъ, сказавъ: „Я вамъ совѣтую, monsieur, взять этого компота: это очень хорошій компотъ“.

„Да“, сказалъ я, „это, точно, очень хорошій капотъ (sic). Но я ѣдалъ [продолжалъ я] компотъ, который приготовляли собственныя ручки княжны Варвары Николаевны Репниной и котораго можно назвать королемъ компотовъ и главнокомандующимъ всѣхъ пирожныхъ“.

На что онъ сказалъ: „Я не ѣдалъ этого компота, но сужу по всему, что онъ долженъ быть хорошъ, ибо мой дѣдушка былъ тоже главнокомандующій“.

На что я сказалъ: „Очень жалѣю, что не былъ знакомъ лично съ вашимъ дѣдушкою“.

На что онъ сказалъ: „Не стоитъ благодарностью“ (sic).

Потомъ приняли блюда и поставили десертъ. Но я, боясь опоздать къ дилижансу, попросилъ позволенія оставить столъ, на что французъ, сосѣдъ мой, отвѣчалъ очень учтиво, что онъ не находитъ съ своей стороны никакого препятствія.

Тогда я, взваливши шинель на лѣвую руку, а въ правую взявъ дорожный портфель съ бѣлою бумагою и разною собственноручною дрянью, отправился на почту.

Дорога отъ Фокона до почты вамъ совершенно извѣстна, и потому я не берусь ее описывать. Притомъ вы сами знаете, что предметовъ, которые бы слишкомъ поразили воображеніе, на ней очень немного. Когда я пришелъ къ дилижансу, то увидѣлъ, къ крайнему своему изумленію, что внутри кареты все было почти занято. Оставалось одно только мѣсто въ срединѣ. Сидѣвшіе дамы и мужчины были люди очень почтенные, но нѣсколько толсты, и потому я минуту предавался размышленію. „Хотя", подумалъ я, „мнѣ здѣсь не будетъ холодно, если я усядусь посрединѣ; но, такъ какъ я человѣкъ субтильный и тщедушный, то весьма можетъ быть, что они изъ меня сдѣлаютъ лепешку, покамѣстъ я доѣду до Веве". Это обстоятельство заставило меня взять мѣсто на верху кареты. Мѣсто мое было такъ широко и покойно, что я нашелъ приличнымъ положить вмѣстѣ съ собою и мои ноги, за что, къ величайшему моему изумленію, не взяли съ меня ничего и не прибавили платы, что заставило меня думать, что мои ноги очень легки. Такимъ образомъ, помѣстясь лежа на каретѣ, я началъ разсматривать всѣ бывшіе по сторонамъ виды. Горы чрезвычайно хороши, и почти ни одной не было такой, которая шла внизъ, но всѣ вверхъ. Это меня такъ изумило, что я ужъ и пересталъ смотрѣть на другіе виды. Но болѣе всего поразилъ меня гороховый фракъ сидѣвшаго со мной кондуктора. Я такъ углубился въ размышленіе, отчего одна половина его была темнѣе, а другая свѣтлѣе, что и не замѣтилъ, какъ доѣхалъ до Веве. Мнѣ такъ понравилось мое мѣсто, что я хотѣлъ еще и больше полежать на верху кареты; но кондукторъ сказалъ, что пора сойти, на что я сказалъ, что я готовъ съ большимъ удовольствіемъ.

„Такъ пожалуйте мнѣ вашу ручку!" сказалъ онъ.

„Извольте", отвѣчалъ я.

Съ кареты сходилъ я сначала лѣвою ногою, а потомъ правою; но, къ величайшему прискорбію вашему [потому что я знаю, что вы любите подробности], не

помню, на которую спицу колеса ступилъ я ногою — на третью, или на четвертую. Если хорошо припомнишь всѣ обстоятельства, то, кажется, на третью; но опять, если разсмотрѣть съ другой стороны, то представляется, какъ будто на четвертую. Впрочемъ, я вамъ совѣтую немедленно теперь же послать за кондукторомъ: онъ, вѣрно, долженъ знать; и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, потому что, если онъ выспится, то позабудетъ.

По сошествіи съ кареты, отправился я къ набережной встрѣчать пароходъ. Это путешествіе могло бы доставить очень много пользы, особенно для молодыхъ людей, и, вѣроятно, развило бы прекрасно ихъ способности, еслибъ не было слишкомъ коротко; ибо оно продолжалось никакъ не больше одной минуты съ половиною. Изъ пассажировъ, бывшихъ на пароходѣ, не оказалось ни одной физіономіи русской, даже такой, на которой бы выстроенъ былъ хотя нѣмецкій городъ. Выгрузились три дамы, Богъ знаетъ какого происхожденія, два кельнера и три англиша съ такими длинными ногами, что насилу могли выйти изъ лодки. Вышедши изъ лодки, они сказали „гопшъ!“ и пошли искать table d'hôte. Потомъ я пошелъ къ себѣ въ комнату, гдѣ сначала сидѣлъ на одномъ диванѣ, потомъ пересѣлъ на другой, но нашелъ, что все равно, — что если два равные дивана, то на нихъ рѣшительно сидѣть одинаково.

Здѣсь оканчивается путешествіе. Все прочее, что ни было, все было незамѣчательно. Какъ вы хотите, но отвѣтъ вы непремѣнно должны написать мнѣ. Если вы затрудняетесь, какимъ образомъ писать, то я вамъ могу дать небольшой образецъ. Вы можете написать въ такомъ духѣ:

„Милостивый государь, почтеннѣйшій Николай Васильевичъ!

„Я имѣла честь получить почтеннѣйшее письмо ваше сего октября... такого то числа. Не могу выразить вамъ, милостивый государь, всѣхъ чувствъ, которыя волновали мою душу. Я проливала слезы въ сердечномъ умиленіи. Гдѣ обрѣли вы высокое искусство говорить такъ понятно душѣ и сердцу? Стократъ, стократъ желала бы я имѣть искусное перо, подобное вашему, чтобы быть въ возможности изливать такими же словами признательную и растроганную благодарность“.

Потомъ вы можете написать: „Покорная къ услугамъ“, или „Готовая къ услугамъ“, или что-нибудь подобное, и письмо — я васъ увѣряю — будетъ хорошо

Засимъ позвольте мнѣ пожелать вамъ всего, что ни есть хорошаго на свѣтѣ, и остаться вашимъ преданнѣйшимъ и покорнѣйшимъ слугою

Н. Гоголь.

P. S. Еще одно, не въ шутку, весьма нужное слово. Присоедините вашу просьбу къ моей и упросите вашу маменьку пріѣхать сегодня же или завтра, въ Веве, если не состоится ваша поѣздка въ Женеву. При свиданіи съ вами, я былъ глупъ, какъ швейцарскій баранъ, — совершенно позабылъ вамъ сказать о прекрасныхъ видахъ, которые нужно вамъ непремѣнно видѣть. Вы были въ Монтрё и въ Шильонѣ, но не были близко. Я вамъ совѣтую непремѣнно сѣсть въ омнибусъ, въ которомъ очень хорошо сидѣть и который отправляется изъ вашей гостиницы въ семь часовъ утра. Вы поспѣете сюда къ завтраку, и я васъ поведу садами, лѣсами; вокругъ насъ будутъ шумѣть ручьи и водопады; съ обѣихъ сторонъ горы, и нигдѣ почти намъ не нужно будетъ подыматься на гору. Мы будемъ идти прекраснѣйшею долиною, которая — я знаю — вамъ очень понравится. Усталости вы не будете чувствовать... Вы знаете, что меня трудно расшевелить видомъ. Нужно, чтобы онъ былъ очень хорошъ. Здѣсь пообѣдаемъ, если вамъ будетъ угодно, въ часъ, или можете отправиться къ обѣду въ Лозанну. Во всякомъ случаѣ, если вамъ не противно будетъ, я опять провожу васъ до Лозанны...

---

21. Къ В. А. Жуковскому.

12 ноября. (1836. Парижъ.)

Я давно не писалъ къ вамъ; я ждалъ, чтобы минуло лѣто, потому что въ это время обыкновенно какъ то мало вспоминается объ отсутствующихъ. Къ тому же у меня не было ничего достойнаго писать къ вамъ. Но я знаю, что вы меня любите, и что съ наступленіемъ осени вы вспомните обо мнѣ, обо мнѣ, который каждую минуту васъ видитъ передъ собою. Я къ вамъ писалъ, кажется, въ самомъ началѣ моего путешествія.

Прошатавшись лѣто на водахъ, я перебрался на осень въ Швейцарію. Я хотѣлъ скорѣе усѣсться на мѣстѣ и заняться дѣломъ; для этого поселился въ загородномъ домѣ близъ Женевы. Тамъ принялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтеръ-Скотта. Читалъ я до тѣхъ поръ, покамѣстъ сдѣлалось такъ хо-

лодно, что пропала вся охота къ чтенію. Женевскіе холода и вѣтры выгнали меня въ Веве. Никого не было въ Веве; одинъ только Бланше выходилъ ежедневно въ 3 часа къ пристани встрѣчать пароходъ. Сначала было мнѣ нѣсколько скучно, потомъ я привыкъ и сдѣлался совершенно вашимъ наслѣдникомъ: завладѣлъ мѣстами вашихъ прогулокъ, мѣрялъ разстояніе по назначеннымъ вами верстамъ, колотя палкою бѣгавшихъ по стѣнамъ ящерицъ, нацарапалъ даже свое имя русскими буквами въ Шильонскомъ подземельѣ, не посмѣлъ подписать его подъ двумя славными именами творца и переводчика „Шильон. Узника“; впрочемъ, даже не было и мѣста. Подъ ними расписался какой то Бурнашевъ. Внизу послѣдней колонны, которая въ тѣни, когда-нибудь русскій путешественникъ разберетъ мое птичье имя, если не сядетъ на него англичанинъ.

Недоставало только мнѣ завладѣть комнатой въ вашемъ домѣ, въ которомъ живетъ теперь Великая Кн. Анна Ѳедоровна.

Осень въ Веве, наконецъ, настала прекрасная, почти лѣто. У меня въ комнатѣ сдѣлалось тепло, и я принялся за „Мертвыхъ Душъ“, которыхъ было началъ въ Петербургѣ. Все начатое передѣлалъ я вновь, обдумалъ болѣе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ лѣтопись. Швейцарія сдѣлалась мнѣ съ тѣхъ поръ лучше; сѣро-лилово-голубо-сине-розовыя ея горы легче и воздушнѣе. Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ! Это будетъ первая моя порядочная вещь, — вещь, которая вынесетъ мое имя. Каждое утро, въ прибавленіе къ завтраку, вписывалъ я по три страницы въ мою поэму, и смѣху отъ этихъ страницъ было для меня достаточно, чтобы усладить мой одинокій день. Но, наконецъ, и въ Веве сдѣлалось холодно. Комната моя была нимало не тепла; лучшей я не могъ найти. Мнѣ тогда представился Петербургъ, наши теплые домы; мнѣ живѣе тогда представились вы, вы въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ встрѣчали меня приходившаго къ вамъ и брали меня за руку, и были рады моему приходу... И мнѣ сдѣлалось страшно скучно. Меня не веселили мои „Мертвыя Души“, я даже не имѣлъ въ запасѣ столько веселости, чтобы продолжать ихъ. Докторъ мой отыскалъ во мнѣ признаки ипохондріи, происходившей отъ геморроидъ, и совѣтовалъ мнѣ развлекать себя; увидѣвши же, что я не въ состояніи былъ этого сдѣлать, совѣтовалъ перемѣнить мѣсто. Мое на-

мѣреніе до того было провести зиму въ Италіи, но въ Италіи бушевала холера страшнымъ образомъ; карантины покрыли ее, какъ саранча. Я встрѣчалъ только бѣжавшихъ оттуда итальянцевъ, которые отъ страху въ маскахъ проѣзжали свою землю. Не надѣясь развлечься въ Италіи, я отправился въ Парижъ куда вовсе не располагалъ было ѣхать. Здѣсь встрѣтилъ я своего двоюроднаго брата, съ которымъ выѣхалъ изъ Петербурга. Это лучшій изъ выпущенныхъ вмѣстѣ со мною изъ Нѣжина. Жаль, что вы не знаете его стиховъ, которые подъ величайшимъ страхомъ показалъ онъ только одному мнѣ, и то не прежде, какъ затворивши всѣ двери, чтобы и французы не услышали.

Парижъ не такъ дуренъ, какъ я воображалъ, и, что всего лучше для меня, мѣстъ для гулянья множество; одного сада Тюльери и Елисейскихъ полей достаточно на весь день ходьбы. Я нечувствительно дѣлаю препорядочный моціонъ, что для меня теперь необходимо. Богъ простеръ здѣсь надо мною Свое покровительство и сдѣлалъ чудо: указалъ мнѣ теплую квартиру, на солнцѣ, съ печкой, и я блаженствую. Снова веселъ. „Мертвыя“ текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Вене, и мнѣ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помѣщики, наши чиновники, наши офицеры, наши мужики, наши избы, — словомъ, вся православная Русь. Мнѣ даже смѣшно, какъ подумаю, что я пишу „Мертвыхъ Душъ“ въ Парижѣ. Еще одинъ Левіаѳанъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него? Божественныя вкушу минуты... но... теперь я погруженъ весь въ „Мертвыя Души“. Огромно велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но что жъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. Терпѣніе! Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливѣе меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни. Пришлите мнѣ портретъ вашъ. Ради всего, что есть для васъ дорогого на свѣтѣ, не откажите мнѣ въ этомъ, но чтобы онъ былъ теперь снятъ съ васъ. Если у васъ нѣтъ его, не поскупитесь, посидите два часа на одномъ мѣстѣ; если вы не исполните моей просьбы, то... но нѣтъ, я не хочу и думать объ отказѣ. Вы не захотите меня опечалить. Акварелью въ миніатюрѣ, чтобы онъ могъ не сворачиваясь

уложиться въ письмо, и отдайте его для отправленія Плетневу. Я вамъ пришлю свой, который закажу я литографировать только въ числѣ пяти экземпляровъ, чтобы никто, кромѣ моихъ ближайшихъ, не имѣлъ его. Напишите что-нибудь ко мнѣ, хоть только двѣ строчки, что вы здоровы и что получили мое письмо. Еслибъ вы знали, какую бодрость вдвинутъ въ меня ваши строки! Я думаю что я пробуду въ Парижѣ всю зиму, тѣмъ болѣе что здѣсь жить для меня несравненно дешевле, нежели было доселѣ въ Германіи и Швейцаріи. А съ началомъ февраля отправлюсь въ Италію, если только холера прекратится, и „Души“ потекутъ тоже за мной.

Адресъ мой: Place de la Bourse, № 12.

Не представится ли вамъ какихъ-нибудь казусовъ, могущихъ случиться при покупкѣ мертвыхъ душъ? Это была бы для меня славная вещь, потому, какъ бы то ни было, но ваше воображеніе, вѣрно, увидитъ такое, чего не увидитъ мое. Сообщите объ этомъ Пушкину; авось либо и онъ найдетъ что-нибудь съ своей стороны. Хотѣлось бы мнѣ страшно вычерпать этотъ сюжетъ со всѣхъ сторонъ. У меня много есть такихъ вещей, которыя бы мнѣ никакъ прежде не представились; но, несмотря (на то), вы все еще можете мнѣ сказать много новаго, ибо что голова, то умъ. Никому не сказывайте, въ чемъ состоитъ сюжетъ „Мертвыхъ Душъ“. Названіе можете объявить всѣмъ. Только три человѣка: вы, Пушкинъ да Плетневъ, должны знать настоящее дѣло. Прилагаемое письмо прошу васъ покорнѣйше вручить Плетневу немедленно; оно нужное.

Будьте всегда здоровы и веселы, и да хранитъ васъ Богъ отъ почечуевъ и отъ встрѣчъ съ тѣми физіогноміями, на которыя нужно плевать; и да бѣгутъ онѣ отъ васъ, какъ ночь бѣжитъ отъ дня.

Прощайте! до слѣдующаго письма.

---

22. П. А. Плетневу.

16 марта 1837. Римъ.

Что мѣсяцъ, что недѣля, то новая утрата; но никакой вѣсти хуже нельзя было получить изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его предъ со-

бою. Что скажетъ онъ, что замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое — вотъ что меня только занимало и одушевляло мои силы. Тайный трепетъ невкушаемаго на землѣ удовольствія обнималъ мою душу... Боже! нынѣшній трудъ мой, внушенный имъ, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его. Нѣсколько разъ принимался я за перо — перо падало изъ рукъ моихъ. Невыразимая тоска!.. Напишите мнѣ хоть строчку, что дѣлаете вы, или скажите объ этомъ два слова Прокоповичу: онъ будетъ писать ко мнѣ.

Я былъ очень боленъ, теперь начинаю немного оправляться. Пришлите мнѣ деньги, которыя долженъ внести мнѣ Смирдинъ къ первымъ числамъ апрѣля. Вручите ихъ такимъ же порядкомъ Штиглицу, дабы отправилъ ихъ къ одному изъ банкировъ въ Римѣ для передачи мнѣ. Лучше, если онъ переведетъ на Валентина: этотъ, говорятъ, честнѣе прочихъ здѣшнихъ банкировъ. Если возможно, то ускорите это, сколько возможно. Я не могъ вамъ написать прежде потому, что не установился на мѣстѣ и шатался все въ дорогѣ.

Да хранитъ васъ Богъ и сбережетъ отъ всего злого. Мой адресъ: Via S. Isidoro, № 17, rimpetto alla chiesa S. Isidoro, vicino alla Piazza Barbierini.

N. *Гоголь.*

---

23. Къ М. П. Погодину.

1837, марта 30. Римъ.

Я получилъ письмо твое въ Римѣ. Оно наполнено тѣмъ же, чѣмъ наполнены теперь всѣ наши мысли. Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всѣхъ больше. Ты скорбишь какъ русскій, какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Мои свѣтлыя минуты моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь; мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его (?) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то

время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что теперь жизнь моя?...

Ты приглашаешь меня ѣхать къ вамъ. Для чего? не для того ли, чтобъ повторить вѣчную участь поэтовъ на родинѣ? Или ты нарочно сдѣлалъ такое заключеніе послѣ сильнаго тобой приведеннаго примѣра, чтобъ сдѣлать еще разительнѣе самый примѣръ? Для чего я пріѣду? Не видалъ я развѣ дорогого сборища нашихъ просвѣщенныхъ невѣждъ? Ты пишешь, что всѣ люди, даже холодные, были тронуты этою потерею. А что эти люди готовы были дѣлать ему при жизни? Развѣ я не былъ свидѣтелемъ горькихъ, горькихъ минутъ, которыя приходилось чувствовать Пушкину, несмотря на то, что самъ монархъ (буди за то благословенно имя его!) почиталъ (его) талантъ? О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильныя причины, когда онѣ меня заставили рѣшиться на то, на что бы я не хотѣлъ рѣшиться. Или, ты думаешь, мнѣ ничего, что мои друзья, что вы отдѣлены отъ меня горами? Или я не люблю нашей неизмѣримой, нашей родной русской земли! Я живу около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могъ посвятить я чуждому. Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучшимъ, привѣтливѣе глядѣвшимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны? Но ѣхать, выносить надменную гордость безмозглаго класса людей, которые будутъ передо мною дуться и даже мнѣ пакостить, — нѣтъ, слуга покорный! Въ чужой землѣ я готовъ все перенести, готовъ нищенски протянуть руку, если дойдетъ до этого дѣло; но въ своей — никогда! Мои страданія тебѣ не могутъ вполнѣ (быть) понятны: ты въ пристани, ты, какъ мудрецъ, можешь перенесть и посмѣяться. Я бездомный, меня бьютъ и качаютъ волны, и упираться мнѣ только на якорь гордости, которую вселили въ грудь мою высшія силы, — сложить мнѣ голову свою на родинѣ!

Если ты имѣешь желаніе ѣхать освѣжиться и возобновить свои силы, увидѣть меня — пріѣзжай въ Римъ.

Здѣсь мое всегдашнее пребываніе. На іюнь и іюль ѣду въ Германію на воды и, возвратившись, провожу здѣсь осень, зиму и весну. Небо чудное. Пью его воздухъ и забываю весь міръ.

Напиши мнѣ что-нибудь про ваши московскія гадости. Ты видишь, какъ сильна моя любовь: даже гадости я готовъ слышать изъ родины. Прощай.

Твой *Гоголь*.

Мой адресъ: Via di Isidore, 17 casa, Giovanni Massuci.

---

24. Къ А. С. Данилевскому.

Римъ. Апрѣля (1837).

Никогда я еще не получалъ отъ тебя такого страннаго письма, какъ теперь. Оно мнѣ показалось такъ смутнымъ, какъ будто было писано въ-просонкахъ. И что тебѣ пришла за блажь ѣхать въ Швейцарію? Я ожидалъ тебя со дня на день, вѣрилъ въ непреклонность твоего обѣщанія и думалъ, что вотъ дверь отворится, и ты войдешь въ мою комнату, и вдругъ — письмо изъ Женевы! И выбралъ же время! Или ты не знаешь, и я тебѣ не говори(лъ), что весною нельзя ѣхать въ Швейцарію? И что ты будешь дѣлать тамъ? и почему тебѣ захотѣлось пригнѣздиться къ Жанену? Тебѣ будетъ довольно скучно, ты будешь голоденъ и больше ничего (ибо хотя твой желудокъ не то, что мой, однакожъ все-таки нагрузиться любитъ). Право, какъ досадно! я думалъ было по Швейцаріи сдѣлать вмѣстѣ вояжъ, и Богъ знаетъ, теперь увидимся ли мы, или нѣтъ? И выигрышу никакого ты не сдѣлалъ насчетъ кошелька: въ Швейцаріи дороже, я же никакъ не могу теперь ѣхать къ тебѣ. Не могу, во-первыхъ, потому, что еще рано; а, во-вторыхъ, самое главное, потому, что сижу безъ денегъ. Я пріѣхалъ въ Римъ только съ двумя стами франками, и еслибъ не страшная дешевизна и удаленіе всего, что вытряхиваетъ кошелекъ, то ихъ бы давно уже не было. За комнату, то есть старую залу съ картинами и статуями, я плачу 30 франковъ въ мѣсяцъ, и это только одно дорого. Прочее все ни по чемъ. Если выпью поутру одинъ стаканъ шоколаду, то плачу немножко больше 4 су, съ хлѣбомъ, со всѣмъ. Блюда за обѣдомъ очень хороши и свѣжи, и обходится иное по 4 су, иное по 6. Мороженаго больше не съѣдаю,

какъ на 4 су, а иногда на 8. Зато ужъ мороженое такое, какое и не снилось тебѣ. Не ту дрянь, которую мы ѣдали у Тортони, которое тебѣ такъ нравилось, — масло! Теперь я такой сдѣлался скряга, что если лишній байокъ (почти су) передамъ, то весь день жалко. Я не знаю, право, какъ мнѣ теперь быть! Я жилъ мыслью, что мы вмѣстѣ поѣдемъ въ Неаполь. Теперь какъ мнѣ ѣхать? Я ужъ не поѣду, по крайней мѣрѣ, въ этомъ году. Тебя выписывать я ужъ не смѣю, потому что теперь переѣздъ тебѣ будетъ дорогъ. Это не то, что моремъ, какъ бы ты могъ сдѣлать изъ Марселя; съ другой стороны мнѣ страшно жаль, что ты, вмѣсто того, чтобы наслаждаться, чтобы окунуться совершенно въ новый міръ, долженъ скучать и мерзнуть.

Здѣсь тепло, какъ лѣтомъ; а небо, небо — совершенно кажется серебрянымъ. Солнце дальше и больше, и сильнѣе обливаетъ его своимъ сіяніемъ. Что̀ сказать тебѣ вообще объ Италіи? Мнѣ кажется, какъ будто бы я заѣхалъ къ старинным малороссійскимъ помѣщикамъ. Такія же дряхлыя двери у домовъ, со множествомъ безполезныхъ дыръ, марающія платье мѣломъ; старинные подсвѣчники и лампы въ видѣ церковныхъ; блюда всѣ особенныя; все на старинный манеръ. Вездѣ доселѣ видѣлась мнѣ картина измѣненій; здѣсь все остановилось на одномъ мѣстѣ и далѣе нейдетъ. Когда въѣхалъ въ Римъ, я въ первый разъ не могъ дать себѣ яснаго отчета: онъ показался маленьк(имъ); но чѣмъ далѣе, онъ мнѣ кажется бо̀льшимъ и большимъ, строенія огромнѣе, виды красивѣе, небо лучше; а картинъ, развалинъ и антиковъ смотрѣть на всю жизнь станетъ. Влюбляешься въ Римъ очень медленно, понемногу — и ужъ на всю жизнь. Словомъ, вся Европа для того, чтобы смотрѣть, а Италія для того, чтобы жить. Это говорятъ всѣ тѣ, которые остались здѣсь жить. И правда, что зато врядъ ли гдѣ сыщешь землю, гдѣ бы можно такъ дешево прожить. Никакихъ (бездѣлокъ) и ничего того, „что̀ въ Парижѣ вкусъ голодный изобрѣтаетъ для забавъ“. Въ магазинахъ только Оссія да антики. Но зато для наслажденій художническихъ... Ты не можешь себѣ дать никакой идеи, что̀ такое Рафаэль. Ты будешь стоять предъ нимъ такъ же безмолвный и обращенный весь въ глаза, какъ ты сиживалъ нѣкогда передъ Гризи. Но чортъ возьми! Я для тебя приготовилъ и квартиру и готовился быть твоимъ чичероне, и вмѣсто того...

Напиши по крайней мѣрѣ, гдѣ ты располагаешь быть черезъ полтора мѣсяца; ибо черезъ полтора мѣ-

сяца я выѣду изъ Италіи заглянуть на какія-нибудь нѣмецкія воды. Нужно же когда-нибудь направить з.....у на прямой путь. Ей Богу, даже смѣшно, какъ воображу, что ты сидишь и мерзнешь у Жанена! Я никакъ сначала не могъ взять въ толкъ, про какого Анненкова ты пишешь, и думалъ уже, не свихнулъ ли ты, Боже сохрани, съ разума, говоря, что я у него стоялъ! Но при концѣ письма, не видя ни адреса, ничего, догадался, что это aux eaux vives. Врядъ ли ты, мнѣ кажется, высидишь мѣсяцъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ пиши, пожалуйста, почаще и извѣщай обо всякой перемѣнѣ, тобою затѣваемой, какихъ, я думаю, должно случиться съ тобою немало. Что-нибудь изъ хорошаго намъ нужно посмотрѣть вмѣстѣ. Ты или нарочно меня водишь за носъ... Прошлый годъ давалъ слово пріѣхать ко мнѣ въ Швейцарію — дернулъ въ Парижъ; теперь, обѣщавшись навѣрно пріѣхать въ Италію, дернулъ въ Швейцарію. У тебя ужъ, видно, такой бѣсъ сидитъ внутри, который ворочаетъ тобою наперекоръ. Тебѣ нужно было, непремѣнно нужно, испытать художническо-монастырскую жизнь въ Италіи, покушать мрамора и гипса, котораго здѣсь вдоволь, упиться звѣздами ночи, которыя блещутъ здѣсь необыкновеннымъ блескомъ, наглядѣться на монаховъ и аббатовъ, которыми, какъ макомъ, усѣяны улицы.

Я пріѣхалъ въ Римъ какъ разъ наканунѣ Свѣтлаго Праздника, и первое, что увидѣлъ, это былъ папа. Такимъ образомъ я выполнилъ старое правило. Обѣдню отслушалъ въ безпредѣльномъ Петрѣ, который все казался пустъ, какъ ни много въ немъ было народу.

Я получилъ твое письмо сегодня и сегодня же написалъ къ тебѣ этотъ отвѣтъ, и сегодня же его отправилъ бы, еслибъ можно было, но теперь поздно, вечеръ, а завтра не принимаютъ: праздникъ! Итакъ оно идетъ послѣзавтра. Прощай. Цѣлую тебя. Поскорѣе отвѣтъ!

Напиши адресъ Симоновскаго, если узнаешь. Я къ нему писалъ изъ Ливорна въ Парижъ. Не знаю, получилъ ли онъ его, или нѣтъ.

Прежде всего найди церковь Святого Исидора, а это вотъ какимъ образомъ сдѣлаешь. Изъ Piazza di Spagna подымись по лѣстницѣ на самый верхъ и возьми направо. Направо будутъ двѣ улицы; ты возьми вторую; этою улицею ты дойдешь до Piazza Barberia На эту площадь выходитъ одна улица съ бульваромъ. По этой улицѣ ты пойдешь все вверхъ, покамѣстъ не упрешься въ самого Исидора, который ее и замыкаетъ; тогда по-

верни налѣво. Противъ самаго Исидора есть домъ № 16, съ надписью надъ воротами: Appartements meublés. Въ этомъ домѣ живу я.

---

25. Къ В. А. Жуковскому.

Римъ. Апрѣль $^{18}/_{6}$ (1837).

Я пишу къ вамъ на этотъ разъ съ намѣреніемъ удручить васъ моею просьбою. Вы одни въ мірѣ, котораго интересуетъ моя участь. Вы сдѣлаете, я знаю, вы сдѣлаете все то, что только въ предѣлахъ возможности. Меня страшитъ мое будущее. Здоровье мое, кажется, съ каждымъ годомъ становится плоше и плоше. Я былъ недавно очень боленъ, теперь мнѣ сдѣлалось немного лучше. Если и Италія мнѣ ничего не поможетъ, то я не знаю, что тогда уже дѣлать. Я послалъ въ Петербургъ за послѣдними моими деньгами, и больше ни копейки; впереди не вижу совершенно никакихъ средствъ добыть ихъ. Заниматься какимъ-нибудь журнальнымъ мелочнымъ вздоромъ не могу, хотя бы умиралъ съ голода. Я долженъ продолжать мною начатой, большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и которой обратился для меня съ этихъ поръ въ священное завѣщаніе. Я дорожу теперь минутами моей жизни потому, что не думаю, чтобъ она была долговѣчна; а между тѣмъ... я начинаю вѣрить тому, что прежде считалъ басней, что писатели въ наше время могутъ умирать съ голоду. Но чуть ли это не правда. Будь я живописецъ, хоть даже плохой, я бы былъ обезпеченъ. Здѣсь въ Римѣ около 15 человѣкъ нашихъ художниковъ, которые недавно высланы изъ академіи, изъ которыхъ иные рисуютъ хуже моего: они всѣ получаютъ по три тысячи въ годъ. — Поди я въ актеры — я бы былъ обезпеченъ: актеры получаютъ по 10,000 и больше, а вы сами знаете, что я не былъ бы плохой актеръ. — Но я писатель — и потому долженъ умереть съ голоду. На меня находятъ часто печальныя мысли, слѣдствіе ли это ипохондріи, или чего другого. Доктора больше относятъ къ первому, я и самъ готовъ съ ними согласиться; но вы можете видѣть, что мои слова, съ своей стороны, также справедливы. Разсмотрите положеніе, въ которомъ я нахожусь, мое болѣзненное состояніе, мою невозможность заняться чѣмъ-нибудь постороннимъ, и дайте мнѣ спасительный совѣтъ, что я долженъ сдѣлать для

того, чтобы протянуть на свѣтѣ свою жизнь до тѣхъ поръ, покамѣстъ сдѣлаю сколько-нибудь изъ того, что мнѣ нужно сдѣлать. Я думалъ, думалъ и ничего не могъ придумать лучше, какъ прибѣгнуть къ государю. Онъ милостивъ; мнѣ памятно до гроба то вниманіе, которое онъ оказалъ къ моему „Ревизору“. Я написалъ письмо, которое прилагаю; если вы его найдете написаннымъ какъ слѣдуетъ, будьте моимъ предстателемъ, вручите! Если же оно написано не такъ, какъ слѣдуетъ, то — онъ милостивъ, онъ извинитъ бѣдному своему подданному. Скажите, что я невѣжа, не знающій, какъ писать къ его высокой особѣ, но что я исполненъ весь такой любви къ нему, какою можетъ быть исполненъ одинъ только русскій подданный, и что осмѣлился потому только безпокоить его просьбою, что зналъ, что мы всѣ ему дороги, какъ дѣти. — Но я знаю, вы лучше и приличнѣе скажете, нежели я. Не въ первый разъ я обязанъ многимъ, многимъ вамъ, чего сердце не умѣетъ высказать; и я бы почувствовалъ на душѣ совѣсть безпокоить васъ, еслибъ вы не были вы! Но въ сторону все это; я съ вами говорю просто, и я бы покраснѣлъ до ушей, еслибы сказалъ вамъ какой затѣйливый комплиментъ. — Еслибы мнѣ такой пансіонъ, какой дается воспитанникамъ академіи художествъ, живущимъ въ Италіи, или хоть такой, какой дается дьячкамъ, находящимся здѣсь при нашей церкви, то я бы протянулся, тѣмъ болѣе, что въ Италіи жить дешевле. Найдите случай и средство, указать какъ-нибудь государю на мои повѣсти: „Старосвѣтскіе Помѣщики“ и „Тарасъ Бульба“ — это тѣ двѣ счастливыя повѣсти, которыя нравились совершенно всѣмъ вкусамъ и всѣмъ различнымъ темпераментамъ; всѣ недостатки, которыми онѣ изобилуютъ, вовсе непримѣтны были для всѣхъ, кромѣ васъ, меня и Пушкина. Я видѣлъ, что по прочтеніи ихъ болѣе оказывали вниманія. Еслибы ихъ прочелъ государь! Онъ же такъ расположенъ ко всему, гдѣ есть теплота чувствъ и что пишется отъ души. О, меня что то увѣряетъ, что онъ бы прибавилъ ко мнѣ участія. Но будь все то, что угодно Богу. На Него и на васъ моя надежда. — Увѣдомьте меня вашей строчкой, или скажите Плетневу: онъ, можетъ быть, ко мнѣ напишетъ.

Прощайте! Храни Богъ прекрасную вашу жизнь.

Я ничего не пишу къ вамъ теперь ни о Римѣ, ни объ Италіи. Меня одолѣваютъ теперь такія печальныя мысли, что я опасаюсь быть несправедливымъ теперь ко всему, что должно утѣшать и восхищать душу. — Можетъ быть, это отчасти дѣйствіе той ужасной утраты,

которую мы понесли и въ которой я до сихъ поръ не имѣю силъ увѣриться, которая, кажется, какъ будто оборвала въ моей жизни лучшія ея украшенія и сдѣлала ее обнаженнѣе и печальнѣе.

Вашъ *Гоголь.*

---

26. Ему же.

Октября 30. Римъ. 1837.

Я получилъ данное мнѣ великодушнымъ нашимъ государемъ вспоможеніе. Благодарность сильна въ груди моей, но изліяніе ея не достигнетъ къ его престолу. Какъ нѣкій Богъ, онъ сыплетъ полною рукою благодѣянія и не желаетъ слышать никакихъ благодарностей; но, можетъ быть, слово бѣднаго при жизни поэта дойдетъ до потомства и прибавитъ умиленную черту къ его царственнымъ доблестямъ. Но до васъ можетъ досягнуть моя благодарность. Вы, все вы! Вашъ исполненный любви взоръ бодрствуетъ надо мною! Какъ будто нарочно дала мнѣ судьба тернистый путь, и сжимающая нужда увила жизнь мою, чтобы я былъ свидѣтелемъ прекраснѣйшихъ явленій на землѣ.

Вексель съ извѣстіемъ еще въ августѣ мѣсяцѣ пришелъ ко мнѣ въ Римъ, но я долго не могъ возвратиться туда по причинѣ холеры. Наконецъ, я вырвался. Еслибы вы знали, съ какою радостью я бросилъ Швейцарію и полетѣлъ въ мою душеньку, въ мою красавицу Италію! Она моя! Никто въ мірѣ ея не отниметъ у меня. Я родился здѣсь. Россія, Петербургъ, снѣга, подлецы, департаментъ, каѳедра, театръ — все это мнѣ снилось. Я проснулся опять на родинѣ, и пожалѣлъ только, что поэтическая часть этого сна — вы, да три-четыре оставившихъ вѣчную радость воспоминанія въ душѣ моей, не перешли въ дѣйствительность. Еще одно безвозвратное... О, Пушкинъ, Пушкинъ! Какой прекрасный сонъ удалось мнѣ видѣть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе! Что бы за жизнь моя была послѣ этого въ Петербургѣ; но какъ будто съ цѣлью всемогущая рука Промысла бросила меня подъ сверкающее небо Италіи, чтобы я забылъ о горѣ, о людяхъ, о всемъ, и весь впился въ ея роскошныя красы. Она замѣнила мнѣ все. Гляжу какъ изступленный на все и не нагляжусь до сихъ поръ. Вы говорили мнѣ о Швейцаріи, о Германіи и всегда вспоминали о нихъ съ восторгомъ. Моя душа также ихъ приняла

живо, и я восхищался ими, даже, можетъ, съ бо́льшей живостью, нежели, какъ я въѣхалъ въ первый разъ въ Италію. Но теперь, когда я побывалъ въ нихъ послѣ Италіи, низкими, пошлыми, гадкими, сѣрыми, холодными показались мнѣ онѣ со всѣми ихъ горами и видами, и мнѣ кажется, какъ будто бы я былъ въ Олонецкой губерніи и слышалъ медвѣжье дыханіе сѣвернаго океана. И неужели вы не побываете здѣсь и не поглядите на нее, и не отдадите тотъ поклонъ, которымъ долженъ красавицѣ-природѣ всякъ кадящій прекрасному? Здѣсь престолъ ея. Въ другихъ мѣстахъ мелькаетъ одно только воскраіе ея ризы, а здѣсь она вся глядитъ прямо въ очи своими пронзительными очами. — Я веселъ. Душа моя свѣтла. Тружусь и спѣшу всѣми силами совершить трудъ мой. Жизни! Жизни! Еще бы жизни! Я ничего еще не сдѣлалъ, что́ бы было достойно вашего трогательнаго расположенія. — Но, можетъ быть, это, которое пишу нынѣ, будетъ достойно его. По крайней мѣрѣ мысль о томъ, что вы будете читать его нѣкогда, была одна изъ первыхъ, оживлявшихъ меня во время бдѣнія надъ нимъ. Храни Богъ долго, долго прекрасную жизнь вашу!

Вашъ *Гоголь*.

Мой адресъ: Strada Felice, № 126, ultimo piano. Прошу васъ покорнѣйше отдать эти письма Александрѣ Осиповнѣ Смирновой и Андрею Карамзину.

---

27. Къ Е. Г. Чертковой

(альбомная замѣтка).

Наша дружба священна. Она началась на днѣ табакерки. Тамъ встрѣтились наши носы и почувствовали братское расположеніе другъ къ другу, несмотря на видимое несходство ихъ характеровъ. Въ самомъ дѣлѣ: вашъ — красивый, щегольской, съ весьма пріятною выгнутою линіею; а мой рѣшительно птичій, остроконечный и длинный, какъ Браунъ, могущій навѣдываться лично, безъ посредства пальцевъ, въ самыя мелкія табакерки (разумѣется, если не будетъ оттуда отраженъ щелчкомъ). Какая страшная разница! только между городомъ Римомъ и городомъ Клиномъ можетъ существовать подобная разница. Впрочемъ, несмотря на смѣшную физіономію, мой носъ очень добрая скотина: не вздергивался никогда кверху или къ потолку; не чихалъ въ угожденіе началь-

никамъ и начальству — словомъ, несмотря на свою непомѣрность, велъ себя очень умѣренно, за что безъ сомнѣнія попалъ въ либералы. Но въ сторону носы! — Этотъ предметъ очень плодовитъ, и о немъ было довольно писано и переписано; жаловались вообще на его глупость, что онъ нюхаетъ все безъ разбору, и зачѣмъ онъ выбѣжалъ на средину лица. Говорили даже, что совсѣмъ не нужно носа; что вмѣсто носа гораздо лучше, еслибы была табакерка, а носъ бы носилъ всякій въ карманѣ въ носовомъ платкѣ. Впрочемъ, все это вздоръ и ни къ чему не ведетъ. Я носу своему очень благодаренъ. Онъ мнѣ говоритъ немножко объ вашемъ русскомъ табакѣ, отъ котораго я чихалъ, пріятно чихалъ. Табакъ говоритъ мнѣ о патріотизмѣ, отъ котораго я также чихалъ довольно часто. Патріотизмъ говоритъ мнѣ о Москвѣ, до сихъ поръ мною любимой, Москва — о васъ, вы — объ ангелахъ и объ ангельскихъ, т. е. вашихъ качествахъ. Ибо, какъ вамъ извѣстно, ангелъ и чортъ — это два идеала, къ которымъ стремятся мужчины и женщины. Отъ женщины требуется, чтобъ она была ничуть не хуже ангела; отъ мужчины, — чтобъ немного былъ лучше чорта. Ваше назначеніе вы исполнили: вы ничѣмъ не хуже ангела; но лучше ли я чорта — это еще не рѣшено. Во всякомъ случаѣ надъ нами странно-прихотливая игра случая: ангела онъ посылаетъ въ тотъ...?.. климатъ, который былъ бы въ пору чорту, а чорта усаживаетъ въ рай, гдѣ долженъ бы обитать ангелъ. Но и въ виду этихъ чистыхъ римскихъ небесъ, въ странѣ, гдѣ все чудеса, на увѣшанныхъ и увѣнчанныхъ плющемъ развалинахъ, цѣлуемыхъ южными, теплыми поцѣлуями широкко, тоскующій чортъ будетъ помнить долго свой отдаленный адъ и ангела, сіяющаго въ небольшомъ уголкѣ его сумрачнаго пространства.

Н. В. Гоголь.

---

28. Къ С. П. Шевыреву.

Вѣна. 10 августа (1839).

Третьяго дни я получилъ письмо твое. Какъ оно мнѣ было пріятно, объ этомъ нечего говорить. Оно было бы пріятно даже безъ этой важной новости, тобою объявляемой; но съ этою новостью, увѣсистой, крупной новостью, оно и сказать нельзя, какъ хорошо. Ты за Дантомъ! ого-го-го-го! и объ этомъ ты объявляешь такъ, почти въ концѣ письма. Да, спаси Богъ за это Мюн-

хенъ и ту скуку, которую онъ поселилъ въ тебя! Но не совѣстно ли тебѣ не приложить въ письмѣ двухъ-трехъ строкъ? Клянусь моимъ честнымъ словомъ, что желаніе ихъ прочесть у меня непреодолимое! О, какъ давно я не читалъ стиховъ! а въ твой переводъ я вѣрю, вѣрю непреложно, рѣшительно, безсомнѣнно. Это мало, что ты владѣешь стихомъ, и что стихъ твой силенъ: такимъ былъ онъ и прежде; но что самое главное и чего меньше было у тебя прежде, это внутренняя, глубокая, текущая изъ сердца поэзія: нота, взятая съ вѣрностью удивительною и такимъ скрипачомъ, у котораго въ скрипкѣ сидитъ душа. Все это я заключаю изъ тѣхъ памятныхъ мнѣ стиховъ въ день моего рожденія, которые ты написалъ въ Римѣ. Донынѣ я ихъ читаю, и мнѣ кажется, что я слышу Пушкина. Я не знаю, знаешь ли ты и чувствуешь ли, во сколько разъ ты болѣе въ нихъ сталъ поэтомъ противъ прежняго поэта. Вотъ почему я такъ обрадовался твоему огромному предпріятію. И ты не прислалъ мнѣ даже образчика! Хорошо ли это? Да знаешь ли ты, что это необходимо? и тебя, вѣрно, мучитъ тайное желаніе прочитать свое начало и слышать судъ. Безъ этого не могъ существовать ни одинъ художникъ. Вслѣдствіе это(го) пришли мнѣ непремѣнно сколько хочешь и можешь. Я не покажу никому и не скажу никому. Ай да Мюнхенъ! Ты долженъ имя его выгравировать золотыми буквами на порогѣ дому твоего.

Что касается до меня, я... странное дѣло, я не могу и не въ состояніи работать, когда я преданъ уединенію, когда не съ кѣмъ переговорить, когда нѣтъ у меня между тѣмъ другихъ занятій и когда я владѣю всѣмъ пространствомъ времени, неразграниченнымъ и неразмѣреннымъ. Меня всегда дивилъ Пушкинъ, которому для того, чтобы писать, нужно было забраться въ деревню, одному, и запереться. Я, наоборотъ, въ деревнѣ никогда ничего не могъ дѣлать, и вообще я не могу ничего дѣлать, гдѣ я одинъ и гдѣ я чувствовалъ скуку. Всѣ свои нынѣ печатные грѣхи я писалъ въ Петербургѣ, и именно тогда, когда я былъ занятъ должностью, когда мнѣ было некогда, среди этой живости и перемѣны занятій, и чѣмъ я веселѣе провелъ канунъ, тѣмъ вдохновеннѣй возвращался домой, тѣмъ свѣжѣе у меня было утро... Въ Вѣнѣ я скучаю. Погодина до сихъ поръ нѣтъ. Ни съ кѣмъ почти незнакомъ, да и не съ кѣмъ, впрочемъ, знакомиться. Вся Вѣна веселится, и здѣшніе нѣмцы вѣчно веселятся. Но веселятся нѣмцы, какъ извѣстно, скучно, пьютъ пиво и сидятъ за деревянными столами, подъ каштанами, — вотъ и все тутъ.

Трудъ мой, который началъ, нейдетъ; а, чувствую, вещь можетъ быть славная. Или для драматическаго творенія нужно работать въ виду театра, въ омутѣ со всѣхъ сторонъ уставившихся на тебя лицъ и глазъ зрителей, какъ я работалъ во времена оны? Подожду, посмотримъ. Я надѣюсь много на дорогу. Дорогою у меня обыкновенно развивается и приходитъ на умъ содержаніе; всѣ сюжеты почти я обдѣлывалъ въ дорогѣ. Неужели я ѣду въ Россію? Я этому почти не вѣрю. Я же теперь совсѣмъ отвыкъ отъ холодовъ: каково мнѣ переносить? Но обстоятельства мои такого рода, что я непремѣнно долженъ ѣхать: выпускъ моихъ сестеръ изъ института, которыхъ я долженъ устроить судьбу, и чего нѣтъ возможности никакой поручить кому-нибудь другому. Словомъ, я долженъ ѣхать, несмотря на все мое нежеланіе. Но какъ только обдѣлаю два дѣла — одно относительно сестеръ, другое драмы, если только будетъ на это воля всемогущаго Бога, доселѣ помогавшаго мнѣ въ этомъ, какъ только это улажу, то въ февралѣ уже полечу въ Римъ и, я думаю, тебя еще застану тамъ. Между тѣмъ, я сижу все еще въ Вѣнѣ. Погодина еще нѣтъ. Время стоитъ прекрасное. Тепло и вѣчно хорошая погода.

Прощай. Пиши и не забудь просьбы...

Твой *Гоголь*.

---

29. Изъ письма къ С. Т. Аксакову.

Декабря 28 (1840). Римъ.

...Я теперь приготовляю къ совершенной очисткѣ первый томъ „Мертвыхъ душъ“. Перемѣняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе и вижу, что ихъ печатаніе не можетъ обойтись безъ моего присутствія. Между тѣмъ дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣй, и теперь я вижу, что можетъ быть со временемъ кое-что колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы. По крайней мѣрѣ, вѣрно, немногіе знаютъ, на какія сильныя мысли и глубокія явленія можетъ навести незначащій сюжетъ, котораго первыя, невинныя и скромныя главы вы уже знаете. Болѣзнь моя много отняла у меня времени; но теперь, слава Богу, я чувствую даже по временамъ свѣжесть, мнѣ очень нужную. Я это приписываю отчасти холодной водѣ, которую я сталъ пить по совѣту доктора, котораго за это благослови Богъ и который думаетъ, что мнѣ холодное лѣченіе должно помочь. Воздухъ теперь

чудный въ Римѣ, свѣтлый. Но лѣто, лѣто — это я уже испыталъ — мнѣ непремѣнно нужно провести въ дорогѣ. Я повредилъ себѣ много, что зажился въ душной Вѣнѣ. Но что же было дѣлать? признаюсь — у меня не было средствъ тогда предпринять путешествіе; у меня слишкомъ было все разсчитано. О, еслибъ я имѣлъ возможность всякое лѣто сдѣлать какую-нибудь дальнюю, дальнюю дорогу! Дорога удивительно спасительна для меня... Но обратимся къ началу. Въ моемъ пріѣздѣ къ вамъ, котораго значенія я даже не понималъ въ началѣ, заключалось много, много для меня. Да, чувство любви къ Россіи, слышу, во мнѣ сильно. Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ ихъ когда-либо принимать близко къ сердцу. И то, что я пріобрѣлъ въ теперешній пріѣздъ мой въ Москву, вы знаете! Что я разумѣю, вамъ за этимъ не зачѣмъ далеко ходить, чтобы узнать, какое это пріобрѣтеніе. Да, я не знаю, какъ и чѣмъ благодарить мнѣ Бога. Но уже когда я мыслю о васъ и объ этомъ юношѣ, такъ полномъ силъ и всякой благодати [1], который такъ привязался ко мнѣ, — я чувствую въ этомъ что то такое сладкое

Но довольно; сокровенныя чувства какъ то становятся пошлыми, когда облекаются въ слова. Я хотѣлъ было обождать этимъ письмомъ и послать вмѣстѣ съ нимъ перемѣненныя страницы въ „Ревизорѣ“, и просить васъ о напечатаніи его вторымъ изданіемъ — и не успѣлъ. Никакъ не хочется заниматься тѣмъ, что нужно къ-спѣху, а все бы хотѣлось заняться тѣмъ, что не къ-спѣху. А между тѣмъ оно было бы очень нужно скорѣе. У меня почти дыбомъ волосъ, какъ вспомню, въ какіе я вошелъ долги...

---

30. М. П. Погодину.

1840, декабря 28. Римъ.

Утѣшься! Чудно милостивъ и великъ Богъ: я здоровъ. Чувствую даже свѣжесть, занимаюсь переправками, выправками и даже продолженіемъ „Мертвыхъ Душъ“. Вижу, что предметъ становится глубже и глубже. Даже собираюсь въ наступающемъ году печатать

[1] К. С. Аксаковъ.

первый томъ, если только дивной силѣ Бога, воскресившаго меня, будетъ такъ угодно. Многое совершилось во мнѣ въ немногое время; но я не въ силахъ теперь писать о томъ, не знаю почему, — можетъ быть, по тому самому, по чему не въ силахъ былъ въ Москвѣ сказать тебѣ ничего такого, что бы оправдало меня передъ тобою во многомъ. Когда-нибудь въ обоюдной встрѣчѣ, можетъ быть, на меня найдетъ такое расположеніе, что слова мои потекутъ, и я, съ чистой откровенностью ребенка, повѣдаю состояніе души моей, причинявшей многое вольное и невольное. О, ты долженъ знать, что тотъ, кто созданъ сколько-нибудь творить въ глубинѣ души, жить и дышать своими твореньями, тотъ долженъ быть страненъ во многомъ! Боже, другому человѣку, чтобы оправдать себя, достаточно двухъ словъ, а ему нужны цѣлыя страницы! Какъ это тягостно иногда! Но довольно. Цѣлую тебя.

Письмо твое утѣшительно Благодарю тебя за него, растроганно, душевно благодарю! Я покоенъ. Свѣжій воздухъ и пріятный холодъ здѣшней зимы дѣйствуютъ на меня животворительно. Я такъ покоенъ, что даже не думаю вовсе о томъ, что у меня ни копейки денегъ. Живу кое-какъ въ долгъ. Мнѣ теперь все трынъ-трава. Если только мое свѣжее состояніе продолжится до весны или лѣта, то, можетъ быть, мнѣ удастся еще приготовить что-нибудь къ печати, кромѣ перваго тома „Мертвыхъ душъ“. Но лѣто, лѣто... Мнѣ непремѣнно нужна дорога, дорога, далекая. Какъ это сдѣлать? Но... Богъ милостивъ. Прощай!

---

31. С. Т. Аксакову.

Марта 5 (1841). Римъ.

Мнѣ грустно такъ долго не получать отъ васъ вѣсти, Сергѣй Тимоѳеевичъ. Но, можетъ быть, я самъ виноватъ: можетъ быть, вы ожидали высылки мною обѣщанныхъ измѣненій и приложеній, слѣдуемыхъ ко 2 изданію „Ревизора“. Но я не могъ найти нигдѣ ихъ. Теперь только случаемъ нашелъ ихъ тамъ, гдѣ не думалъ. Еслибъ вы знали, какъ мнѣ скучно теперь заниматься тѣмъ, что нужно, на скорую руку, — какъ мнѣ тягостно на мигъ оторваться отъ труда, наполняющаго нынѣ всю мою душу! Но вотъ вамъ, наконецъ, эти приложенія. Здѣсь письмо, писанное мною къ Пуш-

кину, по его собственному желанію[1]. Онъ былъ тогда въ деревнѣ. Піеса игралась безъ него. Онъ хотѣлъ писать полный разборъ ея для своего журнала, и меня просилъ увѣдомить, какъ она была выполнена на сценѣ. Письмо осталось у меня не отправленнымъ, потому что онъ скоро пріѣхалъ самъ. Изъ этого письма я выключилъ то, что собственно могло быть интересно для меня и для него, и оставилъ только то, что можетъ быть интересно для будущей постановки „Ревизора“, если она когда-нибудь состоится. Мнѣ кажется, что прилагаемый отрывокъ будетъ не лишнимъ для умнаго актера, которому случится исполнять роль Хлестакова. Это письмо подъ такимъ названіемъ, какое на немъ выставлено, нужно отнесть на конецъ піесы, а за нимъ непосредственно слѣдуютъ двѣ прилагаемыя выключенныя изъ піесы сцены. Небольшую характеристику ролей, которая находится въ началѣ книги перваго изданія, нужно исключить. Она вовсе не нужна. У Погодина возьмите приложенное въ его письмѣ измѣненіе четвертаго акта, которое совершенно необходимо. Хорошо бы издать „Ревизора“ въ миніатюрномъ форматѣ, а впрочемъ, какъ найдете лучшимъ.

Теперь я долженъ съ вами поговорить о дѣлѣ важномъ. Но объ этомъ сообщитъ вамъ Погодинъ. Вы вмѣстѣ съ нимъ сдѣлаете совѣщаніе, какъ устроиться лучше. Я теперь прямо и открыто прошу помощи, ибо имѣю право и чувствую это въ душѣ. Да, другъ, мой! я глубоко счастливъ. Несмотря на мое болѣзненное состояніе, которое опять немного увеличилось, я слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе чудное творится и совершается въ душѣ моей, и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои. Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушенье не происходитъ отъ человѣка; никогда не выдумать ему такого сюжета! О, еслибы еще три года съ такими свѣжими минутами! Столько жизни прошу, сколько нужно для окончанія труда моего; больше ни часу мнѣ не нужно. Теперь мнѣ нужны необходимо дорога и путешествіе: онѣ однѣ, какъ я уже говорилъ, возстановляютъ меня. У меня всѣ средства истощились уже нѣсколько мѣсяцевъ. Для меня нужно сдѣлать заемъ. Погодинъ вамъ скажетъ. Въ началѣ же 42 года выплатится мною все, потому что одно то, которое уже у меня готово и которое, если

[1] „Письмо къ одному литератору“, наставленіе артистамъ о томъ, какъ слѣдуетъ играть „Ревизора“.

дастъ Богъ, напечатаю въ концѣ текущаго года, уже достаточно для уплаты.

Теперь я вашъ; Москва моя родина. Въ началѣ осени я прижму васъ къ моей русской груди. Все было дивно и мудро расположено Высшею Волею: и мой пріѣздъ въ Москву, и мое нынѣшнее путешествіе въ Римъ, — все было благо. Никому не говорите ничего ни о томъ, что буду къ вамъ, ни о томъ, что я тружусь — словомъ, ничего. Но я чувствую какую то робость возвращаться одному. Мнѣ тягостно и почти невозможно теперь заняться дорожными мелочами и хлопотами. Мнѣ нужно спокойствіе и самое счастливое, самое веселое, сколько можно, расположеніе души; меня теперь нужно беречь и лелѣять. Я придумалъ вотъ что: пусть за мною пріѣдутъ Михаилъ Семеновичъ и Константинъ Сергѣевичъ[1]: имъ же нужно. — Михаилу Семеновичу для здоровья, Константину Сергѣевичу для жатвы, за которую уже пора ему приняться. А милѣе душѣ моей этихъ двухъ, которые могли бы за мною пріѣхать, не могло бы для меня найтиться никого. Я бы ѣхалъ тогда съ тѣмъ же молодымъ чувствомъ, какъ школьникъ въ каникулярное время ѣдетъ изъ надоѣвшей школы домой подъ родную крышу и вольный воздухъ. Меня теперь нужно лелѣять не для меня, нѣтъ! Они сдѣлаютъ не безполезное дѣло. Сни привезутъ съ собой глиняную вазу. Конечно, эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится; но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище; стало быть, ее нужно беречь. Жду вашего отвѣта; чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Еслибы вы знали, какъ я теперь жажду обнять васъ! До свиданья! Какъ прекрасно это слово...

---

32. П. А. Плетневу.

7 января 1842 г. Москва.

Разстроенный и тѣломъ и духомъ, пишу къ вамъ. Сильно хотѣлъ бы ѣхать теперь въ Петербургъ; мнѣ это нужно, это я знаю, и при всемъ томъ не могу. Никогда такъ не въ пору не подвернулась ко мнѣ болѣзнь, какъ теперь. Припадки ея приняли теперь такіе странные образы... но Богъ съ ними! Не объ болѣзни, а объ цензурѣ я теперь долженъ говорить.

Ударъ для меня никакъ неожиданный: запрещаютъ

---

[1] Щепкинъ и сынъ С. Т., К. С.

всю рукопись[1]. Я отдаю сначала ее цензору Снегиреву[2], который нѣсколько толковѣе другихъ, съ тѣмъ, что если онъ находитъ въ ней какое-нибудь мѣсто, наводящее на него сомнѣніе, чтобъ объявилъ мнѣ прямо, что я тогда посылаю ее въ Петербургъ. Снегиревъ чрезъ два дни объявляетъ мнѣ торжественно, что рукопись онъ находитъ совершенно благонамѣренной, и въ отношеньи къ цѣли, и въ отношеніи къ впечатлѣнію, производимому на читателя, и что кромѣ одного незначительнаго мѣста — перемѣны двухъ-трехъ именъ (на которыя я тотъ же часъ согласился и измѣнилъ) нѣтъ ничего, что бы могло навлечь притязанья цензуры самой строгой. Это же самое онъ объявилъ и другимъ. Вдругъ Снегирева сбилъ кто то съ толку, и я узнаю, что онъ представляетъ мою рукопись въ комитетъ. Комитетъ принимаетъ ее такимъ образомъ, какъ будто уже былъ приготовленъ заранѣе и былъ настроенъ разыграть комедію: ибо обвиненія, всѣ безъ исключенія, были комедія въ высшей степени. Какъ только, занимавшій мѣсто президента, Голохвастовъ[3] услышалъ названіе „Мертвыя Души“, — закричалъ голосомъ древняго римлянина: „Нѣтъ, этого я никогда не позволю: душа бываетъ безсмертна; мертвой души не можетъ быть; авторъ вооружается противъ безсмертья“. Въ силу, наконецъ, могъ взять въ толкъ умный президентъ, что дѣло идетъ объ ревижскихъ душахъ. Какъ только взялъ онъ въ толкъ и взяли въ толкъ вмѣстѣ съ нимъ другіе цензора, что мертвыя значитъ ревижскія души, произошла еще большая кутерьма. „Нѣтъ!“ закричалъ предсѣдатель и за нимъ половина цензоровъ: „этого и подавно нельзя позволить, хотя бы въ рукописи ничего не было, а стояло только одно слово: ревижская душа; ужъ этого нельзя позволить, это значитъ противъ крѣпостного права“. Наконецъ, самъ Снегиревъ увидѣлъ, что дѣло зашло ужъ очень далеко; сталъ увѣрять цензоровъ, что онъ рукопись читалъ и что о крѣпостномъ правѣ и намековъ нѣтъ, что даже нѣтъ обыкновенныхъ оплеухъ, которыя раздаются во многихъ повѣстяхъ крѣпостнымъ людямъ; что здѣсь совершенно о другомъ рѣчь; что главное дѣло основано на смѣшномъ недоумѣніи продающихъ и на тонкихъ хитростяхъ покупщика и на всеобщей ералаши, которую произвела такая странная покупка, что это — рядъ характеровъ, внутренній

[1] „Мертвыхъ Душъ“.
[2] Извѣстный профессоръ и цензоръ.
[3] Помощникъ попечителя Московскаго учебнаго округа.

бытъ Россіи и нѣкоторыхъ обитателей, собраніе картинъ самыхъ невозмутительныхъ. Но ничего не помогло.

„Предпріятіе Чичикова“ стали кричать всѣ: „есть уже уголовное преступленіе“. — „Да, впрочемъ, и авторъ не оправдываетъ его“, замѣтилъ мой цензоръ. — „Да, не оправдываетъ, а вотъ онъ выставилъ его теперь, и пойдутъ другіе брать примѣръ и покупать мертвыя души“. — Вотъ какіе толки! Это толки цензоровъ-азіатцевъ, то есть людей старыхъ, выслужившихся и сидящихъ дома. Теперь слѣдуютъ толки цензоровъ-европейцевъ, возвратившихся изъ-за границы, людей молодыхъ. „Что вы ни говорите, а цѣна, которую, даетъ Чичиковъ“ (сказалъ одинъ изъ такихъ цензоровъ, именно Крыловъ) [1], „цѣна два съ полтиною, которую онъ даетъ за душу, возмущаетъ душу. Человѣческое чувство вопіетъ противъ этого; хотя, конечно, эта цѣна дается только за одно имя, написанное на бумагѣ, но все же это имя душа, душа человѣческая; она жила, существовала. Этого ни во Франціи, ни въ Англіи и нигдѣ нельзя позволить. Да послѣ этого ни одинъ иностранецъ къ намъ не пріѣдетъ“.

Это главные пункты, основываясь на которыхъ произошло запрещеніе рукописи. Я не разсказываю вамъ о другихъ мелкихъ замѣчаніяхъ, какъ то въ одномъ мѣстѣ сказано, что одинъ помѣщикъ разорился, убирая себѣ домъ въ Москвѣ въ модномъ вкусѣ. „Да, вѣдь и государь строитъ въ Москвѣ дворецъ!“ — сказалъ цензоръ Каченовскій. Тутъ, по поводу, завязался у цензоровъ разговоръ, единственный въ мірѣ. Потомъ произошли другія замѣчанья, которыя даже совѣстно пересказывать, и, наконецъ, дѣло кончилось тѣмъ, что рукопись объявлена запрещенною, хотя комитетъ только прочелъ три или четыре мѣста.

Вотъ вамъ вся исторія. Она почти невѣроятна, а для меня въ добавку подозрительна. Подобной глупости нельзя предположить въ человѣкѣ. Цензора не всѣ же глупы до такой степени. Я думаю, что противъ меня что-нибудь есть. Но дѣло, между прочимъ, для меня слишкомъ серьезно. Изъ-за ихъ комедій или интригъ мнѣ похмелье. — У меня, вы сами знаете, всѣ мои средства и все мое существованье заключены въ моей поэмѣ. Дѣло клонится къ тому, чтобы вырвать у меня послѣдній кусокъ хлѣба, выработанный семью годами самоотверженья, отчужденья отъ міра и всѣхъ его выгодъ. Другого я ничего не могу предпринять для

[1] Профессоръ и цензоръ.

моего существованія. Усиливающееся болѣзненное мое расположеніе и недуги лишаютъ меня даже возможности продолжать далѣе начатый трудъ. Свѣтлыхъ минутъ у меня не много, а теперь просто отымаются руки. Но что я пишу вамъ, уже не помню; я думаю, вы не разберете вовсе моей руки. Дѣло вотъ въ чемъ. Вы должны теперь дѣйствовать соединенными силами и доставить рукопись къ государю. Я объ этомъ пишу къ Александрѣ Осиповнѣ Смирновой. Я просилъ ее чрезъ великихъ княженъ или другими путями. Это — ваше дѣло; объ этомъ вы сдѣлаете совѣщаніе вмѣстѣ. Попросите Алекс(андру) Осипов(ну), чтобы она прочла сама мое письмо. Это вамъ нужно. Рукопись моя у князя Одоевскаго. Вы прочитайте ее вмѣстѣ, человѣка три-четыре, не больше; не нужно объ этомъ дѣлѣ производить огласки. Только тѣ, которые меня очень любятъ, должны знать. Я твердо полагаюсь на вашу дружбу и на вашу душу, и нечего между нами тратить больше словъ!

---

33. Ему же.

17 марта (1842). Москва.

Вотъ уже вновь прошло три недѣли послѣ письма вашего, въ которомъ вы извѣстили меня о совершенномъ окончаніи дѣла, а рукописи[1] нѣтъ какъ нѣтъ. Уже постоянно каждыя двѣ недѣли я посылаю каждый день освѣдомиться на почту, въ университетъ, и во всѣ мѣста, куда бы только она могла быть адресована, — и нигдѣ никакихъ слуховъ! Боже, какъ истомили, какъ измучили меня всѣ эти ожиданья и тревоги! А время уходитъ, и чѣмъ далѣе, тѣмъ менѣе вижу возможности успѣть съ ея печатаньемъ. Увѣдомьте меня, ради Бога, что случилось, чтобы я хотя, по крайней мѣрѣ, зналъ, что она не пропала на почтѣ, чтобы зналъ, что мнѣ предпринять.

Я силился написать для „Современника“ статью, во многихъ отношеніяхъ современную, мучилъ себя, терзалъ всякій день, и не могъ ничего написать, кромѣ трехъ безпутныхъ страницъ, которыя тотъ же часъ истребилъ. Но какъ бы то ни было, вы не скажете, что я не сдержалъ своего слова. Посылаю вамъ повѣсть мою „Портретъ“. Она была напечатана въ „Арабескахъ“, но вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее: вы увидите,

[1] „Мертвыхъ Душъ“, посланныхъ съ Бѣлинскимъ въ Петербургъ.

что осталась одна только канва прежней повѣсти, что все вышито по ней вновь. Въ Римѣ я ее передѣлалъ вовсе, или, лучше, написалъ вновь, вслѣдствіе сдѣланныхъ еще въ Петербургѣ замѣчаній. Вы, можетъ быть, даже увидите, что она болѣе, чѣмъ какая другая, соотвѣтствуетъ скромному и чистому направленью вашего[1] журнала. Да, вашъ журналъ не долженъ заниматься тѣмъ, чѣмъ занимается торопящійся, шумный современный свѣтъ. Его цѣль другая: это — благоуханье цвѣтовъ, растущихъ уединенно на могилѣ Пушкина. Рыночная толпа не должна знать къ нему дороги — съ нея довольно славнаго имени поэта — но только одни сердечные друзья должны сюда сходиться, съ тѣмъ, чтобы безмолвно пожать другъ другу руку и предаться хоть разъ въ годъ тихому размышленію. Вы говорите, что я бы могъ достославно подвизаться на журнальномъ поприщѣ, но что у меня для этого нѣтъ терпѣнья. Нѣтъ, у меня нѣтъ для этого способностей. Отвлеченный писатель и журналистъ такъ же не могутъ соединиться въ одномъ человѣкѣ, какъ не могутъ соединить(ся) теоретикъ и практикъ. Притомъ каждый писатель уже означенъ своеобразнымъ выраженіемъ таланта, и потому никакъ нельзя для нихъ вывести общаго правила. Одному данъ умъ быстрый схватывать мгновенно всѣ предметы міра въ минуту ихъ представленія; другой можетъ сказать свое слово, только глубоко обдумавши, иначе его слово будетъ глупѣе всякаго обыкновеннаго слова, произнесеннаго самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ. Ничѣмъ другимъ не въ силахъ я заняться теперь, кромѣ одного постояннаго труда моего. Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ по той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ (если только будетъ конецъ ея непостижимому странствію). Это больше ничего, какъ только крыльцо къ тому дворцу, который во мнѣ строится. Трудъ мой занялъ меня совершенно всего, и оторваться отъ него на минуту — есть уже мое несчастіе. Здѣсь, во время пребыванья моего въ Москвѣ, я думалъ заняться отдѣльно отъ этого труда, написать одну-двѣ статьи, потому что заняться чѣмъ-нибудь важнымъ я здѣсь не могу. Но вышло напротивъ: я даже не въ силахъ собрать себя.

Притомъ уже въ самой природѣ моей заключена способность только тогда представлять себѣ живо міръ, когда я удалился отъ него. Вотъ почему о Россіи я могу писать только въ Римѣ. Только тамъ она пред-

[1] „Современникъ".

стаетъ мнѣ вся, во всей своей громадѣ. А здѣсь я погибъ и смѣшался въ ряду съ другими. Открытаго горизонта нѣтъ предо мною. Притомъ здѣсь, кромѣ могущихъ смутить меня внѣшнихъ причинъ, я чувствую физическое препятствіе писать. Голова моя страдаетъ всячески: если въ комнатѣ холодно, мои мозговые нервы ноютъ и стынутъ, и вы не можете себѣ представить, какую муку чувствую я всякій разъ, когда стараюсь въ то время пересилить себя, взять власть надъ собою и заставить голову работать; если же комната натоплена, тогда этотъ искусственный жаръ меня душитъ совершенно; малѣйшее напряженіе производитъ въ головѣ такое странное сгущеніе всего, какъ будто бы она хотѣла треснуть. Въ Римѣ я писалъ предъ открытымъ окномъ, обвѣваемый благотворнымъ и чудотворнымъ для меня воздухомъ. Но вы сами въ душѣ вашей можете чувствовать, какъ сильно могу я иногда страдать въ то время, когда другому никому не видны мои страданья. Давно остывши и угаснувъ для всѣхъ волненій и страстей міра, я живу своимъ внутреннимъ міромъ, и тревога въ этомъ мірѣ можетъ нанести мнѣ несчастіе, выше всѣхъ мірскихъ несчастій. Участье ваше мнѣ дорого: не оставьте письма моего безъ отвѣта, напишите сейчасъ вашу строчку.

Повѣсть не раздѣляйте на два нумера, но помѣстите ее всю въ одной книжкѣ и отпечатайте для меня десятокъ экземпляровъ. Скажите, какъ вы нашли ее? (мнѣ нужно говорить откровенно). Если встрѣтите погрѣшности въ слогѣ, исправьте. Я не въ силахъ былъ прочесть ее теперь внимательно. Голова моя глупа, душа не спокойна. Боже, думалъ ли я вынести столько томленій въ этотъ пріѣздъ мой въ Россію!..

Посылаю вамъ отдѣльныя брошюры статьи, напечатанной въ „Москвитянинѣ“ [1] Разошлите по адресамъ. А двѣ недописанныя я опредѣлилъ: одну для наслѣдника, онъ былъ въ Римѣ: она ему напомнитъ лучшее время его путешествія, когда онъ такъ весело предавался общей веселости и былъ участникомъ во многомъ хорошемъ; а другой экземпляръ для в(еликой) к(нягини) Маріи Николаевны [2]. Велите переплести ихъ въ форменную папку. Послѣдней я почитаю нынѣ священнымъ долгомъ представить ее. Два другіе экземпляра дайте, кому найдете приличнымъ; а не то — Прокоповичу.

---

[1] „Римъ“.
[2] Лейхтенбергской.

34. Ему же.

Москва, 10 апрѣля 1842.

Уничтоженіе Копейкина[1] меня сильно смутило! Это одно изъ лучшихъ мѣстъ въ поэмѣ, и безъ него — прорѣха, которой я ничѣмъ не въ силахъ заплатить и зашить. Я лучше рѣшился передѣлать его, чѣмъ лишиться вовсе. Я выбросилъ весь генералитетъ. Характеръ Копейкина означилъ сильнѣе, такъ что теперь видно ясно, что онъ всему причиною самъ и что съ нимъ поступили хорошо. Присоедините вашъ голосъ и подвиньте кого слѣдуетъ. Вы говорите, что отъ покровительства высшихъ нужно быть подальше, потому что они всякую копейку дѣлаютъ алтыномъ. Клянусь, я готовъ теперь рублемъ почитать всякую копейку, которая дается на мою бѣдную рукопись. Но я думаю даже, что одинъ Никитенко[2] можетъ теперь ее пропустить. Прочитайте, вы увидите сами. Третьяго дня я получилъ отъ него письмо, изъ котораго видно, что онъ подвигнутъ ко мнѣ участьемъ. Передайте ему при семъ прилагаемый отвѣтъ и листы Копейкина и упросите безъ малѣйшей задержки передать вамъ для немедленной пересылки ко мнѣ, ибо печатанье рукописи уже началось.

Весь вашъ *Гоголь.*

---

35. Н. Я. Прокоповичу.

Апрѣля 15 (1842, изъ Москвы).

Что же ты замолчалъ? Теперь переписка завязалась между нами, и потому не должна уже прерываться никогда. Она обратилась въ дѣльную, а это ручательство за ея долговременность и аккуратность.

Прежде всего: къ Плетневу о „Копейкинѣ“. Я боюсь, чтобы не затянулось, а безъ „Копейкина“ я не могу и подумать выпустить рукописи. Скажи, что я молю отстаивать во что бы то ни стало. Просто срамъ цензурѣ, потому что теперь въ томъ видѣ, какъ я передѣлалъ и послалъ Плетневу, никакая цензура не можетъ сдѣлать привязки. Если имя „Копейк(ин)а“ ихъ остановитъ, то я готовъ назвать его Пяткинымъ и чѣмъ ни попало.

---

[1] „Повѣсть о кап. Копейкинѣ“ была первоначально совсѣмъ зачеркнута петербургской цензурой и затѣмъ разрѣшена съ большими смягченіями.

[2] Профессоръ и цензоръ.

Впрочемъ, имя Копейкина вездѣ и въ другихъ мѣстахъ оставила цензура. Теперь второе: рукопись моя, безъ сомнѣнія, уже побывала во многихъ рукахъ въ Петербургѣ, стало быть, о ней носятся толки. Пожалуйста, развѣдай, какъ и что говорятъ о ней, и, если можно, перескажи мнѣ съ сохраненьемъ самой физіогноміи замѣчаній. Это мнѣ очень нужно и полезно. Наконецъ, третье: навести тебя на движенье и на дѣятельную работу могу только одинъ я, а какимъ образомъ, — объ этомъ поговоримъ при встрѣчѣ, и ты почувствуешь истину словъ моихъ. Печатанье мое шло бы успѣшно, но праздники помѣшаютъ въ продолженіе почти полторы недѣли. Нельзя никакими силами заставить здѣсь наборщиковъ работать...

---

36. Ему же.

Гастейнъ. Іюль 27/15 (1842).

Я къ тебѣ еще не посылаю остальныхъ двухъ лоскутковъ[1], потому что многое нужно переправить, особливо въ „Театральномъ разъѣздѣ послѣ представленія новой піесы“. Она написана сгоряча, скоро послѣ представленія „Ревизора“ и потому немножко не скромна въ отношеніи къ автору. Ее нужно сдѣлать нѣсколько идеальнѣй, т. е. чтобы ее примѣнить можно было ко всякой піесѣ, задирающей общественныя злоупотребленія, а потому я прошу тебя не намекать и не выдавать ее, какъ написанную по случаю „Ревизора“.

При корректурѣ второго тома прошу тебя дѣйствовать какъ можно самоуправнѣй и полновластнѣй: въ „Тарасѣ Бульбѣ“ много есть погрѣшностей писца. Онъ часто любитъ букву *и*; гдѣ она не у мѣста, тамъ ее выброс; въ двухъ-трехъ мѣстахъ я замѣтилъ плохую грамматику и почти отсутствіе смысла. Пожалуйста, поправь вездѣ съ такою же свободою, какъ ты переправляешь тетради своихъ учениковъ. Если гдѣ частое повтореніе одного и того же оборота періодовъ, дай имъ другой, и никакъ не сомнѣвайся и не задумывайся, будетъ ли хорошо, — все будетъ хорошо. Да вотъ что самое главное: въ нынѣшнемъ спискѣ слово: „слышу“, произнесенное Тарасомъ предъ казнью Остапа,

---

[1] Прокоповичъ печаталъ тогда собраніе сочиненій Гоголя.

замѣнено словомъ: „чую“. Нужно оставить попрежнему, т. е. „Батько, гдѣ ты? Слышишь ли ты это?“ — „Слышу“. Я упустилъ изъ виду, что къ этому слову уже привыкли читатели, и потому будутъ недовольны перемѣною, хотя бы она была и лучше. Да, пожалуйста, попроси Бѣлинскаго отпечатать для меня особенно листки критики „Мертвыхъ Душъ“, если она будетъ въ „Отечест. Записк.“ на бумагѣ, если можно, потонѣе, чтобы можно было прислать мнѣ ее прямо въ письмѣ, и присылай мнѣ по листамъ, по мѣрѣ того, какъ будетъ выходить. Еще: я совсѣмъ позабылъ, что „Ревизоръ“ безъ конца. Писецъ не разобралъ примѣчаній объ одной нѣмой сценѣ и оставилъ чистое мѣсто. Вотъ конецъ:

(Слѣдуетъ заключительная сцена изъ „Ревизора“.)

Всѣ эти слова, само собою разумѣется, надобно напечатать курсивомъ.

Еще къ статьѣ „Характеры и костюмы“, которая предшествуетъ комедіи, нужно прибавить на концѣ слѣдующее:

(Слѣдуетъ заключительный періодъ „Замѣчаній для господъ актеровъ“)...

---

37. М. С. Щепкину.

Римъ. Ноября 28 (1842).

Здравствуйте, Михаилъ Семеновичъ!

Послѣ надлежащаго лобзанья поведемъ вотъ какую рѣчь. Вы уже имѣете „Женитьбу“; не довольно ли этого на одинъ спектакль? Я говорю это въ разсужденіи того, что мнѣ хочется, чтобы вамъ что-нибудь осталось на будущіе разы; а впрочемъ, вы распоряжайтесь, какъ вамъ лучше. Вы тутъ полный господинъ. Всѣ драматическіе отрывки и сцены, заключающіяся въ четвертомъ томѣ моихъ сочиненій (ихъ числомъ пять), всѣ исключительно принадлежатъ вамъ. Объ этомъ я уже написалъ къ издателю моихъ сочинéній, Прокоповичу, и просилъ Плетнева объявить Гедеонову, а вамъ прилагаю нарочно при семъ письмецо, которое бы вы могли показать всякому, кто вздумаетъ оспаривать ваше право. Только послѣдняя піеса: „Театральный Разъѣздъ“ остается неприкосновенною, потому что ей неприлично

предстать на сценѣ. Сосницкому [1] вы напишите, что, вслѣдствіе моего прежняго желанья, „Женитьба“ вамъ идетъ обоимъ, но съ тѣмъ только, чтобы въ одинъ день былъ бенефисъ обоихъ васъ. А между тѣмъ займитесь серьезно постановкою „Ревизора“. Живокини [2], за похвальное поведеніе, можно будетъ уступить который-нибудь изъ драматическихъ кусочковъ. Впрочемъ, объ этомъ всемъ вы потолкуйте прежде съ Сергѣемъ Тимоѳеевичемъ и поступите, какъ найдете приличнымъ. Для успѣшнаго произведенья нѣмой сцены, въ концѣ „Ревизора“, одинъ изъ актеровъ долженъ скомандовать, невидимо для зрителя. Это долженъ сдѣлать жандармъ, произнеся, по окончаніи рѣчи, тотъ самый звукъ, который издается женщинами, — натурально, не открывая рта; попросту — икнуть. Это будетъ сигналъ для всѣхъ. „Женитьбу“, я думаю, вы уже знаете, какъ повести, потому что, слава Богу, человѣкъ вы не холостой; а Живокини, который будетъ женить васъ, вы можете внушить все, что слѣдуетъ, — тѣмъ болѣе, что вы слышали меня, читавшаго эту роль. Да, вотъ исправьте одну ошибку въ словахъ Кочкарева, гдѣ говоритъ онъ о плеваніи. Значится такъ, какъ будто бы ему плевали въ лицо. Это ошибка, происшедшая отъ нерасторопности писца, перепутавшаго строки и пропустившаго. Монологъ долженъ начаться вотъ какъ:

„Да что жъ за бѣда? Вѣдь инымъ нѣсколько разъ плевали, ей Богу! Я знаю тоже одного... прекраснѣйшій собою мужчина, румянецъ во всю щеку; егозилъ онъ и надоѣдалъ онъ до тѣхъ поръ своему начальнику, покамѣстъ тотъ не вынесъ и плюнулъ ему въ самое лицо“ и т. д.

Напишите Сосницкому, что я очень просилъ его, чтобы онъ пріискалъ хорошаго жениха, потому что эта роль, хотя не такъ, повидимому, значительна, какъ Кочкарева, но требуетъ таланта, и скажите ему, что мнѣ бы очень желалось, чтобы вы сыграли вмѣстѣ въ этой піесѣ: онъ Кочкарева, а вы Подколесина; тогда будетъ славный спектакль. Вы же, я полагаю, вѣрно, будете зимою въ Петербургѣ

Прощайте, обнимаю васъ. Сейчасъ вслѣдъ за этимъ письмомъ отправляю письмо къ Сергѣю Тимоѳеевичу. Вѣроятно, вы ихъ получите въ одно время. Мнѣ кажется, что я вамъ совѣтовалъ вмѣстѣ съ „Женитьбой“ дать „Утро дѣлового человѣка“. А впрочемъ, распоряжайтесь по своему.

---

[1] Знаменитый артистъ.
[2] Знаменитый артистъ.

38. Ему же.

Только что получилъ ваше письмо, Михаилъ Семеновичъ, писанное вами отъ 24 октября. Отвѣчать мнѣ на него теперь нечего, потому что вы уже знаете мои распоряженія. Три дня тому назадъ, я отправилъ къ вамъ письмо, которое вы уже, безъ сомнѣнія, получили. Не стыдно ли вамъ быть такъ неблагоразумну! Вы хотите все повѣсить на одномъ гвоздѣ, прося на пристяжку къ „Женитьбѣ", новую, какъ вы называете, комедію „Игроки". Во-первыхъ, она не новая, потому что написана давно: во-вторыхъ, не комедія, а просто — комическая сцена: а въ-третьихъ, для васъ даже тамъ нѣтъ роли. И кто васъ толкаетъ непремѣнно наполнить бенефисъ моими піесами? Какъ не подумать хотя сколько-нибудь о будущемъ, которое сидитъ у васъ почти на самомъ носу, — напримѣръ, хоть бы о спектаклѣ вашемъ, по случаю исполненія вамъ двадцатилѣтней службы? Развѣ вы не чувствуете, что теперь вамъ стоитъ одинъ только какой-нибудь клочокъ мой дать въ свой бенефисъ, да пристегнуть двѣ-три самыя изношенныя піесы, и театръ уже будетъ набитъ биткомъ? Понимаете ли вы это? Понимаете ли вы, что имя мое въ модѣ, что я сдѣлался теперь моднымъ человѣкомъ, до тѣхъ поръ, покамѣстъ меня не сгонитъ съ моднаго поприща какой-нибудь Боско, Тальони, а, можетъ быть, и новая нѣмецкая опера съ машинами и нѣмецкими пѣвцами? Помните себѣ хорошенько, что ужъ отъ меня больше ничего не дождетесь: я не могу и не буду писать ничего для театра. Итакъ, распорядитесь поумнѣе. Это я вамъ очень совѣтую: возьмите на первый разъ изъ моихъ только „Женитьбу" и „Утро дѣлового человѣка", а на другой разъ у васъ остается вотъ что: „Тяжба", въ которой вы должны играть роль тяжущагося [1], „Игроки" и „Лакейская", гдѣ вамъ предстоитъ Дворецкій, — роль хотя и маленькая, но которой вы можете дать большее значеніе. Все это вы можете перемѣшивать другими піесами, которыя вамъ Богъ пошлетъ. Старайтесь только, чтобы піесы мои не слѣдовали непосредственно одна за другою, но чтобы промежутокъ былъ занятъ чѣмъ-нибудь инымъ. Вотъ какъ я думаю и какъ бы, мнѣ казалось, надлежало поступить сообразно съ благоразуміемъ; а, впрочемъ, ваша

[1] Помните, что онъ нѣсколько похожъ на охотника, атукающаго на зайца, что, при разсказѣ дѣла его, мечется изъ угла въ уголъ, потому что дѣло слишкомъ близко къ его рубашкѣ, или тѣлу.
Прим. Н. В. Гоголя.

воля. За письмо ваше все-таки много васъ благодарю, потому что оно письмо отъ васъ. А на театральную дирекцію не сѣтуйте. Она дѣло свое хорошо дѣлаетъ. Москву потчевали уже всякимъ добромъ; почему жъ не попотчевать ее нѣмецкими пѣвцами? Что же до того, что вамъ, де, нѣтъ работы, это стыдно вамъ говорить. Развѣ вы позабыли, что есть старыя, заигранныя, заброшенныя піесы? Развѣ вы позабыли, что для актера нѣтъ старой роли, что онъ новъ вѣчно? Теперь то именно, въ минуту, когда горько душѣ, теперь то вы должны показать въ лицо свѣту, что такое актеръ. Переберите-ка въ памяти вашей старый репертуаръ да взгляните свѣжими и нынѣшними очами, собравши въ душу всю силу оскорбленнаго достоинства. Заманить же публику на старыя піесы вамъ теперь легко. У васъ есть приманка,— именно, мои клочки. Смѣшно думать, чтобы вы могли быть у кого-нибудь во власти. Дирекція все-таки правится публикою, а публикою правитъ актеръ Вы помните, что публика почти то же, что застѣнчивая и неопытная кошка, которая до тѣхъ поръ, пока ее, взявши за уши, не натолчешь мордою въ соусъ и покамѣстъ этотъ соусъ не вымазалъ ей и носа, и губъ, она до тѣхъ поръ не станетъ ѣсть соуса, какихъ ни читай ей наставленій. Смѣшно думать, чтобъ нельзя было, наконецъ, заставить ее войти глубже въ искусство комическаго актера, — искусство, такое сильное и такъ ярко говорящее всѣмъ въ очи. Вамъ предстоитъ долгъ заставить, чтобъ не для автора піесы и не для піесы, а для актера-автора ѣздили въ театръ.

Вы спрашиваете въ письмѣ о костюмахъ. Но вѣдь клочки мои не изъ среднихъ вѣковъ. Одѣньте ихъ прилично, сообразно и чтобы ничего не было карикатурнаго — вотъ и все. Но объ этомъ въ сторону! Позаботьтесь больше всего о хорошей постановкѣ „Ревизора“. Слышите ли? я говорю вамъ это очень серьезно. У васъ, съ позволенія вашего, ни въ комъ ни на копейку нѣтъ чутья. Да, еслибы Живокини былъ крошку поумнѣй, онъ бы у меня вым(олилъ) на бенефисъ себѣ „Ревизора“, и ничего бы другого вмѣстѣ съ нимъ не давалъ, а объявилъ бы только, что будетъ „Ревизоръ“ въ новомъ видѣ, совершенно передѣланный, съ перемѣнами, прибавленіями, новыми сценами, а роль Хлестакова будетъ играть самъ бенефиціантъ; да у него биткомъ бы набилось наро(ду) въ театръ.

Вотъ же я вамъ говорю — и вы вспомните потомъ мое слово, что на возобновленнаго „Ревизора“ гораздо будутъ ѣздить больше, чѣмъ на прежняго. И зарубите

еще одно мое слово, что въ этомъ году, именно въ нынѣшнюю зиму, гораздо болѣе разнюхаютъ и почувствуютъ значеніе истиннаго комическаго актера. Еще вотъ вамъ слово: вы напрасно говорите въ письмѣ, что старѣетесь. Вашъ талантъ не такого рода, чтобы старѣться. Напротивъ, зрѣлыя лѣта ваши только что отняли часть того жару, котораго у васъ было слишкомъ много и который ослѣплялъ ваши очи и мѣшалъ взглянуть вамъ ясно на вашу роль. Теперь вы стали въ нѣсколько разъ выше того Щепкина, котораго я видѣлъ прежде. У васъ теперь есть то высокое спокойствіе, котораго прежде не было; вы теперь можете царствовать въ вашей роли, тогда какъ прежде вы все еще какъ то метались. Если вы этого не слышите и не замѣчаете сами, то повѣрьте же сколько-нибудь мнѣ, что я могу знать сколько нибудь въ этомъ толкъ. И еще вотъ вамъ слово. Благодарите Бога за всякія препятствія: они необыкновенному человѣку необходимы. Вотъ тебѣ бревно подъ ноги — прыгай, а не то подумаютъ, что у тебя куриный шагъ и не могутъ вовсе растопыриться ноги. Увидите, что для васъ настанетъ еще такое время, когда будутъ ѣздить въ театръ для того, чтобы не проронить ни одного слова, произнесеннаго вами, и когда будутъ взвѣшивать это слово.

Итакъ, съ Богомъ за дѣло! Прощайте и будьте здоровы. Обнимаю васъ. За репетиціями хорошо смотрите и все-таки что-нибудь напишите мнѣ о томъ, что первое скажется у васъ на сердцѣ...

---

39. К. С. Аксакову.

(1842.)

Благодарю васъ, Константинъ Сергѣевичъ, за ваше письмо и за вѣсти о „Мертвыхъ Душахъ“, а за статью вашу или критику не благодарю, потому что не получилъ ея. Я бы хотѣлъ тоже прислужиться вамъ коекакими услугами, но услуги мои будутъ черствы, и къ тому же я знаю, что вы, любя меня, не любите, однакожъ, слушать словъ моихъ, если они касаются лично васъ. Итакъ, оставя услуги и просьбы, я вамъ посылаю просто упрекъ! Я не прощу вамъ того, что вы охладили во мнѣ любовь къ Москвѣ. Да, до нынѣшняго моего пріѣзда въ Москву я только любилъ ее, но вы умѣли сдѣлать смѣшнымъ самый святой предметъ Толкуя

безпрестанно одно и то же, пристегивая сбоку при всякомъ случаѣ Москву, вы не чувствовали, какъ охлаждали самое святое чувство, вмѣсто того, чтобы живить его. Мнѣ было горько, когда лилось черезъ край ваше излишество и когда смѣялись этому излишеству. Всякую мысль, повторяя ее двадцать разъ, можно сдѣлать пошлою. Чувствуете ли вы страшную истину этихъ словъ? „Не пріемли имени Господа Бога твоего всуе!“ Но вы горды, не хотите сознаться въ своихъ проступкахъ, или, лучше, вы не видите ихъ. Вы двадцать разъ готовы увѣрять, что вы безпристрастны, что вы ничѣмъ не увлекаетесь, что все то чистая правда, что вы говорите. Вы твердо увѣрены, что уже стали на высшую точку разума, что не можете уже быть умнѣе. Не изумляйтесь, что разразилась надъ вами вдругъ гроза такихъ упрековъ, а спросите лучше въ глубинѣ души вашей, имѣю ли я право сдѣлать упрекъ вамъ. Обдумайте дѣло это, сообразите силу отношеній и силу права этого. Войдите глубже въ себя и выслушайте сію мою душевную просьбу. Я теперь далеко отъ васъ; слова мои теперь должны быть для васъ священны. Стряхните пустоту и праздность вашей жизни! Передъ вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прялкой. Предъ вами громада — русскій языкъ! Наслажденіе глубокое зоветъ васъ, наслажденіе погрузиться во всю неизмѣримость его и изловить чудные законы его, въ которомъ, какъ въ великолѣпномъ созданіи міра, отразился предвѣчный Отецъ и на которомъ должна загремѣть вселенная хвалой Ему. Какъ христіанинъ первыхъ временъ, примитесь за работу вашу. Не мыслью работайте, работайте чисто фактически. Начните съ первоначальныхъ основаній. Перечитайте всѣ грамматики, которыя у насъ вышли, перечитайте для того, чтобы увидать, какія странныя, невыработанныя поля и пространства вокругъ васъ! Не читайте же ничего, не дѣлая тутъ же замѣчаній на всякое правило и на всякое слово, записывая тутъ же эти замѣчанія ваши. Испишите дести и стопы бумаги и ничего не дѣлайте, не записывая

Не думайте о томъ, какъ записывать лучше, и не обдѣлывайте ни фразы, ни мысли; бросайте все, какъ матеріалъ. Прочтите внимательно, слишкомъ внимательно, академическій словарь. На всякое слово сдѣлайте замѣчаніе тутъ же на бумагѣ. Въ душѣ вашей заключены законы; но горе вамъ проповѣдывать ихъ теперь: они будутъ только доступны тѣмъ, которые сами заключаютъ ихъ въ душѣ своей, и то не вполнѣ. Вы должны ихъ хранить до времени въ душѣ, и только тогда,

когда изслѣдуете всѣ уклоненія, исключенія, малѣйшія подробности и частности, — тогда только можете явить общее во всей его колоссальности, можете явить его яснымъ и доступнымъ всѣмъ, а безъ того всѣ ваши мысли будутъ имѣть вліяніе только тогда, когда будутъ произнесены вами изустно, сопровождаемыя жаромъ и пыломъ вашей юности, и будутъ вялы, тощи и затеряются вовсе, если вы ихъ изложите на бумагѣ. Займитесь теперь совершенно стороной внутренней русскаго языка; въ отношеніи къ нему самому, мимо отношеній его къ судьбѣ Россіи и Москвы, какъ бы это ни заманчиво было и какъ бы ни хотѣлось разгуляться на этомъ полѣ. Исполните эту мою просьбу; это моя послѣдняя просьба душевнаго, серьезнаго содержанія. Больше я не буду васъ просить ни о чемъ, что относится лично къ вамъ, и никогда не потребую, чтобы вы давали важность словамъ моимъ.

Прощайте же! отъ души помолитесь Богу

---

40. Н. Я. Прокоповичу.

Мюнхенъ. Мая 28 (1843).

Твое письмо меня еще болѣе удивило, чѣмъ, вѣроятно, удивило мое тебя. Откуда и кто распускаетъ всякіе слухи обо мнѣ? Говорилъ ли я когда-нибудь тебѣ, что буду самъ лѣтомъ въ Петербургъ? или что буду печатать 2 томъ въ этомъ году? и что значатъ твои слова: „не хочу тебя обижать подозрѣніемъ въ лѣности до такой степени, что будто ты не приготовилъ 2-го тома „М. Д." къ печати"? Точно „М. Д." блинъ, который можно испечь. Загляни въ жизнеописаніе сколько-нибудь знаменитаго автора или даже хотя замѣчательнаго: что ему стоила большая обдуманная вещь, которой онъ отдалъ всего себя и сколько времени заняла? — Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Гдѣ жъ ты видѣлъ, чтобы производящій эпопею произвелъ сверхъ того пять-шесть другихъ? Стыдно тебѣ быть такимъ ребенкомъ и не знать этого! Отъ меня менѣе всего можно требовать скорости тому, кто сколько-нибудь меня знаетъ, во-первыхъ, уже потому, что я терпѣливѣе, склоненъ къ строгому обдумыванью и притомъ еще во многомъ терплю всякія помѣшатель(ства) отъ всякихъ болѣзненныхъ припадковъ. „М. Д." не только не приготовленъ 2-ой томъ къ печати, но даже

и не написанъ, и раньше двухъ лѣтъ (если только мои силы будутъ постоянно свѣжи въ это время) не можетъ выдти въ свѣтъ. А что публика желаетъ и требуетъ 2-го тома — это не резонъ: публика можетъ быть умна и справедлива, когда имѣетъ уже въ рукахъ, что надобно разсудить и (надъ чѣмъ) поумничать; а въ желаніяхъ публика всегда дура, потому что руководствуется только мгновенною минутною потребностью. Да и почему знаетъ она, что такое будетъ во 2 томѣ? Можетъ быть, то, о чемъ даже ей не слѣдуетъ и знать и читать въ теперешнюю минуту, и ни я, ни она не готовы для 2 тома. Тебѣ тоже слѣдуетъ подумать и то, что мои сочиненія не должны играть роли журнальныхъ статей и что ими не нужно торопиться всякую минуту, какъ только замѣчаешь, что у публики есть аппетитъ. Они писаны долго, въ обдумываніи многихъ изъ нихъ прошли годы, а потому не угодно ли читателямъ моимъ тоже подумать о нихъ на досугѣ и всмотрѣться пристальнѣй. Умный резонъ: потому что въ продолженіе одного года я выдалъ вдругъ слишкомъ много, такъ подавай еще столько же! Чѣмъ же я виноватъ, что у публики глупа голова и что въ глазахъ ея я то же самое, что Поль-де-Кокъ: Поль-де-Кокъ пишетъ по роману въ годъ, такъ почему жъ и мнѣ тоже не написать; вѣдь это тоже, молъ, романъ, а только для шутки названъ поэмою! Твои причины о пользѣ выхода 2 тома для прежнихъ, и для расхода успѣшнѣйшаго вообще моихъ сочиненій справедливы совершенно, и все это мнѣ весьма знакомо. Но нужно предположить иногда и то, что я могу кое-что знать еще съ моей стороны и что человѣкъ, который отошелъ отъ дѣлъ и сталъ въ сторонѣ, то же что на якорѣ, и далѣе можетъ оглянуть море, чѣмъ тѣ, которые носятся среди его и заняты безпрестанной работой съ крутящимися вокругъ ихъ всякими волнами. По моимъ соображеніямъ сочиненія мои должны были туго идти, и объ этомъ я писалъ въ Москву еще за мѣсяцъ до выхода ихъ въ свѣтъ на ихъ предположеніе о большомъ ихъ успѣхѣ. Вслѣдствіе этихъ же моихъ соображеній, я знаю тоже хорошо, что эти же сочиненія мои пойдутъ быстрѣе, и быстрота ихъ расхода будетъ увеличиваться по мѣрѣ, какъ будетъ исчерпываться изданіе, хотя это совершенно въ противность законамъ книжной торговли. Ты подумай между прочимъ и то, что еще не заговори(ли) журналы о нихъ серьезно. Еще не успѣла о нихъ явить(ся) ни одна дѣльная статья. А вотъ на досугѣ, когда имъ нечего будетъ дѣлать, они примутся за меня, и тогда только

слухъ о нихъ обойдетъ всю Россію. Представь себѣ еще то, что половина Россіи увѣрена, что это больше ничего, какъ только собраніе всѣхъ сочиненій моихъ, уже напечатанныхъ, и новаго между ними нѣтъ или очень мало. О моихъ соображеніяхъ я уже не говорю. Это потребовало бы мѣста и времени, да и страхъ скучно. А ты, между прочимъ, выручаемыми деньгами прежде всего удовлетвори себя такъ, чтобы я тебѣ ни копейки не былъ долженъ; а деньги свои приберегай. Въ предпріятіе никакое не пускайся, но когда будетъ время — наблюдай лишь внимательно за ходомъ всего. Ты изумишься потомъ, сколько у насъ есть путей для изворотливаго ума обогатиться, принеся пользу и себѣ и другимъ. Но объ этомъ послѣ...

---

41. П. А. Плетневу.

Октября 6. Дюссельдорфъ, 1843.

Началомъ письма уже просьба. Шевыревъ изъ Москвы извѣстилъ меня о мерзкомъ поступкѣ типографіи, замотавшей экземпляры моихъ сочиненій и что Прокоповичу предстоитъ тяжба (Прокоповичъ не далъ мнѣ до сихъ поръ никакого обстоятельнаго увѣдомленія о положеніи дѣлъ моихъ), и потому я прошу васъ помочь, сколько можно, вашимъ участіемъ, если, точно, дѣло въ гадкомъ положеніи. Денегъ я не получаю ни откуда; вырученныя за „М. Д.“ пошли всѣ почти на уплату долговъ моихъ. За сочиненія мои тоже я не получилъ еще ни гроша, потому что все платилось въ эту гадкую типографію, взявшую страшно дорого за напечатаніе; и притомъ продажа книги идетъ, какъ видно, тупо. Если придется къ тому потерять экземпляры, то и впереди не предстоитъ никакой возможности на пропитаніе тщедушныхъ дней моихъ. И потому, что можно сдѣлать — сдѣлайте. Въ теперешнихъ моихъ обстоятельствахъ мнѣ бы помогло отчасти вспомоществованіе въ видѣ подарковъ отъ Двора за представленные экземпляры. Я, какъ вы знаете, не получилъ ни за „М. Д.“, ни за сочиненія. Прежде, признаюсь, я не хотѣлъ бы даже этого, но теперь, опираясь на стѣсненное положеніе моихъ обстоятельствъ, я думаю, можно прибѣгнуть къ этому. Если вы найдете это возможнымъ, то надобно, чтобы эта помощь была или отъ государыни, или отъ наслѣдника; отъ государя мнѣ ни въ какомъ

случаѣ не слѣдуетъ ничего. Это было бы даже безстыдно съ моей стороны просить. Онъ подалъ мнѣ помощь въ самую трудную минуту моей жизни; за это я не заплатилъ еще ничѣмъ. Отъ Марьи Николаевны [1] тоже не слѣдуетъ ничего просить. Но если возможно, отъ первыхъ... Впрочемъ, вы сдѣлаете, что только будетъ въ вашей возможности, потому что видите сами мое положеніе, и потому, что раздѣляете его душевно. Важность всего этого тѣмъ болѣе значительна, что не скоро придется мнѣ выдать что-нибудь въ свѣтъ. Чѣмъ болѣе торопишь себя, тѣмъ менѣе подвигаешь дѣло. Да и трудно это сдѣлать, когда уже внутри тебя заключился твой неумолимый судья, строго требующій отчета во всемъ и поворачивающій всякій разъ назадъ при необдуманномъ стремленіи впередъ. Теперь мнѣ всякую минуту становится понятнѣй, отчего можетъ умереть съ голода художникъ, тогда какъ кажется, что онъ можетъ большія набрать деньги. Я увѣренъ, что не одинъ изъ близкихъ даже мнѣ людей, думая обо мнѣ, говоритъ: „Ну, что бы могъ сдѣлать этотъ человѣкъ, еслибы захотѣлъ! Ну, издавай онъ всякій годъ по такому тому, какъ „Мертв(ыя) Д(уши)“, — онъ могъ бы доставить себѣ двадцать тысячъ годового дохода“. А того никто не разсмотритъ, что этотъ томъ, со всѣми его недостатками и грѣхами непростительными, стоитъ почти пятилѣтней работы, стало быть, можетъ назваться вполнѣ выработаннымъ кровью и потомъ. Я знаю, что послѣ буду творить полнѣй и даже быстрѣй; но до этого еще не скоро мнѣ достигнуть. Сочиненья мои такъ тѣсно связаны съ духовнымъ образованіемъ меня самого и такое мнѣ нужно до того времени вынести внутреннее, сильное воспитаніе душевное, глубокое воспитаніе, что нельзя и надѣяться на скорое появленіе моихъ новыхъ сочиненій. Признайтесь: не показался ли я вамъ страннымъ, въ наше послѣднее свиданіе неоткровеннымъ и необщительнымъ, словомъ — страннымъ? Не могъ я вамъ показаться иначе, какъ такимъ: захлопотанный собою, занятый мыслію объ одномъ себѣ, о моемъ внутреннемъ хозяйствѣ, объ управленіи моими непокорными слугами, находящимися во мнѣ, надъ которыми всѣми слѣдовало вознестись — иначе какъ разъ очутишься въ ихъ власти — занятый всѣмъ этимъ, я не могъ быть откровеннымъ и свѣтлымъ: это принадлежности безмятежной души. А моей душѣ еще далеко до этого. Не потому я молчу теперь, чтобы не хотѣлъ го-

[1] Лейхтенбергской.

ворить, но потому молчу, что не умѣю говорить, и не нашелъ бы словъ даже, какъ разсказать то, что хотѣлось бы разсказать. Но я заговорился, кажется... Впрочемъ, это слово изъ моей душевной исповѣди. А душевная исповѣдь должна быть доступна всегда сердцу близкаго намъ друга.

Прощайте; обнимаю васъ и цѣлую отъ всей души. Что можно сдѣлать по моему дѣлу, вы сдѣлаете; а чего не сдѣлаете, того, вѣрно, уже нельзя было сдѣлать. Мнѣ жаль, что удержался я вначалѣ совѣстью — навьючить васъ своими дѣлами. Мнѣ бы слѣдовало просто быть нахальну — взвалить на васъ однихъ изданіе моихъ сочиненій, не путаясь самому ни во что и не затѣвая отъ себя ничего, и особливо въ то время, когда мнѣ вовсе было не до того и когда все свернулъ и скомкалъ впопыхахъ. Вы бы, конечно, сказали: „Вотъ навалилъ обузу“! и выбранили бы только сначала, а потомъ все бы таки дѣло сдѣлали, а съ Прокоповичемъ немудрено, что случилась, какъ съ новымъ человѣкомъ, такая исторія, которой, впрочемъ, я до сихъ поръ не знаю въ настоящемъ видѣ...

---

42. В. А. Жуковскому.

Ницца. Суббота, 2 декабря (1843).

Отвѣчаю на ваше письмо сейчасъ же. Я именно ожидалъ его и потому не писалъ къ вамъ. Въ Ниццу я пріѣхалъ благополучно, даже болѣе, чѣмъ благополучно, ибо случившіяся на дорогѣ задержки и кое-какія непріятности были необходимы душѣ моей, какъ все, что ни случается со мною, необходимо всегда моей душѣ...

Я продолжаю работать, то есть набрасывать на бумагу хаосъ, изъ котораго должно произойти созданіе „Мертвыхъ Душъ“. Трудъ и терпѣніе, и даже приневоливаніе себя награждаютъ меня много. Такія открываются тайны, которыхъ не слышала дотолѣ душа, и многое въ мірѣ становится послѣ этого труда ясно. Поупражняясь хотя немного въ наукѣ созданія, становишься въ нѣсколько кратъ доступнѣе къ прозрѣнью великихъ тайнъ Божьяго созданія и видишь, что, чѣмъ дальше уйдетъ и углубится во что-либо человѣкъ, кончитъ все тѣмъ же: одною полною и благодарною молитвою. Но я знаю, что вы сами пребываете въ та-

комъ же состояніи за „Одиссеею“, и потому прошу только Бога, да ничѣмъ не останавливается дѣло и да пребываетъ Онъ съ вами неотлучно. А гдѣ пребываетъ Богъ, тамъ ничто не продолжается въ равной силѣ, но идетъ впередъ и стремится, или переходитъ изъ лучшаго въ лучшее...

---

43. С. Т. Аксакову.

16 мая (1844). Франкфуртъ.

Я получилъ ваше милое и откровенное письмо. Прочитавши его, я мысленно васъ обнялъ и поцѣловалъ, а потомъ засмѣялся. Въ письмѣ вашемъ слышно, что вы боитесь, чтобъ я не сѣлъ на васъ верхомъ, и упираетесь, какъ Ѳедоръ Никол(аевичъ) Глинка, когда къ нему подходятъ съ тѣмъ, чтобы обнять его. Все это ваше волненіе и мысленная борьба есть больше ничего, какъ дѣло общаго нашего пріятеля, всѣмъ извѣстнаго, — именно чорта. Но вы не упускайте изъ виду, что онъ щелкоперъ и весь состоитъ изъ надуванья. Изъ чего вы вообразили, что вамъ нужно пробуждаться, или повести другую жизнь? Ваша жизнь, слава Богу, такъ безукоризненна, прекрасна и благородна, какъ дай Богъ всѣмъ подобную. Вы сдѣлали много такого добра и такихъ услугъ (что и мнѣ отчасти извѣстно), которыя стоятъ многихъ копеекъ, разбросанныхъ нищимъ, и будутъ оцѣнены справедливо; ваша жизнь ни въ чемъ не противоположна христіанской. Одинъ упрекъ вамъ слѣдуетъ сдѣлать — въ излишествѣ страстнаго увлеченія во всемъ: какъ въ самой дружеской привязанности и сношеніяхъ вашихъ, такъ и во всемъ благородномъ и прекрасномъ, что ни исходитъ отъ васъ. Итакъ, глядите твердо впередъ и не смущайтесь тѣмъ, если въ жизни вашей есть пустые и бездѣйственные годы. Отдохновеніе намъ нужно. Такіе годы бываютъ въ жизни всѣхъ людей, хоть бы они были самые святые. А если вы отыскиваете въ себѣ какія-нибудь гадости, то этимъ слѣдуетъ не то, чтобы смущаться, а благодарить Бога за то, что онѣ въ насъ есть. Не будь въ насъ этихъ гадостей, мы бы занеслись Богъ знаетъ какъ, и гордость наша заставила бы насъ надѣлать множество гадостей, несравненно важнѣйшихъ. Безъ нихъ не было бы у васъ и этого прекраснаго смиренія, которое составляетъ первую красоту души.

Итакъ ваше волненіе есть, просто, дѣло чорта. Вы

эту скотину бейте по мордѣ и не смущайтесь ничѣмъ. Онъ — точно мелкій чиновникъ, забравшійся въ городъ будто бы на слѣдствіе. Пыль запуститъ всѣмъ, распечетъ и раскричится. Стоитъ только немного струсить и податься назадъ — тутъ то онъ и пойдетъ храбриться. А какъ только наступишь на него, онъ и хвостъ подожметъ. Мы сами дѣлаемъ изъ него великана; а въ самомъ дѣлѣ онъ чортъ знаетъ что. Пословицъ не бываетъ даромъ, а пословица говоритъ: „Хвалился чортъ всѣмъ міромъ владѣть, а Богъ ему и надъ свиньей не далъ власти“. Его тактика извѣстна: увидѣвши, что нельзя склонить на какое-нибудь скверное дѣло, онъ убѣжитъ бѣгомъ и потомъ подъѣдетъ съ другой стороны, въ другомъ видѣ, нельзя ли какъ-нибудь привести въ уныніе; шепчетъ: „Смотри, какъ у тебя много мерзостей, — пробуждайся“! когда незачѣмъ и пробуждаться, потому что не спишь, а, просто, не видишь его одного. Словомъ, пугать, надувать, приводить въ уныніе — это его дѣло. Онъ очень знаетъ, что Богу не любъ человѣкъ унывающій, пугающійся, — словомъ, не вѣрующій въ Его небесную любовь и милость, — вотъ и все. Вамъ бы слѣдовало, просто, не глядя на него, выполнить буквально предписаніе, руководствуясь только тѣмъ, что „дареному коню въ зубы не глядятъ“. Вы бы, можетъ быть, нашли тамъ только подтвержденіе тому, чему вы вѣруете и что въ васъ есть, и тогда установилось бы все яснѣе и утвердительнѣе на своихъ мѣстахъ, воцаривъ чрезъ то строгій порядокъ въ самую душу.

О себѣ скажу вамъ вообще, что моя природа совсѣмъ не мистическая. Недоразумѣнія произошли оттого, что я слишкомъ рано вздумалъ было говорить о томъ, что слишкомъ ясно было мнѣ и чего я не въ силахъ былъ выразить глупыми и темными рѣчами, въ чемъ сильно раскаиваюсь, даже и за печатныя мѣста. Но внутренно я не измѣнялся никогда въ главныхъ моихъ положеніяхъ. Съ 12-лѣтняго, можетъ быть, возраста я иду тою же дорогою, какъ и нынѣ, не шатаясь и не колеблясь никогда во мнѣніяхъ главныхъ, не переходилъ изъ одного положенія въ другое и, если встрѣчалъ на дорогѣ что-нибудь сомнительное, не останавливался и не ломалъ голову, а махнувши рукой и сказавши: „Объяснится потомъ! потомъ!“ шелъ далѣе своей дорогой; и, точно, Богъ помогалъ мнѣ, и все потомъ объяснялось само собой. И теперь я могу сказать, что въ существѣ своемъ все тотъ же, хотя, можетъ быть, избавился только отъ многаго, мѣшавшаго мнѣ на моемъ

пути и, стало быть, чрезъ то сдѣлался нѣсколько умнѣй, вижу яснѣй многія вещи и называю ихъ прямо по имени, т.-е. чорта называю прямо чортомъ, не даю ему великолѣпнаго костюма á la Байронъ...

---

44. П. А. Плетневу.

Іюля 30 (1846). Швальбахъ.

Наконецъ, моя просьба! Ее ты долженъ выполнить, какъ наивѣрнѣйшій другъ выполняетъ просьбу своего друга. Всѣ свои дѣла въ сторону и займись печатаніемъ этой книги, подъ названіемъ: „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“. Она нужна, слишкомъ нужна всѣмъ; вотъ что, покамѣстъ, могу сказать; все прочее объяснитъ тебѣ сама книга. Къ концу ея печатанія все станетъ ясно, и недоразумѣнья, тебя доселѣ тревожившія, исчезнутъ сами собою. Здѣсь посылается начало. Продолженіе будетъ посылаться немедленно. Жду возврата нѣкоторыхъ писемъ еще, но за этимъ остановки не будетъ, потому что достаточно даже и тѣхъ, которыя мнѣ возвращены. Печатаніе должно происходить въ тишинѣ: нужно, чтобы, кромѣ цензора и тебя, никто не зналъ. Цензора избери Никитенку: онъ ко мнѣ благосклоннѣе другихъ; къ нему и напиши слова два. Возьми съ него также слово никому не сказывать о томъ, что выйдетъ моя книга. Ее нужно отпечатать въ мѣсяцъ, чтобъ къ половинѣ сентября она могла уже выйти... Печатай два завода и готовь бумагу для второго изданія, которое, по моему соображенью, воспослѣдуетъ немедленно: эта книга разойдется болѣе, чѣмъ всѣ мои прежнія сочиненія, потому что это до сихъ поръ моя единственная дѣльная книга. Вслѣдъ за прилагаемою при семъ тетрадью будешь получать безостановочно другія. Надѣюсь на Бога, что Онъ подкрѣпитъ меня въ сей работѣ. Прилагаемая тетрадь занумерована № 1; въ ней предисловіе и шесть статей, итого семь; да включая сюда еще статью объ „Одиссеѣ“, посланную мною къ тебѣ за мѣсяцъ передъ симъ, которая въ печатаніи должна слѣдовать непосредственно за ними, — всего восемь. Страницъ въ прилагаемой тетради двадцать.

О полученіи всего того увѣдоми немедленно. Адресуй попрежнему на имя Жуковскаго.

Весь твой *Н. Г.*

---

45. М. С. Щепкину.

(1846.)

Михаилъ Семеновичъ! вотъ въ чемъ дѣло: вы должны взять въ свой бенефисъ „Ревизора“ въ его полномъ видѣ, то есть, слѣдуя тому изданію, которое напечатано въ полномъ собраніи моихъ сочиненій, съ прибавленіемъ хвоста, посылаемаго мною теперь.[1] Для этого вы сами непремѣнно должны съѣздить въ Петербургъ, чтобы ускорить личнымъ присутствіемъ ускореніе цензурнаго разрѣшенія. Не знаю, кто театральный цензоръ. Если тотъ самый Гедеоновъ, который былъ въ Римѣ съ графомъ Васильевымъ и съ которымъ я тамъ познакомился, то попросите его отъ моего имени крѣпко. Во всякомъ случаѣ, обратитесь по этому дѣлу къ Плетневу и гр(афу) М. Ю. Віельгорскому, которымъ все объясните и которыхъ участіе можетъ оказаться нужнымъ. Скажите какъ имъ, такъ и себѣ самому, чтобы это дѣло, до самаго представленія, не разглашалось и оставалось бы въ тайнѣ между вами. Хлестакова долженъ играть Живокини. Дайте непремѣнно отъ себя мотивъ другимъ актерамъ, особенно Бобчинскому и Добчинскому. Постарайтесь сами сыграть передъ ними нѣкоторыя роли. Обратите особенное вниманіе на послѣднюю сцену. Нужно непремѣнно, чтобы она вышла картинной, и даже потрясающей. Городничій долженъ быть совершенно потерявшимся и вовсе не смѣшнымъ. Жена и дочь въ полномъ испугѣ должны обратить глаза на его одного. У смотрителя училищъ должны трястись колѣни сильно; у Земляники также. Судья, какъ уже извѣстно, съ присядкой. Почтмейстеръ, какъ уже извѣстно, съ вопросительнымъ знакомъ къ зрителямъ. Бобчинскій и Добчинскій должны спрашивать глазами другъ у друга объясненья этому всему. На лицахъ дамъ-гостей ядовитая усмѣшка, кромѣ одной жены Луканчика, которая должна быть вся испугъ, блѣдна, какъ смерть, и ротъ открытъ. Минуту, или минуты двѣ, непремѣнно должна продолжаться эта нѣмая сцена, такъ чтобы Коробкинъ, соскучившись, успѣлъ попотчевать Растаковскаго табакомъ, а кто-нибудь изъ гостей даже довольно громко сморкнуть въ платокъ.

Что же касается до прилагаемой при семъ „Развязки Ревизора“, которая должна слѣдовать тотъ же часъ послѣ „Ревизора“, то вы, прежде чѣмъ давать ее разучать актерамъ, вчитайтесь хорошенько въ нее сами, вой-

[1] „Развязка Ревизора“.

дите въ значенье и крѣпость всякаго слова, всякой роли, такъ, какъ бы вамъ пришлось всѣ эти роли сыграть самому, и когда войдутъ онѣ вамъ въ голову всѣ, соберите актеровъ, прочитайте имъ, и прочитайте не одинъ разъ, — прочитайте раза три-четыре, или даже пять. Не пренебрегайте, что роли маленькія и по нѣскольку строчекъ. Строчки эти должны быть сказаны твердо, съ полнымъ убѣжденіемъ въ ихъ истинѣ; потому что это — споръ, и споръ живой, а не нравоученье. Горячиться не долженъ никто, кромѣ развѣ Семена Семеновича; но слова произносить долженъ всякъ нѣсколько погромче, какъ въ обыкновенномъ разговорѣ, потому что это споръ. Николай Николаевичъ долженъ быть даже отчасти крикливъ; Петръ Петровичъ — съ нѣкоторымъ заливомъ. Вообще было бы хорошо, еслибы каждый изъ актеровъ держался сверхъ того еще какого-нибудь ему извѣстнаго типа. Играющему Петра Петровича нужно выговаривать свои слова особенно крупно, отчетливо, зернисто. Онъ долженъ скопировать того, котораго онъ зналъ говорящаго лучше всѣхъ по-русски. Хорошо бы, еслибы онъ могъ нѣсколько придерживаться американца Толстого. Николаю Николаевичу должно, за неимѣніемъ другого, придерживать(ся) Ник. Филипповича Пав(лова), потому что у него самый ровный и пристойный голосъ изъ всѣхъ нашихъ литераторовъ; притомъ въ него не трудно попасть. Самому Семену Семеновичу нужно дать болѣе благородную замашку, чтобы не сказали, что онъ взятъ съ Николая Михайлов. Заг(оскина)[1]. Вамъ же вотъ замѣчаніе. Старайтесь произносить всѣ ваши слова какъ можно тверже и покойнѣй, какъ бы вы говорили о самомъ простомъ, но весьма нужномъ дѣлѣ. Храни васъ Богъ слишкомъ расчувствоваться. Вы расхныкаетесь, и выйдетъ у васъ чортъ знаетъ что. Лучше старайтесь такъ произнести слова, хотя самыя близкія къ вашему собственному состоянію душевному, чтобы зритель видѣлъ, что вы стараетесь удержать себя отъ того, чтобы не заплакать, а не въ самомъ дѣлѣ заплакать. Впечатлѣніе будетъ оттого нѣсколько разъ сильнѣй. Старайтесь заблаговременно, во время чтенія своей роли, выговаривать твердо всякое слово, простымъ, но проницающимъ языкомъ, — почти такъ, какъ начальникъ артели говоритъ своимъ работникамъ, когда выговариваетъ имъ, или попрекаетъ въ томъ, въ чемъ дѣйствительно они провиноватились. Вашъ большой порокъ въ томъ, что вы не умѣете выговаривать твердо всякаго

[1] Михаилъ Николаевичъ.

слова. Отъ этого вы неполный владѣлецъ собою въ своей роли. Въ городничемъ вы лучше всѣхъ вашихъ другихъ ролей, именно потому, (что) почувствовали потребность говорить выразительнѣй. Будьте же и здѣсь, и въ „Развязкѣ Ревизора“, тѣмъ же городничимъ. Берегите себя отъ сантиментальности и караульте сами за собою. Чувство явится у васъ само собою; за нимъ не бѣгайте; бѣгайте за тѣмъ, какъ бы стать властелиномъ себя. Обо всемъ этомъ не сказывайте никому въ Москвѣ, кромѣ Шевырева, по тѣхъ поръ, покуда не возвратитесь изъ Петербурга. У васъ языкъ немножко длинноватъ; вы его на этотъ разъ поукоротите. Если жъ онъ начнетъ слишкомъ почесываться, то вы придите въ другой разъ къ Шевыреву и разскажите ему вновь, какъ бы вы разсказывали свѣжему и совсѣмъ другому человѣку. „Развязку“ нужно будетъ переписать, потому что, кромѣ экземпляра, нужнаго для театральной цензуры, другой будетъ нуженъ для подписанія цензору Никитенкѣ, которому отдастъ Плетневъ, ибо „Ревизоръ“ долженъ напечататься отдѣльно съ „Развязкой“, ко дню представленія и продаваться въ пользу бѣдныхъ, о чемъ вы, при вашемъ вызовѣ, по окончаніи всего, должны возвѣстить публикѣ, что не „благоугодно ли ей, ради такой богоугодной цѣли, сей же часъ по выходѣ изъ театра купить „Ревизора“ въ театральной же лавкѣ“; а кто разохотится дать больше означенной цѣны, тотъ бы покупалъ ее прямо изъ вашихъ рукъ для большей вѣрности. А вы эти деньги потомъ препроводите къ Шевыреву. Но объ этомъ рѣчь еще впереди. Довольно съ васъ, покамѣстъ, этого.

Итакъ, благословясь, поѣзжайте съ Богомъ въ Петербургъ. Бенефисъ вашъ будетъ блистателенъ. Не глядите на то, что піеса заиграна и стара: будетъ къ этому времени такое обстоятельство, что всѣ пожелаютъ вновь увидать „Ревизора“, даже и въ томъ видѣ, въ какомъ онъ давался прежде. Сборъ вашъ будетъ съ верхомъ полонъ. Поговорите съ Сосницкимъ, чтобъ увидать, можно ли то же самое сдѣлать и въ Петербургѣ сколько возможно такимъ образомъ, какъ въ Москвѣ. Прежде его испытайте: онъ немножко упрямъ въ своихъ убѣжденіяхъ. Скажите ему, что это стыдно — и не въ христіанскомъ духѣ — имѣть такое гордое мнѣніе въ своей безошибочности и что онъ первый, еслибы только захотѣлъ истинно постараться о томъ, чтобы послѣдняя сцена вышла такъ, какъ ей слѣдуетъ быть, она бы сдѣлалась чистая натура; не примѣтилъ бы зритель никакой искусственности и принялъ бы ее за вылившуюся

непринужденно. Скажите ему, что для русскаго человѣка нѣтъ невозможнаго дѣла, что нѣтъ даже на языкѣ его и слова нѣтъ, если онъ только прежде выучился говорить всякимъ собственнымъ страстишкамъ: нѣтъ.

Письмо это дайте прочесть Шевыреву, такъ же, какъ и самую „Развязку Ревизора“, и о полученіи всего этого увѣдомьте меня тотъ же часъ, адресуя въ Неаполь poste restante.

Весь вашъ *Г.*

---

46. И. И. Сосницкому.

2-го ноября 1846 года.

Если вы уже все узнали отъ Щепкина и рѣшились сдѣлать дѣло васъ достойное, добрѣйшій мой Иванъ Ивановичъ, то присоединяю еще двѣ-три строчки моей убѣдительнѣйшей просьбы. Обратите ваше вниманіе на послѣднюю сцену „Ревизора“. Обдумайте, обмыслите вновь. Изъ заключительной піесы „Развязка Ревизора“ вы постигнете, почему я такъ хлопочу объ этой послѣдней сценѣ и почему мнѣ такъ важно, чтобъ она имѣла полный эффектъ. Я увѣренъ, что вы взглянете сами другими глазами на „Ревизора“ послѣ этого заключенія, котораго мнѣ, по многимъ причинамъ, нельзя было тогда выдать и только теперь возможно. Употребите всѣ ваши силы, чтобъ „Ревизоръ“ былъ обставленъ со всѣхъ сторонъ и вполнѣ хорошо, чтобъ всѣ актеры сдѣлали свое дѣло вполнѣ хорошо. Вы сдѣлаете этимъ дѣло не только доброе, но истинно христіанское. (Продажа „Ревизора“ въ новомъ видѣ съ „Развязкой“ назначена въ пользу бѣдныхъ, а вы игрой своей и обстановкой можете возвысить его продажу). Не полѣнитесь сыграть сами предуготовительно передъ актерами роль Хлестакова, которую, кромѣ васъ, рѣшительно никто не можетъ выполнить. Вы можете этимъ дать имъ разъ навсегда мотивъ. Теоретически изъ нихъ никто не можетъ понять, что эту роль непремѣнно нужно сыграть въ видѣ свѣтскаго человѣка comme il faut, вовсе не съ желаніемъ сыграть лгуна и щелкопера, но, напротивъ, съ чистосердечнымъ желаньемъ сыграть роль чиномъ выше своего собственнаго, но такъ, чтобы вышло само собою, въ итогѣ всего — и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и щелкоперъ во всѣхъ отношеніяхъ. Все это вы можете внушить имъ только одной игрой своей, а словами и наставленьями не сдѣлаете ничего, какъ бы ни убѣдительно имъ разсказывали. Сами знаете,

что второклассные актеры передразнить характеръ еще могутъ, но создать характера не могутъ: насилуя себя произвести послѣднее, они станутъ даже ниже самихъ себя. Потому то примѣръ, вами данный, болѣе наведетъ ихъ на законную дорогу, чѣмъ ихъ собственное разсужденіе. Что же касается до игры въ послѣдней піесѣ, то есть въ піесѣ „Развязка Ревизора“, то насчетъ этого прочтите мои строки въ письмѣ къ Щепкину. Въ нихъ я дѣлаю ему прямо и откровенно мои замѣчанія и даже совѣты, зная, что онъ, по страсти и любви къ искусству, готовъ себя считать вѣчнымъ ученикомъ и выслушивать даже не весьма умные по виду совѣты, даже и отъ простыхъ людей. Замѣчанія эти вы все-таки примите къ свѣдѣнію, хотя знаю, что они вамъ не совсѣмъ идутъ, потому что вашъ талантъ имѣетъ свою своеобразность и качества другія, нежели у Щепкина (сильно желалось бы мнѣ когда-нибудь увидѣть васъ обоихъ въ одной піесѣ, въ двухъ различныхъ роляхъ, ничуть не похожихъ одна на другую, но равно великихъ и трудныхъ, чтобъ увидѣла ясно публика, что̀ такое собственно Щепкинъ и что̀ такое собственно Сосницкій). Одно то, что̀ вамъ, равно обоимъ, замѣчу и что долженъ замѣтить всѣмъ, кто бъ ни сталъ играть въ піесѣ „Развязка Ревизора“ первую роль, то есть роль комическаго актера, — это то, чтобъ произносить какъ можно тверже, крѣпче и проще слова, какъ бы самую простую, но близкую къ дѣлу и нужную рѣчь. Храни Богъ отъ всякой сантиментальности и напряженнаго жару, вдругъ не станетъ голоса къ концу монолога, пересохнетъ горло и останешься въ какомъ то вяло-плаксивомъ и пьяномъ положеньи, тогда какъ слѣдуетъ пребывать во все время монолога въ трезвомъ и свѣтломъ состояніи духа. Слѣдуетъ изворотиться молодцомъ. Слѣдуетъ показаться полководцемъ, бодрящимъ и подстрекающимъ другихъ на битву, а не рядовымъ солдатомъ, кидающимся самому въ пылъ сраженья. Словомъ, голосъ актера здѣсь долженъ быть побѣдоносно-торжествующій, истинно генеральскій голосъ. Этихъ словъ не пропустите, Иванъ Ивановичъ, и Щепкину также это скажите. И Богъ вамъ въ помощь обоимъ! По окончаніи піесы, когда васъ вызовутъ, вы, раскланявшись съ публикой, скажите ей, что не угодно ли ей купить „Ревизора“, который продается, при выходѣ изъ театра, въ пользу бѣдныхъ, по рублю серебромъ съ „Развязкой“ вмѣстѣ. Кто же пожелаетъ дать больше, тотъ вручалъ бы деньги вамъ самимъ и покупалъ бы лично изъ вашихъ рукъ, а вы все это доставляйте Плетневу, которому порученъ

сборъ денегъ и отъ котораго поступятъ онѣ къ тѣмъ, на которыхъ возложена раздача бѣднымъ. Побывайте у Плетнева теперь же и спросите его, не нужно ли какого вспомоществованья собственно отъ васъ въ дѣлѣ изданія „Ревизора“, относительно ли корректуры или чего другого. На немъ слишкомъ навьючено теперь всякихъ обузъ, и ему довольно тяжело и трудно управляться одному. За все это поблагодарю васъ лично, когда приведетъ Богъ встрѣтиться. Смотрите, чтобы продажа въ театральныхъ лавкахъ поручена была надежнымъ продавцамъ, и не употребляйте для этого въ посредство какого-либо актера. Говорю это потому, что одинъ изъ этихъ господъ, на которого я вздумалъ было положиться, денежки прибиралъ къ себѣ и на нихъ кутилъ, складывая вину на продавцевъ, которые ему не приносятъ; а когда я вздумалъ, наконецъ, разспросить продавцевъ, дѣло открылось. Это примите къ свѣдѣнью. На этотъ разъ грѣхъ будетъ на душѣ того, кто украдетъ копейку — деньги эти въ пользу бѣдныхъ; это имъ объявите.

Но прощайте. Если захотите мнѣ написать, хотя двѣ строчки, что́ мнѣ будетъ очень пріятно, адресуйте въ Неаполь (poste restante).

Затѣмъ обнимаю васъ, искренно васъ любящій *Г.*

---

47. М. С. Щепкину.

(1846) декабря 16. Неаполь.

Вы уже, безъ сомнѣнія, знаете, Михаилъ Семеновичъ, что „Ревизора съ Развязкой“ слѣдуетъ отложить до вашего бенефиса въ будущемъ 1848 году. На это есть множество причинъ, часть которыхъ, вѣроятно, вы и сами проникаете. Въ всякомъ случаѣ я этому радъ. Кромѣ того, что дѣло будетъ не понято публикою нашею въ надлежащемъ смыслѣ, оно выйдетъ, просто, дрянь отъ дурной постановки піесы и плохой игры нашихъ актеровъ. „Ревизора“ нужно будетъ дать такъ, какъ слѣдуетъ, сколько-нибудь сообразно тому, чего требуетъ, по крайней мѣрѣ, авторъ его, а для этого нужно будетъ время. Нужно, чтобы вы переиграли хотя мысленно всѣ роли, услышали цѣлое всей піесы и нѣсколько разъ прочитали бы самую піесу актерамъ, чтобы они такимъ образомъ невольно заучили настоящій смыслъ всякой фразы, который, какъ вы сами знаете, вдругъ можетъ измѣниться отъ одного ударенія,

перемѣщеннаго на другое мѣсто, или на другое слово. Для этого нужно, чтобы прежде всего я прочелъ вамъ самому „Ревизора“, а вы бы прочли потомъ актерамъ. Бывши въ Москвѣ, я не могъ читать вамъ „Ревизора“. Я не былъ въ надлежащемъ расположеніи духа, а потому не могъ даже сумѣть дать почувствовать другимъ, какъ онъ долженъ быть сыгранъ. Теперь, слава Богу, могу. Погодите, можетъ быть, мнѣ удастся такъ устроить, что вамъ можно будетъ пріѣхать лѣтомъ ко мнѣ. Мнѣ ни въ какомъ случаѣ нельзя заглянуть въ Россію раньше окончанія работы, которую нужно кончить. Можетъ быть, вамъ также будетъ тогда сподручно взять съ собою и какого-нибудь товарища, больше другихъ толковаго въ дѣлѣ. А до того времени вы все-таки не пропускайте свободнаго времени и вводите, хотя понемногу, второстепенныхъ актеровъ въ надлежащее существо ролей, въ благородный, вѣрный тактъ разговора — понимаете ли? — чтобы не слышался фальшивый звукъ. Пусть изъ нихъ никто не оттѣняетъ своей роли и не кладетъ на нее красокъ и колорита, но пусть услышитъ общечеловѣческое ея выраженіе и удержитъ общечеловѣческое благородство рѣчи. Словомъ, изгнать вовсе карикатуры и ввести ихъ въ понятіе, что нужно не представлять, а передавать прежде мысли, позабывши странность и особенность человѣка. Краски положить нетрудно; дать цвѣтъ роли можно и потомъ; для этого довольно встрѣтиться съ первымъ чудакомъ и умѣть передразнить его; но почувствовать существо дѣла, для котораго призвано дѣйствующее лицо, трудно, и безъ васъ никто самъ по себѣ изъ нихъ этого не почувствуетъ. Итакъ, сдѣлайте имъ близкимъ ваше собственное ощущеніе, и вы сдѣлаете этимъ истинно доблестный подвигъ въ честь искусства. А между тѣмъ напишите мнѣ (если книга моя: „Выбран. мѣста изъ переписки“ уже вышла и въ вашихъ рукахъ) ваше мнѣніе о статьѣ моей „О театрѣ и одностороннемъ взглядѣ на театръ“, не скрывая ничего и не церемонясь ни въ чемъ, равнымъ образомъ какъ и обо всей книгѣ вообще. Что ни есть въ душѣ, все несите и выгружайте наружу...

---

48. С. Т. Аксакову.

Неаполь. 1847. январь 20 новаго стиля.

Я получилъ ваше письмо, добрый другъ мой, Сергѣй Тимоѳеевичъ. Благодарю васъ за него. Все, что

нужно взять изъ него къ соображенію, взято. Симъ бы слѣдовало ограничиться; но, такъ какъ въ письмѣ вашемъ замѣтно большое безпокойство обо мнѣ, то я считаю нужнымъ сказать вамъ нѣсколько словъ. Вновь повторяю вамъ еще разъ, что вы въ заблужденіи, подозрѣвая во мнѣ какое то новое направленіе. Отъ ранней юности моей у меня была одна дорога, по которой иду. Я былъ только скрытенъ, потому что былъ неглупъ — вотъ и все. Причиной нынѣшнихъ вашихъ выводовъ и заключеній обо мнѣ (сдѣланныхъ какъ вами, такъ и другими) было то, что я, понадѣявшись на свои силы и на (будто бы) совершившуюся зрѣлость свою, отважился заговорить о томъ, о чемъ бы слѣдовало до времени еще немножко помолчать, покуда слова мои не придутъ въ такую ясность, что и ребенку стали бы понятны. Вотъ вамъ вся исторія моего мистицизма. Мнѣ слѣдовало еще нѣсколько времени поработать въ тишинѣ, еще жечь то, что слѣдуетъ жечь, никому не говорить ни слова о внутреннемъ себѣ и не откликаться ни на что, особенно не давать никакого отвѣта моимъ друзьямъ на счетъ сочиненій моихъ. Отчасти неблагоразумныя подталкиванья со стороны ихъ, отчасти невозможность видѣть самому, на какой степени собственнаго своего воспитанія нахожусь, были причиной появленія статей, такъ возмутившихъ духъ вашъ. Съ другой стороны, совершилось все это не безъ воли Божіей. Появленіе книги моей, содержащей переписку со многими замѣчательными людьми въ Россіи (съ которыми я бы, быть можетъ, никогда не встрѣтился, еслибы жилъ въ Россіи и оставался въ Москвѣ), нужно будетъ многимъ, несмотря на всѣ непонятныя мѣста, во многихъ истинно существенныхъ отношеніяхъ, а еще болѣе будетъ нужно для меня самого. На книгу мою нападутъ со всѣхъ угловъ, со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ возможныхъ отношеніяхъ. Эти нападенія мнѣ теперь слишкомъ нужны: они покажутъ мнѣ болѣе меня самого и покажутъ мнѣ въ то же время васъ, то есть моихъ читателей. Не увидѣвши яснѣе, что такое въ настоящую минуту я самъ и что такое мои читатели, я былъ бы въ рѣшительной невозможности сдѣлать дѣльно свое дѣло. Но это вамъ, покуда, не будетъ понятно; возьмите лучше это просто на вѣру: вы чрезъ то останетесь въ барышахъ. А чувствъ вашихъ отъ меня не скрывайте никакихъ. По прочтеніи книги, тотъ же часъ, покуда еще ничто не простыло, изливайте все наголо, какъ есть, на бумагу. Никакъ не смущайтесь тѣмъ, если у васъ будутъ вы-

рываться жесткія слова: это совершенно ничего; я даже ихъ очень люблю. Чѣмъ вы будете со мной откровеннѣе и искреннѣе, тѣмъ въ большихъ останетесь барышахъ. Руку для того употребляйте первую, какая вамъ подвернется. Кто почетче и побойчѣе пишетъ, тому и диктуйте. Секретовъ у меня въ этомъ отношеніи нѣтъ никакихъ. Одинъ только секретъ и былъ, о которомъ я просилъ васъ никогда даже и мнѣ не напоминать, и о которомъ вы неблагоразумно упомянули въ вашемъ письмѣ[1]. Сами сказали, что о немъ и семейство ваше не знаетъ, и дали написать эти слова не вашей рукѣ. Если вы почувствовали надобность упомянуть объ этомъ дѣлѣ для того, чтобы сдѣлать сравненіе съ распоряженіемъ по части продажи „Ревизора“ (котораго изданіе и представленіе мною отложено), то лучше было обойтись просто, безъ этого сравненія, тѣмъ болѣе, что оно совсѣмъ невѣрно и невпопадъ. Есть дѣла, которыя дѣйствительно нужно производить открыто, въ виду всѣхъ, которыя суть, просто, нашъ непремѣнный долгъ, а не подвигъ благотворенія. Если почти всѣ наши писатели издавали книги для бѣдныхъ, если даже Булгаринъ, Гречъ и многіе другіе, укоряемые въ корыстолюбіи, производили въ пользу бѣдныхъ пожертвованья, публичныя чтенія и тому подобныя, — почему же я не могу также? и что же я за исключеніе? и отчего копейка отъ другого есть долгъ, а отъ меня подвигъ благотворенія? Другъ мой, вы не взвѣсили какъ слѣдуетъ вещи, и слова ваши вздумали подкрѣплять словами Самого Христа. Это можетъ безошибочно дѣлать одинъ только тотъ, кто уже весь живетъ во Христѣ, внесъ Его во всѣ дѣла свои, помышленія и начинанія, Имъ осмыслилъ всю жизнь свою и весь исполнился духа Христова. А иначе — во всякомъ словѣ Христа вы будете видѣть свой смыслъ, а не тотъ, въ которомъ оно сказано.

Но довольно съ васъ. Не позабудьте же: откровенность во всемъ, что ни относится въ мысляхъ вашихъ до меня.

Обнимаю васъ! Передайте поклонъ всѣмъ вашимъ.

Васъ очень любящій *Г.*

---

[1] Рѣчь идетъ о долгахъ Гоголя.

49. С. П. Шевыреву.

Неаполь. 27 апрѣля. (1847.)

Благодарю очень за милое письмецо твое отъ 22 марта. Мнѣ было такъ пріятно читать его! Прежде всего поговоримъ о Погодинѣ, то есть о моемъ печатномъ отзывѣ о Погодинѣ. Позабылъ я о моихъ словахъ потому, что, право, не думалъ писать ихъ въ томъ смыслѣ, въ какомъ они кажутся тебѣ (хотя я самъ изумился разности словъ моихъ, когда прочелъ въ печати). Причиной невѣрности твоего вывода моя же статья. Таково дѣйствіе всякаго сочиненія, въ которомъ разсматривается половина дѣла, а не все дѣло. Умолчавши о достоинствахъ, вывести недостатки — всегда будетъ казаться отверженьемъ и непризнаньемъ достоинствъ. Я вовсе не хотѣлъ попрекнуть Погодина за то, что онъ работалъ тридцать лѣтъ, какъ муравей, но за то, что онъ не умѣлъ поступить такъ, чтобы увидѣли всѣ, что онъ тридцать лѣтъ, какъ муравей, работалъ для добра. Статьи этой не нужно уничтожать, но вслѣдъ за ней я помѣщу письмо къ тебѣ, подъ заглавіемъ: „О достоинствѣ сочиненій и литературныхъ трудовъ Погодина“ — и мы увидимъ, въ состояніи ли эти недостатки затмить тѣ его достоинства, которыя принадлежатъ ему одному и которыхъ никто другой не имѣетъ; мы разсмотримъ также и то, умѣетъ ли теперь кто-нибудь изъ насъ такъ любить Россію, какъ любитъ онъ. Повѣрь, что статья эта теперь гораздо полезнѣй для сочиненій Погодина, — тѣмъ болѣе, что послѣ моихъ жесткихъ словъ о Погодинѣ, меня никто не станетъ упрекать въ лицепріятіи. Я не отрекусь отъ моихъ нападеній, но рядомъ съ ними выставлю только, что слѣдуетъ взять на вѣски, когда произносишь полный судъ надъ человѣкомъ.

Скажу тебѣ также нѣсколько словъ о замѣчаніи твоемъ въ прежнемъ письмѣ на статью мою „О лиризмѣ русскихъ поэтовъ“ и о всемъ, что ни сказано о монархической власти по поводу стихотворенія Пушкина [1]. Я не отвѣчалъ на это потому, что, не имѣя моей книги не зналъ, въ какомъ видѣ напечатана эта статья. Теперь, скрѣпясь духомъ, пробѣжалъ. Это просто безсмыслица. Статья эта и у меня въ рукописи выходила довольно темна, а съ этими, непонятными даже для меня, обрѣзываніями цензуры даже такихъ мѣстъ, которыхъ непропускъ можно только приписать къ какому-нибудь

[1] Къ Н*.

особенному умыслу самой цензуры, — просто путаница. Не говоря о разныхъ вещахъ поважнѣе, прилагаю тебѣ здѣсь непропущенный листокъ, служащій отвѣтомъ на твой запросъ о стихотвореніи Пушкина. Несмотря на всю непріятность, которую съ перваго раза нанесъ мнѣ жалкій видъ статьи моей и толки, разнесшіеся въ публикѣ, о моемъ низкопоклонствѣ, я потомъ не только успокоился, но даже обрадовался, и жду только того, чтобы на меня побольше напали со всѣхъ сторонъ за эту статью, и, если можно, даже въ Европѣ. Тогда только я получу голосъ и, въ видѣ оправданія, могу заговорить, наконецъ, о томъ, какимъ образомъ богатствомъ милости и всепрощающей любви можетъ уподобиться монархъ Богу. Много есть вещей, которыхъ по тѣхъ поръ не найдешься какъ сказать, покуда не нападутъ на тебя. Мысль статьи этой была добрая. Повѣрь, что намъ всѣмъ слѣдуетъ умѣть прощать и помнить ежеминутно о томъ, что умѣніемъ прощать мы больше всего можемъ уподобиться Богу.

Слово о моемъ отреченіи отъ искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта нелѣпая мысль объ отреченіи моемъ отъ своего таланта и отъ искусства, тогда какъ изъ моей же книги можно бы, кажется, увидѣть было хотя нѣкоторыя... какія страданія я долженъ былъ выносить изъ любви къ искусству, желая себя приневолить и принудить писать и создавать тогда, когда я не въ силахъ былъ, — когда изъ самаго предисловія моего ко второму изданію „Мертвыхъ Душъ“ видно, какъ я занятъ одною и тою же мыслью и какъ хочу забрать тѣхъ свѣдѣній, которыя мнѣ нужны для моего труда. Что жъ дѣлать, если душа стала предметомъ моего искусства? Виноватъ ли я въ томъ? Что жъ дѣлать, если заставленъ я многими особенными событіями моей жизни взглянуть строже на искусство? Кто жъ тутъ виноватъ? Виноватъ Тотъ, безъ воли Котораго не совершается ни одно событіе.

Появленіе моей книги [1], несмотря на всю ея чудовищность, есть для меня слишкомъ важный шагъ. Книга имѣетъ свойство пробнаго камня: повѣрь, что на ней испробуешь какъ разъ нынѣшняго человѣка. Въ сужденіяхъ о ней непремѣнно выскажется человѣкъ съ всѣми своими помышленіями, даже тѣми, которыя онъ осторожно таитъ отъ всѣхъ, и вдругъ станетъ видно, на какой степени своего душевнаго состоянія онъ стоитъ. Вотъ почему мнѣ такъ хочется собрать всѣ толки

[1] „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“.

всѣхъ о моей книгѣ. Хорошо бы прилагать при всякомъ мнѣніи портретъ того лица, которому мнѣніе принадлежитъ, если лицо мнѣ незнакомо. Повѣрь, что мнѣ нужно основательно и радикально пощупать общество, а не взглянуть на него во время бала или гулянья: иначе у меня долго еще будетъ все невпопадъ, хотя бы и возросла способность творить. Я очень жалѣю, что не попали въ мою книгу письма къ разнымъ должностнымъ государственнымъ людямъ. Меня бъ, конечно, тогда разбранили бы еще больше. Сказали бы еще болѣе: не въ свое дѣло залѣзъ и впутался, но, тѣмъ не менѣе, по поводу этихъ статей обнаружилось бы передо мной многое внутри Россіи. И многіе, въ желаніи доказать мнѣ мои ошибки, стали бы разсказывать тѣ вещи, которыя именно мнѣ нужны. А этихъ вещей никакими просьбами нельзя вымолить. Одно средство: выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всѣхъ. Повѣрь, что русскаго человѣка покуда не разсердишь, не заставишь заговорить. Онъ все будетъ лежать на боку и требовать, чтобы авторъ попотчевалъ его чѣмъ-нибудь примиряющимъ съ жизнью (какъ говорится). Бездѣлица! Какъ будто можно выдумать это примиряющее съ жизнью. Повѣрь, что какое ни выпусти художественное произведеніе, оно не возымѣетъ теперь вліянья, если нѣтъ въ немъ именно тѣхъ вопросовъ, около которыхъ ворочается нынѣшнее общество, и если въ немъ не выставлены тѣ люди, которые намъ нужны теперь и въ нынѣшнее время. Не будетъ сдѣлано этого — его убьетъ первый романъ, какой ни появится изъ фабрики Дюма. Слова твои о томъ, какъ чорта выставить дуракомъ, совершенно попали въ тактъ съ моими мыслями Уже съ давнихъ поръ только и хлопочу о томъ, чтобъ послѣ моего сочиненія насмѣялся въ волю человѣкъ надъ чортомъ.

Я бъ очень желалъ знать, откуда происхожденьемъ тотъ старикъ, съ которымъ ты говорилъ. Судя по его отзыву о чортѣ, онъ долженъ быть малороссіянинъ...

---

50. М. С. Щепкину.

(1847) (въ концѣ мая).

Письмо ваше, добрѣйшій Михаилъ Семеновичъ, такъ убѣдительно и краснорѣчиво, что, еслибы я точно хо-

тѣлъ отнять у васъ городничаго, Бобчинскаго и прочихъ героевъ, съ которыми, вы, говорите, сжились, какъ съ родными по крови, то и тогда бы возвратилъ вамъ вновь ихъ всѣхъ — можетъ быть, даже и съ наддачей лишняго друга[1]. Но дѣло въ томъ, что вы, кажется, не такъ поняли послѣднее письмо мое. Прочитать „Ревизора“ я именно хотѣлъ затѣмъ, чтобы Бобчинскій сдѣлался еще больше Бобчинскимъ, Хлестаковъ — Хлестаковымъ, и словомъ — всякъ тѣмъ, чѣмъ ему слѣдуетъ быть. Передѣлку же я разумѣлъ только въ отношеніи къ піесѣ, заключающей „Ревизора“. Понимаете ли это? Въ этой піесѣ я такъ неловко управился, что зритель непремѣнно долженъ вывести заключеніе, что я изъ „Ревизора“ хочу сдѣлать аллегорію. У меня не то въ виду. „Ревизоръ“ „Ревизоромъ“, а примѣненіе къ самому себѣ есть непремѣнная вещь, которую долженъ сдѣлать всякъ зритель изо всего, даже и не-„Ревизора“, но которое приличнѣй ему сдѣлать (по) поводу „Ревизора“. Вотъ что слѣдовало было (sic) доказать по поводу словъ: „Развѣ у меня рожа крива?“ Теперь осталось все при своемъ: „И овцы цѣлы, и волки сыты“, Аллегорія аллегор(іей), а „Ревизоръ“ „Ревизоромъ“. Странно, однакожъ, что свиданье наше не удалось. Разъ въ жизни пришла мнѣ охота прочесть какъ слѣдуетъ „Ревизора“, чувствовалъ, что прочелъ бы дѣйствительно хорошо, — и не удалось. Видно, Богъ не велитъ мнѣ заниматься театромъ. Одно замѣчанье насчетъ городничаго пріймите къ свѣдѣнію. Начало перваго акта нѣсколько у васъ холодно. Не позабудьте также: у городничаго есть нѣкоторое ироническое выраженье въ минуты самой досады, какъ, напримѣръ, въ словахъ: „Такъ ужъ, видно, нужно. До сихъ поръ подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь и къ нашему“. Во второмъ актѣ, въ разговорѣ съ Хлестаковымъ, слѣдуетъ гораздо больше игры въ лицъ. Тутъ есть совершенно различныя выраженья сарказма. Впрочемъ, это ощутительнѣй по послѣднему изданію, напечатанному въ „Собраніи Сочиненій“.

Очень радъ, что вы занялись ревностно писаніемъ

---

[1] Рѣчь идетъ о „Ревизорѣ“. Щепкинъ такъ писалъ о немъ Гоголю: „прочтя ваше окончаніе „Ревизора“, я бѣсился на самого себя, на свой близорукій взглядъ, потому что до сихъ поръ я изучалъ всѣхъ героевъ „Ревизора“, какъ живыхъ людей; я такъ видѣлъ много знакомаго, такъ родного, я такъ свыкся съ городничимъ, Добчинскимъ и Бобчинскимъ втеченіе 10 лѣтъ нашего сближенія, что отнять ихъ у меня и всѣхъ вообще — это было бы дѣйствіе безсовѣстное... Нѣтъ, я ихъ вамъ не дамъ! не дамъ, пока существую. Послѣ меня передѣлывайте хоть въ козловъ“...

ваших записок. Начать въ ваши годы писать записки, это значитъ жить вновь. Вы непремѣнно помолодѣете и силами и духомъ, а чрезъ то приведете себя въ возможность прожить лишній десятокъ лѣтъ. Обнимаю васъ. Прощайте.

Н. Г.

---

51. С. Т. Аксакову.

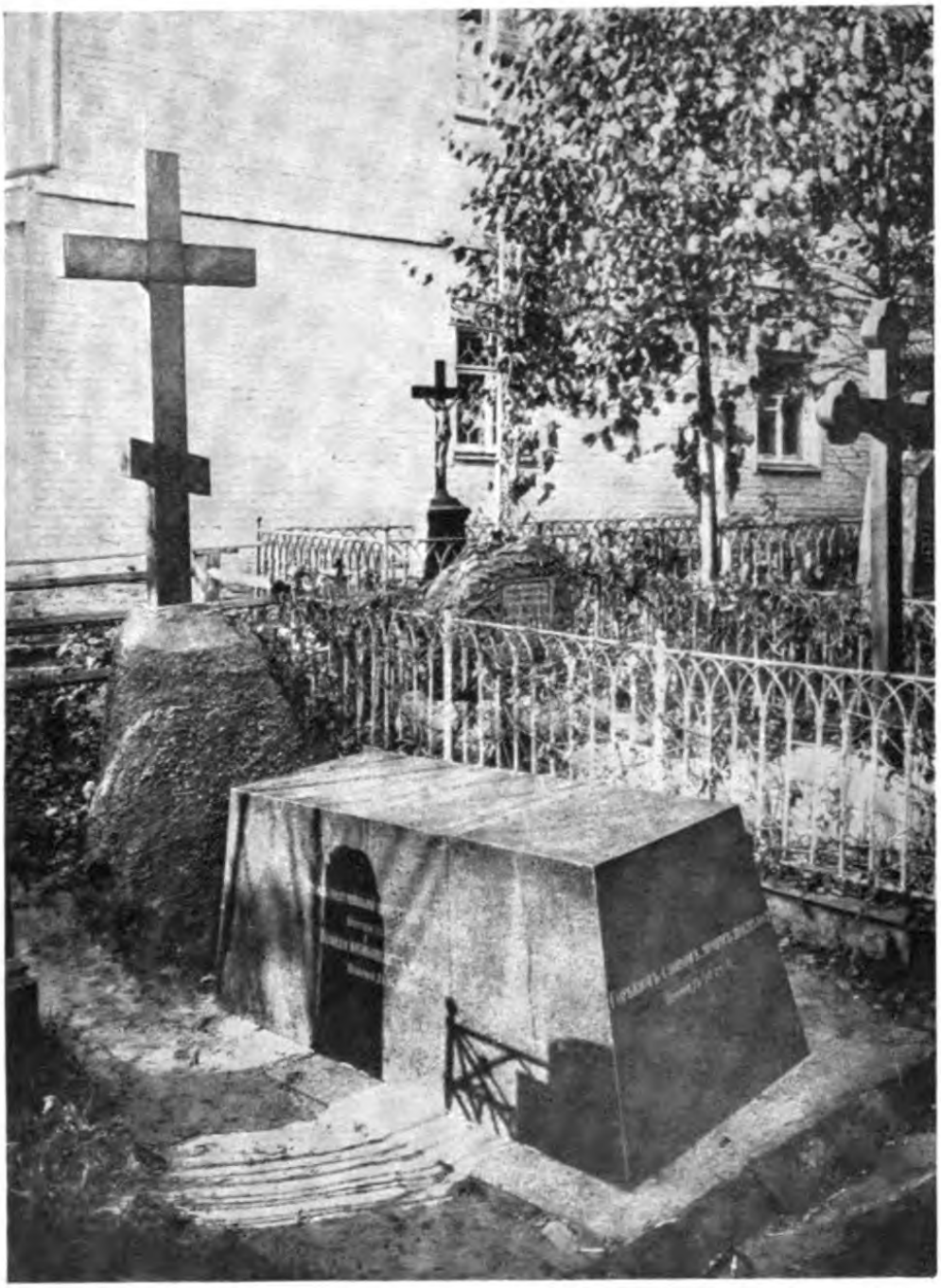
Франкфуртъ. Іюнь 10 (1847).

Погодинъ мнѣ сдѣлалъ запросъ: отчего я такъ долго не писалъ къ вамъ и не сердитъ ли я на васъ, Сергѣй Тимоѳеевичъ? Я къ вамъ не писалъ потому, что, во-первыхъ, вы сами не отвѣчали мнѣ на послѣднее письмо мое, а во-вторыхъ, потому, что вы, какъ я слышалъ, на меня за него разсердились. Ради Самого Христа, войдите въ мое положеніе, почувствуйте трудность его и скажите мнѣ сами: какъ мнѣ быть, какъ, о чемъ и что я могу теперь писать? Еслибъ я и въ силахъ былъ сказать слово искреннее — у меня языкъ не поворотится. Искреннимъ языкомъ можно говорить только съ тѣмъ, кто сколько-нибудь вѣритъ нашей искренности; но если знаешь, что передъ тобою стоитъ человѣкъ, уже составившій о тебѣ свое понятіе и въ немъ утвердившійся, тутъ у наиискреннѣйшаго человѣка онѣмѣетъ слово, не только у меня, человѣка, какъ вы знаете, скрытнаго, котораго и скрытность произошла отъ неумѣнья объясниться. Ради Самого Христа, прошу васъ теперь не изъ дружбы, но изъ милосердія, которое должно быть свойственно всякой доброй и сострадущей душѣ, — изъ милосердія прошу васъ взойти въ мое положеніе, потому что душа моя уныла, какъ ни крѣплюсь и ни стараюсь быть хладнокровнымъ. Отношенія мои стали слишкомъ тяжелы со всѣми тѣми друзьями, которые поторопились подружиться со мною, не узнавши меня. Какъ у меня еще совсѣмъ не закружилась голова, какъ я не сошелъ еще съ ума отъ всей этой безтолковщины — этого я и самъ не могу понять. Знаю только, что сердце мое разбито и дѣятельность моя отнялась. Можно еще вести брань съ самыми ожесточенными врагами, но храни Богъ всякаго отъ этой страшной битвы съ друзьями! Тутъ все изнеможетъ, что ни есть въ тебѣ. Другъ мой, я изнемогъ, — вотъ все, что могу вамъ сказать теперь. Что же касается до неизмѣнности моихъ сердечныхъ отношеній, то скажу вамъ, что любовь, болѣе чѣмъ когда-либо прежде, теперь до-

ступнѣе душѣ. Если я люблю и хочу любить даже тѣхъ, которые меня не любятъ, то какъ я могу не любить тѣхъ, которые меня любятъ? Но я прошу васъ теперь не о любви. Не имѣйте ко мнѣ любви, но имѣйте хотя каплю милосердія, потому что положеніе мое, повторяю вамъ вновь, тяжело. Если бы вы вошли въ него хорошенько, вы бы увидѣли, что мнѣ труднѣе, нежели всѣмъ тѣмъ, которыхъ я оскорбилъ. Другъ мой, я говорю вамъ правду.

Обнимаю васъ отъ всей души. Весь вашъ Г.

...Другъ мой, тяжело очутиться въ этомъ вихрѣ недоразумѣній! Вижу, что мнѣ нужно надолго отказаться отъ пера во всѣхъ отношеніяхъ и отъ всего удалиться...



Н. В. Гоголь. . .. Т-во „Просвѣщеніе“ въ Спб.

Могила Гоголя въ Даниловомъ монастырѣ, въ Москвѣ.

Съ фотографическаго снимка.

Этюды о Гоголѣ.

I.

Литературныя отраженія смерти Гоголя.

О смерти Гоголя писали много — можетъ быть, слишкомъ много...

До послѣднихъ мелочей возстановлена внѣшняя картина умиранія; поставленъ тщательный медицинскій діагнозъ омрачавшей послѣдніе годы его жизни душевной болѣзни и указаны ея зачатки въ прошломъ Гоголя; рѣзкими и яркими штрихами намѣчены разложеніе таланта при полномъ сознаніи, осязательное распаденіе творческой способности, потеря вѣры въ себя и невыносимый душевный разладъ.

Но мы почти совсѣмъ не знаемъ того, какъ отнеслись къ этой ужасной трагедіи общество и литература, какой слѣдъ въ ихъ сознаніи она оставила. Въ современныхъ этому событію воспоминаніяхъ промелькнули отдѣльныя черты, иногда очень любопытныя и знаменательныя, но ихъ никто еще не собралъ; въ печати робко прозвучало нѣсколько взволнованныхъ и прочувствованныхъ голосовъ (многіе изъ нихъ, по независящимъ обстоятельствамъ, такъ и замерли до печатнаго станка), но имъ никто еще не подвелъ итоговъ.

А между тѣмъ они представляютъ большой интересъ, и какъ мѣрило сознательности общества, и какъ симптомъ литературнаго направленія, и какъ лучшій показатель значенія Гоголя.

На нѣкоторыхъ изъ нихъ мы и остановимся.

Немногіе сумѣли вдуматься въ горькій и грозный смыслъ только что происшедшаго событія, неожиданнаго и обидно непонятнаго; они прежде всего испытали чувство острой грусти, растерянности, сознанія общей вины. Кто пришелъ къ нему на помощь „въ минуту душевной невзгоды“?

Кто берегъ эту „вазу, всю въ трещинахъ, довольно старую и еле держащуюся“, въ которой было „заклю-

чено сокровище", о чемъ просилъ самъ великій писатель? Никто не помѣшалъ той литературной травлѣ, которая доконала его, и многіе приняли въ ней живое участіе ...

Бергъ въ „Москвитянинѣ" (1852 VII) такъ каялся „надъ гробомъ Гоголя":

Ударилъ часъ — и нѣтъ у насъ его!
Пытливое еще закрылось око,
Еще у насъ не стало одного,
Кто видѣлъ Русь и жизнь ея глубоко!
И онъ, какъ тѣ, угасъ во цвѣтѣ лѣтъ,
И всѣ сердца исполнились печали,
И поняли, кого межъ нами нѣтъ,
Кого мы невозвратно потеряли...
А между тѣмъ, когда межъ нами жилъ
И дѣйствовалъ и мыслилъ этотъ геній,
Исполненный живыхъ, чудесныхъ силъ
И тайныхъ, неразгаданныхъ видѣній, —
Тогда вполнѣ его не понималъ
Никто изъ насъ, по своему толкуя
О томъ, что онъ въ душѣ своей скрывалъ,
Одинъ за всѣхъ страдая и тоскуя.
И малодушно былъ онъ осужденъ,
И много въ немъ увидѣли пороковъ,
И много нареканій вынесъ онъ
И горько оскорбительныхъ упрековъ.
Но все молчалъ, таясь отъ всѣхъ вдали ...
И умеръ онъ, и вдругъ намъ грустно стало,
Что мало жизнь мы эту берегли,
И, можетъ, ей сочувствовали мало.
И всѣ теперь ко гробу мы спѣшимъ,
Гдѣ скрылся онъ, борьбою утомяся,
И плачемъ тамъ, склоняясь передъ нимъ
И за душу покойнаго моляся.
Какъ будто смерть разоблачила намъ
Его нераздѣленныя страданья
И шутки со слезами пополамъ
И вѣчное, упорное молчанье;
Какъ будто намъ теперь лишь уясненъ
Великій духъ — и мы должны сознаться,
Что въ правѣ былъ задумываться онъ
И въ самого себя уединяться...

Некрасовъ („Современникъ", 1852, III) считаетъ такую судьбу обычной для писателей, „чей горделивый геній сталъ обличителемъ толпы, ея страстей и заблужденій"

Питая ненавистью грудь,
Уста вооруживъ сатирой,
Проходитъ онъ тернистый путь
Съ своей карающею лирой;
Его преслѣдуютъ хулы,
Онъ ловитъ звуки одобренья
Не въ сладкомъ ропотѣ хвалы,
А въ дикихъ крикахъ озлобленья.
И вѣря и не вѣря вновь
Мечтѣ высокаго призванья,
Онъ проповѣдуетъ любовь

Враждебнымъ словомъ отрицанья —
И каждый звукъ его рѣчей
Плодитъ ему враговъ суровыхъ,
И умныхъ, и пустыхъ людей,
Равно клеймить его готовыхъ.
Со всѣхъ сторонъ его клянутъ
И только, трупъ его увидя,
Какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ,
И какъ любилъ онъ — ненавидя!..

„Вѣдомости Московской Городской Полиціи" (№ 47) помѣстили стихи какого то Шр... „безъ измѣненія, какъ выраженіе скорби одного изъ многихъ, кто чувствуетъ великость нашей утраты". Авторъ проникнутъ глубокимъ скорбнымъ чувствомъ:

Пойдемъ къ нему печальною толпою,
Взглянуть въ лицо въ послѣдній разъ;
Къ добру когда то мощною душою
Сквозь смѣхъ и слезы велъ онъ насъ...
. . . . . .
Снесемъ его печальною толпою
Въ ряды старѣющихъ могилъ,
И кто злословилъ, кто любилъ,
Пусть броситъ братскою рукою
На новоселье горсть земли, —
Все, что теперь мы дать могли...

Въ далекой ссылкѣ отозвался на національную потерю А. Н. Плещеевъ (Стих., Спб., 1898, 73).

Еще одинъ великій голосъ смолкъ --
Правдивый голосъ обличенья!
Но гдѣ же слезы сожалѣнья?
Лишь дѣти лжи, поднявши буйный толкъ,
Глумятся надъ великой тѣнью.
Давно ль онъ словомъ пламеннымъ каралъ
Тебя, изнѣженное племя?
Давно ль любви и правды сѣмя
Въ сердца людей такъ щедро онъ бросалъ?..
Иль позабыто это время?
Недолго волновала васъ
Тѣхъ словъ пророческая сила!
Дымятся снова злу кадила,
И все, о чемъ вѣщалъ пророка гласъ,
Корысть и пошлость поглотила!
Но день придетъ — и стихнетъ клевета,
И, вмѣсто криковъ озлобленья,
Въ тотъ день великій возрожденья
Услышитъ духъ поборника Христа
Толпы людской благословенья!

Онъ не рѣшился однако назвать Гоголя и даже позднѣе обозначалъ годъ очень неопредѣленно: „185".

Москва горячо и сердечно отнеслась въ смерти своего пріемнаго сына.

Раньше всего, какъ и слѣдовало ожидать, о смерти Гоголя отозвались тогдашнія „Московскія Вѣдомости" (№ 24, 23 февраля, стр. 243): „въ четвергъ, 21 февраля,

въ 8 часовъ утра, скончался Н. В. Гоголь. Эти простыя слова скорбно отзовутся во всѣхъ концахъ русскаго міра. Теперь, передъ тѣломъ отшедшаго въ вѣчность, не измѣрять, а только чувствовать можемъ мы эту великую утрату. Русской мысли и слову покойный оказалъ безсмертныя заслуги. Его вліяніе на умы было глубоко и обширно. Его произведенія, исполненныя неистощимой жизни, останутся на вѣки дорогимъ достояніемъ народа. Самыя ничтожныя явленія жизни возводились имъ, говоря его словами, „въ перлъ созданія“ и получали жизнь въ полнотѣ его изображеній. Его геній не боялся унизить себя изображеніемъ мелочей человѣческаго быта; безпощадно разоблачая ничтожество и пустоту, мысль его всегда была строга и цѣломудренна. Онъ писалъ не по суетнымъ внушеніямъ, въ основаніи его мыслей всегда таилась возвышенная дума и билось горячее сердце. Отсюда то и бралась та чудесная прелесть, которою дышатъ его произведенія. Потому то такъ чиста и выходила его мысль изъ тѣхъ темныхъ убѣжищъ, въ которыхъ онъ преслѣдовалъ человѣческое ничтожество. Сѣмя недуга, которымъ онъ похищенъ, уже давно въ немъ развивалось. Но кто ожидалъ, что мы лишимся его такъ скоро? Его кончина была для всѣхъ внезапностію. Незадолго до своего послѣдняго дня онъ выходилъ еще изъ дому, но въ немъ самомъ, казалось, было уже предчувствіе близкой смерти. Еще въ сырную недѣлю онъ готовился къ пріобщенію Св. Тайнъ. Глубокая религіозность, бывшая его отличительнымъ свойствомъ, сопровождала его до послѣдней минуты, и онъ скончался весь преданный загробнымъ помысламъ, обращенный къ тому міру, который передъ нимъ открывался. Гоголь скончался 44 лѣтъ отъ роду, унося съ собою еще такъ много великихъ надеждъ. Тѣло покойнаго, какъ почетнаго члена, перенесено было вчера (22 февраля) въ университетскую церковь. Выносъ происходилъ въ 8 часовъ пополудни. Друзья покойнаго и цѣнители его высокаго дара несли гробъ на рукахъ до самой церкви“...

Въ слѣдующемъ номерѣ (отъ 25 февраля) даны очень любопытныя свѣдѣнія о самомъ погребеніи (стр. 253): „въ воскресенье, 24 февраля, послѣ Божественной литургіи происходило отпѣваніе тѣла Н. В. Гоголя, въ присутствіи Г. Градоначальника Москвы, Его Сіятельства гр. А. А. Закревскаго [1], Его Превосхо-

[1] По разсказамъ современниковъ, въ полномъ парадѣ, съ андреевской лентой.

дительства Г. Попечителя Московскаго Учебнаго Округа В. И. Назимова, многихъ почетныхъ лицъ столицы, при многочисленномъ стеченіи чтителей памяти покойнаго, наполнявшихъ обширную церковь Университета. Предъ окончаніемъ литургіи было сказано прот. Богдановымъ надгробное слово. По окончаніи печальнаго обряда гробъ былъ вынесенъ изъ церкви профессорами и потомъ до самаго Данилова монастыря, не взирая на неудобства пути, былъ несенъ на рукахъ, преимущественно студентами, въ сопутствіи множества лицъ, усердствовавшихъ проводить тѣло усопшаго до мѣста его послѣдняго успокоенія.

Гоголь скончался вдали отъ родныхъ, но вотъ вокругъ его гроба стѣснилось это множество лицъ, которыхъ большая часть, навѣрное, и не видала его при жизни. Всѣхъ собрало одно чувство, всѣ стеклись отдать послѣдній долгъ человѣку, ознаменовавшему себя скромною дѣятельностью писателя; всѣ, навѣрное, принесли съ собою искреннюю молитву, искреннюю думу о почившемъ. Слезы, которыя были здѣсь замѣчены, не могли имѣть иного источника, кромѣ истинной скорби объ утратѣ человѣка, всѣмъ равно близкаго".

Любопытныя подробности относительно похоронъ даютъ воспоминанія анонима — современника („Русское Слово", 1902, № 51):

„Я былъ въ послѣднемъ классѣ Л... института въ Москвѣ и уже нѣсколько лѣтъ зачитывался Гоголемъ; собраніе его сочиненій было, можно сказать, моею настольною книгою, хотя это очень не нравилось нашему инспектору, во всѣхъ другихъ отношеніяхъ умному и вполнѣ порядочному человѣку. Въ субботу узналъ я, что Гоголь неожиданно умеръ и что его будутъ завтра отпѣвать въ университетской церкви. Утромъ, надѣвъ полную форму, я отправился въ университетъ; изъ-за моего мундирчика и малаго роста меня легко пропустили впередъ, и я сталъ шагахъ въ десяти отъ гроба, а когда обѣдня стала подходить къ концу, въ церкви набралась такая толпа, что меня притиснули почти къ самому катафалку, и я ясно видѣлъ исхудавшее лицо покойника, окруженное лаврами и цвѣтами. Отъ духоты и, можетъ быть, отъ горя одному изъ профессоровъ сдѣлалось дурно. Это былъ, какъ узналъ я тутъ же, С. П. Шевыревъ, близкій пріятель Гоголя. Слезъ ни на чьихъ глазахъ я не видалъ, а только выраженіе какого то торжественнаго о б щ а г о огорченія отъ незамѣнимой потери. Когда стали прощаться съ покойникомъ, я воспользовался моей близостью къ гробу и простился одинъ

изъ первыхъ и при этомъ захватилъ на память порядочный пукъ цвѣтовъ и лавровыхъ листьевъ. Почти всѣ послѣдовали моему примѣру. Черезъ нѣсколько минутъ ко мнѣ подошла дама лѣтъ подъ сорокъ, съ красивыми глазами.

— „Молодой человѣкъ!“ сказалаона мнѣ: „удѣлите мнѣ часть вашихъ цвѣтовъ: я уже не могла получить ни листика“.

Я отдѣлилъ добрую половину и подалъ ей.

Она ласково поблагодарила и назвала свою фамилію; это была графиня Растопчина.

Ничего другого не осталось въ моей памяти отъ этого дня, все значеніе котораго я понялъ много позднѣе“.

Получилась вообще внушительная общественная манифестація — въ то время, какъ въ Петербургѣ не пропустили очень невинной статейки Тургенева [1], и онъ извѣстнымъ образомъ поплатился за присылку ея въ Москву, гдѣ легко проходили болѣе горячія и сильныя статьи — даже въ „Вѣдомостяхъ Московской Городской Полиціи“...

Въ „Письмѣ“ Тургенева звучитъ только скорбь, сознаніе всей величины и невознаградимости утраты („Московскія Вѣдомости“, 1852, № 32).

„Гоголь умеръ! Какую русскую душу не потрясутъ эти два слова? — Онъ умеръ. Потеря наша такъ жестока, такъ внезапна, что намъ все еще не хочется ей вѣрить. Въ то самое время, когда мы всѣ почти надѣялись, что онъ нарушитъ, наконецъ, свое долгое молчаніе, что онъ обрадуетъ, превзойдетъ наши нетерпѣливыя ожиданія, — пришла эта роковая вѣсть! — Да, онъ умеръ, этотъ человѣкъ, котораго мы теперь имѣемъ право, горькое право, данное намъ смертію, назвать великимъ; человѣкъ, который своимъ именемъ означилъ эпоху въ исторіи нашей литературы; человѣкъ, которымъ мы гордимся, какъ одной изъ славъ нашихъ! — Онъ умеръ, пораженный въ самомъ цвѣтѣ лѣтъ, въ разгарѣ силъ своихъ, не окончивъ начатаго дѣла, подобно благороднѣйшимъ изъ его предшественниковъ... Его утрата возобновляетъ скорбь о тѣхъ незабвенныхъ утратахъ, какъ новая рана возбуждаетъ боль старинныхъ язвъ“.

Тургеневъ не хочетъ говорить теперь объ его заслугахъ: „Намъ только хочется быть однимъ изъ отго-

---

[1] Въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ (№ 45) о смерти Гоголя было напечатано только 2 строчки: „мы сейчасъ получили извѣстіе, глубоко прискорбное: 21 февраля скончался въ Москвѣ Н. В. Гоголь“.

лосковъ той великой скорби, которую мы чувствуемъ разлитой повсюду вокругъ насъ; не оцѣнять его намъ хочется, но плакать; мы не въ силахъ говорить теперь спокойно о Гоголѣ: самый любимый, самый знакомый образъ не ясенъ для глазъ, орошенныхъ слезами"...

Его взоры обращаются къ Москвѣ: „Въ день, когда его хоронитъ Москва, намъ хочется протянуть ей отсюда руку — соединиться съ ней въ одномъ чувствѣ общей печали. Мы не могли взглянуть въ послѣдній разъ на его безжизненное лицо; но мы шлемъ ему издалека нашъ прощальный привѣтъ — и съ благоговѣйнымъ чувствомъ слагаемъ дань нашей скорби и нашей любви на его свѣжую могилу, въ которую намъ не удалось, подобно москвичамъ, бросить горсть родимой земли! Мысль, что прахъ его будетъ покоиться въ Москвѣ, наполняетъ насъ какимъ то горестнымъ удовлетвореніемъ. Да, пусть онъ покоится тамъ, въ этомъ сердцѣ Россіи, которую онъ такъ глубоко зналъ и такъ любилъ, такъ горячо любилъ, что одни легкомысленные или близорукіе люди не чувствуютъ присутствія этого любовнаго пламени въ каждомъ имъ сказанномъ словѣ. Но невыразимо тяжело было бы намъ подумать, что послѣдніе, самые зрѣлые плоды его генія погибли для насъ невозвратно — и мы съ ужасомъ внимаемъ жестокимъ слухамъ объ ихъ истребленіи".

Ему хотѣлось вѣрить, что смерть всюду и во всѣхъ создастъ примирительное настроеніе: „едва ли нужно говорить о тѣхъ немногихъ людяхъ, которымъ слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неумѣстными... Смерть имѣетъ очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумѣнія — все смолкаетъ передъ самой обыкновенной могилой! Они не заговорятъ надъ могилой Гоголя. Какое бы ни было окончательное мѣсто, которое оставитъ за нимъ исторія, мы увѣрены, что никто не откажется повторить теперь же вслѣдъ за нами: „миръ его праху, вѣчная память его жизни, вѣчная слава его имени!"

Отозвался на общее горе и Погодинъ, незадолго передъ тѣмъ жестоко оскорбленный отзывомъ Гоголя въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями", но теперь все забывшій передъ величіемъ смерти и тяжестью утраты (Москвитянинъ", № 5).

„Публика требуетъ подробностей о кончинѣ своего любимца; въ городѣ ходятъ разные слухи и толки. Скрѣпя сердце, приступаю къ исполненію журнальной обязанности, которая никогда не была для меня такъ тягостна"

„Чѣмъ онъ былъ боленъ? На этотъ вопросъ можно отвѣчать лишь то, что страдалъ, страдалъ много, страдалъ тѣломъ и душой, но въ чемъ именно заключались его страданія, какъ они начались, — никто не знаетъ, и никому не сказалъ онъ объ нихъ ничего, даже своему духовнику".

Исторію послѣднихъ дней жизни Гоголя Погодинъ возстановляетъ въ такомъ видѣ. „По соображеніямъ, оказывается теперь, что въ послѣднее время онъ уклонялся подъ разными предлогами отъ употребленія пищи, въ чемъ, однакожъ, уличить было его невозможно.

Во вторникъ на масляницѣ онъ пріѣзжалъ къ своему духовнику, живущему въ отдаленной части города, извѣстить, что говѣетъ, и спросить, когда можетъ пріобщиться. Тотъ посовѣтовалъ было дождаться первой недѣли поста, а потомъ согласился и назначилъ четвергъ.

Въ четвергъ явился онъ въ церковь еще до заутрени и исповѣдался, Передъ принятіемъ святыхъ даровъ, за обѣдней, палъ ницъ и много плакалъ. Былъ уже слабъ и почти шатался. Вечеромъ пріѣхалъ онъ опять къ священнику, и просилъ его отслужить благодарственный молебенъ, упрекая себя, что забылъ исполнить это поутру... Въ понедѣльникъ только обнаружилось его совершенное изнеможеніе. Онъ не могъ уже ходить и легъ въ постель. Призваны были доктора. Онъ отвергалъ всякое пособіе, ничего не говорилъ и почти не принималъ пищи. Просилъ только по временамъ пить и глоталъ по нѣскольку капель воды съ краснымъ виномъ. Никакія убѣжденія не дѣйствовали. Такъ прошла вся первая недѣля. Въ четвергъ сказалъ: „Надо меня оставить — я знаю, что долженъ умереть". Въ понедѣльникъ на второй недѣлѣ духовникъ предложилъ ему пріобщиться и пособороваться масломъ, на что онъ согласился съ радостью и выслушалъ всѣ евангелія въ полной памяти, держа въ рукахъ свѣчу, проливая слезы. Вечеромъ уступилъ было настояніямъ духовника принять медицинское пособіе, но лишь только прикоснулись къ нему, какъ закричалъ самымъ жалобнымъ, раздирающимъ голосомъ: „Оставьте меня, не мучьте меня!" — Кто ни приходилъ къ нему, онъ не поднималъ глазъ, приказывалъ только по временамъ переворачивать себя или подавать себѣ пить. Иногда показывалъ свое нетерпѣніе.

Во вторникъ онъ выпилъ безъ прекословія чашку бульону, поднесенную ему служителемъ, черезъ нѣсколько времени другую и подалъ тѣмъ надежду къ

перемѣнѣ въ своемъ положеніи, но эта надежда продолжалась недолго. Въ среду обнаружились явные признаки жестокой нервической горячки. Употреблены были всѣ средства, коихъ онъ, кажется, уже не чувствовалъ, изрѣдка бредилъ, восклицая: „Поднимите, заложите, на мельницу, ну же, подайте!“ Ночью дышалъ тяжело, но къ утру затихъ и скончался“.

Такъ умиралъ и умеръ „духомъ схимникъ сокрушенный, а перомъ Аристофанъ“, по мѣткому выраженію кн. Вяземскаго. Какъ все характерно для его больной, измученной внутреннимъ разладомъ и физическими страданіями души!

Отправляясь жечь свои произведенія, онъ по дорогѣ „крестился во всякой комнатѣ, черезъ которую проходилъ“. Исполнивши свое ужасное дѣло, „онъ перекрестился, воротился въ прежнюю свою комнату... легъ на диванъ и заплакалъ“. „Иное надо было сжечь“, — сказалъ онъ, подумавъ, — „а за другое помолились бы за меня Богу; но, Богъ дастъ, выздоровѣю и все поправлю“... На слѣдующее утро онъ говорилъ своему хозяину, гр. Толстому: „Вообразите, какъ силенъ злой духъ! Я хотѣлъ сжечь бумаги, давно уже на то опредѣленныя, а сжегъ главы „Мертвыхъ душъ“, которыя хотѣлъ оставить друзьямъ послѣ своей смерти“.

Странными кажутся Погодину — сожженіе „Мертвыхъ душъ“, самая жизнь и смерть ихъ автора.

„Было ль это дѣйствіе величайшимъ подвигомъ христіанскаго самоотверженія, самой трудной жертвой, какую можетъ только принести наше самолюбіе, или таился въ немъ глубоко сокрытый плодъ тончайшаго самообольщенія, высшей духовной прелести, или, наконецъ, здѣсь дѣйствовала одна жестокая душевная болѣзнь? Во всѣхъ трехъ, возможныхъ и вѣроятныхъ, случаяхъ онъ имѣетъ равное право на наше человѣческое участіе, и всѣ они одинаково вызываютъ насъ къ размышленію глубокому въ наше время, исполненное чудныхъ явленій и въ обществахъ и въ людяхъ“.

Таинство смерти еще болѣе подчеркнуло загадочность необыкновенно сложной натуры Гоголя.

„Можно утверждать только то, что это была натура особливая, которая по кончинѣ сдѣлалась еще таинственнѣе и еще мудренѣе для уразумѣнія, чѣмъ была при жизни, и которую судить простой мѣркой, по обыкновеннымъ нашимъ понятіямъ, нельзя и не должно. Можетъ быть, духъ, который былъ условіемъ его созданій и который сообщилъ имъ ту ни съ чѣмъ несравненную для насъ любезность и прелесть, ту силу уди-

вительную, которой ничто не противилось, былъ вмѣстѣ и условіемъ его такой жизни, его такой смерти, его такого образа дѣйствій: еслибы онъ не умеръ такъ, можетъ быть, онъ не могъ бы и жить такъ, и, не живя такъ, не могъ бы и писать такъ". „Что принадлежало въ немъ его физіологіи, его національности, его воспитанію, его жизни, опыту, что было ему врождено, что въ немъ выработалось безъ его вѣдома, всего этого разобрать едва ли достанетъ въ комъ силы. Все это вѣдать одному Сердцевѣдцу... И на что намъ разбирать источники плачевнаго событія? Больше ли мы должны благоговѣть передъ христіаниномъ, чѣмъ сострадать несчастливцу или священно — трепетать о человѣкѣ? Друзья-братья! человѣкъ еще ближе всѣхъ къ намъ. Оставимъ же безполезныя изслѣдованія и невѣрныя догадки. Оплачемъ горькими слезами то, что потеряли, и возблагодаримъ сторицей за то, что осталось! Будемъ удивляться великому художнику и молиться, кто можетъ, о слабомъ человѣкѣ".

Въ заключеніе Погодинъ упоминаетъ о „торжественныхъ, умилительныхъ похоронахъ Гоголя, приносящихъ столько чести Москвѣ и ея начальству", — прибавляетъ при этомъ, съ обычной для него грубоватой безтактностью: „въ роковую недѣлю меня не было въ Москвѣ, какъ будто въ наказаніе, что я въ послѣднее время позволялъ себѣ питать разныя подозрѣнія насчетъ его (Гоголя) и не вѣрилъ вполнѣ его искренности".

Глубокимъ раскаяніемъ и искренней неподдѣльной грустью дышатъ слова С. Т. Аксакова („Московскія Вѣдомости", № 32). Онъ, можетъ быть, болѣе всѣхъ московскихъ пріятелей любилъ Гоголя, горячо преклонялся передъ его геніемъ, но, задѣтый за живое общимъ тономъ „Выбранныхъ мѣстъ", рѣзче всего нападалъ на свой прежній кумиръ. Теперь онъ горько раскаивается.

„Гоголя нѣтъ на свѣтѣ, Гоголь умеръ... странныя слова, не производящія обыкновеннаго впечатлѣнія. Умереть Гоголю вдругъ нельзя; тѣло его предано землѣ, но духъ вошелъ въ нашу жизнь, особенно въ жизнь молодого поколѣнія. Много, очень много надобно времени, чтобы память о Гоголѣ потеряла свѣжесть, забытъ, кажется мнѣ, онъ никогда не будетъ. Но Гоголь сжегъ „Мертвыя души"... вотъ страшныя слова! Безотрадная грусть обнимаетъ сердце при мысли, что Гоголь не досказалъ своего слова, что погибъ плодъ десятилѣтнихъ вдохновенныхъ трудовъ, что навсегда исчезли созданные имъ образы, выступившіе во второмъ

томѣ „Мертвыхъ душъ“, первыя главы котораго онъ читалъ многимъ... Это ужасно, это невыносимо горько“.

Но сердечнаго старика еще больше мучило другое: „больно и тяжело вспомнить неумѣренность порицаній, возбужденныхъ ими („Выбранными мѣстами“) во мнѣ и другихъ. Вся бѣда заключалась въ томъ, что они рано были напечатаны... Смерть все измѣнила, все поправила, всему придала настоящее мѣсто и придала значеніе. Гоголя, какъ человѣка, знали весьма немногіе. Даже съ друзьями своими онъ не былъ вполнѣ откровененъ, или, лучше сказать, всегда неоткровененъ. Онъ не любилъ говорить ни о своемъ нравственномъ настроеніи, ни о житейскихъ обстоятельствахъ, ни о томъ, что онъ пишетъ, ни о своихъ дѣлахъ семейныхъ. Кромѣ природнаго свойства замкнутости это происходило отъ того, что у Гоголя было постоянно два состоянія: творчество и вдохновеніе. Разумѣется, всѣ знали его въ послѣднемъ состояніи и всѣ замѣчали, что Гоголь мало принималъ участія въ происходившемъ вокругъ него, мало думалъ о томъ, что говорятъ ему, и часто не думалъ о томъ, что самъ говоритъ; однимъ словомъ, Гоголя не могли знать хорошо, и потому могли усомниться въ задушевности, въ правдѣ многихъ словъ его послѣдней книги. Но теперь, когда онъ смертью запечатлѣлъ искренность своихъ нравственныхъ и религіозныхъ убѣжденій, кажется, наступило время дать полную вѣру его христіанской любви къ людямъ. Рѣчь идетъ не о томъ, ошибочны были или нѣтъ нѣкоторыя мысли и воззрѣнія Гоголя, — рѣчь идетъ о правдѣ его смиренія, чистотѣ намѣреній, сердечности чувствованій и стремленій къ добру... Не заводить новыя ссоры слѣдуетъ надъ прахомъ Гоголя, а прекратить прежнія, страстями возбужденныя несогласія, и въ этомъ искать утѣшенія въ нашемъ общемъ великомъ горѣ“.

Очень любопытно, что особенно пылкія некрологическія статьи напечатали „Вѣдомости Московской Городской Полиціи“ (№ 43 и 47, первая перепечатана въ „Вѣдом. Спб. Городской Полиціи“, № 46).

На другой день послѣ смерти Гоголя это оффиціальное изданіе печатаетъ такой некрологъ: „Наша литература понесла невознаградимую потерю. Вчера въ 8 часовъ утра, послѣ кратковременной болѣзни, скончался въ Москвѣ, на 44 году отъ рожденія одинъ изъ знаменитыхъ современныхъ писателей, обезсмертившій себя дивно-художественными произведеніями, Н. В. Гоголь. Кто не читалъ его произведеній? Кто не видалъ его „Ревизора“, его „Женитьбы“, его „Игроковъ“? Кто не

любовался его „Старосвѣтскими помѣщиками“ и кто отъ души не хохоталъ при чтеніи ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, кто не удивлялся его затѣйливой фантазіи въ фантастическомъ разсказѣ „Носъ“, или кто не очаровался его „Тарасомъ Бульбой“, его „Віемъ“, его многими и многими очерками, повѣстями: наконецъ, кто не озирался кругомъ при чтеніи этихъ „Мертвыхъ душъ“, этой чудной поэмы, въ которой все, какъ живое, становится передъ глазами читателя? Кто, спрашиваемъ, не читалъ этого писателя, вызвавшаго столько толковъ, составившаго своими произведеніями новую эпоху въ нашей литературѣ, поведшаго ее по новому, указанному имъ писателямъ пути; но предъ лицомъ всесильной смерти всякая земная мысль смолкаетъ“...

На страницахъ тѣхъ же „Вѣдомостей Московской Городской Полиціи“ (№ 47) былъ помѣщенъ сильный, прочувствованный и горячо написанный некрологъ гр. Растопчиной. Онъ остался неизвѣстнымъ даже записнымъ библіографамъ и настолько характеренъ самъ по себѣ, что мы считаемъ нужнымъ познакомить съ нимъ читателей возможно подробнѣе.

„Вѣчная память“ пропѣлъ сегодня гласъ православнаго клира надъ бренными останками усерднаго христіанина, и въ то же время отъ имени Россіи, ея сердце, Москва, вся Москва повторяла эти слова надъ знаменитымъ покойникомъ, славой и любовью нашей литературы. Вѣчная память ему, нашему Гоголю, нашему великому и благонамѣренному писателю, нашему исправителю и другу, этому таланту-исполину, возведшему русскую прозу на ту ступень совершенства и могущества, на которую одинъ только Пушкинъ возводилъ прежде русскій стихъ!.. Вѣчная память этому свѣтлому и мудрому уму, постигшему глубоко всѣ стороны человѣчества и воспроизводившему ихъ съ пламенной любовью ко всему высокому и прекрасному, съ благороднымъ негодованіемъ противъ всего порочнаго и низкаго!.. Вѣчная память и тебѣ, горячее сердце патріота, понявшее святую Русь и посвятившее ей свои лучшія, свои любимѣйшія вдохновенія!.. Потомство исполнитъ завѣщаніе, нами ему сегодня данное надъ гробомъ твоимъ, нашъ Гоголь, и вѣчной, громкой, признательной памятью заплатитъ тебѣ долгъ нашъ, запишетъ славное имя твое между именами, коими справедливо гордится нашъ вѣкъ. Почій спокойно и мирно, тихимъ сномъ праведника, достигшаго желаемой пристани; память твоя сохранится долго и долго въ этой

отчизнѣ, столь тобой любимой, и современники твои передадутъ ее на прославленіе грядущимъ поколѣніямъ!.. Подвигъ твой, еслибъ и долженъ остаться недоконченнымъ, — подвигъ твой полонъ и безсмертенъ: въ немъ отразилась вся душа твоя, и живетъ весь твой чудный геній! Теряемъ тебя въ полномъ цвѣтѣ жизни, въ лучшихъ годахъ человѣческой жизни, въ то самое время, когда здоровье твое казалось намъ возстановленнымъ, послѣ многолѣтнихъ потрясеній, и когда, обманутые твоимъ мнимымъ возрожденіемъ, мы ожидали отъ тебя такъ много дивныхъ созданій и краснорѣчивыхъ страницъ... Смерть рано уноситъ русскихъ поэтовъ и не даетъ имъ дожить до исполненія всѣхъ надеждъ, на нихъ возлагаемыхъ; но зато мы крѣпко любимъ ихъ, и сегодняшнее утро доказало это вполнѣ. Да! если что-нибудь можетъ послужить утѣшеніемъ въ общей и великой нашей скорби, то это то умилительное зрѣлище, которое представляла печальная церемонія отпѣванія и погребенія Гоголя. Патріотическое усердіе благороднаго и прямо русскаго сановника[1] поняло, что прахъ Гоголя принадлежитъ всей Россіи, и московскому университету, какъ представителю науки и просвѣщенія въ родинѣ нашей, поручило воздать ему послѣдній долгъ. Въ университетской церкви, подъ охраненіемъ юношества, исполненнаго къ Гоголю восторженнаго благоговѣнія, покоилось тѣло дорогого усопшаго, и оттуда, по совершеніи Божественной литургіи и отпѣваніи, долженствовало оно быть препровождено до послѣдней своей обители въ Даниловомъ монастырѣ. Около гроба Гоголя, подъ вліяніемъ общаго чувства горестной утраты, стеклось со всѣхъ концовъ Москвы все, что уважало талантъ его, чтило его личность. Все, что сочувствовало славѣ отечества и дорожило его знаменитостями, окружало почтительно того, кого всѣ оплакиваютъ столь единодушно. У Гоголя не было въ Москвѣ ни семейства, ни родственниковъ, а между тѣмъ у него нашлась семья, огромная семья, соединенная узами одного и того же сожалѣнія, одной и той же печали. При жизни Николая Васильевича болѣзнь иногда отдаляла его даже отъ самыхъ ему преданныхъ друзей, нынче всѣ друзья и всѣ почитатели встрѣтились у подножья гроба его и окружили его, соединяя свои о немъ слезы и молитвы. Еслибы новопреставленный могъ свыше усмотрѣть все, что происходило при торжественномъ обрядѣ, то онъ не можетъ болѣе сомнѣваться въ

[1] Попечитель учебнаго округа.

своей общенародности и въ любви къ нему всего русскаго и просвѣщеннаго".

Гр. Растопчина особенно сильно выдвигаетъ роль московскаго университета въ погребеніи Гоголя — одно изъ крупнѣйшихъ проявленій отношенія общества къ внезапно оборвавшейся трагедіи жизни великаго писателя.

„На рукахъ понесли и донесли Гоголя до могилы сперва профессора, потомъ студенты московскаго университета, котораго онъ былъ почетнымъ членомъ, и, наконецъ, безсчетное множество любителей русскаго слова и русской славы. Отъ церкви университета до самой ограды отдаленнаго монастыря не только огромный поѣздъ не убавлялся и не разрознивался, но къ нему безпрестанно приставали новые путники и провожатели разныхъ званій и сословій. И, наконецъ, съ честью опустили прахъ Гоголя въ землю, съ вѣрой и умиленіемъ помолились о немъ, столь искренно и глубоко вѣрующемъ, и Москва спрашиваетъ себя теперь, не во снѣ ли она видѣла все это трогательное зрѣлище, и точно ли не стало Гоголя. Хвала и благодарность всѣмъ почтившимъ его память, — и сановникамъ, сочувствовавшимъ общей горестной утратѣ, и ученымъ путеводителямъ юношества на стезяхъ науки, и, наконецъ, ему, этому русскому юношеству, понявшему все, что оно теряетъ въ Гоголѣ, и захотѣвшему воздать усопшему въ одинъ день все то почтеніе и всю ту любовь, которыми бы оно сопровождало его въ теченіе долгой, не данной ему жизни!.. Надѣемся, что впечатлѣнія этого дня не скоро изгладятся изъ мыслей очевидцевъ, и что незабвенному, по заслугамъ его, будетъ между нами почетная и вѣчная память!.."

Къ этимъ словамъ, собственно, нечего прибавить: они прекрасно рисуютъ, несмотря на вынужденную сдержанность тогдашней печати, все то глубокое общественное движеніе, которое было вызвано смертью Гоголя. Она всколыхнула общественное сознаніе и, благодаря живой отзывчивости интеллигентныхъ круговъ, разрослась въ крупнѣйшее событіе общественной жизни. И это въ самый разгаръ „безвременья", которое обыкновенно считаютъ мертвымъ, безпринципнымъ и безъидейнымъ...

Эти же слова возстановляютъ выпукло и ярко знаменательную картину послѣднихъ дней Гоголя, его смерти и похоронъ. Ее умѣстнѣе всего вспомнить теперь, когда минуло 50 лѣтъ со дня кончины великаго писателя.

18 февраля 1902 года.

II.

Поэтическія характеристики Гоголя.

Въ то время, какъ личности и творчеству Пушкина посвящено нѣсколько сотъ стихотвореній, поэтическихъ характеристикъ Гоголя и стихотворныхъ ему посланій не наберется и трехъ десятковъ. Самъ великій писатель прекрасно понималъ одну изъ главныхъ причинъ этого явленія. Горько жаловался онъ въ извѣстномъ мѣстѣ „Мертвыхъ душъ“ на печальную судьбу, которая достается на долю писателю, стремящемуся „озирать картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія“: „безъ раздѣленья, безъ отвѣта, безъ участья, какъ безсемейный путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствуетъ онъ свое одиночество“. „Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнованныхъ имъ душъ; къ нему не полетитъ навстрѣчу шестнадцатилѣтняя дѣвушка съ закружившеюся головою и геройскимъ увлеченьемъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяньи имъ же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, отъ современнаго суда, лицемѣрно-безчувственнаго современнаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ лелѣянныя созданья, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему качества имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта“...

Его сочиненія не „льстили“ обществу, и оно часто платило за это недоброжелательствомъ и клеветой. Въ нихъ вообще было мало пунктовъ, за которые могла бы ухватиться поэтическая идеализація, почему они и оставили такъ мало поэтическихъ отзвуковъ.

Замкнутый и скрытный, „таинственный карло“ нѣжинской гимназіи, „духомъ схимникъ сокрушенный, а перомъ Аристофанъ“ позднѣйшаго періода, онъ туго сходится съ людьми, отпугиваетъ ихъ отъ себя своею сложной и болѣзненной психологіей. „Онъ отталкиваетъ отъ себя тѣхъ, кто стремился къ нему душой и кто на такое сближеніе имѣлъ больше всего права, и водился съ оптинскими старцами и свѣтскими святошами, которымъ совсѣмъ были чужды интимные изгибы его души“...

Тѣмъ интереснѣе и въ біографическомъ, и въ психологическомъ, и вообще въ широкомъ историко-литературномъ отношеніи, немногочисленные поэтическіе

отголоски его жизни и творчества[1], попытки его поэтической характеристики.

Для Гербеля онъ — „дивный Гоголь, изъ геніевъ геній“, у котораго „улыбка скрываетъ печаль, и смѣхъ заглушаетъ рыданья“.

Романтически настроенный А. Григорьевъ шлетъ ему и Лермонтову упреки, что они своимъ желѣзнымъ словомъ, „звенѣвшимъ злобой и тоской“, искоренили изъ поэзіи „поцѣлуй“, сдѣлали міръ „унылымъ“ и „пустымъ“:

На Божій міръ такъ сумрачно глядѣли
Избранники, намъ данные судьбой...

Съ грустью вспоминаетъ Тройницкій свою кратковременную встрѣчу съ Гоголемъ въ Одессѣ и посылаетъ на его далекую могилу свой прощальный привѣтъ:

Ты мыслилъ много, и страдалъ,
И умеръ. Не осуществился
Тебя томившій идеалъ.
Изъ дольняго переселился
Ты въ оный міръ, гдѣ нѣтъ ни слезъ,
Ни мнимыхъ радостей, ни грезъ,
Ни воздыханій, ни печали,
Что прежде сердце волновали.
Туда, туда, тебѣ во слѣдъ
Я посылаю свой привѣтъ —
Твоимъ несбывшимся мечтамъ
И недомолвленнымъ рѣчамъ...

Для кн. Вяземскаго онъ — „Своенравная загадка“, „Гамлетъ“, „Забавный пересмѣшникъ съ думой скорби на челѣ“ —

Смѣсь слезъ и смѣха,
Внѣшній смѣхъ и тайный плачъ,
Ты несчастный отъ успѣха,
Какъ другой отъ неудачъ.
Обожатель и страдалецъ
Славы ласковой къ тебѣ,
Жизни труженикъ, скиталецъ
Съ бурей внутренней въ борьбѣ!
Духомъ схимникъ сокрушенный,
А перомъ Аристофанъ,
Врагъ и бичъ ожесточенный
Нашихъ немощей и ранъ,
Но къ друзьямъ, но къ скорбнымъ братьямъ
Полный нѣжной теплоты!
Умъ, открытый всѣмъ понятьямъ,
Всѣмъ залетнымъ снамъ мечты.
Жрецъ, искусству посвященный,
Жрецъ высокаго всего,
Такъ внезапно похищенный
Отъ служенья своего!

---

[1] См. В. В. Каллашъ. Гоголь въ русской поэзіи, М., 1902.

Останавливаясь передъ загадочностью жизни Гоголя, кн. Вяземскій высоко ставитъ ея общіе результаты:

Жизнь твоя была загадкой,
Намъ загадкой смерть твоя,
Но успѣлъ ты, въ жизни краткой,
Даръ и подвигъ бытія
Оправдать трудомъ и жертвой:
Не щадя духовныхъ силъ,
Въ суетахъ, въ ихъ почвѣ мертвой
Ты таланта не зарылъ.
Не алкалъ ты славы ложной,
Не вымаливалъ похвалъ,
Думой скорбной и тревожной
Высшей цѣли ты искалъ.
И порокамъ и нечестью
Обличительнымъ перомъ
Былъ ты карой, грозной местью
Предъ общественнымъ судомъ.
Теплымъ словомъ убѣжденья
Пробуждалъ ты мудрый страхъ,
Святость слезъ и умиленье
Въ облѣнившихся душахъ.
Не погибнетъ — вѣрной мздою
Плодъ воздастъ въ урочный часъ,
Добрый сѣятель, тобою
Сѣмя брошенное въ насъ!..

У Гоголя

Въ борьбѣ съ развратомъ
И о себѣ намъ слышенъ плачъ
Въ рыданіяхъ надъ падшимъ братомъ...
. . . . . .
Въ порокъ вонзая острый мечъ,
Онъ самъ былъ кающійся грѣшникъ.
И съ нимъ идемъ рука съ рукой
Въ одномъ сочувствіи горячемъ:
Съ нимъ и смѣемся надъ собой,
И надъ собой мы горько плачемъ...

П. И. Вейнбергъ прославляетъ его за „всесильный смѣхъ“ —

Не ядовитый смѣхъ слѣпого озлобленья,
Нѣтъ, тотъ, въ чьей глубинѣ бѣжитъ, чиста, свѣтла,
Струя широкая любви и сожалѣнья
О братьяхъ, гибнувшихъ въ оковахъ духа зла.
. . . . . .
Слава смѣху благородному,
Слава храброму воителю,
Прямодушному, свободному,
Тьмы и кривды разрушителю.
Слава творческому генію,
Этой силы воплощенію
Средь соотчичей своихъ,
Рѣзкимъ „словомъ отрицанія
Въ царство свѣта, мира, знанія
Призывающему ихъ!

Съ 4 стихотвореніями о Гоголѣ мы находимъ нужнымъ познакомить читателей подробнѣе: 3 изъ нихъ

совсѣмъ не вошли въ указанный выше сборникъ, и такимъ образомъ представляютъ интересъ новизны, одно попало не на мѣсто и безъ имени, такъ какъ было взято въ такомъ видѣ изъ газеты и только позднѣе случайно разыскано въ книгѣ 1855 г. (П. Григорьева).

Въ 1838 г. С. П. Шевыревъ („Русскій Архивъ", 1865, 894) въ Римѣ, отдавая Гоголю отъ имени друзей нарисованную сценическую маску, поднесъ ему такіе стихи:

Что жъ дремлешь ты? — Смотри, передъ тобой
Лежитъ и ждетъ сценическая маска.
Ее покинулъ славный твой собратъ,
Еще теперь игривымъ, вольнымъ смѣхомъ
Волнующій Италію. Возьми
Ее — вглядись въ шутливую улыбку
И въ честный видъ: ее носилъ Гольдони.
Она идетъ къ тебѣ: ея лица
Подвижными и бѣглыми чертами
Онъ смѣло выражалъ черты народа
Смѣшныя, всюду подбирая ихъ,
На улицахъ, на площадяхъ, въ кафе,
Гдѣ на распашку виденъ итальянецъ,
Гдѣ мысль его свободна и рѣзва, —
И черезъ чистый смѣхъ въ сердца гражданъ
Вливалось истины добро святое!
Ты на Руси ужъ началъ тотъ же подвигъ!
Скажи, поэтъ, когда, уставъ отъ думъ
И полнъ завѣтныхъ впечатлѣній Рима,
Ты вечеромъ, въ часы сочувствій темныхъ,
Идешь домой, не слышится ль тебѣ,
Не раздается ли въ душѣ твоей
Далекій, рѣзвый, сильный, добрый хохотъ
Съ береговъ Невы, съ береговъ Москвы родимой?
То хохотъ твой, веселья чудный пиръ,
Которымъ ты Россію угощаешь,
Добро великое посѣявъ въ ней,
Самъ удалясь отъ названныхъ гостей.
Что жъ задремалъ? — Смотри, передъ тобой
Лежитъ и ждетъ сценическая маска...
Надѣнь ее — и долго не снимай,
И новый пиръ, пиръ Таліи задай,
Чтобы на немъ весь міръ захохоталъ,
Чтобы порокъ отъ маски задрожалъ...
Но для друзей сними ее подъ-часъ:
И безъ нея ты будешь милъ для насъ.

Въ 1853 г. онъ же привѣтствовалъ М. С. Щепкина, главнымъ образомъ, какъ исполнителя Гоголевскихъ комедій („Истор. Вѣстн.", 1900, VIII, 460):

Московской сцены честь и слава!
Комедій русскихъ красота!
Сердечный смѣхъ твоя держава,
Игра — природы простота.
Художникъ честный, безъ упрека,
И красоты, и правды жрецъ,
Казнитель страсти и порока,
Прими отъ насъ любви вѣнецъ!
Вѣнецъ тѣхъ чувствъ и наслажденій,

..амъ всѣхъ дарованныхъ тобой,
Когда твой вдохновенный геній
Насъ очаровывалъ игрой.
Игрою той веселонравной
Вѣнокъ давно ты заслужилъ:
Его тебѣ нашъ Гоголь славный
Еще при жизни присудилъ.
Всѣхъ слабостей людскихъ личин
Отъ глубины душевныхъ силъ,
Изъ сердца пошлой, грозной тины
Ты въ перлъ созданья возводилъ.
И съ нами здѣсь незримымъ пиромъ
Пируетъ, понятый тобой,
Вслѣдъ за Мольеромъ и Шекспиромъ,
Поэтовъ русскихъ честный строй.
Репертуаръ твой, безъ избытка,
Ихъ именами озлатимъ:
Капнистъ, Загоскинъ, Гоголь, Квитка
И Грибоѣдовъ съ Шаховскимъ...

Исключительный интересъ представляетъ сонетъ Кайсевича, виднаго члена мистическаго польскаго ордена „змартвыхвстанцевъ“, который въ 1838 г. пытался обратить въ католичество Гоголя (Hystorja zgromadzenia Zmartwychwstania Panskiego, II, 103). „Я видѣлъ прекрасный цвѣтокъ, пересаженный съ поля; хотя его щедро поливаютъ студеной водой, хотя его освѣщаетъ и согрѣваетъ сквозь стекло солнце, онъ все же теряетъ красоту, печально поникнувъ головкой. Я видѣлъ пѣвца съ Днѣпровской стороны: хотя онъ, богато одаренный сердцемъ и умомъ, шелъ въ райскую страну, засѣянную вдохновеніемъ, однако смутная скорбь тучей нависла надъ его челомъ. Пришла весна; открыта прозрачная тюрьма; благовоннымъ фіаломъ встрѣчая чистый лучъ солнца, цвѣтокъ теплой росой утоляетъ долгую жажду. И ты, пророкъ, поднимешься надъ больной землей, и болѣе возвышенная пѣснь сильнѣе тронетъ сердца братьевъ, не замыкай только души для небесной росы“...

„Небесной росой“ и былъ именно клтолицизмъ...

Въ 1856 г., когда праздновалось столѣтіе русскаго общественнаго театра, П. Григорьевъ въ своей юбилейной цьесѣ („Въ память столѣтія русскаго театра“, Спб., 1856, 106—107) влагаетъ въ уста Мартынова такой гимнъ въ честь Гоголя:

Друзья! въ порывахъ сердца благородныхъ,
Безъ пышныхъ фразъ и словъ,
Теперь и я о томъ сказать готовъ,
Кто бездну породилъ и мнѣній разнородныхъ,
Кто нажилъ и друзей, и множество враговъ,
Кто подражателей себѣ нашелъ бездарныхъ,
Кто разбираемъ былъ въ статьяхъ высокопарныхъ,
Иль, возбудивъ невольный интересъ,

За свой талантъ, за умъ, понятія и взгляды
Кто былъ превозносимъ едва ль не до небесъ,
И вмѣстѣ былъ осмѣянъ безъ пощады, —
Ну, словомъ, кто теперь угасъ,
Судимый строго ли, не строго ль.
Но я скажу всегда и прямо, что нашъ Гоголь
Достоинъ памяти признательной отъ насъ!
Своимъ умомъ, талантомъ, яснымъ взоромъ
Онъ въ жизни общей многое раскрылъ
И сцену русскую невольно оживилъ,
Какъ подарилъ насъ Ревизоромъ!
Пусть раздается всюду приговоръ,
Гласъ скромной критики иль рѣзкій крикъ педанта,
Мы, не вступая въ шумный споръ,
Давно убѣждены, что „Ревизоръ“ —
Созданье самобытнаго таланта!
Пусть судитъ иль бранитъ сердитый журналистъ,
Здѣсь нѣтъ вражды, нѣтъ злобы и измѣны.
Миръ праху твоему, нашъ комикъ — юмористъ,
И искренній привѣтъ артистовъ русской сцены!..

Поэтическія характеристики Гоголя, немногочисленныя, но въ общемъ очень интересныя, показываютъ, какія стороны его личности и творчества обращали на себя больше вниманія въ литературной средѣ. Своеобразіе его психическаго міра, его исключительная загадочность, великое значеніе его литературной дѣятельности были прекрасно формулированы еще очень рано. Конечно, все это было достояніемъ немногихъ, лучшихъ умовъ...

III.

Воспоминанія И. А. Хлестакова о Гоголѣ.

Вы помните, какъ разошелся И. А. Хлестаковъ, взвинченный хорошимъ завтракомъ, близостью дамъ и общей почтительностью?

„Литераторовъ часто вижу. Съ Пушкинымъ на дружеской ногѣ. Бывало часто говорю ему: „Ну, что, братъ Пушкинъ?“ — Да такъ, братъ“, отвѣчаетъ бывало: „такъ какъ то все...“ Большой оригиналъ... Я имъ всѣмъ поправляю статьи“.

Представьте себѣ, что почтеннаго И. А. тяжко чѣмъ-нибудь разобидѣлъ Гоголь, что онъ дожилъ до глубокой старости и что къ нему явился какой-нибудь интервьюеръ, собирающій свѣдѣнія о Гоголѣ...

Вы получите „Воспоминанія“ В. И. Любича-Романовича, напечатанныя въ февральской книжкѣ „Историческаго Вѣстника“ 1902 года.

Ихъ записалъ со словъ этого „извѣстнаго (?) въ свое

время писателя и одного изъ друзей (??) Пушкина" почтительный г. Глѣбовъ и обнародовалъ urbi et orbi.

До сихъ поръ мы знали, что Любичъ-Романовичъ былъ старшимъ товарищемъ Гоголя по нѣжинской гимназіи, весьма посредственнымъ поэтомъ и переводчикомъ; въ 1859 г. онъ отдалъ въ „Библіографическія Записки" яко бы написанную ему въ альбомъ замѣтку Гоголя — единственный слѣдъ ихъ товарищескихъ отношеній, повидимому, бережно хранимый съ 1826 г. (если ему вообще можно вѣрить).

Нѣтъ никакихъ упоминаній объ его отношеніяхъ къ Пушкину, хотя о своей дружбѣ съ великимъ поэтомъ онъ, вѣроятно, самъ разсказывалъ г. Глѣбову. Черезъ тридцать лѣтъ послѣ смерти Гоголя онъ втихомолку наклеветалъ на своего геніальнаго однокашника, и теперь эта клевета выползла на свѣтъ Божій...

Гоголь будто бы вызывалъ у всѣхъ товарищей только насмѣшки и брезгливое презрѣніе. Съ какой то скверной затаенной ненавистью рисуетъ Романовичъ его портретъ въ дѣтствѣ, выдвигая на первый планъ „прыщи", „сплошную болячку" вмѣсто лица и пр. Его стиховъ не принимаютъ въ школьный журналъ, „Парнасскій навозъ", и помѣщаютъ только одно его произведеніе для издѣвательства. Ему брезгаютъ подавать руку, отъ него всѣ сторонятся. Но мы знаемъ, насколько онъ близко сошелся съ Прокоповичемъ, Высоцкимъ, Базили, Данилевскимъ и нѣкоторыми другими, — что онъ принималъ живое участіе въ школьныхъ журналахъ и имѣлъ репутацію хорошаго поэта и актера. Знаемъ мы и такой фактъ: „былъ въ гимназіи одинъ ученикъ съ необыкновенной страстью къ стихотворству и съ отсутствіемъ всякаго таланта — словомъ, маленькій Тредьяковскій. Гоголь собралъ его стихи, придалъ имъ названіе „Альманахъ" и издалъ подъ заглавіемъ „Парнасскій навозъ..."

Невольно приходитъ на мысль, не Любичъ ли этотъ „маленькій Тредьяковскій" и не произвелъ ли онъ запоздалую расплату за „навозъ" въ своихъ „Воспоминаніяхъ?" [1]

Онъ передавалъ г. Глѣбову свои разговоры съ Пушкинымъ, совершенно фантастическаго характера. Идея „Мертвыхъ Душъ" и „Ревизора" будто бы возникла у Пушкина, когда онъ жилъ еще въ Новороссіи, между тѣмъ какъ намъ доподлинно извѣстно, что она могла явиться только около 1833 г. Гр. Киселевъ затѣмъ „дѣлается высшей одесской губернской властью" (вѣроятно,

[1] О томъ, что онъ былъ метроманъ, см. „Истор. Вѣст." 1894, I.

очень нелѣпое смѣшеніе съ гр. Воронцовымъ). Пушкину приписана совершенно безсмысленная характеристика Хлестакова, котораго Любичъ, видимо, беретъ подъ свою защиту.

„Такъ Хлестаковъ у меня былъ намѣченъ въ живомъ лицѣ... Это своего рода Митрофанушка, только болѣе обтесанный и менѣе отроченъ (??)... Но по характеру своему такъ же наивенъ и скроменъ (!!)... чего, однако, Гоголь не далъ своему Хлестакову, вложивъ въ его рѣчь дозу нахальства и „увѣренность глупости“, потому что Хлестаковъ сознаетъ (!) свое глупое положеніе среди семьи глупаго городничаго, но все-таки его поддерживаетъ, увѣренный въ томъ, что его глупый умъ, по сравненію съ глупостью уѣзднаго начальства, много значительнѣе...“ „Глупый умъ“ Хлестакова заставляетъ Пушкина говорить и дальше совершенно невѣроятныя нелѣпости: „даже высшая одесская губернская власть, въ вѣдѣніи которой я находился тогда, какъ полуссыльный, и та ничѣмъ не уступала гоголевскому Сквознику-Дмухановскому... По своему мягкому и доброму характеру, знаменитый административный мужъ въ эпоху „николаевскихъ войнъ“, графъ Киселевъ, господарь Молдавіи и Валахіи и впослѣдствіи министръ государственныхъ имуществъ, тоже былъ Сквозникъ, въ своемъ родѣ, потому что онъ весь уходилъ въ авторитетъ своего камердинера, который ему говорилъ, что „этого“ надо наказать, а „того“ помиловать и т. д.“. Изъ логической связи этихъ безсмысленныхъ въ общемъ фразъ (если только можно говорить въ данномъ случаѣ о логикѣ), несомнѣнно, слѣдуетъ, что Любичъ пріурочивалъ ссылку Пушкина къ эпохѣ „николаевскихъ войнъ“ и ставилъ во главѣ тогдашней Одессы гр. Киселева (!!), якобы похожаго на Сквозника...

Мы знаемъ, какъ высоко ставилъ Пушкинъ своеобразіе гоголевскаго стиля и какъ восторгался его „Вечерами“. А Любичъ заставляетъ его говорить: „Какъ выраженіе ума рѣчь должна быть конкретна (!!)... Абстрактность (?) же Гоголя намъ этого не даетъ. Живые типы, имъ выведенные, далеко не натуральны, напротивъ, они сказочны... Дѣлать повѣсть изъ быта данной (?) среды нельзя въ образѣ кузнеца Вакулы съ чортомъ подъ небесами... Это нѣчто въ духѣ бабушкиныхъ сказокъ, разсказанныхъ на печи, подъ вліяніемъ кирпичнаго жара, пылко дѣйствующаго на живое сновидѣніе человѣка...“

Какъ все это глупо и пошло! Какая клевета на Пушкина и Гоголя! И зачѣмъ было извлекать весь

этотъ малограмотный вздоръ изъ „тьмы забвенія?“ Въ особенности „Историческому Вѣстнику“, въ его прекрасномъ, въ общемъ, гоголевскомъ нумерѣ — и извлекать притомъ вторично.

Въ 1892 г. на страницахъ того же „Историческаго Вѣстника“ (XII, 694—7) г. Шевяковъ помѣстилъ нѣсколько разсказовъ Любича-Романовича о Гоголѣ.

Школьныя отношенія Гоголя и его участіе въ школьной литературѣ получили тамъ совсѣмъ иное освѣщеніе.

„Всѣмъ было извѣстно, что первыя сочиненія Гоголя проходили подъ строгой редакціей Прокоповича, человѣка очень талантливаго (?), но крайне лѣниваго и не предпріимчиваго (Превозвышеніе Прокоповича — чтобы унизить Гоголя). Прокоповичъ вообще имѣлъ большой литературный вкусъ и совершенно справедливо считался знатокомъ изящныхъ искусствъ. Нашъ товарищъ П. Г. Рѣдкинъ имѣлъ комнату у проф. Бѣлоусова. По субботамъ, вечеромъ, у него собирались нѣкоторые изъ пріятелей, пописывавшіе стишки. Постоянными посѣтителями этихъ литературныхъ вечеровъ были Гоголь, Кукольникъ, К. Базили, Прокоповичъ, Гребенка, я и другіе. Происходило чтеніе нашихъ произведеній, критическій разборъ и ихъ рѣшенія, годятся ли они для помѣщенія въ издававшемся нами рукописномъ журналѣ „Навозъ Парнасскій“, или для блага автора должны быть преданы торжественному уничтоженію. Нѣкоторыя изъ стихотвореній Гоголя въ пріятельской передѣлкѣ Прокоповича, были помѣщены въ этомъ журналѣ, чему всегда (?) радовался безгранично Н. В. И тѣ изъ бойкихъ стихослагателей, которые въ стѣнахъ гимназіи трунили надъ его неудачными литературными попытками, съ какою недоумѣвающею завистью смотрѣли впослѣдствіи на славу талантливаго сатирика! Первыя прозаическія вещи Гоголя были написаны въ гимназіи и прочтены публично на вечерѣ Рѣдкина. Назывались онѣ „Братья Твердославичи“, славянская повѣсть. Нашъ кружокъ разнесъ ее безпощадно и рѣшилъ тотчасъ же предать уничтоженію. Гоголь не противился и не возражалъ. Онъ совершенно спокойно разорвалъ свою рукопись на мелкіе клочки и бросилъ въ топившуюся печь. — „Въ стихахъ упражняйся“, дружески посовѣтовалъ ему тогда Базили: „а прозой не пиши, очень ужъ глупо выходитъ у тебя. Беллетристъ изъ тебя не вытанцуется, это сейчасъ видно“... Но безъ пріятельской поддержки Прокоповича и стихи Гоголя были бы не годны, такъ какъ онъ

никогда (?) не могъ совладать съ размѣромъ, съ гармоніей, и, гоняясь за риѳмами, такъ обезображивалъ всегда (!) смыслъ своихъ твореній, что даже всегда сдержанный Прокоповичъ приходилъ въ ужасъ. Такимъ образомъ, начало его литературной дѣятельности было слишкомъ печально и въ будущемъ не предвѣщало ничего хорошаго, однако, ожиданія всѣхъ насъ жестоко обманули, и мы были счастливыми свидѣтелями апогея его славы".

„Клевета ядовитая" въ разговорахъ съ г. Глѣбовымъ сдѣлалась еще наглѣе и гнуснѣе. Застарѣлая ненависть Любича, вѣроятно, возникла еще въ гимназіи, подогрѣвалась потомъ еще пренебрежительными отношеніями Гоголя и „недоумѣвающею завистью". Любичъ, конечно, могъ знать ту нескрываемую, очень замѣтную иронію, съ которою относился къ нему его геніальный однокашникъ и которая ярко сказывается въ мимолетныхъ упоминаніяхъ о немъ въ письмахъ Гоголя.

Въ письмѣ къ своему пріятелю Высоцкому онъ спрашиваетъ о Любичѣ (изд. Маркса, 1, 55): „Что то, я думаю, его муза подѣлываетъ? То то раздолье: сколько въ Петербургѣ орловъ, памятниковъ, иллюминацій, пожаровъ, наводненій, тезоименитствъ, и воды съ Васильевскаго острова!" И дальше (75—76): „на-дняхъ я получилъ письмо отъ Любича, не знаю по какой благодати. Чего только онъ въ немъ не наговорилъ? и каламбуровъ, и стишковъ!"

Гоголь не счелъ нужнымъ отвѣтить ему и проситъ Высоцкаго: „мнѣ нѣтъ времени писать, особливо теперь. Чтобъ онъ еще, однакожъ, не почелъ за пренебреженіе! Извини меня какъ-нибудь передъ нимъ!!."

Затѣмъ еще одно мимолетное упоминаніе на стр. 243, и Любичъ совершенно исчезаетъ изъ переписки Гоголя и, вѣроятно, изъ круга его отношеній и интересовъ...

Конечно, съ той поры онъ искалъ случая свести съ покойнымъ писателемъ запоздалые счеты — и нашелъ его въ собесѣдованіяхъ съ жадными до пикантныхъ новостей интервьюерами...

Тернія славы!..

Воспоминанія современниковъ о Гоголѣ.

I.

Воспоминанія П. В. Анненкова[1].

Въ статьѣ „Н. В. Гоголь въ Римѣ“ Анненковъ, воспроизводя свои воспоминанія о знакомствѣ съ авторомъ „Мертвыхъ Душъ“, описывая встрѣчи съ нимъ въ различные періоды, даетъ необыкновенно яркую характеристику личности писателя, вводитъ насъ въ психологію его творчества до и послѣ поворота.

Чуждый подтасовокъ, рискованныхъ обобщеній, Анненковъ передаетъ только факты, достаточно говорящіе за себя, и рисуетъ Гоголя во весь ростъ, освѣщая то ту, то другую сторону его многогранной, не поддающейся обычнымъ мѣркамъ натуры. Не задаваясь цѣлью писать біографію, онъ въ то же самое время намѣчаетъ тѣ пути, по которымъ долженъ идти будущій изслѣдователь жизни и творчества Н. В., указываетъ на особенности его генія, причудливымъ узоромъ расцвѣчивающія личность писателя и человѣка, предупреждаетъ критика отъ скороспѣлыхъ выводовъ и заключеній, призывая его подходить къ облику великаго поэта съ вдумчивой и благоговѣйной осторожностью... Самъ Анненковъ, слишкомъ близко стоявшій къ Гоголю для того, чтобы имѣть возможность подводить какіе-либо итоги его значенію, сумѣлъ, однако, тонко его почувствовать; не придавая особой важности отдѣльнымъ, случайнымъ проявленіямъ, разсматривалъ его, какъ нѣчто цѣлое.

Воспоминанія Анненкова являются одной изъ лучшихъ характеристикъ Гоголя: исполненныя чуткаго, проникновеннаго пониманія геніальной личности, они особенно цѣнны по сравненію съ другими отзывами о Н. В. его современниковъ. Это необыкновенно талантливо исполненный эскизъ для будущей грандіозной жизнеописательной картины.

---

[1] Воспоминанія и критическіе очерки, т. I, Спб., 1877, стр. 161—240

П. В. Анненковъ познакомился съ Гоголемъ около 1832 года и принадлежалъ къ кружку его молодыхъ друзей, состоявшему, главнымъ образомъ, изъ гимназическихъ товарищей Н. В. Кромѣ Петербурга, Анненковъ встрѣчался съ Гоголемъ за границей, жилъ съ нимъ вмѣстѣ въ Римѣ, гдѣ, между прочимъ, подъ диктовку Н. В. переписывалъ подготовлявшійся для печати I томъ „Мертвыхъ Душъ".

Къ сожалѣнію, не имѣя возможности привести статью Анненкова цѣликомъ, мы принуждены брать изъ нея лишь наиболѣе характерные отрывки, при чемъ, для приданія имъ большей связи и послѣдовательности, сначала выдѣляемъ все относящееся къ молодому Гоголю, а затѣмъ данныя о совмѣстной жизни Гоголя и Анненкова въ Римѣ и о послѣднемъ періодѣ литературной дѣятельности великаго писателя.

„Въ Петербургѣ около Гоголя [1] составился кругъ его школьныхъ пріятелей и новыхъ молодыхъ знакомыхъ, которые любили его горячо и были ему по душѣ. Передъ этимъ кругомъ Гоголь всегда стоялъ просто, въ обыкновенной своей позиціи, хотя сосредоточенный, нѣсколько скрытный характеръ и наклонность овладѣвать и управлять людьми не оставляли его никогда. Кромѣ жаркой привязанности, которую онъ питалъ вообще къ двумъ-тремъ товарищамъ своего дѣтства, „ближайшимъ людямъ своимъ", какъ онъ ихъ называлъ, — Гоголю долженъ былъ нравиться и тотъ откровенный энтузіазмъ, который высказывался тутъ къ тогдашней литературной дѣятельности его, несмотря на совершенно короткое, нецеремонное обращеніе пріятелей между собою. Въ этомъ кругѣ онъ встрѣчалъ только ласковыя, часто имъ же воодушевленныя лица, и не было ему надобности осматриваться, беречься и отклонять отъ себя взоры. За чертой круга Гоголь открывалъ себѣ широкій путь жизни всѣми средствами, которыя находились въ его богатой натурѣ, не исключая хитрости и сноровки затрагивать наиболѣе живыя струны человѣческаго сердца. Онъ сходилъ съ этой арены въ безвѣстный и, такъ сказать, уединенный кругъ своихъ пріятелей, если не отдыхать (въ это время онъ не отдыхалъ почти никогда, но жилъ постоянно всѣми своими способностями), то, по крайней мѣрѣ, сравнивать его безкорыстныя сужденія о себѣ и рядъ надеждъ, возлагаемыхъ на него, съ тѣмъ, что говорилось и дѣлалось по поводу его особы на другомъ, болѣе обширномъ поприщѣ. Онъ былъ простъ пе-

[1] Въ началѣ 30-хъ годовъ.

редъ своимъ кругомъ, добродушенъ, веселъ, хотя и сохранялъ тонкій, можетъ быть, невольный оттѣнокъ чувства своего превосходства и своего значенія. Мало-помалу родъ поученія, ободренія и удовольствія, какіе онъ почерпалъ въ этомъ кругѣ, становились ему менѣе нужны и менѣе привлекательны; жизнь начала нестись съ такой силой вокругъ него, показались такія горячія, страстныя привязанности, дѣйствовавшія и на общественное мнѣніе, что никѣмъ невѣдомый и запертый въ самомъ себѣ кружокъ долженъ былъ потерять значеніе въ его глазахъ. Притомъ же вскорѣ явились требованія со стороны другихъ приверженцевъ Гоголя, на которыя старый кругъ не могъ отвѣчать, и явленія въ самомъ Гоголѣ, которыя трудно было понять ему; но почти ко всѣмъ его лицамъ Гоголь сохранилъ неизмѣнное расположеніе, доказывавшее теплоту и благородство его сердца...

... Съ 1830 по 1836 гг., т. е. вплоть до отъѣзда за границу, Гоголь былъ занятъ исключительно одной мыслью — открыть себѣ дорогу въ этомъ свѣтѣ, который по злоупотребленію эпитетовъ называется обыкновенно большимъ и пространнымъ... Гоголь перепробовалъ множество родовъ дѣятельности — служебную, актерскую, художническую, писательскую. Съ появленія „Вечеровъ на хуторѣ“, имѣвшихъ огромный успѣхъ, дорога, наконецъ, была найдена, но дѣятельность его еще удваивается послѣ успѣха. Тутъ я съ нимъ и познакомился. Онъ былъ весь обращенъ лицомъ къ будущему, къ расчищенію себѣ путей во всѣ направленія, движимый потребностью развить всѣ силы свои, богатство которыхъ невольно сознавалъ въ себѣ. Необычайная житейская опытность, пріобрѣтенная размышленіями о людяхъ, выказывалась на каждомъ шагу. Онъ исчерпывалъ людей такъ свободно и легко, какъ другіе живутъ съ ними. Не довольствуясь ограниченнымъ кругомъ ближайшихъ знакомыхъ, онъ смѣло вступалъ во всѣ круга, и цѣли его умножались и росли по мѣрѣ того, какъ преодолѣвалъ онъ первыя препятствія на пути... Никто тогда не походилъ болѣе его на итальянскихъ художниковъ XVI вѣка, которые были въ одно время геніальными людьми, благородными любящими натурами — и глубоко практическими умами“.

Изображая Гоголя въ первый періодъ его дѣятельности, Анненковъ описываетъ „чайные вечера“, на которыхъ собирался тѣсный кружокъ пріятелей. По его словамъ, „на этихъ сходкахъ царствовала веселость, бойкая насмѣшка надъ низостью и лицемѣріемъ, кото-

рой журнальные, литературные и всякіе другіе анекдоты служили пищей, но особенно любилъ Гоголь составлять куплеты и пѣсни на общихъ знакомыхъ". Но среди веселости и шутокъ Гоголь чутко прислушивается ко всему, такъ сказать, схватываетъ жизнь налету. На этихъ вечерахъ, между прочимъ, почерпнулъ онъ матеріалъ для „Записокъ сумасшедшаго", здѣсь же услышалъ разсказъ, изъ котораго создалъ впослѣдствіи „Шинель". Анненковъ такъ объ этомъ передаетъ:

„Однажды при Гоголѣ разсказанъ былъ канцелярскій анекдотъ о какомъ то бѣдномъ чиновникѣ, страстномъ охотникѣ за птицей, который необычайной экономіей и неутомимыми, усиленными трудами сверхъ должности накопилъ сумму, достаточную на покупку хорошаго лепажевскаго ружья рублей въ 200 (асс.). Въ первый разъ, какъ на маленькой своей лодочкѣ пустился онъ по Финскому заливу — за добычей, положивъ драгоцѣнное ружье передъ собою на носъ, онъ находился, по его собственному увѣренію, въ какомъ то самозабвеніи и пришелъ въ себя только тогда, какъ, взглянувъ на носъ, не увидалъ своей обновки. Ружье было стянуто въ воду густымъ тростникомъ, черезъ который онъ гдѣ то проѣзжалъ, и всѣ усилія отыскать его были тщетны. Чиновникъ возвратился домой, легъ въ постель и уже не вставалъ: онъ схватилъ горячку. Только общей подпиской его товарищей, узнавшихъ о происшествіи и купившихъ ему новое ружье, возращенъ онъ былъ къ жизни, но о страшномъ событіи онъ уже не могъ никогда вспоминать безъ смертельной блѣдности на лицѣ... Всѣ смѣялись анекдоту, имѣвшему въ основаніи истинное происшествіе, исключая Гоголя, который выслушалъ его задумчиво и опустилъ голову. Анекдотъ былъ первой мыслью чудной повѣсти его „Шинель", и она заронилась въ душу его въ тотъ же самый вечеръ. Поэтическій взглядъ на предметы былъ такъ свойственъ его природѣ и казался ему такимъ обыкновеннымъ дѣломъ, что самая теорія творчества, которую онъ излагалъ тогда, отличалась поэтому необыкновенной простотой. Онъ говорилъ, что для успѣха повѣсти и вообще разсказа достаточно, если авторъ опишетъ знакомую ему комнату и знакомую улицу. „У кого есть способность передать живописно свою квартиру, тотъ можетъ быть и весьма замѣчательнымъ авторомъ впослѣдствіи", говорилъ онъ. На этомъ основаніи онъ побуждалъ даже многихъ изъ своихъ друзей приняться за писательство. Но если теорія была слишкомъ проста и умалчивала о многихъ качествахъ, необходимыхъ писателю, то кри-

тика Гоголя, наоборотъ, отличалась разнообразіемъ, глубиной и замѣчательной многосложностью требованій. Не говоря уже о томъ, что онъ угадывалъ по инстинкту всякое не живое, а придуманное лицо, сознаваясь, что оно возбуждаетъ въ немъ почти такое же отвращеніе, какъ трупъ или скелетъ, но Гоголь ненавидѣлъ идеальничанье въ искусствѣ прежде критиковъ, возбудившихъ гоненіе на него. Онъ никакъ не могъ пріучить себя къ трескучимъ драмамъ Кукольника, которыя тогда хвалились въ Петербургѣ, ни къ сантиментальнымъ романамъ Полевого, которые тогда хвалились въ Москвѣ. Поэзія, которая почерпается въ созерцаніи живыхъ, существующихъ, дѣйствительныхъ предметовъ, такъ глубоко понималась и чувствовалась имъ, что онъ, постоянно и упорно удаляясь отъ умниковъ, имѣющихъ готовыя опредѣленія на всякій предметъ, постоянно и упорно смѣялся надъ ними и, наоборотъ, могъ проводить цѣлые часы съ любымъ коннымъ заводчикомъ, съ фабрикантомъ, съ мастеровымъ, излагающимъ глубочайшія тонкости игры въ бабки, со всякимъ спеціальнымъ человѣкомъ, который далѣе своей спеціальности и ничего не знаетъ... Но, по нашему мнѣнію, важнѣе всего этого была въ Гоголѣ та мысль, которую онъ приносилъ съ собой въ это время повсюду. Мы говоримъ объ энергическомъ пониманіи вреда, производимаго пошлостью, лѣнью, потворствомъ злу, съ одной стороны, и грубымъ самодовольствомъ, кичливостью и ничтожествомъ моральныхъ основаній — съ другой. Онъ относился ко всѣмъ этимъ явленіямъ совсѣмъ не равнодушно, какъ можно заключить даже изъ напечатанныхъ его писемъ о московской журналистикѣ и объ условіяхъ хорошей комедіи. Въ его преслѣдованіи темныхъ сторонъ человѣческаго существованія была страсть, которая и составляла истинное нравственное выраженіе его физіономіи. Онъ и не думалъ еще тогда представлять свою дѣятельность, какъ подвигъ личнаго совершенствованія, да и никто изъ знавшихъ его не согласится видѣть въ ней намеки на какое-либо страданіе, томленіе, жажду примиренія и проч. Онъ ненавидѣлъ пошлость откровенно и наносилъ ей удары, къ какимъ только была способна его рука, съ единственной цѣлью: потрясти ее, если можно, въ основаніи. Этотъ родъ одушевленія сказывался тогда во всей его особѣ, составляя и существенную часть нравственной красоты ея. Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самаго добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за

Гоголемъ этой эпохи, даже и противъ него самого, еслибы нужно было. Несомнѣнныя историческія свидѣтельства тутъ важнѣе признаній автора, подсказанныхъ другого рода соображеніями и сильнымъ подавляющимъ вліяніемъ новыхъ идей, позднѣе возникшихъ въ его сердцѣ".

Переходя затѣмъ къ причинамъ, заставившимъ Гоголя уѣхать за границу, авторъ воспоминаній указываетъ, между прочимъ, на „неуспѣхъ его университетскаго преподаванія", на „ожесточенное преслѣдованіе новыхъ его книгъ: „Миргородъ" и „Арабески" тогдашней критикой". Анненковъ обращаетъ вниманіе на то, что Гоголь придавалъ большое значеніе мнѣнію и толкамъ публики, которая въ то время (въ Петербургѣ) относилась къ нему „подозрительно и недовѣрчиво", и приводитъ характерный въ этомъ отношеніи разсказъ о первомъ представленіи „Ревизора".

„Послѣдній ударъ нанесенъ былъ представленіемъ „Ревизора". Читатель долженъ хорошо помнить превосходное описаніе этого театральнаго вечера, данное самимъ Гоголемъ. Хлопотливость автора во время постановки своей піесы, казавшаяся странной, выходящей изъ всѣхъ обыкновеній и даже, какъ говорили, изъ всѣхъ приличій, горестно оправдалась водевильнымъ характеромъ, сообщеннымъ главному лицу комедіи, и пошло-каррикатурнымъ, отразившимся на другихъ. Гоголь пострадалъ весь этотъ вечеръ. Мнѣ, свидѣтелю этого перваго представленія, позволено будетъ сказать, что изображала сама зала театра въ продолженіе 4 часовъ замѣчательнѣйшаго спектакля, когда-либо имъ видѣннаго. Уже послѣ перваго акта недоумѣніе было написано на всѣхъ лицахъ (публика была избранная въ полномъ смыслѣ слова), словно никто не зналъ, какъ должно думать о картинѣ, только что представленной. Недоумѣніе это возрастало потомъ съ каждымъ актомъ. Какъ будто находя успокоеніе въ одномъ предположеніи, что дается фарсъ, большинство зрителей, выбитое изъ всѣхъ театральныхъ ожиданій и привычекъ, остановилось на этомъ предположеніи съ непоколебимой рѣшимостію. Однакоже въ этомъ фарсѣ были черты и явленія, исполненныя такой жизненной истины, что раза два, особенно въ мѣстахъ, наименѣе противорѣчащихъ тому понятію о комедіи вообще, которое сложилось въ большинствѣ зрителей, раздавался общій смѣхъ. Совсѣмъ другое произошло въ четвертомъ актѣ: смѣхъ, по временамъ, еще перелеталъ изъ конца залы въ другой, но это былъ какой то робкій смѣхъ, тотчасъ же и

пропадавшій; апплодисментовъ почти совсѣмъ не было; зато напряженное вниманіе, судорожное, усиленное слѣдованіе за всѣми оттѣнками піесы, иногда мертвая тишина показывали, что дѣло, происходившее на сценѣ, страстно захватывало сердца зрителей. По окончаніи акта прежнее недоумѣніе уже переродилось почти во всеобщее негодованіе, которое довершено было пятымъ актомъ. Многіе вызывали автора потомъ за то, что написалъ комедію, другіе за то, что виденъ талантъ въ нѣкоторыхъ сценахъ, простая публика за то, что смѣялась, но общій голосъ, слышавшійся по всѣмъ сторонамъ избранной публики, былъ: „Это невозможность, клевета и фарсъ". По окончаніи спектакля, Гоголь явился къ Н. Я. Прокоповичу [1] въ раздраженномъ состояніи духа. Хозяинъ вздумалъ поднесть ему экземпляръ „Ревизора", только что вышедшій изъ печати, со словами: „Полюбуйтесь на сынку". Гоголь швырнулъ экземпляръ на полъ, подошелъ къ столу и, опираясь на него, проговорилъ задумчиво: „Господи Боже! Ну, еслибы одинъ, два ругали, ну, и Богъ съ ними, а то всѣ, всѣ" ...

Въ началѣ лѣта 1836 года Гоголь уѣхалъ за границу на пароходѣ. Онъ, дѣйствительно „усталъ душой и тѣломъ", какъ самъ говоритъ. Шесть лѣтъ безпрерывнаго труда, разнообразныхъ предпріятій и волненій, даже не принимая во вниманіе послѣднихъ тяжелыхъ ударовъ, нанесенныхъ всѣмъ его ожиданіямъ, — требовали сами собой отдыха".

Заграница мало удовлетворяла Гоголя; отъ шумной жизни Франціи и Германіи онъ уѣзжаетъ въ Римъ, гдѣ проводитъ весну 1837 года, а затѣмъ живетъ почти безпрерывно съ осени 1837 по осень 1839. Вліяніе Рима на Гоголя было очень сильное и подготовляло почву для того поворота, къ которому постепенно приближалась душа писателя.

„. . . Вліяніе (Рима) начинаетъ все болѣе усиливаться и проявляется отвращеніемъ къ европейской цивилизаціи, наклонностію къ художническому уединенію, сосредоточенностію мысли, поискомъ за крѣпкимъ основаніемъ, которое могло бы держать духъ въ напряженномъ довольствѣ однимъ самимъ собою. Со всѣмъ тѣмъ особенности эти, возникающія мало-по-малу въ характерѣ Гоголя, до такой степени еще слиты съ прежнимъ свободнымъ и многостороннимъ направленіемъ, что указать начало ихъ, первый, такъ сказать, толчокъ, по-

[1] Нѣжинскому товарищу.

двигнувшій умъ въ эту сторону, нѣтъ никакой возможности. Это все равно, что желать подсмотрѣть минуту, когда зараждается болѣзнь въ человѣкѣ, или уловить мгновеніе, когда начинается развитіе какой-либо части въ организмѣ его. Мало-по-малу также Гоголь погружается весь въ новый свой трудъ: „Мертвыя Души". Если эта поэма, по справедливости, можетъ назваться памятникомъ его, какъ писателя, то съ не меньшей основательностью позволено сказать, что въ ней готовилъ онъ себѣ и гробницу, какъ человѣку. „Мертвыя Души" была та подвижническая келья, въ которой онъ бился и страдалъ до тѣхъ поръ, пока вынесли его бездыханнымъ изъ нея... Лѣтомъ 1841 г., когда я встрѣтилъ Гоголя, онъ стоялъ на рубежѣ новаго направленія, принадлежа двумъ различнымъ мірамъ. По тайнымъ стремленіямъ своей мысли, онъ уже относился къ строгому исключительному міру, открывавшемуся впереди; по вкусамъ, нѣкоторымъ частнымъ воззрѣніямъ и привычкамъ художнической независимости — къ прежнему направленію. Послѣднее уже преобладало въ немъ, но онъ уже доживалъ сочтенные дни своей молодости, ея стремленій, борьбы, паденій и — ея славы!"[1].

„Поселившись рядомъ съ Гоголемъ, въ комнатѣ, двери которой почти всегда были отворены, я связанъ былъ съ Николаемъ Васильевичемъ только однимъ часомъ дня, когда занимался перепиской „Мертвыхъ Душъ". Остальное время мы жили розно, и каждый посвоему. Правда, въ теченіе дня сталкивались мы другъ у друга довольно часто, а вечера обыкновенно проводили вмѣстѣ, но важно было то, что между нами существовало молчаливое условіе не давать чувствовать себя товарищу ни подъ какимъ видомъ. Гоголь, вообще, любилъ тѣ отношенія между людьми, гдѣ нѣтъ никакихъ связующихъ правъ и обязательствъ, гдѣ отъ него ничего не требовали. Онъ тогда только и давалъ что-либо отъ себя. Въ Римѣ система эта, предоставивъ каждому полную свободу дѣйствій, поставила каждаго въ нравственную независимость, которою онъ всего болѣе дорожилъ".

О самомъ процессѣ переписки „Мертвыхъ Душъ" Анненковъ разсказываетъ слѣдующимъ образомъ:

„. . . Гоголь крѣпче притворялъ внутреннія ставни оконъ отъ неотразимаго южнаго солнца, я садился за круглый столъ, а Николай Васильевичъ, разложивъ передъ собой тетрадку на томъ же столѣ подалѣе, весь

[1] Дальше идетъ у Анненкова разсказъ о празднованіи Святой недѣли въ Римѣ.

уходилъ въ нее и начиналъ диктовать мѣрно, торжественно, съ такимъ чувствомъ и полнотой выраженія, что главы перваго тома „Мертвыхъ Душъ“ пріобрѣли въ моей памяти особенный колоритъ. Это было похоже на спокойное, правильно-разлитое вдохновеніе, какое порождается обыкновенно глубокимъ созерцаніемъ предмета. Николай Васильевичъ ждалъ терпѣливо моего послѣдняго слова и продолжалъ новый періодъ тѣмъ же голосомъ, проникнутымъ сосредоточеннымъ чувствомъ и мыслью. Превосходный тонъ этой поэтической диктовки былъ такъ истиненъ въ самомъ себѣ, что не могъ быть ничѣмъ ослабленъ или измѣненъ. Часто ревъ итальянскаго осла пронзительно раздавался въ комнатѣ, затѣмъ слышался ударъ палки по бокамъ его и сердитый вскрикъ женщины: Ecco, ladrone (вотъ тебѣ, разбойникъ!) — Гоголь останавливался, проговаривалъ, улыбаясь: „Какъ разнѣжился, негодяй!“ и снова начиналъ вторую половину фразы съ той же силой и крѣпостью, съ какой вылилась у него ея первая половина. Случалось также, что онъ прекращалъ диктовку на моихъ орѳографическихъ замѣткахъ, обсуживалъ дѣло и, какъ будто не было ни малѣйшаго перерыва въ теченіи его мыслей, возвращался свободно къ своему тону, къ своей поэтической нотѣ. Помню, напримѣръ, что, передавая ему написанную фразу, я вмѣсто продиктованнаго имъ слова: „щекатурка“ — употребилъ „штукатурка“. Гоголь остановился и спросилъ: „Отчего такъ?“ — „Да, правильнѣе, кажется“. — Гоголь побѣжалъ къ книжнымъ шкафамъ своимъ, вынулъ оттуда какой то лексиконъ, пріискалъ нѣмецкій корень слова, русскую его передачу и, тщательно обслѣдовавъ всѣ доводы, закрылъ книгу и поставилъ опять на мѣсто, сказавъ: „А за науку спасибо“. Затѣмъ онъ сѣлъ попрежнему въ кресло, помолчалъ немного, и снова полилась та же звучная, повидимому, простая, но возвышенная и волнующая рѣчь. Случалось такъ, что прежде исполненія моей обязанности переписчика, я въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опрокидывался назадъ и разражался хохотомъ. Гоголь глядѣлъ на меня хладнокровно, но ласково улыбался и только проговаривалъ: „Старайтесь не смѣяться, Жюль“ [1]. Дѣйствительно, я зналъ, что пе-

[1] Это названіе дано было Анненкову самимъ Н. В.: „Надо сказать, что около 1832 года, когда я впервые познакомился съ Гоголемъ, — разсказываетъ авторъ воспоминаній, — онъ далъ всѣмъ своимъ товарищамъ по Нѣжинскому лицею и ихъ пріятелямъ прозвища, украсивъ ихъ именами знаменитыхъ французскихъ писателей, которыми тогда восхищался весь Петербургъ... Не знаю, почему я получилъ титулъ Жюль-Жанена, подъ которымъ я состоялъ до конца“.

реписка замедляется подобнымъ выраженіемъ личныхъ моихъ ощущеній, и дѣлалъ усилія надъ самимъ собой, но въ тѣ годы усилія эти рѣдко сопровождались успѣхомъ. Впрочемъ, самъ Гоголь иногда слѣдовалъ моему примѣру и вторилъ мнѣ при случаѣ какимъ то сдержаннымъ полусмѣхомъ, если могу такъ выразиться. Это случилось, напримѣръ, послѣ окончанія „Повѣсти о капитанѣ Копейкинѣ", первая редакція которой, далеко превосходящая въ силѣ и развитіи напечатанную, только недавно сдѣлалась извѣстна публикѣ. Когда, по окончаніи повѣсти, я отдался неудержимому порыву веселости, Гоголь смѣялся вмѣстѣ со мною и нѣсколько разъ спрашивалъ: „Какова повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ?" — „Но увидитъ ли она печать когда-нибудь?" замѣтилъ я. — „Печать — пустяки", отвѣчалъ Гоголь съ самоувѣренностью: „все будетъ въ печати". Еще гораздо сильнѣе выразилось чувство авторскаго самодовольствія въ главѣ, гдѣ описывается садъ Плюшкина. Никогда еще пафосъ диктовки, помню, не достигалъ такой высоты въ Гоголѣ, сохраняя всю художническую естественность, какъ въ этомъ мѣстѣ. Гоголь даже всталъ съ креселъ (видно было, что природа, имъ описываемая, носится въ эту минуту передъ глазами его) и сопровождалъ диктовку гордымъ, какимъ то повелительнымъ жестомъ. По окончаніи всей этой изумительной VI главы, я былъ въ волненіи и, положивъ перо на столъ, сказалъ откровенно: „Я считаю эту главу, Николай Васильевичъ, геніальной вещью". Гоголь крѣпко сжалъ маленькую тетрадку, по которой диктовалъ, въ кольцо и произнесъ тонкимъ, едва слышнымъ голосомъ: „Повѣрьте, что и другія не хуже ея". Въ ту же минуту, однакожъ, возвысивъ голосъ, онъ продолжалъ: „Знаете ли, что намъ до cenare (ужина) осталось еще много: пойдемте смотрѣть сады Саллюстія, которыхъ вы еще не видали, и въ виллу Людовизи постучимся" [1]. По свѣтлому выраженію его лица, да и по самому предложенію видно было, что впечатлѣнія диктовки привели его въ веселое состояніе духа. Это оказалось еще болѣе на дорогѣ. Гоголь взялъ съ собой зонтикъ на вся-

[1] . . . Сады Саллюстія — нынѣ живописный огородъ, въ которомъ разбросаны руины бывшихъ построекъ, а великолѣпная вилла Людовизи замѣчательна тѣмъ, что отворяется для немногихъ посѣтителей, надѣленныхъ особенной рекомендаціей посланниковъ или значительныхъ лицъ города. Въ ней, какъ извѣстно, сохраняются колоссальный бюстъ Юноны и знаменитая статуя: „Арія и Петусъ". Причину ея недоступности объясняютъ покражей или порчей, произведенной въ ней какими то англійскими туристами. *Прим. автора.*

кій случай, и какъ только повернули мы налѣво отъ дворца Барберини въ глухой переулокъ, онъ принялся пѣть разгульную малороссійскую пѣсню, наконецъ, пустился просто въ плясъ и сталъ вывертывать зонтикомъ на воздухѣ такія штуки, что не далѣе двухъ минутъ, ручка зонтика осталась у него въ рукахъ, а остальное полетѣло въ сторону. Онъ быстро поднялъ отломленную часть и продолжалъ пѣсню. Такъ отозвалось удовлетворенное художническое чувство: Гоголь праздновалъ миръ съ самимъ собою, и въ значеніи этого бурнаго порыва веселости, который вполнѣ напомнилъ мнѣ стараго Гоголя, я не ошибся и тогда [1].

. . . Такъ, взлелѣянный уединеніемъ Рима, онъ весь предался творчеству и пересталъ читать и заботиться о томъ, что дѣлается въ остальной Европѣ. Онъ самъ говорилъ, что, въ извѣстныя эпохи, одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человѣка. Въ Римѣ онъ только перечитывалъ любимыя мѣста изъ Данте, „Иліады“ Гнѣдича и стихотвореній Пушкина. Это было совершенно вровень, такъ сказать, съ городомъ, который подъ управленіемъ папы Григорія XVI обращенъ былъ офиціально и формально только къ прошлому. Добродушный пастырь этотъ, такъ ласково улыбавшійся народу при церемоніальныхъ поѣздахъ и съ такою любовію благословлявшій его, умѣлъ остановить всѣ новыя почки европейской образованности и европейскихъ стремленій, завязавшіяся въ его паствѣ, и когда умеръ, онѣ еще поражены были онѣмѣніемъ. О томъ, какими средствами достигъ онъ своей цѣли, никто изъ иностранцевъ не спрашивалъ: это составляло домашнюю тайну римлянъ, до которой никому особеннаго дѣла не было. Гоголь, вѣроятно, зналъ ее: это видно даже по намекамъ въ его статьѣ [2], гдѣ мнѣніе народа о господствующемъ клерикальномъ сословіи нисколько не скрыто; но она не тревожила его, потому что если не оправдывалась, то, по крайней мѣрѣ, объяснялась воззрѣніемъ на Римъ. Вотъ собственныя его слова изъ статьи: „Самое духовное правительство, этотъ странный, уцѣлѣвшій призракъ минувшихъ временъ, осталось какъ будто для того, чтобы сохранить народъ отъ посторонняго вліянія... чтобы до времени въ тишинѣ таилась его гордая народность“. Послѣдующія событія доказали, что народъ не былъ сохраненъ отъ

---

[1] Послѣ краткаго разсказа объ обѣдѣ Анненковъ переходитъ къ вліянію Рима на Гоголя.

[2] „Римъ“.

постороннаго вліянія, и подтвердили убѣдительнымъ образомъ старую истину, что государство, находящееся въ Европѣ, не можетъ убѣжать отъ Европы... Необычайными мѣрами, еще въ нѣкоторой степени продолжающимися и теперь, съ него была снята только работа, требуемая временемъ и его необходимостями, и благодаря этому обстоятельству народъ предался однимъ своимъ природнымъ наклонностямъ, артистическому веселью, остроумной безпечности и столь свойственному ему художническому творчеству... Стремленіе римскаго населенія сдѣлаться причастникомъ общихъ благъ просвѣщенія и развитія признается теперь законнымъ почти всѣми, но оно жило во многихъ сердцахъ и тогда. Гоголь зналъ это, но встрѣчалъ явленіе съ нѣкоторой грустью. Помню, разъ на мое замѣчаніе, „что, вѣроятно, въ самомъ Римѣ есть люди, которые иначе смотрятъ на него, чѣмъ мы съ нимъ“, Гоголь отвѣчалъ почти со вздохомъ: „Ахъ, да, батюшка, есть, есть такіе“. Далѣе онъ не продолжалъ. Видно было, что утрата нѣкоторыхъ старыхъ обычаевъ, прозрѣваемая имъ въ будущемъ и почти неизбѣжная при новыхъ стремленіяхъ, поражала его непріятнымъ образомъ. Онъ былъ влюбленъ, смѣю сказать, въ свое воззрѣніе на Римъ, да тутъ же дѣйствовалъ отчасти и малороссійскій элементъ, всегда охотно обращенный къ тому, что носитъ печать стародавняго или его напоминаетъ [1].

. . . Вообще слѣдуетъ помнить, что въ эту эпоху онъ былъ занятъ внутренней работой, которая началась для него со второго тома „Мертвыхъ Душъ“, тогда же имъ предпринятаго, какъ я могу утверждать положительно. Значеніе этой работы никѣмъ еще не понималось вокругъ него, и только впослѣдствіи можно было разобрать, что для второго тома „Мертвыхъ Душъ“ начиналъ онъ сводить къ одному общему выраженію какъ свою жизнь, образъ мыслей, нравственное направленіе, такъ и самый взглядъ на духъ и свойство русскаго общества... Онъ осматривалъ и взвѣшивалъ явленія, готовясь оторваться отъ однихъ и пристроиться къ другимъ. Такъ, напримѣръ, долго, съ великимъ вниманіемъ и съ великимъ участіемъ слушалъ онъ горячія повѣствованія о Россіи, заносимыя въ Римъ пріѣзжими, но ничего не говорилъ въ отвѣтъ, оставляя послѣднее слово и рѣшеніе для самого себя. Отсюда также и тѣ длинные часы нѣмого созерцанія, какому предавался

[1] Дальше Анненковъ говоритъ о ненависти Гоголя къ Франціи и французамъ.

онъ въ Римѣ. На дачѣ княгини З. Волконской[1], упиравшейся въ старый римскій водопроводъ, который служилъ ей террасой, онъ ложился спиной на аркаду богатыхъ, какъ называлъ, древнихъ римлянъ, и по полусуткамъ смотрѣлъ въ голубое небо, на мертвую и великолѣпную римскую Кампанью. Такъ точно было и въ Тиволи, въ густой растительности, окружающей его каскателли[2]; онъ садился гдѣ-нибудь въ чащѣ, упиралъ зоркіе, недвижные глаза въ темную зелень, купами сбѣгавшую по скаламъ, и оставался недвижимъ цѣлые часы съ воспаленными щеками. Разъ послѣ вечера, проведеннаго съ однимъ знакомымъ живописца Овербека, разсказывавшимъ о попыткахъ этого мастера воскресить простоту, ясность, скромное и набожное созерцаніе живописцевъ до-Рафаэлевой эпохи, мы возвращались домой, и я былъ удивленъ, когда Гоголь, внимательно и напряженно слушавшій разсказъ, замѣтилъ въ раздумьи: „Подобная мысль могла только явиться въ голсвѣ нѣмецкаго педанта“. Такъ еще никому собственно не принадлежалъ онъ, и выходъ изъ этого душевнаго состоянія явился уже послѣ отъѣзда моего изъ Рима. Я засталъ предуготовительный процессъ: борьбу, нерѣшительность, томительную муку соображеній...

Одна только сторона въ Гоголѣ не потерпѣла ничего и оставалась во всей своей цѣлости — именно художническое его чувство. Гоголь не только безъ устали любовался тогдашнимъ Римомъ, но и увлекалъ неудержимо всѣхъ къ тому же поклоненію чудесамъ его . . .[3] Мы, разумѣется, весьма прилежно осматривали памятники, музеи, дворцы, картинныя галлереи, гдѣ Гоголь почти всегда погружался въ нѣмое созерцаніе, рѣдко прерываемое отрывистымъ замѣчаніемъ. Только уже по прошествіи нѣкотораго времени развязывался у него языкъ, и можно было услыхать его сужденіе о видѣнныхъ предметахъ. Всего замѣчательнѣе, что скульптурныя произведенія древнихъ тогда еще производили на него сильное впечатлѣніе. Онъ говорилъ про нихъ: „То была религія, иначе нельзя бы и проникнуться такимъ чувствомъ красоты“.

Можетъ статься, всего тяжелѣе было для позднѣйшаго Гоголя побѣдить врожденное благоговѣніе къ высокой, непогрѣшительной, идеальной пластической формѣ,

---

[1] Писательница, пріятельница Пушкина и Веневитинова, перешедшая въ 30-хъ годахъ въ католицизмъ.

[2] Маленькіе искусственные водопады.

[3] Дальше говорится объ отношеніяхъ Гоголя къ религіозной и общественной жизни Рима.

какое высказывалось у него въ мое время поминутно. Онъ часто забѣгалъ въ мастерскую извѣстнаго Тенерани любоваться его „Флорой", приводимой тогда къ окончанію, и съ восторгомъ говорилъ о чудныхъ линіяхъ, которыя представляетъ она со всѣхъ сторонъ и особенно сзади: „Тайна красоты линій, — прибавлялъ онъ, — потеряна теперь во Франціи, Англіи, Германіи и сохраняется только въ Италіи"... Никогда не забывалъ Гоголь, при разговорѣ о римскихъ женщинахъ или даже при встрѣчѣ съ замѣчательной женской фигурой, какихъ много въ этой странѣ, сказать: „А еслибы посмотрѣть на нее въ одномъ только одѣяніи цѣломудрія, такъ скажешь: женщина эта съ неба сошла". Не нужно, полагаю, толковать, что поводомъ ко всѣмъ словамъ такого рода было одно артистическое чувство его: жизнь велъ онъ всегда цѣломудренную, близкую даже къ суровости, и, если исключить маленькія гастрономическія прихоти, болѣе исполненную лишеній, чѣмъ довольства".

Описывая настроеніе Гоголя этой поры (1841 г.), Анненковъ указываетъ на его необыкновенный юморъ, кокорый сохранялся „еще въ полной свѣжести, несмотря на возникающую потребность идеализаціи окружающаго и приближающійся переломъ въ его жизни", подчеркиваетъ живую, бодрую наблюдательность, которая не пропускала ничего въ окружавшей его своеобразной жизни папскаго Рима.

Бодрое настроеніе, часто проявлявшееся у него тогда, вызывалось „полнотой внутренней жизни и творчества", вѣра въ свои силы звучала доминирующимъ аккордомъ, который впослѣдствіи перешелъ въ мистическій взглядъ на свое призваніе. Это настроеніе тонко подмѣтилъ и передалъ Анненковъ въ своей статьѣ:

„Не надо забывать, что вмѣстѣ съ полнотой внутренней жизни и творчества, Гоголь обнаруживалъ въ это время и признаки самонадѣянности, которая высказывалась иногда въ быстромъ замѣчаніи, иногда въ гордомъ мимолетномъ словѣ, выдававшемъ тайну его мысли. Онъ еще тогда вполнѣ сберегалъ довѣренность къ себѣ, наслаждался чувствомъ своей силы и полагалъ высокія надежды на себя и на дѣятельность свою. О скромности и христіанскомъ смиреніи еще и помину не было. Такъ, при самомъ началѣ моего пребыванія въ Римѣ, разгуливая съ нимъ по отдаленнымъ улицамъ его, мы коснулись неожиданно Пушкина и недавней его смерти. Я замѣтилъ, что кончина поэта сопровождалась явленіемъ, въ высшей степени отраднымъ и поучительнымъ: она разбудила хладнокровный дѣловой

Петербургъ и потрясла его... Гоголь отвѣчалъ тотчасъ же какимъ то горделивымъ, пророческимъ тономъ, поразившимъ меня: „Что мудренаго? человѣка всегда можно потрясти... То ли еще будетъ съ нимъ... увидите“...[1]

... Съ приближеніемъ къ концу своего завѣтнаго труда, Гоголь начинаетъ уже смотрѣть на себя, какъ на человѣка, въ жизни котораго слышатся шаги невѣдомаго, таинственнаго предопредѣленія. Взглядъ этотъ на самого себя все болѣе и болѣе укрѣпляется по мѣрѣ развитія работы и, наконецъ, переходитъ въ убѣжденіе, которое нераздѣльно срастается со всѣмъ его существованіемъ. При повѣркѣ его писемъ всѣми извѣстными обстоятельствами его жизни, мы видимъ, какъ по мѣрѣ окончанія какой-либо части романа, свѣжихъ, живыхъ отпрысковъ, данныхъ имъ, или обогащенія его какимъ-либо новымъ представленіемъ, Гоголь проникается каждымъ изъ этихъ явленій, настраиваетъ душу на высокій ладъ и возвѣщаетъ друзьямъ событіе торжественными, пророческими намеками, приводившими ихъ въ такое недоумѣніе сначала. Онъ смотритъ на самого себя при такихъ случаяхъ со стороны (объективно) и говоритъ о себѣ прямо съ благоговѣніемъ, какое слѣдуетъ питать ко всякому, хотя бы и непонятному орудію предопредѣленія. Его вдохновенные, лирическіе возгласы, частое провозвѣстіе близкаго и великаго будущаго до того совпадаютъ съ годами и эпохами окончанія разныхъ частей романа, съ намѣреніями автора въ отношеніи ихъ, что могутъ служить несомнѣнными свидѣтельствами хода его работъ и предпріятій“.

О нѣкоторыхъ сторонахъ Гоголя, какъ человѣка, Анненковъ сообщаетъ очень интересныя и характерныя данныя: нервный, болѣзненный Н. В. боялся чужихъ физическихъ страданій, которыя отражались на его собственной впечатлительной и легко возбудимой натурѣ, а потому старался избѣгать самаго вида болѣзни.

... „Кажется, видъ страданія былъ невыносимъ для него, какъ и видъ смерти. Картина немощи, если не погружала его въ горькое лирическое настроеніе, какъ это случилось у постели больного графа Іосифа Віельгорскаго въ 1839 году[2], то уже гнала его прочь отъ себя: онъ не могъ вытерпѣть природнаго безобразія всякихъ физическихъ страданій. Что касается до со-

[1] Дальше Анненковъ говоритъ объ юморѣ Гоголя, его отношеніяхъ къ болѣзни и смерти и причинахъ происшедшаго въ немъ нравственнаго перелома.

[2] См. „Ночи на виллѣ“ Гоголя.

зерцанія смерти, извѣстно, какъ подѣйствовалъ на весь организмъ его гробъ г-жи Хомяковой, за которымъ онъ самъ послѣдовалъ вскорѣ въ могилу. Вообще при сердцѣ, способномъ на глубокое сочувствіе, Гоголь лишенъ былъ дара и умѣнья прикасаться собственными руками къ ранамъ ближняго. Ему недоставало для этого той особенной твердости характера, которая не всегда встрѣчается и у самыхъ энергическихъ людей. Бѣду и заботу человѣка онъ переводилъ на разумный примѣръ добраго посредника и помогалъ ближнему совѣтомъ, заступничествомъ, связями, но никогда не былъ съ нимъ въ живомъ, такъ сказать, натуральномъ общеніи. Онъ могъ отдать страждущему свою мысль, свою молитву, пламенное желаніе своего сердца, но самого себя ни въ какомъ случаѣ не отдавалъ. Нельзя и требовать отъ натуры человѣка, чего въ ней не заключается (довольно, что натура была благородная и любящая по своему), но замѣчаніе это показалось намъ совершенно необходимымъ въ виду тѣхъ безразличныхъ, ничего не выражающихъ фразъ объ „ангельской“ душѣ, „необычайномъ“ сердцѣ и проч., которыя расточаются біографами Гоголя въ опытахъ изображенія его характера — и характеръ его нисколько не опредѣляютъ“.

Послѣ отъѣзда своего изъ Рима, Анненковъ не видался съ Гоголемъ до 1846 г., когда одновременно имъ пришлось быть въ Парижѣ. Встрѣча эта была очень непродолжительная; притомъ первый разъ онъ видѣлъ Н. В. всего на нѣсколько минутъ, а второе свиданіе происходило въ присутствіи большого общества, Гоголь былъ молчаливъ и ограничивался лишь прочтеніемъ полученной имъ изъ Россіи „Рѣчи“ одного изъ извѣстныхъ духовныхъ проповѣдниковъ. Наружность Гоголя этого періода онъ описываетъ слѣдующими словами:

... „Гоголь постарѣлъ, но пріобрѣлъ особеннаго рода красоту, которую нельзя иначе опредѣлить, какъ красотой мыслящаго человѣка. Лицо его поблѣднѣло, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на немъ ясную печать истощенія и усталости, но общее выраженіе его показалось мнѣ какъ то свѣтлѣе и спокойнѣе прежняго. Это было лицо философа. Оно оттѣнялось, по-старому, длинными, густыми волосами до плечъ, въ рамѣ которыхъ глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мнѣ, еще болѣе исполнились огня и выраженія“.

Весной того же года они опять, совершенно случайно, на нѣсколько часовъ столкнулись въ Бамбергѣ. Анненковъ встрѣтилъ Н. В., когда тотъ во время оста-

новки дорожнаго дилижанса пошелъ осматривать знаменитый старинный соборъ. Во время этой прогулки у нихъ произошелъ разговоръ, въ которомъ ярко уже проглядываютъ черты новаго настроенія великаго писателя.

... „Гоголь принялъ серьезный, торжественный видъ: онъ собирался послать изъ Швальбаха, куда ѣхалъ, первую тетрадку „Выбранной переписки“ [1] въ Петербургъ и, по обыкновенію, весь былъ проникнутъ важностью, значеніемъ, будущими громадными слѣдствіями новой публикаціи. Я тогда еще и не понималъ настоящаго смысла таинственныхъ, пророческихъ его намековъ, которые уяснились мнѣ только впослѣдствіи. „Намъ остается немного времени“, сказалъ онъ мнѣ, когда мы стали медленно спускаться съ горы, „и я вамъ скажу нужную для васъ вещь... Что вы дѣлаете теперь?“ Я отвѣчалъ, что нахожусь въ Европѣ подъ обаяніемъ простого чувства любопытства. Гоголь помолчалъ и потомъ началъ говорить отрывисто; фразы его звучатъ у меня въ ушахъ и въ памяти до сихъ поръ: „Это черта хорошая... но все же это безпокойство... надо же и остановиться когда-нибудь... Если все вѣшать на одномъ гвоздѣ, такъ уже слѣдуетъ запастись, по крайней мѣрѣ, хорошимъ гвоздемъ... Знаете ли что?.. Пріѣзжайте на зиму въ Неаполь... я тоже тамъ буду“. Не помню, что я отвѣчалъ ему, только Гоголь продолжалъ: „Вы услышите въ Неаполѣ вещи, которыхъ и не ожидаете... Я вамъ скажу то, что до васъ касается... да, лично до васъ... Человѣкъ не можетъ предвидѣть, гдѣ найдетъ его нужная помощь... Я вамъ говорю — пріѣзжайте въ Неаполь... я открою тогда секретъ, за который вы будете меня благодарить“. Полагая, что настоящій смыслъ загадочныхъ словъ Гоголя можетъ быть объясненъ приближающимся срокомъ его вояжа въ Іерусалимъ, для котораго онъ ищетъ теперь товарища, я высказалъ ему свою догадку... „Нѣтъ, — отвѣчалъ Гоголь. — Конечно, это дѣло хорошее... мы могли бы вмѣстѣ сдѣлать путешествіе, но прежде можетъ случиться еще нѣчто такое, что васъ самихъ перевернетъ... тогда вы уже и рѣшите сами все... только пріѣзжайте въ Неаполь... Кто знаетъ, гдѣ застигнетъ человѣка новая жизнь...“ Въ голосѣ его было такъ много глубокаго чувства, такъ много сильнаго внутренняго убѣжденія, что, не давая рѣшительнаго слова, я обѣщалъ, однако же, серьезно подумать о его предло-

[1] „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями“.

женіи. Гоголь пересталъ говорить объ этомъ предметѣ и остальную дорогу съ какой то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергіи, если, смѣю такъ выразиться, мѣрнымъ, отрывистымъ, но пламеннымъ словомъ сталъ дѣлать замѣчанія объ отношеніяхъ европейскаго современнаго быта къ быту Россіи. Не привожу всего, что говорилъ онъ тогда о лицахъ и вещахъ, да и не все сохранилось въ памати моей. „Вотъ, — сказалъ онъ разъ, — начали бояться у насъ европейской неурядицы — пролетаріата... думаютъ, какъ изъ русскихъ мужиковъ сдѣлать нѣмецкихъ фермеровъ... А къ чему это?.. Можно ли раздѣлить мужика съ землею?.. Какое же тутъ пролетаріатство? Вы вѣдь подумайте, что мужикъ нашъ плачетъ отъ радости, увидавъ землю свою: нѣкоторые ложатся на землю и цѣлуютъ ее, какъ любовницу. Это что-нибудь да значитъ!.. Объ этомъ то и надо поразмыслить". Вообще онъ былъ убѣжденъ тогда, что русскій міръ составляетъ отдѣльную сферу, имѣющую свои законы, о которыхъ въ Европѣ не имѣютъ понятія. Какъ теперь смотрю на него, когда онъ высказывалъ эти мысли своимъ протяжнымъ, медленно-текущимъ голосомъ, исполненнымъ силы и выраженія. Это былъ совсѣмъ другой Гоголь, чѣмъ тотъ, котораго я оставилъ въ Парижѣ, и разнился онъ значительно съ Гоголемъ римской эпохи Все въ немъ установилось, опредѣлилось и выработалось. Задумчиво шагалъ онъ по мостовой въ коротенькомъ пальто своемъ, съ глазами, устремленными постоянно въ землю и поглощенный такъ сильно мыслями, что, вѣроятно, не могъ дать отчета себѣ о физіономіи Бамберга черезъ пять минутъ послѣ выѣзда изъ него. Между тѣмъ мы подошли къ дилижансу; тамъ уже впрягли лошадей, и пассажиры начинали суетиться около мѣстъ своихъ. „А что, развѣ вы и въ самомъ дѣлѣ останетесь безъ обѣда?" спросилъ я. — „Да, кстати хорошо, что напомнили: нѣтъ ли здѣсь гдѣ кондитерской или пирожной?" Пирожная была подъ рукою. Гоголь выбралъ аккуратно десятокъ сладкихъ пирожковъ, съ яблоками, черносливомъ и варенъемъ, велѣлъ ихъ завернуть въ бумагу и потащилъ съ собой этотъ обѣдъ, который, конечно, не былъ способенъ укрѣпить его силы. Мы еще немного постояли у дилижанса, когда раздалась труба кондуктора. Гоголь сѣлъ въ купе, помѣстившись какъ то бокомъ къ своему сосѣду — нѣмцу пожилыхъ лѣтъ, сунулъ передъ собой куда то пакетъ съ пирожками и сказалъ мнѣ: „Прощайте еще разъ... Помните мои слова... Подумайте о Неаполѣ". Затѣмъ

онъ поднялъ воротникъ шинели, которую накинулъ на себя при входѣ въ купе, принялъ выраженіе мертваго каменнаго безстрастія и равнодушія, которыя должны были отбить всякую охоту къ разговору у сотоварища его путешествія, и въ этомъ положеніи статуи съ полузакрытымъ лицомъ, тупыми, ничего не выражающими глазами, еще кивнулъ мнѣ головой... Карета тронулась.

Такимъ образомъ расквитался я съ нимъ съ моей стороны за проводы изъ Альбано [1]. Мы также разстались у дилижанса въ то время, но какая разница между тогдашнимъ, живымъ, бодрымъ Гоголемъ и нынѣшнимъ восторженнымъ и отчасти измученнымъ болѣзнью мысли, отразившейся и на красивомъ, впаломъ лицѣ его".

II.

Изъ воспоминаній С. Т. Аксакова [2].

„Исторія моего знакомства съ Гоголемъ" представляетъ изъ себя очень интересный матеріалъ для характеристики личности творца „М. Д." какъ по многимъ даннымъ, сообщаемымъ Аксаковымъ, такъ и по той необыкновенной искренности и правдивости, которыми проникнута эта книга. Вся семья Аксаковыхъ, въ особенности же сынъ С. Т., Константинъ Серг., относилась къ Гоголю съ рѣдкой симпатіей, часто доходившей до восторженнаго поклоненія, и этой дружбѣ не измѣнила до конца. Чувство благоговѣйнаго уваженія къ Н. В. сквозитъ въ каждой строкѣ воспоминаній, писанныхъ уже тогда, когда авторъ ихъ старался подвести итоги своимъ впечатлѣніямъ и составить прежде для самого себя цѣльное представленіе о Гоголѣ, главнымъ образомъ, какъ о личности. Многія странности и шероховатости характера великаго писателя часто ставятъ Аксакова втупикъ, но онъ далекъ отъ того, чтобы рѣшить вопросъ въ отрицательномъ смыслѣ для Гоголя и, если у него нѣтъ объясненія тому или иному поступку, онъ старается истолковать его, какъ проявленіе геніальной, непохожей на другихъ натуры Гоголя, къ которой не примѣнимы никакія обычныя мѣрки. И въ то же самое

[1] Когда Анненковъ уѣзжалъ изъ Рима, Гоголь его провожалъ до Альбано.

[2] Исторія моего знакомства съ Гоголемъ. М. 1890.

время Аксаковъ чуждъ какого-либо умалчиванія — съ трогательной простотой и откровенностью онъ ведетъ свою „лѣтопись“, будучи увѣренъ, что слишкомъ высоко стоитъ Гоголь для того, чтобы отдѣльныя мелочи могли бросить на него тѣнь, оскорбить его память.

Аксаковъ познакомился съ Гоголемъ въ 1832 году въ Москвѣ. Вотъ какъ разсказываетъ онъ объ этомъ знакомствѣ и о впечатлѣніи, произведенномъ на него тогдашнимъ Гоголемъ:

„По субботамъ постоянно обѣдали у насъ и проводили вечеръ короткіе мои пріятели. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, въ кабинетѣ моемъ, находившемся въ мезонинѣ, игралъ я въ карты въ четверной бостонъ, а человѣка три не игравшихъ сидѣли около стола. Въ комнатѣ было жарко, и нѣкоторые, въ томъ числѣ и я, сидѣли безъ фраковъ. Вдругъ Погодинъ, безъ всякаго предувѣдомленія, вошелъ въ комнату съ неизвѣстнымъ мнѣ очень молодымъ человѣкомъ, подошелъ прямо ко мнѣ и сказалъ: „Вотъ вамъ Николай Васильевичъ Гоголь!“ Эффектъ былъ сильный. Я очень сконфузился, бросился надѣвать сюртукъ, бормоча пустыя слова пошлыхъ рекомендацій. Во всякое другое время я не такъ бы встрѣтилъ Гоголя. Всѣ мои гости... тоже какъ то озадачились и молчали. Пріемъ былъ не то что холодный, но конфузный. Игра на время прекратилась; но Гоголь и Погодинъ упросили меня продолжать игру, потому что замѣнить меня было некому. Скоро, однако, прибѣжалъ Константинъ, бросился къ Гоголю и заговорилъ съ нимъ съ большимъ чувствомъ и пылкостью. Я очень обрадовался и разсѣянно продолжалъ игру, прислушиваясь однимъ ухомъ къ словамъ Гоголя; но онъ говорилъ тихо, и я ничего не слыхалъ.

Наружный видъ Гоголя былъ тогда совершенно другой и невыгодный для него: хохолъ на головѣ, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородокъ, большіе и крѣпко накрахмаленные воротнички придавали совсѣмъ другую физіономію его лицу: намъ показалось, что въ немъ было что то хохлацкое и плутоватое. Въ платьѣ Гоголя примѣтна была претензія на щегольство. У меня осталось въ памяти, что на немъ былъ пестрый свѣтлый жилетъ съ большой цѣпочкой. У насъ остались портреты, изображающіе его въ тогдашнемъ видѣ, подаренные впослѣдствіи Константину самимъ Гоголемъ [1].

[1] Вѣроятно, копіи портрета Венеціанова.

... Черезъ часъ онъ ушелъ, сказавъ, что побываетъ у меня на-дняхъ, какъ-нибудь поранѣе утромъ и попроситъ сводить его къ Загоскину, съ которымъ ему очень хотѣлось познакомиться, и который жилъ очень близко отъ меня. Константинъ тоже не помнитъ своихъ разговоровъ съ нимъ, кромѣ того, что Гоголь сказалъ про себя, что онъ прежде былъ толстякъ, а теперь боленъ; но помнитъ, что онъ держалъ себя непривѣтливо, небрежно и какъ то свысока, чего, разумѣется, не было, но могло такъ показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвелъ на всѣхъ безъ исключенія невыгодное, несимпатичное впечатлѣніе. Отдать визитъ Гоголю не было возможности, потому что не знали, гдѣ онъ остановился: Гоголь не хотѣлъ этого сказать.

Черезъ нѣсколько дней, въ продолженіе которыхъ я уже предупредилъ Загоскина, что Гоголь хочетъ съ нимъ познакомиться и что я приведу его къ нему, явился ко мнѣ довольно рано Николай Васильевичъ. Я обратился къ нему съ искренними похвалами его „Диканькѣ“, но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и онъ принялъ ихъ очень сухо. Вообще, въ немъ было что то отталкивающее, не допускавшее меня до искренняго увлеченія и изліянія, къ которымъ я способенъ до излишества. По его просьбѣ мы скоро пошли пѣшкомъ къ Загоскину. Дорогой онъ удивилъ меня тѣмъ, что началъ жаловаться на свои болѣзни... и сказалъ даже, что боленъ неизлѣчимо. Смотря на него изумленными и недовѣрчивыми глазами, потому что онъ казался здоровымъ, я спросилъ его; „Да чѣмъ же вы больны?“ Онъ отвѣчалъ неопредѣленно и сказалъ, что причина его болѣзни находится въ кишкахъ. Дорогой разговоръ шелъ о Загоскинѣ. Гоголь хвалилъ его за веселость, но сказалъ, что онъ не то пишетъ, что слѣдуетъ, особенно для театра. Я легкомысленно возразилъ, что у насъ писать не о чемъ, что въ свѣтѣ все такъ однообразно, гладко, прилично и пусто, что

... даже глупости смѣшной
Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

но Гоголь посмотрѣлъ на меня какъ то значительно и сказалъ, что „это неправда, что комизмъ кроется вездѣ, что, живя посреди него, мы его не видимъ, но что если художникъ перенесетъ его въ искусство, на сцену, то мы же сами надъ собой будемъ валяться со смѣху и будемъ дивиться, что прежде не замѣчали его“. Мо-

жетъ быть, онъ выразился не совсѣмъ такими словами, но мысль была точно та. Я былъ ею озадаченъ, особенно потому, что никакъ не ожидалъ ее услышать отъ Гоголя. Изъ послѣдующихъ словъ я замѣтилъ, что русская комедія его сильно занимала, и что у него есть свой оригинальный взглядъ на нее".

Послѣ нѣсколькихъ встрѣчъ отношенія между Гоголемъ и семьей Аксакова стали короче и дружественнѣе. Въ 1836 г. Гоголь хлопоталъ по поводу постановки „Ревизора" въ Москвѣ, которую поручилъ М. С. Щепкину Этотъ послѣдній въ виду затрудненій съ артистами обратился къ С. Т. Аксакову съ просьбой принять на себя завѣдываніе постановкой піесы, т. к. С. Т. пользовался большимъ авторитетомъ и въ средѣ актеровъ и въ дирекціи театра. Аксаковъ обратился съ письмомъ къ Гоголю и получилъ отъ него слѣдующій отвѣтъ:

„Я получилъ пріятное для меня письмо ваше. Участіе ваше меня тронуло. Пріятно думать, что среди многолюдной неблаговолящей толпы скрывается тѣсный кружокъ избранныхъ, повѣряющій творенія наши вѣрнымъ внутреннимъ чувствомъ и вкусомъ; еще болѣе пріятно, когда глаза его обращаются на творца ихъ съ тою любовью, какая дышитъ въ письмѣ вашемъ. — Я не знаю, какъ благодарить васъ за готовность вашу принять на себя обузу и хлопоты по моей піесѣ. Я поручилъ ее уже Щепкину и писалъ объ этомъ письмо къ Загоскину. Если же ему точно нѣтъ возможности ладить самому съ дирекціей, и если онъ не отдавалъ еще письма, то извѣстите меня, я въ ту же минуту приготовлю новое письмо къ Загоскину. Самъ я никакимъ образомъ не могу пріѣхать къ вамъ, потому что занятъ приготовленіями къ моему отъѣзду, который будетъ если не 30 мая, то 6 іюня непремѣнно. Но по возвращеніи изъ чужихъ краевъ я постоянный житель столицы древней.

Еще разъ принося вамъ чувствительнѣйшую мою благодарность, остаюсь навсегда вашимъ покорнѣйшимъ слугою. Н. Гоголь".

Вспоминая позднѣе это начало своей переписки съ великимъ писателемъ, Аксаковъ писалъ: „Какъ это странно, что письмо такое простое, искреннее не понравилось всѣмъ и даже мнѣ".

„Отсюда начинается долговременная и тяжелая исторія неполнаго пониманія Гоголя людьми самыми ему близкими, искренно и горячо его любившими, называвшимися его друзьями! Безграничной, безусловной до-

вѣренности въ свою искренность Гоголь не имѣлъ до своей смерти. Нельзя предположить, чтобъ всѣ мы были виноваты въ этомъ безъ всякаго основанія; оно заключалось въ наружности обращенія и въ необъяснимыхъ странностяхъ его духа. Это матерія длинная и, чтобы бросить на нее нѣкоторый свѣтъ, заранѣе скажу только, что впослѣдствіи я часто говаривалъ для успокоенія Шевырева и особенно Погодина: „Господа, ну какъ мы можемъ судить Гоголя по себѣ? Можетъ быть, у него всѣ нервы вдесятеро тоньше нашихъ и устроены какъ-нибудь вверхъ ногами!“ На что Погодинъ со смѣхомъ отвѣчалъ: „Развѣ что такъ!“

Послѣ пятилѣтняго отсутствія Гоголь опять появляется въ Москвѣ въ домѣ у Аксаковыхъ, уже въ качествѣ совершенно близкаго, своего человѣка.

„Наружность Гоголя такъ перемѣнилась, что его можно было не узнать: слѣдовъ не было прежняго, гладковыбритаго и обстриженнаго (кромѣ хохла) франтика въ модномъ фракѣ! Прекрасные бѣлокурые густые волосы лежали у него почти по плечамъ; красивые усы, эспаньолка довершали перемѣну; всѣ черты лица получили совсѣмъ другое значеніе; особенно въ глазахъ, когда онъ говорилъ, выражалась доброта, веселость и любовь ко всѣмъ: когда же онъ молчалъ или задумывался, то сейчасъ изображалось въ нихъ серьезное устремленіе къ чему то высокому. Сюртукъ, въ родѣ пальто, замѣнилъ фракъ, который Гоголь надѣвалъ только въ совершенной крайности. Самая фигура Гоголя въ сюртукѣ сдѣлалась благообразнѣе. Шутки Гоголя, которыхъ передать нѣтъ никакой возможности, были такъ оригинальны и забавны, что неудержимый смѣхъ одолѣвалъ всѣхъ, кто его слушалъ, самъ же онъ всегда шутилъ, не улыбаясь...

... Гоголь сказалъ намъ, что ему надобно ѣхать въ Петербургъ, чтобъ взять сестеръ своихъ изъ Патріотическаго института, гдѣ онѣ воспитывались на казенномъ содержаніи. Мать Гоголя должна была весною пріѣхать за дочерьми въ Москву“.

Аксакову тоже нужно было ѣхать въ Петербургъ, опредѣлять въ Пажескій корпусъ сына, и они отправились вмѣстѣ, выѣхавъ 26 октября 1839 г.

... „Я взялъ особый дилижансъ, раздѣленный на два купе: въ заднемъ — я съ Вѣрой [1]. Оба купе сообщались двумя небольшими окнами, въ которыхъ деревянныя рамки можно было поднимать и опускать: съ

---

[1] Дочерью С. Т.

нашей стороны въ рамкахъ были вставлены два зеркала. Это путешествіе было для меня и для дѣтей моихъ такъ пріятно, такъ весело, что я и теперь вспоминаю о немъ съ удовольствіемъ. Гоголь былъ такъ любезенъ, такъ постоянно шутливъ, что мы помирали со смѣху. Всѣ эти шутки обыкновенно происходили на станціяхъ или при разговорахъ съ кондукторомъ и ямщиками. Самый обыкновенный вопросъ или какое-нибудь требованіе Гоголь умѣлъ такъ сказать забавно, что мы сейчасъ начинали хохотать; иногда даже было намъ совѣстно передъ Гоголемъ, особенно когда мы бывали окружены толпою слушателей. Въ продолженіе дороги, которая тянулась болѣе четырехъ сутокъ, Гоголь говорилъ иногда съ увлеченіемъ о жизни въ Италіи, о живописи (которую очень любилъ, и къ которой имѣлъ рѣшительный талантъ), объ искусствѣ вообще, о комедіи въ особенности, о своемъ „Ревизорѣ“, очень сожалѣя о томъ, что главная роль Хлестакова играется дурно въ Петербургѣ и Москвѣ, отъ чего піеса теряла весь смыслъ (хотя въ Москвѣ онъ не видалъ „Ревизора“). Онъ предлагалъ мнѣ, воротясь изъ Петербурга, разыграть „Ревизора“ на домашнемъ театрѣ; самъ хотѣлъ взять роль Хлестакова, мнѣ предлагалъ городничаго, Томашевскому (съ которымъ я успѣлъ его познакомить), служившему цензоромъ въ почтамтѣ, назначалъ роль почтмейстера, и такъ далѣе. Много высказывалъ Гоголь такихъ ясныхъ и вѣрныхъ взглядовъ на искусство, такихъ тонкихъ пониманій художества, что я былъ очарованъ имъ. Большую же часть во время ѣзды, закутавшись въ шинель, поднявъ ея воротникъ выше головы, онъ читалъ какую то книгу, которую пряталъ подъ себя или клалъ въ мѣшокъ, который всегда выносилъ съ собою на станціяхъ. Въ этомъ огромномъ мѣшкѣ находились принадлежности туалета: какое то масло, которымъ онъ мазалъ свои волосы, усы и эспаньолку, нѣсколько головныхъ щетокъ, изъ которыхъ одна была очень большая и кривая; ею Гоголь расчесывалъ свои длинные волосы. Тутъ же были ножницы, щипчики и щеточки для ногтей, наконецъ, нѣсколько книгъ. Сосѣдъ Гоголя, четырнадцатилѣтный Миша[1], живой и веселый, всегда показывалъ намъ знаками, что дѣлалъ Гоголь, читаетъ или дремлетъ. Миша подсмотрѣлъ даже, какую книгу онъ читалъ: это былъ Шекспиръ на французскомъ языкѣ“.

Далѣе Аксаковъ подробно изображаетъ заботы Го-

[1] Сынъ С. Т. Аксакова

голя о своихъ сестрахъ, сопряженныя съ тяжелыми матеріальными хлопотами, доставлявшими Н. В. не мало страданій. Пребываніе въ Петербургѣ затянулось довольно долго, а затѣмъ Аксаковъ съ дочерью и Гоголь съ сестрами вернулись въ Москву, куда пріѣхала и мать Н. В., о которой Аксаковъ отзывается съ необыкновенной симпатіей.

... „Передъ Святой недѣлей пріѣхала мать Гоголя съ его меньшей сестрой. Взглянувъ на Марью Ивановну (такъ зовутъ мать Гоголя) и поговоря съ ней нѣсколько минутъ отъ души, можно было понять, что у такой женщины могъ родиться такой сынъ. Это было доброе, нѣжное, любящее существо, полное эстетическаго чувства, съ легкимъ оттѣнкомъ кроткаго юмора. Она была такъ моложава, такъ хороша собой, что ее рѣшительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя".

„Марья Ивановна — женщина необыкновенная. Она такъ моложава и хороша собой, что дочери кажутся при ней дурными. Она вся исполнена самоотверженія и тихой любви къ своимъ дѣтямъ; она отдала имъ свое сердце и сама не только не имѣетъ воли, но даже своихъ желаній; по крайней мѣрѣ, не показываетъ ихъ. Сына любитъ она болѣе всего на свѣтѣ и между тѣмъ должна отъ него почти отказаться, видѣть изрѣдка и то на короткое время. Лицо ея постоянно грустно, особенно послѣ отъѣзда Николая Васильевича; она плачетъ мало, но видно, какъ глубоко огорчена, и между тѣмъ говоритъ, что ненадобно грустить, ибо у нихъ есть повѣрье, что тотъ человѣкъ, о которомъ грустятъ, будетъ отъ того грустить больше... Какъ то странно видѣть мать Гоголя и слышать, какъ она говоритъ о немъ. Напримѣръ: „Когда Николенька писалъ „Мертвыя Души", онъ желалъ только добра людямъ" и т. п. выраженія въ этомъ родѣ... Она, конечно, не можетъ смотрѣть на него иначе, какъ на сына, и во всѣхъ словахъ о немъ слышится материнское чувство, даже тогда, когда она говоритъ о немъ, какъ о великомъ писателѣ. Какъ она боится того впечатлѣнія, которое произведетъ на цѣлую Россію его новая книга! Она боится непріязненнаго впечатлѣнія только потому, что это можетъ его разстроить и повредить его здоровью. Какъ интересны всѣ тѣ мелочныя подробности, которыя она разсказываетъ про дѣтство своего Николеньки. Напримѣръ, какъ онъ написалъ одинъ разъ какое то сочиненіе и поднесъ ей, а потомъ самъ же тихонько утащилъ его и, вѣроятно, истребилъ,

какъ она подозрѣваетъ, и нр. и пр. Какъ она смотритъ на портретъ сына, который онъ оставилъ ей, и который въ самомъ дѣлѣ похожъ чрезвычайно! Какъ она объясняетъ то, что выражается на лицѣ его. „Онъ улыбается", говоритъ она, „но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ думаетъ грустное; какъ будто хочетъ сказать людямъ: вы ошибаетесь во мнѣ, моя душа чиста и ясна, и много любви въ ней!.." Она увидала одинъ разъ только вышедшій томъ „Мертвыхъ Душъ", лежавшій на столѣ у насъ въ гостиной; она развернула книгу и прочла: „О, моя юность, о, моя свѣжесть"... и залилась слезами. Поразительно было видѣть, какъ по наружности молодая, прекрасная и свѣжая женщина оплакивала увядшую юность и свѣжесть своего сына".

Приводимая дальше часть воспоминаній относится уже къ болѣе поздней эпохѣ — времени возвращенія Гоголя изъ Рима въ 1841 году.

„Въ этотъ годъ послѣдовала сильная перемѣна въ Гоголѣ, не въ отношеніи къ наружности, а въ отношеніи къ его нраву и свойствамъ. Впрочемъ, и по наружности онъ сталъ худъ, блѣденъ, и тихая покорность волѣ Божіей слышна была въ каждомъ его словѣ; гастрономическаго направленія и прежней проказливости какъ будто не бывало. Иногда, очевидно, безъ намѣренія, слышался юморъ и природный его комизмъ; но смѣхъ слушателей, прежде не противный ему или не замѣчаемый имъ, въ настоящее время сейчасъ заставлялъ его перемѣнить топъ разговора. Проявленіе послѣдней его проказливости случилось во время переѣзда Гоголя изъ Петербурга въ Москву. Онъ пріѣхалъ въ одной почтовой каретѣ съ Петр. Ив. Пейкеромъ и сидѣлъ съ нимъ въ одномъ купэ. Замѣтя, что товарищъ очень обрадовался сосѣдству знаменитаго писателя, онъ увѣрилъ его, что онъ не Гоголь, а Гогель, прикинулся смиреннымъ простачкомъ, круглымъ сиротой и разсказалъ о себѣ преплачевную исторію. Притомъ на всѣ вопросы отвѣчалъ: „Нѣтъ, не знаю".

Затѣмъ, какъ разсказываетъ Аксаковъ, Гоголь встрѣтился у нихъ въ домѣ съ этимъ самымъ Пейкеромъ и тотъ узналъ „въ Гоголѣ несноснаго своего сосѣда Гогеля".

..."Въ это время, т. е. въ концѣ 1841 года и въ началѣ 1842 года, начали возникать неудовольствія между Гоголемъ и Погодинымъ. Гоголь молчалъ, но казался разстроеннымъ, а Погодинъ началъ сильно жаловаться на Гоголя: на его капризность, скрытность, неискрен-

ность, даже ложь, холодность и невниманіе къ хозяевамъ, т. е. къ нему, къ его женѣ, къ матери и къ тещѣ, которыя будто бы ничѣмъ не могли ему угодить. Я долженъ признаться, къ сожалѣнію, что жалобы и обвиненія Погодина казались такъ правдоподобными, что сильно смущали мое семейство и отчасти меня самого, а также и Шевырева. Я, однако, объясняя себѣ поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздѣтства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людямъ, но и выдумывать всякій вздоръ для скрытія истины, я старался успокоить другихъ моими объясненіями... Я тогда еще не вполнѣ понималъ Погодина и потому не догадывался, что главнѣйшею причиною его неудовольствія было то, что Гоголь ничего не давалъ ему въ журналъ[1], чего онъ постоянно и грубо требовалъ, несмотря на всѣ уже приведенныя мною письма Гоголю[2]. Послѣ объяснилось, что Погодинъ пилилъ, мучилъ Гоголя не только словами, но даже записками, требуя статей себѣ въ журналъ и укоряя его въ неблагодарности, которыя посылалъ ему ежедневно снизу наверхъ. Такая жизнь сдѣлалась мученьемъ для Гоголя и была единственною причиною его скораго отъѣзда за границу. Теперь для меня ясно, что грубая, черствая, топорная натура Погодина, лишенная отъ природы или отъ воспитанія всѣхъ нервовъ, передающихъ чувства деликатности, разборчивости, нѣжности, не могла иначе поступать съ натурою Гоголя, самою поэтическою, воспріимчивою и по преимуществу нѣжною. Погодинъ сдѣлалъ много добра Гоголю, хлопоталъ за него горячо всегда и вездѣ, передавалъ ему много денегъ (не имѣя почти никакого состоянія и имѣя на рукахъ большое семейство), содержалъ его съ сестрами и съ матерью у себя дома и по всему этому считалъ, что онъ имѣетъ полное право распоряжаться въ свою пользу талантомъ Гоголя и заставлялъ его писать въ издаваемый имъ журналъ...

...Я сказалъ, что были случаи, въ которыхъ я никакъ не умѣлъ объяснить себѣ поступковъ Гоголя; именно въ теченіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ 1842 г.

---

[1] Погодинъ издавалъ „Москвитянинъ".

[2] Въ письмахъ къ Аксакову Н. В. неоднократно ссылается на то, какъ трудно и тяжело ему отрываться отъ своего труда, въ которомъ онъ видитъ свое призваніе, свой подвигъ, — для журнальной статьи: „И для презрѣннаго журнальнаго ли, пошлаго, занятаго ежедневнымъ дрязгомъ, я долженъ совершать непрощаемыя преступленія"? говоритъ онъ, но все-таки дальше прибавляетъ, что статья будетъ готова.

было два такихъ случая. Пріѣхалъ въ Москву старый мой, еще по гимназіи, товарищъ и другъ, Дмитрій Максимовичъ Княжевичъ; онъ былъ прекраснѣйшій человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ, умный, образованный, живой, добрый, любящій и одаренный сильнымъ эстетическимъ чувствомъ. Кромѣ того, что онъ, по крайней мѣрѣ, до изданія „Мертв. Д.“, понималъ и цѣнилъ Гоголя, онъ былъ съ нимъ очень дружески знакомъ въ Римѣ и, какъ гостепріимный славянинъ, не одинъ разъ угощалъ у себя Гоголя. Княжевичъ очень обрадовался, узнавъ, что мы съ Гоголемъ друзья, и что онъ бываетъ у насъ всякій день. Я думалъ, что и Гоголь этому обрадуется. Что же вышло? Въ первый разъ, когда Княжевичъ первый разъ пріѣхалъ къ намъ при Гоголѣ и сталъ здороваться съ кѣмъ то за дверьми маленькой гостиной, въ которой мы всѣ сидѣли, Гоголь непримѣтно юркнулъ въ мой кабинетъ, и когда мы хватились его, то узнали, что онъ поспѣшно убѣжалъ изъ дому. Такой поступокъ поразилъ всѣхъ насъ, особенно удивилъ Княжевича. На другой день продолжалась такая же исторія, только съ тою разницею, что Гоголь не убѣжалъ изъ дому, когда пріѣхалъ Княжевичъ, а спрятался въ дальній кабинетецъ, схватилъ книгу, усѣлся въ большія кресла и притворился спящимъ. Онъ оставался въ такомъ положеніи болѣе двухъ часовъ и такъ же потихоньку уѣхалъ. На вопросы, что съ нимъ сдѣлалось, онъ отвѣчалъ самыми дѣтскими отговорками: въ первый пріѣздъ Княжевича онъ будто вспомнилъ какое то необходимое дѣло, по которому надобно было ему сейчасъ уѣхать, а въ другой разъ — будто ему такъ захотѣлось спать, что онъ не могъ тому противиться, а, проснувшись, почувствовалъ головную боль и необходимость поскорѣе освѣжиться на чистомъ воздухѣ. Мы всѣ были не только поражены изумленіемъ, но даже оскорблены. Я хотѣлъ даже заставить Гоголя объясниться съ Княжевичемъ, но послѣдній упросилъ меня этого не дѣлать и даже взялъ съ меня честное слово, что я и наединѣ не стану говорить объ этомъ съ Гоголемъ. Онъ думалъ, что, вѣроятно, Гоголю что-нибудь насказали, и что онъ имѣетъ на него неудовольствіе. Княжевичъ такъ любилъ горячо и меня и Гоголя, что буквально счелъ бы за несчастіе быть причиною размолвки между нами. Несмотря на то, наше обращеніе съ Гоголемъ измѣнилось и стало холоднѣе. Гоголь притворялся, что не примѣчаетъ того. На третій день опять пріѣхалъ Княжевичъ съ дочерью, тогда какъ мы съ Гоголемъ сидѣли всѣ въ моемъ кабинетѣ. Мы всѣ

сейчасъ встали, пошли навстрѣчу своему гостю и, затворивъ Гоголя въ кабинетѣ, расположились въ гостиной. Черезъ полчаса вдругъ двери отворились, вбѣжалъ Гоголь и съ словами: „Ахъ, здравствуйте, Дмитрій Максимовичъ!..“ протянулъ ему обѣ руки, кажется, даже обнялъ его, и началась самая дружеская бесѣда пріятелей, не видавшихся давно другъ съ другомъ... Точно онъ встрѣтился съ нимъ въ первый разъ послѣ разлуки, и точно прошедшихъ двухъ дней не бывало. Покорно прошу объяснить такую странность! Всякое объясненіе казалось мнѣ такъ невыгоднымъ для Гоголя, что я уже никогда не говорилъ съ нимъ объ этомъ, въ чемъ раскаиваюсь теперь“.

Другой случай, передаваемый Аксаковымъ, изображаетъ „бѣгство“ Гоголя изъ театра во время представленія „Ревизора“, когда публика стала устраивать ему овацiи. Публика этимъ внезапнымъ исчезновеніемъ, по словамъ Серг. Тимоф., была „очень недовольна, сочла такой поступокъ оскорбительнымъ и приписала его безмѣрному самолюбію и гордости автора“. На другой день Гоголь, какъ говоритъ Аксаковъ, „одумался“ и написалъ директору театра извинительное письмо для сообщенія публикѣ, въ которомъ „благодарилъ, извинялся и наклепалъ на себя небывалыя обстоятельства“. Письмо это, впрочемъ, оглашено не было.

Передъ отъѣздомъ Гоголя въ Палестину произошелъ случай, хорошо обрисовывающій мистическое направленіе Н. В.

„Черезъ нѣсколько дней, передъ вечеромъ, уѣзжалъ я въ клубъ, и всѣ меня провожали до передней. Вдругъ входитъ Гоголь съ образомъ Спасителя въ рукахъ и сіяющимъ, просвѣтленнымъ лицомъ. Такого выраженія въ глазахъ у него я никогда не видывалъ. Гоголь сказалъ: „Я все ждалъ, что кто-нибудь благословитъ меня образомъ, и никто не сдѣлалъ этого; наконецъ, Иннокентій благословилъ меня. Теперь я могу объявить, куда я ѣду: ко Гробу Господню“. Онъ провожалъ Иннокентія, и тотъ, прощаясь, благословилъ его образомъ. Иннокентію, какъ архіерею, весьма естественно было благословить Гоголя образомъ; но Гоголь давно желалъ, чтобы его благословила Ольга Семеновна [1], а прямо сказать не хотѣлъ. Онъ все ожидалъ, что она почувствуетъ къ этому влеченіе и даже самъ подговаривался, но Ольга Семеновна не догадывалась, да и какъ было догадаться? Признаюсь, я не былъ доволенъ ни про

[1] Жена С. Т. Аксакова.

свѣтленнымъ лицомъ Гоголя, ни намѣреніемъ его ѣхать ко святымъ мѣстамъ. Все это казалось мнѣ напряженнымъ нервнымъ состояніемъ и особенно страшнымъ въ Гоголѣ, какъ въ художникѣ, — и я уѣхалъ въ клубъ. Безъ меня было много разговоровъ объ этомъ предметѣ, и особенно Вѣра приставала къ Гоголю со многими вопросами, которые, какъ мнѣ кажется, не совсѣмъ были ему пріятны. Напримѣръ, на вопросъ: „Съ какимъ намѣреніемъ онъ пріѣзжалъ въ Россію: съ тѣмъ ли, чтобъ остаться въ ней навсегда, или съ тѣмъ, чтобы такъ скоро уѣхать“? Гоголь отвѣчалъ: „Съ тѣмъ, чтобъ проститься“. Всѣмъ извѣстно, что и письменно и словесно Гоголь высказывалъ совсѣмъ другое намѣреніе. На вопросъ, надолго ли ѣдетъ онъ, Гоголь отвѣчалъ различно. Сначала сказалъ, что уѣзжаетъ на два года, потомъ, что на десять и, наконецъ, что онъ ѣдетъ на пять лѣтъ. Ольга Семеновна сказала ему, что теперь она ожидаетъ отъ него описанія Палестины, на что Гоголь отвѣчалъ: „Да, я опишу вамъ ее, но для того мнѣ надо очиститься и быть достойну“. Черезъ нѣсколько времени онъ ушелъ, оставя образъ у насъ, и взялъ его уже на другой день“.

Вскорѣ состоялся и отъѣздъ Гоголя, котораго провожали друзья, въ томъ числѣ, конечно, и Аксаковы. Во время проводовъ Гоголь обратился съ просьбой къ С. Т. Аксакову:

... „старательно вслушиваться во всѣ сужденія и отзывы о „Мертвыхъ Душахъ“, предпочтительно дурные, записывать ихъ изъ слова въ слово и всѣ безъ исключенія сообщать ему въ Италію. Онъ увѣрялъ меня, что это ему необходимо; просилъ, чтобъ я не пренебрегалъ мнѣніями и замѣчаніями людей самыхъ глупыхъ и ничтожныхъ, особенно людей, расположенныхъ къ нему враждебно. Онъ думалъ, что злость, напрягая и изощряя умъ самаго пошлаго человѣка, можетъ открыть въ сочиненіи такіе недостатки, которые ускользали не только отъ пристрастныхъ друзей, но и отъ людей, равнодушныхъ къ личности автора, хотя бы они были очень умны и образованы“.

Въ описаніи этихъ проводовъ С. Т. невольно высказываетъ грустное удивленіе по поводу того, что Гоголь такъ спокойно разстается съ друзьями и съ Россіей „безъ всякихъ искреннихъ дружескихъ изліяній“.

„Гоголь внутренно былъ чрезвычайно радъ, что уѣзжаетъ изъ Москвы, но глубоко скрывалъ свою радость. Онъ чувствовалъ въ то же время, что обманулъ наши ожиданія и уѣзжаетъ слишкомъ рано, тогда какъ

обѣщалъ навсегда оставаться въ Москвѣ. Онъ чувствовалъ, что мы, для которыхъ было закрыто внутреннее состояніе души, его мучительное положеніе въ домѣ Погодина, котораго оставить онъ не могъ безъ огласки, имѣли полное право обвинять его въ причудливости, непостоянствѣ, капризности, пристрастіи къ Италіи и въ холодности къ Москвѣ и Россіи... Мы воротились съ прогулки довольно скучной[1], сѣли обѣдать, выпили здоровье Гоголя привезеннымъ съ собою шампанскимъ и, сидя за столомъ, продолжали разговаривать о разныхъ пустякахъ до пріѣзда дилижанса, который явился очень скоро. Увидавъ дилижансъ, Гоголь торопливо всталъ, началъ собираться и простился съ ними, равно какъ и мы съ нимъ, не съ такимъ сильнымъ чувствомъ, какого можно было ожидать. Товарищемъ Гоголя въ купе опять случился военный, съ иностранной фамиліей, кажется, нѣмецкой, но человѣкъ необыкновенной толщины. Гоголь и тутъ, для предупрежденія разныхъ объясненій и любопытства, назвалъ себя Гоноломъ и даже записался такъ, предполагая, что не будутъ справляться съ его паспортомъ. Хотя я давно начиналъ быть иногда недоволенъ поступками Гоголя, но въ ту минуту я все забылъ и чувствовалъ только горесть, что великій художникъ покидаетъ отечество и насъ. Горькое чувство овладѣло мною, когда захлопнулись двери дилижанса; образъ Гоголя исчезъ въ немъ, и дилижансъ покатился по Петербургскому шоссе. Въ то же время, какъ мы отправились провожать Гоголя, его мать съ дочерьми и Ольга Семеновна, также съ дочерьми, отправились въ двухъ экипажахъ къ Тройцѣ, помолиться Богу. Марья Ивановна была очень огорчена: сердце матери предчувствовало долгую разлуку".

Къ воспоминаніямъ С. Т. Аксакова.

Роль семьи Аксаковыхъ въ перипетіяхъ душевной трагедіи Гоголя всего лучше выясняется изъ переписки С. Т. и Н. В. Въ отдѣлѣ писемъ Гоголя читатели найдутъ отвѣтныя письма великаго писателя. Здѣсь, въ видѣ дополненія къ выдержкамъ изъ воспоминаній старика Аксакова, мы приводимъ наиболѣе характерныя письма его самого и сына К. С., знаменитаго славянофила.

---

[1] Гоголя провожали до станціи Химки, находящейся по нынѣшней Николаевской дорогѣ.

1.

Письмо С. Т. Аксакова къ Гоголю.

1842 іюля 3-го, Гаврилково.

„Вотъ уже другой мѣсяцъ живемъ мы въ прелестной деревушкѣ, милый другъ Николай Васильевичъ. Другой мѣсяцъ или читаемъ васъ, или говоримъ о васъ. Никому не повѣрю, чтобы нашелся человѣкъ, который могъ бы съ перваго раза вполнѣ понять ваши безсмертныя „Мертвыя души“! Я восхищался ими вмѣстѣ съ другими, а можетъ быть, и больше другихъ, или, по крайней мѣрѣ, многихъ; но восхищеніе мое было одностороннее. Нѣкоторыя, болѣе выдающіяся (по натурѣ своей) части, закрывали отъ меня остальное. Это міръ Божій... Можно ли однимъ взглядомъ его разсмотрѣть? Какое надобно вниманіе и разумѣніе, чтобы открыть въ немъ совершенство творчества въ малѣйшихъ подробностяхъ, повидимому, и не стоящихъ большого вниманія? Признаю торжественно превосходство эстетическаго чувства въ моемъ Константинѣ: онъ понялъ васъ болѣе меня и болѣе всѣхъ, сколько мнѣ извѣстно, изъ прежнихъ вашихъ твореній. Что казалось восторженностью, доходившею до смѣшного излишества, то теперь стало истиною, понятою еще немногими, но, тѣмъ не менѣе, непреложной истиной! Конечно, молодое поколѣніе образованныхъ юношей, все безъ исключенія почти, кромѣ несчастныхъ, лишенныхъ всякаго чувства изящнаго, болѣе и полнѣе васъ пойметъ, чѣмъ сорокалѣтніе и пятидесятилѣтніе люди. Всѣ мы съ нѣкоторыми измѣненіями успѣли засорить свой умъ, притупить чувство и не можемъ вдругъ стряхнуть съ себя сего ложнаго воззрѣнія и направленія. Константинъ написалъ статью, которая печатается въ „Москвитянинѣ“; въ ней вѣрно и ясно указаны причины, отчего порядочные люди, понимавшіе и чувствовавшіе другихъ поэтовъ, не могутъ вдругъ и вполнѣ понять и почувствовать „Мертвыя Души“. Я прочелъ ихъ два раза про себя и третій разъ вслухъ для всего моего семейства; надобно нѣкоторымъ образомъ остыть, чтобъ не пропустить красотъ творенія, естественно ускользающихъ отъ пылающей головы и сильно бьющагося сердца. Теперь мы съ жадностью бросились перечитывать все, написанное вами прежде, по порядку, какъ оно выходило. Разстояніе велико; но элементы уже тѣ. Главное: свѣжесть, ароматность, такъ сказать, жизни, непостижимыя!.. Прочту ли я остальныя части „Чичикова?“ Доживу ли я до этого

счастія? Кромѣ моего семейства, у меня нѣтъ другого, столь высокаго интереса, въ остальномъ теченіи моей жизни, какъ желанье и надежда прочесть два тома „Мертвыхъ душъ“.

... „Я обѣщалъ вамъ записывать разные толки о Чичиковѣ: я сдѣлалъ это, сколько могъ успѣть, ибо черезъ недѣлю мы уѣхали изъ Москвы. Вотъ они; выписываю ихъ съ дипломатическою точностью. С. В. Перфильевъ[1] сказалъ мнѣ: „Не смѣю говорить утвердительно, но признаюсь: „Мертвыя Души“ мнѣ не такъ нравятся, какъ я ожидалъ. Даже какъ то скучно читать; все одно и то же, натянуто; видно желаніе перейти въ русскіе писатели; употребленіе руссицизмовъ вставочное не выливается изъ характера лица, которое ихъ говоритъ“. Онъ прочелъ залпомъ въ одинъ день. Я просилъ его черезъ нѣсколько времени прочесть въ другой разъ и не искать анекдота. Онъ хотѣлъ прочесть три раза. Уходя, онъ прибавилъ, что сальности въ прежнихъ сочиненіяхъ, даже въ „Ревизорѣ“, его не оскорбляли; но что здѣсь онѣ оскорбительны, потому что какъ будто нарочно вставляются авторомъ. Н. В. Васьковъ говоритъ, „что составъ губернскаго общества невѣренъ (какъ и въ „Ревизорѣ“, гдѣ пропущены: стряпчій, казначей и исправникъ): что предсѣдателей двое, что полицмейстеръ лицо ничтожное въ губернскомъ городѣ; что, представивъ сначала все въ дрянномъ и смѣшномъ видѣ, странно сдѣлать такое горячее обращеніе къ Россіи; что часто шутки автора плоски, неблагопристойны и что порядочной женщинѣ нельзя читать всю книгу“. Наконецъ, нашелся одинъ, который обидѣлся слѣдующими словами: „Посмотримъ, что дѣлаетъ нашъ пріятель?“ И кто же этотъ пріятель?.. Селифанъ или половой!.. Что же они мнѣ за пріятели?.. Не сочтите за выдумку послѣдняго выраженія: все правда до послѣдней буквы. Есть, впрочемъ, обвиненія и справедливыя. Я очень браню себя, что одно просмотрѣлъ, а на другомъ мало настаивалъ: крестьяне на выводъ продаются съ семействами, а Чичиковъ отказался отъ женскаго пола; безъ довѣренности, выданной въ присутственномъ мѣстѣ, нельзя продать чужихъ крестьянъ, да и предсѣдатель не можетъ быть въ одно и то же время и довѣреннымъ лицомъ и присутствующимъ по этому дѣлу...“

---

[1] Жандармскій генералъ, близкій знакомый Аксаковыхъ и Гоголя.

2.

Письмо К. С. Аксакова къ Гоголю.

... „Вы уѣхали, дорогой Николай Васильевичъ, и оставили намъ книгу, которая произвела необыкновенный шумъ. Давно не бывало у насъ такого движенія, какое теперь по случаю „Мертв. Душъ“. Ни одинъ, рѣшительно, человѣкъ не остался равнодушенъ; книга всѣхъ тронула, всѣхъ подняла, и всякій говоритъ свое мнѣніе. Хвала и брань раздаются со всѣхъ сторонъ, и того и другого много; но зато полное отсутствіе равнодушія. Отвсюду слышны мнѣнія: ихъ говоритъ всякій; всякій открылъ свое сужденіе и потому, — при этомъ всеобщемъ объявленіи своихъ мыслей, взглядовъ на вещи, при этомъ всеобщемъ признаніи, вынужденномъ книгою, — произошла такая разность мнѣній, такія поразительныя несходства, что едва вѣришь ушамъ своимъ. Безъ этой книги и предполагать нельзя бы было такого различія мнѣній, которое вышло теперь на свѣтъ. Одни говорятъ, что только тутъ видятъ они Гоголя, который до сихъ поръ далеко не такъ поражалъ ихъ; что только тутъ почувствовали они его колоссальность; другіе провозгласили было въ самомъ началѣ, что эта книга — паденіе Гоголя, смерть его таланта; но скоро должны были замолчать, оглушенные всеобщимъ шумомъ, поднявшимся надъ ихъ главами; они ограничиваются тѣмъ теперь, что указываютъ на прежнія ваши сочиненія, на Малороссію. Для иныхъ здѣсь колоссально предстаетъ Россія, сквозящая сквозь первую часть и выступившая въ концѣ книги; слезы навертываются у нихъ на глазахъ при чтеніи послѣднихъ строкъ. Другіе съ горестью читаютъ, говорятъ, что надо терзаться и плакать. Посмотрите, говорилъ мнѣ одинъ, какая тяжелая, страшная насмѣшка въ окончаніи этой книги. Какая? спросилъ я, выпучивъ глаза. — Въ словахъ, которыми оканчивается книга. — Какъ, въ этихъ словахъ? — Да развѣ вы не замѣтили! Русь, куда несешься ты, сама не знаешь, не даешь отвѣта. И это говорятъ серьезно, съ искреннею, глубокою грустью. Мнѣ удалось, однако, поколебать это печальное мнѣніе. — Одни говорятъ, что „М. Д.“ поэма, что они понимаютъ смыслъ этого названія; другіе видятъ въ этомъ насмѣшку въ духѣ Гоголя: нате вотъ, грызитесь за это слово. Многіе помѣщики не на шутку выходятъ изъ себя и считаютъ васъ своимъ смертельнымъ, личнымъ врагомъ.

Само собою разумѣется, что ко всему этому присоединяются нападенія на васъ, на неприличіе; съ другой стороны дается этимъ нападеніямъ живой отпоръ. — Я говорю вамъ, дорогой Николай Васильевичъ, пока вообще, но потомъ постараюсь написать мнѣнія въ отдѣльности.

... Словомъ сказать, литераторы, журналисты, книгопродавцы, частные люди — всѣ говорятъ, что давно не бывало такого страшнаго шума въ литературномъ мірѣ, одни браня, другіе хваля. Изъ послѣднихъ, одни со слезами на глазахъ отъ того живого свѣта русской жизни, проникающаго наружу теплымъ лучомъ, передъ которымъ падаетъ всякое сомнѣніе и растетъ надежда, вмѣстѣ съ силами и бодростью духа. — Другіе со слезами на глазахъ отъ совершеннаго отчаянія; они говорятъ, что тотъ не русскій, у кого сердце не обольется кровью, глядя на безотрадное состояніе, — говорятъ: Гоголь не любитъ Россіи; посмотрите, какъ хороша Малороссія и какова Россія; прибавляютъ: замѣтьте, что самая природа Россіи не пощажена, и погода даже все мокрая и грязная.

Но мнѣ хочется также сказать вамъ собственно про себя, дорогой Николай Васильевичъ. Когда я слышалъ „М. Д.“, еще никакого впечатлѣнія цѣлаго не было возбуждено во мнѣ. Я прочелъ ихъ; я чувствовалъ, что прекрасно; видѣлъ красоту созданія, жизнь каждой отдѣльной черты; но что такое самое созданіе, какой общій смыслъ его, въ которомъ соединяются въ одно цѣлое всѣ эти чудныя, живыя черты, — этого я не могъ себѣ постигнуть. Мысль была въ недоумѣніи. Но потомъ открылась для меня внутренняя гармонія всего созданія: стали (слагаться) въ одно цѣлое всѣ малѣйшія черты, понятна стала глубочайшая связь всего между собою, основанная не на внѣшней анекдотической завязкѣ (отсутствіе которой смущаетъ съ перваго разу), но на внутреннемъ единствѣ жизни, и тогда могъ я наслаждаться самимъ созданіемъ, цѣлымъ его образомъ, который, кажется, сталъ доступенъ мнѣ... Мнѣ кажется, главная трудность лежитъ въ настоящемъ уразумѣніи слова: поэма; такъ, по крайней мѣрѣ, какъ я его понимаю. Когда сталъ я говорить о „М. Д.“, то нашелъ согласнымъ съ собой Хомякова и Самарина. Это древній эпосъ съ его великимъ созерцаніемъ: разумѣется, современный и свободный, въ наше время, но это онъ...“

3.

Мистическія увлеченія Гоголя были не по душѣ С. Т., несмотря на всю его религіозность. Въ своей „Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ“ онъ даетъ такую ихъ оцѣнку.

„Гоголю начинало мѣшать его религіозное направленіе... Гоголь, погруженный безпрестанно въ нравственныя размышленія, начиналъ думать, что онъ можетъ и долженъ поучать другихъ, и что поученія его будутъ полезнѣе его юмористическихъ сочиненій. Во всѣхъ его письмахъ тогдашняго времени, къ кому бы они ни были писаны, уже начинаетъ звучать этотъ противный мнѣ тонъ наставника. Въ это время сошелся онъ съ гр. А. П. Толстымъ, и я считаю это знакомство рѣшительно гибельнымъ для Гоголя. Не менѣе вредны были ему дружескія связи съ женщинами, большею частью высшаго круга. Онѣ сейчасъ сдѣлали изъ него нѣчто въ родѣ духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и увѣреніями, что его письма и совѣты или поддерживаютъ, или возвращаютъ ихъ на путь добродѣтели. Нѣкоторыхъ я даже не знаю и назову только Віельгорскую, Сологубъ и Смирнову. Первыхъ двухъ, конечно, не должно смѣшивать съ послѣдней; но высокость нравственнаго ихъ достоинства, можетъ быть, была для Гоголя еще вреднѣе, ибо онъ долженъ былъ скорѣе имъ повѣрить, чѣмъ другимъ. Я не знаю, какъ сильна была его привязанность къ Сологубъ и Віельгорской; но Смирнову онъ любилъ съ увлеченіемъ, можетъ быть, потому, что видѣлъ въ ней кающуюся Магдалину и считалъ себя спасителемъ ея души. По моему же простому человѣческому смыслу, Гоголь, несмотря на свою духовную высоту и чистоту, на свой строго монашескій образъ жизни, самъ того не вѣдая, былъ нѣсколько неравнодушенъ къ Смирновой, блестящій умъ которой и живость были тогда еще очаровательны. Она сама сказала ему одинъ разъ: „Послушайте, вы влюблены въ меня...“ Гоголь осердился, убѣжалъ и три дня не ходилъ къ ней. Все это надѣлала продолжительная заграничная жизнь внѣ отечества, внѣ круга пріятелей и литераторовъ, людей свободнаго образа мыслей, чуждыхъ ханжества, богомольства и всякихъ мистическихъ суевѣрій. Впрочемъ, я считаю, что ему также была очень вредна дружба съ Жуковскимъ, котораго, безъ сомнѣнія, погубила та же заграничная жизнь. Такъ, по крайней мѣрѣ, я думаю“.

При откровенности характера С. Т. это рѣзко отри-

цательное отношеніе должно было выразиться и въ перепискѣ. 9 декабря 1846 г. С. Т. Аксаковъ пишетъ Гоголю:

„Давно, очень давно надобно было писать къ вамъ. Давно душа моя рвалась излиться въ вашу душу, но съ февраля прошедшаго года я жестоко страдаю и только лѣтомъ имѣю отдыхъ, какъ будто для того, чтобъ собраться съ силами; съ 1 же октября по настоящее число декабря я страдаю постоянно. Но главное препятствіе состояло не въ этомъ: при всякомъ ослабленіи болѣзни я думаю и думалъ объ васъ и часто говорю мысленно съ вами; итакъ, стоило только эти мысли положить на бумагу, и это то меня до сихъ поръ останавливало. Я хочу говорить съ вами такъ глубоко откровенно, что только мой голосъ или моя рука имѣетъ право произнести или написать такія рѣчи; а я съ трудомъ могу подписать мое имя! Необходимость заставила меня употребить Константина, такого человѣка, который любитъ васъ и преданъ вамъ безпредѣльно. Кажется, вы не должны оскорбиться этимъ.

Уже давно начало не нравиться мнѣ ваше религіозное направленіе. Не потому, что я, будучи плохимъ христіаниномъ, плохо понималъ его и оттого боялся; но потому, что проявленіе христіанскаго смиренія казалось мнѣ проявленіемъ духовной гордости вашей. Многія мѣста въ вашихъ письмахъ ко мнѣ меня смущали; но они были окружены такимъ блескомъ поэзіи, такою искренностью чувства, что я не смѣлъ предаться, не смѣлъ повѣрить моему внутреннему голосу, ихъ осуждавшему, и старался перетолковать свое непріятное впечатлѣніе въ благопріятную для васъ сторону. Я бывалъ даже увлеченъ, ослѣпленъ вами и помню, что одинъ разъ написалъ къ вамъ горячее письмо, истинно скорбя о томъ, что я самъ, какъ христіанинъ, неизмѣримо далекъ отъ того, чѣмъ бы я могъ быть. Между тѣмъ ваше новое направленіе развивалось и росло. Опасенія мои возобновились съ большей силой: каждое ваше письмо подтверждало ихъ. Вмѣсто прежнихъ дружескихъ, теплыхъ изліяній, начали появляться наставленія проповѣдника, таинственныя, иногда пророческія, всегда холодныя и, что хуже всего, полныя гордыни въ рубищѣ смиренія. Я могъ бы доказать слова мои многими выписками изъ вашихъ писемъ, но считаю это излишнимъ и слишкомъ тягостнымъ для себя трудомъ. Вскорѣ прислали вы намъ при самомъ загадочномъ письмѣ душеспасительное житіе Ѳомы Кемпійскаго съ подробнымъ рецептомъ: какъ, когда и по

сколько употреблять его, обѣщая намъ несомнѣнный переворотъ въ духовной жизни нашей... Опасенія мои превратились въ страхъ, и я написалъ вамъ довольно рѣзкое и откровенное письмо. Въ это время меня начинала постигать ужасная бѣда: я терялъ безвозвратно зрѣніе въ одномъ глазу и начиналъ чувствовать ослабленіе его въ другомъ. Отчаяніе овладѣвало мною. Я излилъ скорбь мою въ вашу душу и получилъ въ отвѣтъ нѣсколько сухихъ и холодныхъ строкъ, способныхъ не умилить, не усладить страждущее сердце друга, а возмутить его. Послѣ того вы были долго больны сами, и вскорѣ послѣ вашего медленнаго выздоровленія начались мои мучительныя страданія, и теперь продолжающіяся. Не много было предметовъ, возбуждавшихъ мое душевное участіе; но вы были изъ первыхъ. Тѣлесное здоровье ваше, какъ видно, поправилось, и дѣятельность возобновилась; но какая дѣятельность? Каждое ваше дѣйствіе было для меня новымъ ударомъ и одинъ другого сильнѣйшимъ... Предисловіе ваше ко 2 изданію „Мертвыхъ Душъ“ поразило меня глубже, и когда Шевыревъ читалъ мнѣ его, то мои стенанія физическихъ мученій замѣнились стенаніями душевными, и я тогда же предлагалъ не печатать вашего объясненія съ читателями. Въ короткихъ словахъ скажу вамъ заключеніе, которое выведетъ изъ него здравый толкъ простого русскаго человѣка: „Кой чортъ, скажетъ онъ, сочинитель самъ признается, что плохо знаетъ Русь и для того, чтобы избѣжать промаховъ во 2 томѣ своего сочиненія, почти пять лѣтъ живетъ за границей, да видно и еще хочетъ тамъ оставаться, потому что проситъ насъ замѣчать его промахи, описывать нравы наши, обычаи и вообще весь русскій бытъ, и все это пересылать къ нему черезъ петерб и московскихъ корреспондентовъ! Онъ, видно, хочетъ, живя на чужбинѣ и съ каждымъ днемъ забывая то, что зналъ о святой Руси, чужими руками жаръ загребать“. Нужно ли говорить, что скажутъ тѣ люди, которые понимаютъ, какъ ложна мысль, будто изъ мертвыхъ описаній житейскихъ фактовъ и анекдотовъ можетъ постигаться жизнь и духъ обширнѣйшей, разнообразнѣйшей страны и великаго народа, въ ней живущаго. Вслѣдъ за этимъ разнеслись темные слухи, что въ Петербургѣ печатается цѣлая книга вашихъ сочиненій, въ которой помѣщена ваша переписка съ друзьями, состоящая изъ проповѣдей и пророчествъ, ваше признанье, что все

написанное вами до сихъ поръ ничтожно и недостойно вниманія, ваше извѣщеніе, что вы сожгли продолженіе „Мертвыхъ Душъ", и что вы отправляетесь въ Іерусалимъ и, наконецъ, ваше завѣщаніе, чтобы не ставили никакого памятника на вашей могилѣ. Не зная, до какой степени справедливы эти слухи, тѣмъ не менѣе, уже не я одинъ, но многіе изъ тѣхъ, для коихъ драгоцѣнны вы и вашъ великій талантъ, пришли въ неописанный ужасъ. Враги ваши торжествовали, и уже Брамбеусъ [1] торжественно и печатно объявилъ, что новый Гомеръ впалъ въ мистицизмъ. Вскорѣ получили мы доказательства, послѣ которыхъ, по моему мнѣнію, должно было всему повѣрить: мы получили для напечатанія Предувѣдомленіе къ 4 изданію „Ревизора" въ пользу бѣдныхъ и новую развязку [2]. Другъ мой, гдѣ же то христіанское смиреніе, которое велитъ дѣлать добро такъ, чтобы шуйца не вѣдала, что творитъ десница? Вы всенародно, въ услышаніе всей Россіи, устраиваете свое благотворительное общество, назначаете поименно членовъ онаго и съ подробностью предписываете имъ образъ ихъ дѣйствій, невозможный въ исполненіи, несообразный ни съ чѣмъ до послѣдней крайности. Какъ вы могли думать, что лица, назначаемыя вами, особенно женщины, могли быть такъ неразборчивы, такъ нескромны, что согласились бы принять публичныя обязанности благотворенія, вами на нихъ возлагаемыя?.. Разумѣется, никто не согласится, и ваше Предувѣдомленіе уничтожается само собою. Но гдѣ же вашъ прежній, ясный и здравый взглядъ на публичность, гласность въ дѣлахъ благотворенія? Давно ли вы сами поручали такія дѣла Шевыреву и мнѣ подъ условіемъ глубокой тайны? Этой тайны не знаютъ даже наши семейства. Наконецъ, обращаюсь къ послѣднему вашему дѣйствію — къ новой развязкѣ „Ревизора". Не говорю о томъ, что тутъ нѣтъ никакой развязки, да и нѣтъ въ ней никакой надобности: но подумали ли вы о томъ, какимъ образомъ Щепкинъ, давая себѣ въ бенефисъ „Ревизора", увѣнчаетъ самъ себя какимъ то вѣнцомъ, поднесеннымъ ему актерами? Вы позабыли всякую человѣческую скромность. Вы позабыли, вы уже не знаете, какъ приняла бы все это русская образованная публика. Вы позабыли, что мы не французы, готовые восторгаться отъ всякой эффектной церемоніи. Но мало этого. Скажите мнѣ, ради Бога, положа руку на сердце:

---

[1] Сенковскій, редакторъ „Библіотеки для чтенія".
[2] „Ревизора".

неужели ваши объясненія „Ревизора“ искренни? Неужели вы, испугавшись нелѣпыхъ толкованій невѣждъ и дураковъ, сами святотатственно посягаете на искаженіе своихъ живыхъ творческихъ созданій, называя ихъ аллегорическими лицами? Неужели вы не видите, что аллегорія внутренняго города не льнетъ къ нимъ, какъ горохъ къ стѣнѣ; что названіе Хлестакова свѣтскою совѣстью не имѣетъ смысла, ибо принятіе Хлестакова за ревизора есть случайность? Вы нѣкогда обвиняли меня въ неполной искренности, вы требовали безпощадной правды — вотъ она. Если выраженія мои рѣзки, то вы, зная меня, не должны ими оскорбиться; но берегитесь подумать, что это вспышка моей горячей, страстной, какъ вы называете, натуры — вы жестоко ошибетесь. Пятый годъ душа моя наполняется этими чувствами и убѣжденіями, и, наконецъ, переполнилась мѣра. Посердитесь на меня, лишите меня вашей дружбы, но внемлите правдѣ, высказанной мною“.

4.

Письмо С. Т. Аксакова къ Гоголю о „Перепискѣ съ друзьями“.

27 генваря 1847 г.

„Другъ мой! Если вы желали произвести шумъ, желали, чтобъ высказались и хвалители и порицатели ваши, которые теперь, отчасти, перемѣнились мѣстами, то вы вполнѣ достигли своей цѣли. Если это была съ вашей стороны шутка, то успѣхъ превзошелъ самыя смѣлыя ожиданія: все одурачено! Противники и защитники представляютъ безконечно-разнообразный рядъ комическихъ явленій... Но — увы! — нельзя мнѣ обмануть себя: вы искренно подумали, что призваніе ваше состоитъ въ возвѣщеніи людямъ высокихъ нравственныхъ истинъ въ формѣ разсужденій и поученій, которыхъ образчикъ содержится въ вашей книгѣ... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противорѣчите сами себѣ безпрестанно и, думая служить небу и человѣчеству, оскорбляете и Бога и человѣка.

Еслибъ эту книгу написалъ обыкновенный писатель — Богъ бы съ нимъ! Но книга написана вами; въ ней блещетъ мѣстами прежній, могучій талантъ вашъ, и потому книга ваша вредна: она распространяетъ ложь вашихъ умствованій и заблужденій. Издали предчувствовалъ я эту бѣду, долго горевалъ и думалъ встрѣ-

тить грозу спокойно; но когда разразился ударъ, то разлетѣлось мое разумное спокойствіе. О, недобрый былъ тотъ день и часъ, когда вы вздумали ѣхать въ чужіе края, въ этотъ Римъ, губитель русскихъ умовъ и дарованій! Дадутъ Богу отвѣтъ эти друзья ваши, слѣпые фанатики и знаменитые Маниловы, которые не только допустили, но и сами помогли вамъ запутаться въ сѣти собственнаго ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христіанское смиреніе. Горько убѣждаюсь я, что никому не проходитъ безнаказанно бѣгство изъ отечества, ибо продолжительное отсутствіе есть бѣгство, измѣна ему“...

III.

Изъ „Литературныхъ и житейскихъ воспоминаній“ И. С. Тургенева.

Среди всѣхъ замѣтокъ и воспоминаній о Гоголѣ читатель, невольно для себя, съ особеннымъ интересомъ раскрываетъ воспоминанія И. С. Тургенева, ожидая найти въ нихъ не только обычную передачу тѣхъ или иныхъ фактовъ, но и болѣе глубокое, проникновенное пониманіе личности великаго писателя его высокодаровитымъ собратомъ. Къ сожалѣнію, Тургеневъ встрѣчался съ Гоголемъ всего только два раза и, конечно, во время этихъ мимолетныхъ свиданій не могъ вынести достаточнаго количества наблюденій, которыя дали бы ему возможность произвести безпристрастную и всестороннюю оцѣнку Гоголя, какъ человѣка.

Принадлежа къ кружку Бѣлинскаго и западниковъ, Тургеневъ съ особеннымъ, рѣзкимъ негодованіемъ обрушивается на Гоголя за его „паденіе“, ярко выразившееся въ „Выбранныхъ мѣстахъ изъ переписки съ друзьями“, обвиняетъ его въ ханжествѣ, низкопоклонствѣ и угодливости великимъ міра сего и видитъ въ нравственныхъ страданіяхъ Гоголя, въ этой сложной внутренней трагедіи лишь муки уязвленнаго самолюбія, вызванныя неудачей „Выбранныхъ мѣстъ“. Но въ то же самое время, наряду съ осужденіемъ, сказывается глубокій піэтетъ, безграничное преклоненіе передъ великимъ, неподражаемымъ художникомъ...

Эта двойственность отношенія, эти перебои чувства

отражаются на воспоминаніяхъ Тургенева, которыя все же являются прекраснымъ „наброскомъ съ натуры", рисующимъ Гоголя въ послѣдніе дни его жизни.

„Меня свелъ къ Гоголю покойный Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ. Помню день нашего посѣщенія: 20 октября 1851 года. Гоголь жилъ тогда въ Москвѣ на Никитской, въ домѣ Талызина, у графа Толстого. Мы пріѣхали въ часъ пополудни; онъ немедленно насъ принялъ. Комната его находилась возлѣ сѣней, направо. Мы вошли въ нее — и я увидѣлъ Гоголя, стоявшаго передъ конторкой съ перомъ въ рукѣ. Онъ былъ одѣтъ въ темное пальто, зеленый бархатный жилетъ и коричневыя панталоны. За недѣлю до того дня я его видѣлъ въ театрѣ, на представленіи „Ревизора"; онъ сидѣлъ въ ложѣ бель-этажа, около самой двери, и, вытянувъ голову, съ нервическимъ безпокойствомъ поглядывалъ на сцену, черезъ плечи двухъ дюжихъ дамъ, служившихъ ему защитой отъ любопытной публики. Мнѣ указалъ на него сидѣвшій рядомъ со мною Ѳ. Я быстро обернулся, чтобы посмотрѣть на него; онъ, вѣроятно, замѣтилъ это движеніе и немного отодвинулся назадъ, въ уголъ. Меня поразила перемѣна, происшедшая въ немъ съ 1841 года. Я раза два встрѣтилъ его тогда у Авдотьи Петровны Е—ной [1]. Въ то время онъ смотрѣлъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; теперь онъ казался худымъ и испитымъ человѣкомъ, котораго уже успѣла порядкомъ измыкать жизнь. Какая то затаенная боль и тревога примѣшивались къ постоянно проницательному выраженію его лица.

Увидѣвъ насъ со Щепкинымъ, онъ съ веселымъ видомъ пошелъ къ намъ навстрѣчу и, пожавъ мнѣ руку, промолвилъ: „Намъ давно слѣдовало быть знакомыми". Мы сѣли. Я — рядомъ съ нимъ, на широкомъ диванѣ, Михаилъ Семеновичъ на креслахъ, возлѣ него. Я попристальнѣе вглядѣлся въ его черты. Его бѣлокурые волосы, которые отъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, сохранили еще цвѣтъ молодости, но уже замѣтно порѣдѣли; отъ его покатаго, гладкаго, бѣлаго лба попрежнему такъ и вѣяло умомъ. Въ небольшихъ карихъ глазахъ искрилась по временамъ веселость — именно веселость, а не насмѣшливость; но вообще взглядъ ихъ казался усталымъ. Длинный, заостренный носъ придавалъ физіономіи Гоголя нѣчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлѣніе производили также его одутловатыя, мягкія губы подъ остриженными

[1] Елагиной.

усами; въ ихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ выражались — такъ, по крайней мѣрѣ, мнѣ показалось — темныя стороны его характера: когда онъ говорилъ, онѣ непріятно раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ зубовъ; маленькій подбородокъ уходилъ въ широкій бархатный черный галстукъ. Въ осанкѣ Гоголя, въ его тѣлодвиженіяхъ было что то не профессорское, а учительское — что то напоминавшее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и гимназіяхъ. „Какое ты умное, и странное, и больное существо!“ невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы съ Михаиломъ Семеновичемъ и ѣхали къ нему, какъ къ необыкновенному, геніальному человѣку, у котораго что то тронулось въ головѣ... вся Москва была о немъ такого мнѣнія. Михаилъ Семеновичъ предупредилъ меня, что съ нимъ не слѣдуетъ говорить о продолженіи „Мертвыхъ Душъ“, объ этой второй части, надъ которою онъ такъ долго и такъ упорно трудился, и которую онъ, какъ извѣстно, сжегъ передъ смертію; что онъ этого разговора не любитъ. О „Перепискѣ съ друзьями“ я самъ не упомянулъ бы, такъ какъ ничего не могъ сказать о ней хорошаго. Впрочемъ, я и не готовился ни къ какой бесѣдѣ, а просто жаждалъ видѣться съ человѣкомъ, творенія котораго я чуть не зналъ наизусть. Нынѣшнимъ молодымъ людямъ даже трудно растолковать обаяніе, окружавшее тогда его имя; теперь же и нѣтъ никого, на комъ могло бы сосредоточиться общее вниманіе.

Щепкинъ заранѣе объявилъ мнѣ, что Гоголь несловоохотливъ; на дѣлѣ вышло иначе. Гоголь говорилъ много, съ оживленіемъ, размѣренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, что не только не казалось неестественнымъ, но, напротивъ, придавало его рѣчи какую то пріятную вѣскость и впечатлительность. Онъ говорилъ на о; другихъ для русскаго уха менѣе любезныхъ особенностей малороссійскаго говора я не замѣтилъ. Все выходило ладно, складно, вкусно и мѣтко. Впечатлѣніе усталости, болѣзненнаго, нервическаго безпокойства, которое онъ сперва произвелъ на меня, исчезло. Онъ говорилъ о значеніи литературы, о призваніи писателя, о томъ, какъ слѣдуетъ относиться къ собственнымъ произведеніямъ; высказалъ нѣсколько тонкихъ и вѣрныхъ замѣчаній о самомъ процессѣ работы, самой, если можно такъ выразиться, физіологіи сочинительства; и все это — языкомъ образнымъ, оригинальнымъ — и, сколько я могъ замѣтить, нимало не подготовленнымъ заранѣе, какъ это сплошь да рядомъ

бываетъ у „знаменитостей“. Только когда онъ завелъ рѣчь о цензурѣ, чуть не возвеличивая, чуть не одобряя ее, какъ средство развивать въ писателѣ сноровку, умѣніе защищать свое дѣтище, терпѣніе и множество другихъ христіанскихъ и свѣтскихъ добродѣтелей — только тогда мнѣ показалось, что онъ черпаетъ изъ готоваго арсенала. Притомъ доказывать такимъ образомъ необходимость цензуры — не значило ли рекомендовать и почти похваливать хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стихъ итальянскаго поэта: „Si, servi siam; ma servi ognor frementi“ [1], но самодовольное смиреніе и плутовство рабства ... нѣтъ! лучше не говорить объ этомъ. Въ подобныхъ измышленіяхъ и разсужденіяхъ Гоголя слишкомъ явно выказывалось вліяніе тѣхъ особъ высшаго полета, которымъ посвящена большая часть „Переписки“: оттуда шелъ этотъ затхлый и прѣсный духъ. Вообще, я скоро почувствовалъ, что между міросозерцаніемъ Гоголя и моимъ лежала цѣлая бездна. Не одно и то же мы ненавидѣли, не одно любили; но въ ту минуту — въ моихъ глазахъ все это не имѣло важности. Великій поэтъ, великій художникъ былъ передо мною, и я глядѣлъ на него, слушалъ его съ благоговѣніемъ, даже когда не соглашался съ нимъ.

Гоголь, вѣроятно, зналъ мои отношенія къ Бѣлинскому, къ Искандеру [2]; о первомъ изъ нихъ, объ его письмѣ къ нему [3] — онъ не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но въ то время только что появилась — въ одномъ заграничномъ изданіи — статья Искандера, въ которой онъ, по поводу пресловутой „Переписки“, упрекалъ Гоголя въ отступничествѣ отъ прежнихъ убѣжденій. Гоголь самъ заговорилъ объ этой статьѣ. Изъ его писемъ, напечатанныхъ послѣ его смерти (о! какую услугу оказалъ бы ему издатель, еслибъ выкинулъ изъ нихъ цѣлыя двѣ трети, или, по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которыя писаны къ свѣтскимъ дамамъ... болѣе противной смѣси гордыни и подыскиванія, ханжества и тщеславія, пророческаго и прихлебательскаго тона — въ литературѣ не существуетъ!) — изъ писемъ Гоголя мы знаемъ, какою неизлѣчимой раной залегло въ его сердцѣ полное фіаско его „Переписки“ — это фіаско, въ которомъ нельзя не привѣтствовать одно изъ немногихъ утѣшительныхъ проявле-

[1] Мы рабы ... да; но рабы, вѣчно негодующіе.
[2] Герцену.
[3] Знаменитое письмо изъ-за границы по поводу „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями“.

ній тогдашняго общественнаго мнѣнія. И мы, съ покойнымъ М. С. Щепкинымъ, были свидѣтелями — въ день нашего посѣщенія — до какой степени эта рана наболѣла. Гоголь началъ увѣрять насъ — внезапно измѣнившимся, торопливымъ голосомъ, — что не можетъ понять, почему въ прежнихъ его сочиненіяхъ нѣкоторые люди находятъ какую то оппозицію, что то такое, чему онъ измѣнилъ впослѣдствіи; что онъ всегда придерживался однихъ и тѣхъ же религіозныхъ и охранительныхъ началъ — и, въ доказательство того, готовъ намъ указать на нѣкоторыя мѣста въ одной своей, уже давно напечатанной, книгѣ... Промолвивъ эти слова, Гоголь съ почти юношеской живостью вскочилъ съ дивана и побѣжалъ въ сосѣднюю комнату. Михаилъ Семенычъ только брови возвелъ горѣ и указательный палецъ поднялъ... „Никогда такимъ его не видалъ“, шепнулъ онъ мнѣ ..

Гоголь вернулся съ томомъ „Арабесокъ“ въ рукахъ и началъ читать на выдержку нѣкоторыя мѣста одной изъ тѣхъ дѣтски-напыщенныхъ и утомительно-пустыхъ статей, которыми наполненъ этотъ сборникъ. Помнится, рѣчь шла о необходимости строгаго порядка, безусловнаго повиновенія властямъ и т. п. „Вотъ видите, — твердилъ Гоголь: — я и прежде всегда то же думалъ, точно такія же высказывалъ убѣжденія, какъ и теперь!.. Съ какой же стати упрекать меня въ измѣнѣ, въ отступничествѣ... Меня?“ И это говорилъ авторъ „Ревизора“, одной изъ самыхъ отрицательныхъ комедій, какія когда-либо являлись на сценѣ! Мы съ Щепкинымъ молчали. Гоголь бросилъ, наконецъ, книгу на столъ и снова заговорилъ объ искусствѣ, о театрѣ; объявилъ, что остался недоволенъ игрою актеровъ въ „Ревизорѣ“, что они „тонъ потеряли“, и что онъ готовъ имъ прочесть всю піесу съ начала до конца. Щепкинъ ухватился за это слово и тутъ же уладилъ, гдѣ и когда читать. Какая то старая барыня пріѣхала къ Гоголю; она привезла ему просфору съ вынутой частицей. Мы удалились.

Дня черезъ два происходило чтеніе „Ревизора“ въ одной изъ залъ того дома, гдѣ проживалъ Гоголь. Я выпросилъ позволеніе присутствовать на этомъ чтеніи. Покойный профессоръ Шевыревъ также былъ въ числѣ слушателей и, если не ошибаюсь, Погодинъ. Къ великому моему удивленію, далеко не всѣ актеры, участвовавшіе въ „Ревизорѣ“, явились на приглашеніе Гоголя: имъ показалось обиднымъ, что ихъ словно хотятъ учить! Ни одной актрисы также не пріѣхало.

Сколько я могъ замѣтить, Гоголя огорчилъ этотъ неохотный и слабый отзывъ на его предложеніе... Извѣстно, до какой степени онъ скупился на подобныя милости. Лицо его приняло выраженіе угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. Въ тотъ день онъ смотрѣлъ, точно, больнымъ человѣкомъ. Онъ принялся читать — и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посвѣтлѣли. Читалъ Гоголь превосходно... Я слушалъ его тогда въ первый — и въ послѣдній разъ. Диккенсъ, также превосходный чтецъ, можно сказать, разыгрываетъ свои романы, чтеніе его — драматическое, почти театральное: въ одномъ его лицѣ является нѣсколько первоклассныхъ актеровъ, которые заставляютъ васъ то смѣяться, то плакать; Гоголь, напротивъ, поразилъ меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой то важной и въ то же время наивной искренностью, которой словно и дѣла нѣтъ, есть ли тутъ слушатели и что они думаютъ. Казалось, Гоголь только и заботился о томъ, какъ бы вникнуть въ предметъ, для него самого новый, и какъ бы вѣрнѣе передать собственное впечатлѣніе. Эффектъ выходилъ необычайный — особенно въ комическихъ, юмористическихъ мѣстахъ; не было возможности не смѣяться — хорошимъ здоровымъ смѣхомъ; а виновникъ всей этой потѣхи продолжалъ, не смущаясь общей веселостью и какъ бы внутренно дивясь ей, все болѣе и болѣе погружаться въ самое дѣло — и лишь изрѣдка, на губахъ и около глазъ, чуть замѣтно трепетала лукавая усмѣшка мастера. Съ какимъ недоумѣніемъ, съ какимъ изумленіемъ Гоголь произнесъ знаменитую фразу городничаго о двухъ крысахъ (въ самомъ началѣ піесы): „Пришли, понюхали и пошли прочь!“ Онъ даже медленно оглянулъ насъ, какъ бы спрашивая объясненія такого удивительнаго происшествія. Я только тутъ понялъ, какъ вообще невѣрно, поверхностно, съ какимъ желаніемъ только поскорѣй насмѣшить — обыкновенно разыгрывается на сценѣ „Ревизоръ“. Я сидѣлъ, погруженный въ радостное умиленіе: это былъ для меня настоящій пиръ и праздникъ. Къ сожалѣнію, онъ продолжался недолго. Гоголь еще не успѣлъ прочесть половину перваго акта, какъ вдругъ дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался черезъ всю комнату одинъ еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литераторъ — и, не сказавъ никому ни слова, поспѣшилъ занять мѣсто въ углу. Гоголь остановился, съ размаху ударилъ рукой по звонку — и съ

сердцемъ замѣтилъ вошедшему камердинеру: „Вѣдь я велѣлъ тебѣ никого не впускать!" Молодой литераторъ слегка пошевелился на стулѣ, а, впрочемъ, не смутился нисколько. Гоголь отпилъ немного воды — и снова принялся читать, но ужъ это было совсѣмъ не то. Онъ сталъ спѣшить, бормотать себѣ подъ носъ, не доканчивать словъ; иногда онъ пропускалъ цѣлыя фразы — и только махалъ рукою. Неожиданное появленіе литератора его разстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малѣйшаго толчка. Только въ извѣстной сценѣ, гдѣ Хлестаковъ завирается, Гоголь снова ободрился и возвысилъ голосъ: ему хотѣлось показать исполнявшему роль Ивана Александровича, какъ должно передавать это дѣйствительно затруднительное мѣсто. Въ чтеніи Гоголя оно показалось мнѣ естественнымъ и правдоподобнымъ. Хлестаковъ увлеченъ и странностью своего положенія, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; онъ и знаетъ, что вретъ, и вѣритъ своему вранью: это нѣчто въ родѣ упоенія, наитія, сочинительскаго восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого „подхватило". „Просители въ передней жужжатъ, 35 тысячъ эстафетовъ скачетъ — а дурачье, молъ, слушаетъ, развѣсивъ уши, и какой я, молъ, бойкій, игривый, свѣтскій молодой человѣкъ!" Вотъ какое впечатлѣніе производилъ въ устахъ Гоголя Хлестаковскій монологъ. Но, вообще говоря, чтеніе „Ревизора" въ тотъ день было — какъ Гоголь самъ выразился — не болѣе, какъ намекъ, эскизъ; и все по милости непрошеннаго литератора, который простеръ свою нецеремонность до того, что остался послѣ всѣхъ у поблѣднѣвшаго, усталаго Гоголя и втерся за нимъ въ его кабинетъ.

Въ сѣняхъ я разстался съ нимъ и уже никогда не увидалъ его больше; но его личности было еще суждено всзымѣть значительное вліяніе на мою жизнь [1]...

Я вспомнилъ, что первое мое свиданіе съ Гоголемъ происходило гораздо раньше, чѣмъ я сказалъ вначалѣ. А именно, я былъ однимъ изъ его слушателей въ 1835 г., когда онъ преподавалъ (!) исторію въ С.-Петербургскомъ университетѣ. Это преподаваніе, правду сказать, происходило довольно оригинальнымъ образомъ. Во-первыхъ, Гоголь изъ трехъ лекцій непремѣнно пропускалъ двѣ; во-вторыхъ, даже когда онъ появлялся на каѳедрѣ, онъ не говорилъ, а шепталъ что то весьма не-

[1] Какъ извѣстно, за письмо по поводу смерти Гоголя, Тургеневъ былъ высланъ въ деревню въ 1852 г.

связное, показывалъ намъ маленькія гравюры на стали, изображавшія виды Палестины и другихъ восточныхъ странъ — и все время ужасно конфузился. Мы всѣ были убѣждены (и едва ли мы ошибались), что онъ ничего не смыслитъ въ исторіи, и что г. Гоголь-Яновскій, нашъ профессоръ (онъ такъ именовался въ расписаніи лекцій), не имѣетъ ничего общаго съ писателемъ Гоголемъ, уже извѣстнымъ, какъ авторъ „Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки“. На выпускномъ экзаменѣ изъ своего предмета онъ сидѣлъ, повязанный платкомъ, яко бы отъ зубной боли, съ совершенно убитой физіономіей, и не разѣвалъ рта. Спрашивалъ студентовъ за него профессоръ И. П. Шульгинъ. Какъ теперь вижу его худую, длинноносую фигуру съ двумя высоко торчавшими — въ видѣ ушей — концами чернаго шелковаго платка. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ самъ хорошо понималъ весь комизмъ и всю неловкость своего положенія: онъ въ томъ же году подалъ въ отставку. Это не помѣшало ему, однако, воскликнуть: „Непризнанный взошелъ я на каѳедру и непризнанный схожу съ нея!“ Онъ былъ рожденъ для того, чтобы быть наставникомъ своихъ современниковъ, но только не съ каѳедры.

IV.

Изъ „Литературныхъ воспоминаній“ И. И. Панаева [1].

И. И. Панаевъ, извѣстный литераторъ, позднѣе соредакторъ Некрасова по „Современнику“, даетъ въ своихъ „Литературныхъ воспоминаніяхъ“ цѣлый рядъ характеристикъ, въ томъ числѣ воспроизводитъ и впечатлѣнія, вынесенныя имъ отъ встрѣчъ съ Гоголемъ. Обладая подвижнымъ наблюдательнымъ умомъ, подмѣчая яркія характерныя черточки, Панаевъ можетъ нарисовать живую и интересную картину, но въ то же самое время не умѣетъ углубить своихъ впечатлѣній, подвести имъ общій итогъ такъ, чтобы мелочи отошли на второй планъ, уступая мѣсто наиболѣе существеннымъ, основнымъ чертамъ изображаемой имъ личности. Въ этомъ отношеніи воспоминанія его о Гоголѣ не могутъ быть разсматриваемы, какъ характеристика великаго

[1] Спб., 1876, стр. 229—235.

писателя — они представляютъ изъ себя лишь рядъ очень недурныхъ фотографическихъ снимковъ каждаго отдѣльнаго момента и съ этой стороны, конечно, представляютъ значительный интересъ. Эту поверхностность Панаева очень ярко изображаетъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголѣ, передавая ту сцену, когда Панаевъ сообщалъ всѣмъ по очереди потрясающую вѣсть о кончинѣ Гоголя, при чемъ удовольствіе быть первымъ, сообщающимъ такую важную новость въ тотъ моментъ, заставляло его какъ бы забыть о всей тяжести понесенной утраты.

„Передъ отъѣздомъ нашимъ Михайло Семенычъ[1] объявилъ мнѣ, что онъ на-дняхъ будетъ обѣдать у Сергѣя Тимоѳеича[2] съ Гоголемъ (который только что пріѣхалъ въ Москву), и съ таинственнымъ тономъ прибавилъ умиленнымъ и дрожавшимъ голосомъ: „Вѣдь онъ, кажется, намѣренъ прочесть тамъ что то новенькое!..“

Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней послѣ этого, Сергѣй Тимоѳеичъ пригласилъ меня обѣдать, сказавъ, что у него будетъ Гоголь, и что онъ обѣщалъ прочесть первую главу „Мертвыхъ Душъ“. Я ожидалъ этого дня съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ и забрался къ Аксаковымъ часа за полтора до обѣда. Щепкинъ явился, кажется, еще раньше меня. .

Въ исходѣ четвертаго прибылъ Гоголь... Онъ встрѣтился со мной, какъ съ старымъ знакомымъ, и сказалъ, пожавъ мнѣ руку: „А, и вы здѣсь... Какимъ образомъ?“

Нечего говорить, съ какимъ восторгомъ онъ былъ принятъ. Константинъ Аксаковъ, видѣвшій въ немъ русскаго Гомера, внушилъ къ нему энтузіазмъ во всемъ семействѣ. Для Аксакова-отца сочиненія Гоголя были откровеніемъ. Они вывели его изъ рутины старой литературной школы (онъ принадлежалъ къ самымъ записнымъ литераторамъ-рутинерамъ) и пробудили въ немъ новыя, свѣжія силы для будущей дѣятельности. Безъ Гоголя Аксаковъ едва ли бы написалъ „Семейство Багровыхъ“ [3].

День этотъ былъ праздникомъ для Константина Аксакова.. Съ какою любовію онъ слѣдилъ за каждымъ взглядомъ, за каждымъ движеніемъ, за каждымъ словомъ Гоголя, какъ онъ переглядывался съ Щепкинымъ, какъ крѣпко жалъ мнѣ руки, повторяя:

---

[1] Щепкинъ.
[2] Аксакова.
[3] „Семейная хроника“ и „Дѣтскіе годы Багрова-внука“.

— Вотъ онъ нашъ Гоголь! Вотъ онъ!

Гоголь говорилъ мало, вяло и будто нехотя. Онъ казался задумчивъ и грустенъ. Онъ не могъ не видѣть поклоненія и благоговѣнія, окружавшаго его, и принималъ все это, какъ должное, стараясь прикрыть удовольствіе, доставляемое его самолюбію, наружнымъ равнодушіемъ. Въ его манерѣ вести себя было что то натянутое, искусственное, тяжело дѣйствовавшее на всѣхъ, которые смотрѣли на него не какъ на генія, а просто какъ на человѣка...

Чувство глубокаго, безпредѣльнаго уваженія семейства Аксаковыхъ къ таланту Гоголя проявлялось во внѣшнихъ знакахъ, съ ребяческой, наивной искренностію, доходившей до комизма. Передъ его приборомъ, за обѣдомъ, стояло не простое, а розовое стекло; съ него начинали подавать кушанье; ему подносили любимые имъ макароны для пробы, которыя онъ не совсѣмъ одобрилъ и сталъ самъ мѣшать и посыпать сыромъ.

Послѣ обѣда онъ развалился на диванѣ въ кабинетѣ Сергѣя Тимоѳеича, и черезъ нѣсколько минутъ сталъ опускать голову и закрывать глаза — въ самомъ ли дѣлѣ начиналъ дремать, или притворялся дремлющимъ... Въ комнатѣ мгновенно все смолкло... Щепкинъ, Аксаковы и я вышли на цыпочкахъ. Константинъ Аксаковъ, едва переводя дыханіе, ходилъ кругомъ кабинета, какъ часовой, и при чьемъ-нибудь малѣйшемъ движеніи или словѣ повторялъ шопотомъ и махая руками:

— Тсс! тсс! Николай Васильевичъ засыпаетъ!..

Объ обѣщанномъ чтеніи Гоголь передъ обѣдомъ не говорилъ ни слова; спросить его, сдержитъ ли онъ свое обѣщаніе, никто не рѣшался...

Покуда Гоголь дремалъ, у всѣхъ только былъ въ головѣ одинъ вопросъ: прочтетъ ли онъ что-нибудь и что прочтетъ? У всѣхъ бились сердца, какъ они всегда бьются въ ожиданіи необыкновеннаго событія...

Наконецъ, Гоголь зѣвнулъ громко.

Константинъ Аксаковъ при этомъ взглянулъ въ щелку двери и, видя, что онъ открылъ глаза, вошелъ въ кабинетъ. Мы всѣ послѣдовали за нимъ.

— Кажется, я вздремнулъ немного? — спросилъ Гоголь, зѣвая и посматривая на насъ...

Дамы, узнавъ, что онъ проснулся, вызывали Константина Аксакова и шопотомъ спрашивали — будетъ ли чтеніе? Константинъ Аксаковъ пожималъ плечами и говорилъ, что ему ничего неизвѣстно.

Всѣ томились отъ этой неизвѣстности, и Сергѣй Ти-

моѳеичъ первый рѣшился вывести всѣхъ изъ такого непріятнаго положенія.

— А вы, кажется, Николай Васильевичъ, дали намъ обѣщаніе... вы не забыли его? — спросилъ онъ осторожно...

Гоголя подернуло нѣсколько.

— Какое обѣщаніе?.. Ахъ да! Но я сегодня, право, не имѣю расположенія къ чтенію и буду читать дурно, вы меня лучше ужъ избавьте отъ этого...

При этихъ словахъ мы всѣ пріуныли; но Сергѣй Тимоѳеичъ не потерялъ духа и съ большею тонкостію и ловкостію сталъ упрашивать его... Гоголь отговаривался болѣе получаса, перемѣняя безпрестанно разговоръ. Потомъ потянулся и сказалъ: „Ну такъ и быть, я, пожалуй, что-нибудь прочту вамъ... Не знаю только, что прочесть?..“ И приподнялся съ дивана.

У встрепенувшагося Щепкина задрожали щеки; Константинъ Аксаковъ весь просіялъ, будто озаренный солнцемъ; повсюду пронесся шопотъ:

— Гоголь будетъ читать.

Гоголь всталъ съ дивана, взглянулъ на меня не совсѣмъ пріятнымъ и пытливымъ глазомъ (онъ не любилъ, какъ я узналъ послѣ, присутствія малознакомыхъ ему лицъ при его чтеніяхъ) и направилъ шаги въ гостиную. Всѣ послѣдовали за нимъ. Въ гостиной дамы уже давно ожидали его.

Онъ нехотя подошелъ къ большому овальному столу передъ диваномъ, сѣлъ на диванъ, бросилъ бѣглый взглядъ на всѣхъ, опять началъ увѣрять, что онъ не знаетъ, что прочесть, что у него нѣтъ ничего обдѣланнаго и законченнаго... и вдругъ рыгнулъ разъ, другой, третій...

Дамы переглянулись между собою, мы не смѣли обнаружить при этомъ никакого удивленія и только смотрѣли на него въ тупомъ недоумѣніи.

— Что это у меня? точно отрыжка? — сказалъ Гоголь и остановился. Хозяинъ и хозяйка дома даже нѣсколько смутились.. Имъ, вѣроятно, пришло въ голову, что обѣдъ ихъ не понравился Гоголю, что онъ разстроилъ желудокъ... и проч.

Гоголь продолжалъ. „Вчерашній обѣдъ засѣлъ въ головѣ; эти грибки да ботвиньи! Ѣшь, ѣшь, просто чортъ знаетъ, что не ѣшь...“

И заикалъ снова, вынувъ рукопись изъ задняго кармана и кладя ее передъ собою... „Прочитать еще „Сѣверную Пчелу“, что тамъ такое?..“ говорилъ онъ, уже слѣдя глазами свою рукопись.

Тутъ только мы догадались, что эта икота и эти слова были началомъ чтенія драматическаго отрывка, напечатаннаго впослѣдствіи подъ именемъ „Тяжбы". Лица всѣхъ озарились смѣхомъ, но громко смѣяться никто не смѣлъ... Всѣ только посматривали другъ на друга, какъ бы говоря: „Каково? каково читаетъ?" Щепкинъ заморгалъ глазами, полными слезъ.

Чтеніе отрывка продолжалось не болѣе получаса. Восторгъ былъ всеобщій; онъ подѣйствовалъ на автора.

— Теперь я вамъ прочту, — сказалъ онъ, — первую главу моихъ „Мертвыхъ Душъ", хотя она еще не обдѣлана.

Всѣ литературные кружки передъ этимъ уже были сильно заинтересованы слухами о „Мертвыхъ Душахъ". Гоголь, если я не ошибаюсь, прежде всѣхъ читалъ начало своей поэмы Жуковскому. Говорили, что это произведеніе геніальное... Любопытство къ „Мертвымъ Душамъ" возбуждено было не только въ литературѣ, но и въ обществѣ.

Нечего говорить, какъ предложеніе Гоголя было принято его поклонниками.

Гоголь читалъ неподражаемо. Между современными литераторами лучшими чтецами своихъ произведеній считаются Островскій и Писемскій: Островскій читаетъ безъ всякихъ драматическихъ эффектовъ, съ величайшею простотою, придавая между тѣмъ должный оттѣнокъ каждому лицу; Писемскій читаетъ, какъ актеръ — онъ, такъ сказать, разыгрываетъ свою піесу въ чтеніи... Въ чтеніи Гоголя было что то среднее между двумя этими манерами чтеній. Онъ читалъ драматичнѣе Островскаго и съ гораздо большею простотою, чѣмъ Писемскій.

Когда онъ окончилъ чтеніе первой главы и остановился, нѣсколько утомленный, обведя глазами своихъ слушателей, его авторское самолюбіе должно было удовлетвориться вполнѣ... На лицахъ всѣхъ ясно выражалось глубокое впечатлѣніе, произведенное его чтеніемъ. Всѣ были и потрясены, и удивлены. Гоголь открывалъ для его слушателей тотъ міръ, который всѣмъ намъ такъ знакомъ и близокъ, но который до него никто не умѣлъ воспроизвести съ такою безпощадною наблюдательностью, съ такою изумительною вѣрностію и съ такою художественною силою... И какой языкъ-то! языкъ-то! Какая сила, свѣжесть, поэзія! У насъ даже мурашки пробѣгали по тѣлу отъ удовольствія.

Послѣ чтенія Сергѣй Тимоѳеичъ Аксаковъ въ волненіи прохаживался по комнатѣ, подходилъ къ Гоголю,

жалъ его руки и значительно посматривалъ на всѣхъ насъ... „Геніально, геніально!“ повторялъ онъ.

Глазки Константина Аксакова сверкали, онъ ударилъ кулакомъ о столъ и говорилъ: „Гомерическая сила! гомерическая“.

Дамы восторгались, ахали, разсыпались въ восклицаніяхъ.

Гоголь еще болѣе выросъ послѣ этого чтенія въ глазахъ всѣхъ...

На другой день мы съ Константиномъ Аксаковымъ отправились къ Бѣлинскому.

Аксаковъ передалъ ему о вчерашнемъ чтеніи со всѣмъ энтузіазмомъ, онъ говорилъ, что послѣ первой главы „Мертвыхъ Душъ“ нельзя уже сомнѣваться въ томъ, что Гоголь геній, и что онъ подаритъ русскую литературу колоссальнымъ произведеніемъ, въ которомъ отразится вся Русь.

Бѣлинскій слушалъ Аксакова съ жадностью и смотрѣлъ на насъ съ завистію.

— Чортъ васъ возьми, счастливцы! — сказалъ онъ, — я не знаю, чего бы я не далъ, чтобы выслушать теперь эту главу.

V.

Записки А. О. Смирновой [1].

Въ отличіе отъ извѣстныхъ „Записокъ“ А. О. Смирновой, которыя на самомъ дѣлѣ не что иное, какъ поддѣлка ея дочери, приводимыя здѣсь воспоминанія являются подлиннымъ документомъ, проливающимъ настоящій свѣтъ на ея отношенія къ Гоголю.

Смирнова играла видную роль въ такъ называемомъ петербургскомъ „свѣтѣ“ и была близко знакома съ крупнѣйшими представителями тогдашняго литературнаго міра. О началѣ своего знакомства съ Гоголемъ она не помнитъ, но, судя по нѣкоторымъ даннымъ, это знакомство можно отнести приблизительно къ 1831 г.

Гоголь былъ дружески принятъ въ семьѣ Смирновой, встрѣчался съ ней за границей и неоднократно гостилъ у нея: то въ Калугѣ и въ калужскомъ имѣніи Бѣгичево, то въ подмосковной. Онъ читалъ ей свои произведенія [2], велъ съ нею переписку.

---

[1] „Русскій Архивъ“, 1895, 4, стр. 537—544.

[2] См. „Мое знакомство съ Гоголемъ“ Л. И. Арнольди.

Во время нравственнаго перелома, происходившаго въ Гоголѣ, Смирнова сыграла немаловажную и въ общемъ прискорбную роль: переживая сама душевный кризисъ, она сильно способствовала развитію мистицизма въ великомъ писателѣ, которое, расшатывая все болѣе и болѣе его духовный міръ, привело, наконецъ, къ полной потерѣ нравственнаго равновѣсія, подорвало и безъ того слабыя физическія силы его и вызвало трагическую гибель великаго писателя и его созданія.

С. Т. Аксаковъ въ своей книгѣ „Исторія моего знакомства съ Гоголемъ" высказываетъ очень интересный взглядъ на эти отношенія, подчеркивая гибельное вліяніе Смирновой на личность и творчество Гоголя. Самъ Гоголь въ письмѣ къ Языкову (5 іюня 1845 г.) такъ говоритъ о Смирновой: „Это перлъ всѣхъ русскихъ женщинъ, какихъ мнѣ случалось изъ нихъ знать, прекрасныхъ по душѣ. Но врядъ ли кто имѣетъ въ себѣ достаточныя силы оцѣнить ее. И самъ я, какъ ни уважалъ ее всегда и какъ ни былъ друженъ съ ней, но только въ однѣ истинно страждущія минуты и ея и мои узналъ ее. Она являлась истиннымъ моимъ утѣшителемъ, тогда какъ врядъ ли чье-либо слово могло меня утѣшить".

„Какимъ образомъ, гдѣ именно и въ какое время я познакомилась съ покойнымъ Н. В. Гоголемъ, совершенно не помню. Это можетъ показаться страннымъ, потому что встрѣча съ замѣчательнымъ человѣкомъ обыкновенно намъ памятна, и при томъ у меня память прекрасная. Когда я однажды спрашивала Н. В.: „Гдѣ мы съ вами познакомились?" онъ мнѣ отвѣчалъ: „Неужели вы не помните? Вотъ прекрасно! Такъ я жъ вамъ не скажу; это, впрочемъ, тѣмъ лучше, — это значитъ, что мы съ вами всегда были знакомы". И сколько разъ я его потомъ ни просила мнѣ сказать, гдѣ мы познакомились, онъ всегда отвѣчалъ: „Не скажу, мы всегда были знакомы". Въ 1837 году я провела зиму въ Парижѣ, rue du Mont Blanc, № 21. Русскихъ было довольно, въ концѣ зимы былъ Гоголь съ пріятелемъ своимъ Данилевскимъ. Онъ былъ у насъ раза три одинъ, и мы уже обходились съ нимъ, какъ съ человѣкомъ очень знакомымъ, но котораго, какъ говорится, ни въ грошъ не ставили. Все это странно, потому что мы читали съ восторгомъ „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки", и они меня такъ живо перенесли въ великолѣпную Малороссію. Оставивъ еще въ дѣтствѣ этотъ край, я съ необыкновеннымъ чувствомъ прислушивалась ко всему тому, что его напоминало,

а „Вечера на хуторѣ“ такъ ею и дышатъ. Съ нимъ тогда я обыкновенно заводила рѣчь о высокомъ крыльцѣ и бурьянѣ, о бѣлыхъ журавляхъ на красныхъ лапкахъ, которые по вечерамъ прилетаютъ на кровлю знакомыхъ хатъ, о галушкахъ и варениках, о сѣренькомъ дымкѣ, который легко струится и выходитъ изъ трубъ каждой хаты; пѣла ему „Не ходи, Грицько, на вечерницы“. Онъ болѣе слушалъ, потому что я очень болтала, но однажды описывалъ мнѣ малороссійскій вечеръ, когда солнце садится, табуны гонятъ съ поля, и отсталыя лошади несутся, подымая пыль копытами, а за ними съ нагайками въ рукахъ пожилой хохолъ съ чупруномъ; онъ описывалъ это живо, съ любовью, хотя прерывисто и въ короткихъ словахъ. О Парижѣ мало было рѣчи; повидимому, онъ уже и тогда его не любилъ. Однако онъ посѣщалъ съ Данилевскимъ театры, потому что разсказывалъ мнѣ, какъ входили въ оперу à la file dans la queue[1], и какъ торгуютъ правомъ на хвостъ. Съ свойственною ему одному способностью замѣчать то, что другимъ не кажется смѣшнымъ, ни замѣчательнымъ, онъ разсказывалъ это очень смѣшно. Одинъ разъ говорили мы о разныхъ комфортахъ въ путешествіи, и онъ сказалъ мнѣ, что хуже всего на этотъ счетъ въ Португаліи, и совѣтовалъ мнѣ туда не ѣздить. „Вы какъ это знаете, Николай Васильевичъ?“ спросила я его. „Да я тамъ былъ, пробрался туда изъ Испаніи, гдѣ также прегадко въ трактирахъ“, отвѣчалъ онъ преспокойно. Я начала утверждать, что онъ не былъ въ Испаніи, что это не можетъ быть, потому что тамъ все въ смутахъ, дерутся на всѣхъ перекресткахъ, что тѣ, которые оттуда пріѣзжаютъ, много разсказываютъ, а онъ ровно никогда ничего не говорилъ. На все это онъ очень хладнокровно отвѣчалъ: „На что же все разсказывать и занимать публику? Вы привыкли, чтобы вамъ съ перваго раза человѣкъ все выкладывалъ, что̀ знаетъ и не знаетъ, даже и то, что у него на душѣ“. Я осталась при своемъ, что онъ не былъ въ Испаніи, и межъ нами осталась эта шутка: „Это когда я былъ въ Испаніи“. Въ Испаніи онъ точно былъ, но проѣздомъ, потому что въ самомъ дѣлѣ оставаться долго было непріятно послѣ Италіи: ни климатъ, ни природа, ни художества, ни картины, ни народъ не могли произвести на него особеннаго впечатлѣнія. Испанская школа сливалась для него съ Болонскою въ отношеніи кра-

[1] Одинъ за другимъ въ хвостѣ.

сокъ и въ особенности рисунка; Болонскую онъ совсѣмъ не любилъ. Очень понятно, что такой художникъ, какъ Гоголь, разъ взглянувши на Рафаэля въ Римѣ, не могъ слишкомъ увлекаться другими живописцами. Вообще у него была une certaine sobriété dans l'appreciation de l'art; il fallait que toutes les cordes de son âme reconnaissent une chose pour belle pour qu'il la qualifia de telle [1] „Стройность во всемъ, вотъ что прекрасно", говорилъ онъ.

Лѣтомъ того же 1837 года я пріѣхала въ Баденъ, и Н. В. пріѣхалъ не лѣчиться, но пилъ по утрамъ холодную воду въ Лихтентальской аллеѣ. Мы встрѣчались почти каждое утро. Онъ ходилъ или, лучше сказать, бродилъ одинъ, потому что иногда былъ на дорожкѣ, а чаще гулялъ en zig-zag у Стефани-бадъ. Часто онъ такъ былъ задумчивъ, что я долго-долго его звала; обыкновенно онъ отказывался со мною гулять, прибирая самые слабые резоны. Его, кромѣ Карамзина, изъ русскихъ никто не зналъ, и одинъ господинъ высшаго общества мнѣ сказалъ, встрѣтивъ меня съ нимъ: „Vous donnez dans la mauvaise société; vous vous promenez avec un certain Gogol, qui est trés mauvais genre" [2]

Въ іюнѣ мѣсяцѣ онъ вдругъ намъ предложилъ вечеромъ собраться и объявилъ, что пишетъ романъ подъ названіемъ „Мертвыя Души" и хочетъ прочесть намъ двѣ первыя главы.

Андрей Карамзинъ, графъ Левъ Сологубъ, Платоновъ и насъ двое условились собраться въ 7 часовъ вечера. День былъ знойный. Около 7 часовъ мы сѣли кругомъ стола.

Н. В. взошелъ, говоря, что будетъ гроза, что онъ это чувствуетъ, но, несмотря на это, вытащилъ изъ кармана тетрадку въ четверть листа и началъ первую главу столь извѣстной своей поэмы. Межъ тѣмъ громъ гремѣлъ, и разразилась одна изъ самыхъ сильныхъ грозъ, какую я запомню; съ горъ потекли потоки, противъ нашего дома образовалась каскада съ пригорка, а мутная Муръ бѣсилась, рвалась изъ береговъ. Онъ поглядывалъ въ окно, но продолжалъ читать спокойно. Мы были въ восторгѣ, хотя что то было странное въ душѣ каждаго изъ насъ. Однако онъ не дочелъ второй главы и просилъ Карамзина съ нимъ

---

[1] Извѣстная трезвость въ оцѣнкѣ произведеній искусства; онъ признавалъ ихъ прекрасными лишь тогда, когда они заставляли звучать всѣ струны души.

[2] Вы вращаетесь въ дурномъ обществѣ: прогуливаетесь съ какимъ то Гоголемъ, человѣкомъ очень дурного тона.

пройтись до Грабена, гдѣ онъ жилъ. Дождь началъ утихать, и они отправились. Послѣ Карамзинъ мнѣ говорилъ, что Н. В. боялся идти одинъ домой и на его вопросъ отвѣчалъ, что на Грабенѣ большія собаки, а онъ ихъ боится и не имѣетъ палки. На Грабенѣ же не было собакъ, и я полагаю, что гроза дѣйствовала на его слабые нервы, и онъ страдалъ невыразимыми страданіями, извѣстными однимъ нервнымъ субъектамъ. На другой день я еще просила прочесть его изъ „Мертвыхъ Душъ“, но онъ рѣшительно отказалъ и просилъ даже его не просить. Въ августѣ мы оставили Баденъ-Баденъ, и Гоголь съ другими русскими проводилъ насъ до Карлсруэ, гдѣ ночевалъ съ моимъ мужемъ въ одной комнатѣ и былъ боленъ всю ночь, жестоко страдая желудкомъ и безсонницей. О первой своей нервической болѣзни, которую выстрадалъ въ Вѣнѣ, онъ не говорилъ ни слова.

Мы пріѣхали въ Россію въ 1838 году. Онъ оставался въ чужихъ краяхъ, и я ничего о немъ не слыхала, не была съ нимъ въ перепискѣ. Въ 1841 году онъ вдругъ явился ко мнѣ въ хорошемъ расположеніи духа, но о „Мертвыхъ Душахъ“ не было и помину. Я узнала тутъ, что онъ былъ уже въ короткихъ отношеніяхъ съ Вѣльгорскими, но сама еще тогда рѣдко съ ними видѣлась и не старалась разъяснить, когда и какъ эта связь устроилась. Находила его сближеніе съ comme il faut [1] очень естественнымъ и простымъ. Въ томъ же году подъ весну я получила отъ него письмо очень длинное, все исполненное слезъ, почти стону, въ которомъ жалуется съ какимъ то почти дѣтскимъ отчаяніемъ на всѣ насмѣшливыя отмѣтки московской цензуры. Къ письму была приложена просьба къ государю, въ случаѣ, что не пропустятъ первый томъ „Мертвыхъ (Душъ)“. Эта просьба была прекрасно написана, очень коротко, исполнена достоинства и чувства, вмѣстѣ довѣрія къ разуму государя, который одинъ велѣлъ принять „Ревизора“ вопреки мнѣнію его окружающихъ. Я, однако, рѣшилась прибѣгнуть къ совѣту графа М. Ю. Вѣльгорскаго; онъ горячо взялся за это дѣло и устроилъ все съ помощью князя М. А. Дундукова, бывшаго тогда попечителемъ университета. Ни этого письма, ни просьбы у меня не нашлось; вѣроятно, они у графа Вѣльгорскаго, и даже мнѣ кажется, что просьбу я возвратила Гоголю, какъ вещь, мнѣ не принадлежащую.

---

[1] Людьми хорошаго тона.

Весною 1842 года Гоголь пріѣхалъ въ Петербургъ и остановился у Плетнева, приходилъ ко мнѣ довольно часто и уже очень запросто, очень дружески. Очень сблизился съ братомъ моимъ Аркадіемъ Осиповичемъ [1], изъявилъ желаніе прочитать отрывки уже напечатанныхъ „Мертвыхъ Душъ“ и читалъ у Вяземскаго разговоръ двухъ дамъ. Никто такъ не читалъ, какъ покойный Николай Васильевичъ, и свои и чужія произведенія; мы смѣялись неумолкаемо и, если правду сказать, Вяземскій и мы не подозрѣвали всей глубины, таящейся въ этомъ комизмѣ. Такова участь комика, и надобно, чтобы долго смѣялись ему, пока вдругъ не уразумѣютъ нѣкоторые избранные, что этотъ смѣхъ вызванъ у него плачемъ души любящей и скорбящей, которая орудіемъ взяла смѣхъ.

А отчего душа такъ или иначе выражаетъ свои чувства, извѣстно Одному Богу. Этотъ вопросъ, конечно, смущалъ самого Гоголя. Высокій христіанинъ въ душѣ, онъ зналъ что образецъ нашъ, Христосъ Спаситель, не смѣялся никогда. Потомъ легко понять, что произошло въ немъ, когда онъ увидѣлъ, что Чичиковъ, Собакевичъ, Ноздревъ производятъ лишь смѣхъ (съ отвращеніемъ для иныхъ), отвращеніе въ людяхъ высшаго тона и въ маломъ числѣ его поклонниковъ смѣхъ съ восторгомъ къ артисту. Одинъ Плюшкинъ въ первомъ томѣ выступаетъ рѣзко, какъ трагическое лицо, но Плюшкинъ вообще менѣе интересовалъ читающую публику. Все это въ первую минуту Гоголь чувствовалъ; но до страдальчества дошло это позже, когда пошла такъ называемая его школа, и страданіе это вырвалось изъ груди его въ „Перепискѣ съ друзьями“. Ея никто не понялъ, эту переписку, потому что никому не былъ открытъ онъ вполнѣ, и что́ перегорѣло въ его душѣ (собственныя его слова въ письмѣ ко мнѣ), было извѣстно только Богу.

Лѣтомъ въ іюлѣ мѣсяцѣ я жила въ городѣ. Онъ самъ предложилъ мнѣ читать новую комедію „Женитьба“. Вяземскій, Плетневъ, братъ мой Аркадій и двое Карамзиныхъ были приглашены къ обѣду. Гоголь былъ веселъ, спокоенъ; послѣ обѣда, отдохнувъ немного, вынулъ изъ кармана тетрадку и началъ читать такъ, какъ онъ только одинъ умѣлъ читать. Швейцару было приказано никого не принимать; но внезапно взошелъ князь Михаилъ Александровичъ Голицынъ, который мало знаетъ русскій языкъ. Меня это смутило, я подошла къ нему

[1] Россетъ.

и разсказала, въ чемъ дѣло; онъ просилъ позволенія остаться. Къ счастью, Гоголь не обратилъ никакого вниманія и продолжалъ читать. Послѣ прочтенія всѣ его благодарили; онъ казался веселъ и доволенъ впечатлѣніемъ, ушелъ домой. Голицынъ не находилъ словъ, чтобы благодарить, и сказалъ, что подобныхъ пріятныхъ минутъ не проводилъ въ Петербургѣ, что читалъ „Мертвыя Души“ съ восторгомъ и радовался, что, наконецъ, увидѣлъ ихъ автора. Вскорѣ Гоголь уѣхалъ за границу.

Осенью того же года я поѣхала въ Италію и остановилась на два мѣсяца во Флоренціи. Неожиданно получаю письмо отъ Н. В., въ которомъ онъ пишетъ, что хотѣлъ самъ ко мнѣ ѣхать, но что удерживаетъ больной Языковъ; проситъ меня скорѣе пріѣзжать въ Римъ. Въ генварѣ мѣсяцѣ братъ мой Аркадій туда поѣхалъ для пріисканія мнѣ квартиры, а въ концѣ того же мѣсяца я отправилась съ дѣтьми. Мы потянулись въ собственныхъ экипажахъ и съ vetturino [1].

Переночевавши въ Romiglione, мы встали какъ то праздничнo, съ мыслью, что на другой день проснемся въ Римѣ. Погода была великолѣпная, солнечная и tiède [2]. Я отворила всѣ окна, выглядывала то въ одно, то въ другое, чтобы увидать скорѣе куполъ Петра; отъ нетерпѣнія у меня разболѣлась голова. Наконецъ, мы поравнялись съ гробницей Нерона. Vetturino мнѣ закричалъ: „Ecco San Pietro, alla destra, signora“ [3], и я перекрестилась. На минуту показался весь Римъ въ какомъ то легкомъ туманѣ, какъ огромная масса, и немного, очень немного выступилъ знаменитый куполъ Петра, который, — увы! — жестяной. Потомъ я уже начала помышлять объ обѣдѣ, расположеніи комнатъ и прочихъ житейскихъ суетахъ, потому что дѣти устали отъ дороги.

Начало вечерѣть, проѣхали Ponte Malvo и въѣхали послѣ пятидневнаго похода въ Porta di Popolo. Остановились у гауптвахты, гдѣ заплатили за догану [4] и получили письмо отъ брата съ направленіемъ, куда ѣхать. Смеркалось, вокругъ фонтана и по Corso тянулись еще экипажи римлянъ, и мы тоже потянулись за ними вдоль по длинному Corso, повернули налѣво и остановились на Piazza Traiana у Palazetto Valentini. Верхній этажъ былъ освѣщенъ На лѣстницу выбѣжалъ Н. В.

---

[1] Проводникомъ.
[2] Мягкая.
[3] Вотъ святой Петръ, съ правой стороны, сударыня.
[4] Таможенный сборъ.

съ протянутыми руками и лицомъ, исполненнымъ радости. „Все готово, — сказалъ онъ, — обѣдъ васъ ожидаетъ, и мы съ Аркадіемъ Осиповичемъ уже распорядились. Квартиру эту я нашелъ, воздухъ будетъ хорошъ, Corso подъ рукой, а что лучше всего, вы близко отъ Колизея и Foro Boario". Немного поговорили, и онъ отправился домой съ обѣщаніемъ прійти на другой день. Въ самомъ дѣлѣ, пришелъ въ часъ, спросилъ бумажки и карандашъ и началъ писать, куда слѣдуетъ понавѣдываться чаще Александрѣ Осиповнѣ [1], и съ чего начать. Были во многихъ мѣстахъ и кончили Петромъ; онъ взялъ бумажку съ собой и вездѣ отмѣчалъ что-нибудь, напримѣръ: Петромъ осталась довольна Александра Осиповна. Такимъ образомъ онъ меня водилъ цѣлую недѣлю и направлялъ всегда такъ прогулки, что кончалось все Петромъ, и это такъ слѣдуетъ: на Петра никогда не наглядишься, хотя фасадъ у него и комодомъ. Когда мы осмотрѣли Римъ en gros [2], онъ началъ ко мнѣ являться рѣже по утрамъ. Онъ жилъ Via Felice, съ Языковымъ, который въ то время былъ боленъ, не ходилъ, и Н. В. проводилъ съ нимъ всѣ досужія минуты. Никто не зналъ лучше Рима, подобнаго чичероне не было и быть не можетъ. Не было итальянскаго историка или хроникёра, котораго бы онъ не прочелъ, не было латинскаго писателя, котораго бы онъ не зналъ; все, что относилось до историческаго развитія искусства, даже благочинности итальянской, ему было извѣстно и какъ то особенно оживляло для него весь бытъ этой страны, которая тревожила его молодое воображеніе, и которую онъ такъ нѣжно любилъ, въ которой его душѣ яснѣе видѣлась Россія, въ которой хотя описывалъ онъ грустныхъ героевъ I-го тома „Мертвыхъ Душъ", но отечество его озарялось для него радужно и утѣшительно. Онъ самъ мнѣ говорилъ, что въ Римѣ, въ одномъ Римѣ, онъ могъ глядѣть въ глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томленія. Изрѣдка тревожили его тамъ нервы въ мое пребываніе, и почти всегда я видѣла его бодрымъ и оживленнымъ.

И точно, въ Римѣ есть что то примиряющее человѣка съ человѣчествомъ. Слава языческаго міра тамъ погребена такъ великолѣпно; на великолѣпныхъ развалинахъ воздвигся другой Римъ, христіанскій, который сперва облекся въ смиреніе въ лицѣ мучениковъ или молчаливыхъ отшельниковъ въ катакомбахъ, но въ по-

---

[1] Смирновой.
[2] Въ общихъ чертахъ.

слѣдствіи вѣковъ, зараженный тою же гордынею своихъ предковъ, началъ погребаться съ древнимъ Римомъ. Развалины матеріальная и развалина духовная — вотъ что былъ онъ въ 40-хъ годахъ; но все надъ нимъ то же голубое небо, то же яркое, теплое, но не палящее солнце, та же синяя ночь съ сіяніемъ звѣздъ, тотъ же благотворный воздухъ, не тревожный, какъ неаполитанскій, но успокаивающій. И столько красоты и величія въ воспоминаніяхъ не примиряетъ ли насъ съ человѣчествомъ? Остается благодарность Провидѣнію, которое позволило всякому принести плодъ свой во время свое, и, гуляя по развалинамъ, убѣждаешься безъ горечи, что народы, царства, такъ же, какъ и всякая личность, преходящи. Римъ мнѣ казался всегда какимъ то всемірнымъ музеумомъ, въ которомъ всякій камень гласитъ объ историческомъ, назидательномъ событіи, но уже не имѣетъ никакого значенія въ настоящемъ, и вотъ почему въ Римѣ не грустно, а отрадно. Николаю Васильевичу, какъ художнику, говорилъ весь Римъ особеннымъ языкомъ. Это сильно чувствуется въ его отрывкѣ „Римъ". S-te Beuve[1] говоритъ, что ни одинъ путешественникъ не дѣлалъ такихъ точныхъ и вмѣстѣ оригинальныхъ замѣчаній; особенно его поразило замѣчаніе Гоголя о транстиверіанахъ[2] и собраніе нѣсколькихъ пѣсенъ почти никому незамѣтнаго, но весьма особеннаго типа римлянъ. Едва ли сами жители города знаютъ, что транстиверіане съ ними никогда не сливались и не сливаются, что у нихъ даже свой языкъ еще, или свои patois[3]. Замѣтивъ, что Гоголь такъ хорошо знаетъ все, что касается до древности, я сама завлеклась ею; я его мучила, чтобы узнать поболѣе. Карты, планы у меня лежали на столѣ... все безпрестанно пересматривалось; мнѣ хотѣлось перенестись въ эту историческую даль, въ этотъ мракъ, и часто я къ нему приставала съ вопросами.

Одинъ разъ, гуляя въ Колизеѣ, я ему сказала: „А какъ вы думаете, гдѣ Неронъ сидѣлъ? Вы это должны знать, и какъ онъ сюда являлся, пѣшій, въ колесницѣ или на носилкахъ?" Гоголь разсердился: „Да что вы ко мнѣ пристаете съ этимъ мерзавцемъ! Вы воображаете, кажется, что я въ то время жилъ; вы воображаете, что я хорошо знаю исторію. Совсѣмъ нѣтъ. Исторію никто еще такъ не писалъ, чтобы живо можно было видѣть или народъ, или какую-нибудь личность. Вотъ одинъ

[1] Знаменитый французскій критикъ, одинъ изъ видныхъ представителей романтической школы.

[2] Жителяхъ другого берега Тибра.

[3] Жаргонъ, нарѣчіе.

Муратори[1] понялъ, какъ описывать народъ; у него одного чувствуется все развитіе, весь бытъ, кажется, Генуи; а прочіе всѣ сочиняли или только сцѣпляли происшествія; у нихъ не сыщется никакой связи человѣка съ той землей, на которой онъ поставленъ". Потомъ продолжалъ уже разговоръ объ исторіи и, совѣтуя мнѣ прочесть Cantu[2], прибавилъ: „Histoire universelle" Боссюета[3] написана съ одной духовной точки, въ ней не видна свобода человѣка, которому Богъ предоставилъ дѣйствовать или хорошо, или дурно; онъ былъ католикъ. Guizot[4] написалъ хорошо также „Histoire des Révolutions", но слишкомъ съ феодальной точки. Надобно бы найти середину и написать ярче, придать болѣе выпуклости. Я всегда думалъ написать географію; въ этой географіи можно было бы увидѣть, какъ писать исторію. Но объ этомъ послѣ. Другъ мой, я заврался, а скажу вамъ, между прочимъ, что подлецъ Неронъ входилъ въ эту ложу въ золотомъ вѣнкѣ, въ томъ костюмѣ, въ которомъ вы его видѣли въ Ватиканѣ". Но не часто и не долго онъ говорилъ; обыкновенно шелъ одинъ поодаль отъ насъ, подымалъ камушки, срывалъ травки, или, размахивая руками, попадалъ на кусты и деревья, въ campagna ложился навзничь и говорилъ: „Забудемъ все, посмотрите на это небо", и долго, задумчиво и вмѣстѣ весело онъ глядѣлъ на это голубое, безоблачное, ласкающее небо. Одно утро онъ явился съ праздничнымъ лицомъ и объявилъ, что хочетъ мнѣ сдѣлать сюрпризъ: „Надобно, чтобы Аркадій Осиповичъ и Ханыковъ были съ нами", и мы поѣхали въ San Giovani in Laterano. Онъ отправилъ насъ въ церковь, а самъ оставался на паперти, такъ что вправо у него была S-ta Croce in Jerusalemo, а влѣво — Scala Santa. Мы осматривали всѣ капеллы, всѣ рѣдкости, всѣ предметы уваженія или удивленія и вышли къ нему; онъ стоялъ на одномъ мѣстѣ, и глаза его какъ будто терялись въ дали и какъ будто ему[5]...

Меня просили многіе изъ моихъ знакомыхъ написать не біографію Ник. Вас., но просто всѣ обстоятельства моего знакомства съ нимъ. Гоголь былъ такое интересное, такое новое явленіе на литературномъ поприщѣ, что біографію его почти невозможно написать, если друзья его не согласятся передать черты его жизни

---

[1] Итальянскій историкъ.
[2] Итальянскій историкъ и беллетристъ.
[3] Знаменитый французскій проповѣдникъ, историкъ и богословъ.
[4] Французскій историкъ.
[5] Фраза не была дописана.

или слова его, болѣе или менѣе значительныя и обнаруживающія внутреннее настроеніе его души. Гоголь былъ добръ, кротокъ, лѣнивъ и вмѣстѣ дѣятеленъ, самолюбивъ и смиренъ; вообще, двойственность въ немъ обнаруживалась и обличалась рѣзко, какъ всегда бываетъ у людей геніальныхъ. Постоянное было въ немъ одно: желаніе побѣдить все низкое, недостойное и стать выше душею. Его уваженіе, даже особенное предпочтеніе [1]...

VI.

Изъ воспоминаній Л. И. Арнольди [2].

Л. И. Арнольди, братъ по матери А. О. Смирновой, познакомился съ Н. В. у своей сестры, ѣздилъ вмѣстѣ съ нимъ къ ней въ Калугу и, живя тамъ, имѣлъ возможность ближе присмотрѣться къ великому писателю. Въ воспоминаніяхъ своихъ Арнольди пытается подвести извѣстные итоги личности и творчеству Гоголя, и, между прочимъ, проводитъ искусственную и очень неудачную параллель между нимъ и Ж. Ж. Руссо. Самые пріемы подходить къ личности великаго человѣка у Арнольди во многихъ отношеніяхъ очень наивны: съ одной стороны, онъ не можетъ отрѣшиться отъ узкихъ обыденныхъ мѣрокъ, не приложимыхъ къ геніальнымъ натурамъ, съ другой стороны, все время смотритъ на Гоголя, какъ на какую то „диковину", „монстра", съ нескрываемымъ любопытствомъ ищетъ въ каждомъ поступкѣ и словѣ великаго писателя чего то необыкновеннаго. Описывая встрѣчу съ нимъ у своей сестры, Арнольди прибавляетъ: „Гоголь внимательно разспрашивалъ сестру о ея положеніи, давалъ какіе то совѣты и не сказалъ ничего замѣчательнаго" [3].

Арнольди, видимо, былъ искреннимъ почитателемъ таланта Гоголя, и это уваженіе къ личности творца „Мертвыхъ Душъ", сложившееся у него, можетъ быть, отчасти подъ вліяніемъ сестры, выражается на протяженіи всей статьи.

Въ воспоминаніяхъ Арнольди приведено много очень цѣнныхъ данныхъ, обличающихъ въ немъ, правда, не очень тонкаго, но зато необыкновенно добросовѣстнаго

---

[1] Фраза не дописана.

[2] „Русскій Вѣстникъ", 1862, I, 54—95: „Мое знакомство съ Гоголемъ".

[3] Разбивка наша.

наблюдателя. Кромѣ того, онъ подробно передаетъ содержаніе прослушанной имъ части II тома „Мертвыхъ Душъ“.

Первая встрѣча ихъ произошла въ Москвѣ у Смирновой.

„Ровно въ 6 часовъ вошелъ въ комнату человѣкъ маленькаго роста съ длинными бѣлокурыми волосами, причесанными à la mougik, маленькими карими глазками и необыкновенно длиннымъ и тонкимъ, птичьимъ носомъ. Это былъ Гоголь! Онъ носилъ усы, чрезвычайно странно тарантилъ ногами, неловко махалъ одною рукой, въ которой держалъ палку и сѣрую пуховую шляпу; былъ одѣтъ вовсе не по модѣ и даже безъ вкуса. Улыбка его была очень добрая и пріятная, въ глазахъ замѣчалось какое то нравственное утомленіе. Сестра моя познакомила насъ, и Гоголь дружески обнялъ меня, сказавъ сестрѣ: „Ну, теперь я знакомъ, кажется, со всѣми вашими братьями; это, кажется, самый младшій“. Дѣйствительно, я былъ младшій. Мы сѣли вокругъ стола; разговоръ завязался о здоровьѣ; Гоголь внимательно разспрашивалъ сестру о ея положеніи, давалъ какіе то совѣты, и не сказалъ ничего замѣчательнаго. Вечеромъ я проводилъ его домой: намъ было по дорогѣ, потому что онъ жилъ тогда на Никитскомъ бульварѣ у графа А. П. Т...го[1], а я у Никитскихъ воротъ. Гоголь говорилъ со мною о моей службѣ и совѣтовалъ не брать видныхъ мѣстъ. „На нихъ всегда найдутся охотники, — прибавилъ онъ, — а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно въ этой должности полезнымъ; тогда вы увидите, какъ будетъ вамъ весело на душѣ“[2].

„Гоголь много бесѣдовалъ со мной; мы говорили о русской литературѣ, о Пушкинѣ, въ которомъ онъ любилъ удивительно добраго и снисходительнаго человѣка и умнаго, великато поэта. Говорили о Языковѣ, о Баратынскомъ. Гоголь превосходно прочелъ мнѣ два стихотворенія Языкова: Землетрясеніе и еще другое. По его мнѣнію, Землетрясеніе было лучшее русское стихотвореніе. Потомъ говорилъ Гоголь о Малороссіи, о характерѣ малороссіянина, и такъ развеселился, что сталъ разсказывать анекдоты одинъ другого забавнѣе и остроумнѣе.

...Мы много смѣялись, Гоголь былъ въ духѣ, без-

---

[1] Толстого.

[2] Дальше Арнольди говоритъ о своемъ путешествіи вмѣстѣ съ Гоголемъ къ Смирновой въ Калугу.

престанно снималъ свою круглую сѣрую шляпу, скидывалъ свой зеленый камлотовый плащъ и, казалось, вполнѣ наслаждался чуднымъ теплымъ іюньскимъ вечеромъ, вдыхая въ себя свѣжій воздухъ полей".

Въ Малоярославцѣ пришлось остановиться для починки сломавшагося дорожнаго тарантаса; на помощь случайно пришелъ городничій, знакомый Арнольди.

„Городничій, баронъ Э..., кликнулъ ямщиковъ, послалъ за кузнецами, условился въ цѣнѣ и велѣлъ, чтобы все было готово черезъ часъ. Успокоивъ меня такимъ образомъ, онъ вдругъ спросилъ меня совсѣмъ неожиданно: „Позвольте узнать, кто ѣдетъ съ вами въ сѣрой шляпѣ?" — „Гоголь", отвѣчалъ я. „Какой Гоголь? — вскрикнулъ городничій, — Ужъ не писатель ли Гоголь, сочинившій Ревизора?" — „Онъ самый". — „Ахъ, сдѣлайте одолженіе, познакомьте меня съ нимъ; я много уважаю этого сочинителя, читалъ всѣ его сочиненія, и былъ бы совершенно счастливъ, еслибъ я могъ поговорить съ нимъ". Я зналъ странный характеръ Гоголя, не любившаго никакихъ новыхъ знакомствъ, и потому боялся, что онъ послѣ будетъ сердиться на меня, если я продставлю ему городничаго, но отказать любезному майору въ такой пустой вещи за всѣ его хлопоты не было возможности, и я повелъ его прямо къ Гоголю. „Николай Васильевичъ, позвольте вамъ представить начальника здѣшняго города барона Э..., по милости котораго мы еще можемъ поспѣть сегодня въ деревню". Къ моему удивленію, Гоголь весьма любезно поклонился майору и протянулъ ему руку, прибавивъ: „Очень радъ съ вами познакомиться". — „А я совершенно счастливъ, что вижу нашего знаменитаго писателя, — отвѣчалъ городничій: — давно желалъ гдѣнибудь васъ увидѣть; читалъ всѣ ваши сочиненія и Мертвыя Души, но въ особенности люблю Ревизора, гдѣ вы такъ вѣрно описали нашего брата городничаго. Да, встрѣчаются до сихъ поръ еще... встрѣчаются такіе городничіе".

Гоголь улыбнулся и тотчасъ перемѣнилъ разговоръ.

— Вы давно здѣсь?

— Нѣтъ, только полтора года.

— А городокъ, кажется, порядочный?

— Помилуйте, прескверный городишка, скука смертная, общества никакого!

— Ну, а кромѣ чиновниковъ, живутъ ли здѣсь помѣщики?

— Есть, но немного, всего три семейства, но отъ нихъ никакого прока, всѣ между собой въ ссорѣ.

— Отчего это, за что поссорились?

Тутъ я оставилъ Гоголя съ городничимъ и пошелъ на станцію. Черезъ четверть часа я засталъ ихъ еще на томъ же мѣстѣ. Гоголь говорилъ съ нимъ уже о купцахъ и внимательно разспрашивалъ, кто именно и чѣмъ торгуетъ, гдѣ сбываетъ свои товары, какимъ промысломъ занимаются крестьяне въ уѣздѣ; бываютъ ли въ городѣ ярмарки и тому подобное. Я перебилъ ихъ живой разговоръ предложеніемъ Гоголю позавтракать. Услыхавъ это, городничій сталъ извиняться, что уже отобѣдалъ, и потому жалѣетъ, что не можетъ пригласить насъ къ себѣ; но, кликнувъ будочника, послалъ его впередъ въ трактиръ приготовить намъ особенную комнату и обѣдъ, а самъ пошелъ провожать насъ. Гоголь впился въ моего городничаго, какъ піявка, и не уставалъ разспрашивать его обо всемъ, что его занимало. У трактира городничій съ нами раскланялся. На сцену явился половой и бойко повелъ насъ по лѣстницѣ въ особый нумеръ. Гоголь сталъ заказывать обѣдъ, выдумалъ какое то новое блюдо изъ ягодъ, муки, сливокъ и еще чего то, помню только, что оно вовсе не было вкусно. Покуда мы обѣдали, онъ все время разговаривалъ съ половымъ, разспрашивалъ его, откуда онъ, сколько получаетъ жалованья, гдѣ его родители, кто чаще другихъ заходитъ къ нимъ въ трактиръ, какое кушанье любятъ больше чиновники въ Малоярославцѣ и какую водку употребляютъ, хорошъ ли у нихъ городничій и тому подобное. Разспросилъ о всѣхъ живущихъ въ городѣ и близъ города, и остался очень доволенъ остроумными отвѣтами бойкаго парня въ бѣлой рубашкѣ, который лукаво улыбался, сплетничалъ на славу, и, какъ я полагаю, намѣренно отвѣчалъ всякій разъ такъ, чтобы вызвать Гоголя на новые разспросы и шутки. Наконецъ, ровно черезъ часъ тарантасъ подкатилъ къ крыльцу, и мы, простившись съ шоссе, поѣхали уже по большой Калужской дорогѣ. Гоголь продолжалъ быть въ духѣ, восхищался свѣжею зеленью деревьевъ, безоблачнымъ небомъ, запахомъ полевыхъ цвѣтовъ и всѣми прелестями деревни. Мы ѣхали довольно тихо, а онъ безпрестанно останавливалъ кучера, выскакивалъ изъ тарантаса, бѣжалъ черезъ дорогу въ поле и срывалъ какой-нибудь цвѣтокъ; потомъ садился, разсказывалъ мнѣ довольно подробно, какого онъ класса, рода, какое его лѣчебное свойство, какъ называется онъ по-латыни, и какъ называютъ его наши крестьяне. Окончивъ трактатъ о цвѣткѣ, онъ втыкалъ его передъ собой за козлами тарантаса и черезъ пять минутъ опять бѣ-

жалъ за другимъ цвѣткомъ, опять объяснялъ мнѣ его качества, происхожденіе и ставилъ на то же мѣсто. Такимъ образомъ черезъ часъ съ небольшимъ образовался у насъ въ тарантасѣ цѣлый цвѣтникъ желтыхъ, лиловыхъ, розовыхъ цвѣтовъ. Гоголь признался, что всегда любилъ ботанику и въ особенности любилъ знать свойства, качества растеній и доискался, подъ какими именами эти растенія извѣстны въ народѣ и на что употребляются...

...Четыре дня, проведенные нами въ деревнѣ, не оставили во мнѣ никакихъ особенныхъ воспоминаній... Помню, что мы ходили въ большомъ обществѣ за грибами, помню, что ѣздили въ длинной восьмимѣстной линейкѣ въ имѣнье г. Гончарова въ пяти верстахъ отъ Бѣгичева[1], гдѣ одно время, кажется, вскорѣ послѣ свадьбы своей, жилъ Пушкинъ; помню, что каждый вечеръ читалъ намъ Гоголь Одиссею въ переводѣ Жуковскаго и восхищался каждой строчкой. Читалъ онъ стихи превосходно и досадовалъ, когда мы не восхищались тѣми мѣстами, на которыя онъ особенно указывалъ; вотъ и все.

...Кто зналъ Гоголя коротко, тотъ не можетъ не вѣрить его признанію, когда онъ говоритъ, что бо̀льшую часть своихъ пороковъ и слабостей онъ передавалъ своимъ героямъ, осмѣивалъ ихъ въ своихъ повѣстяхъ и такимъ образомъ избавлялся отъ нихъ навсегда. Я рѣшительно вѣрю этому наивному откровенному признанію. Гоголь былъ необыкновенно строгъ къ себѣ, постоянно боролся съ своими слабостями и отъ этого часто впадалъ въ другую крайность и бывалъ иногда такъ страненъ и оригиналенъ, что многіе принимали это за аффектацію и говорили, что онъ рисуется. Много можно привести доказательствъ тому, что Гоголь дѣйствительно работалъ всю свою жизнь надъ собою и въ своихъ сочиненіяхъ осмѣивалъ часто самого себя. Вотъ, покуда, что извѣстно и чему я былъ свидѣтелемъ. Гоголь любилъ хорошо поѣсть и въ состояніи былъ, какъ Пѣтухъ, толковать съ поваромъ цѣлый часъ о какой-нибудь кулебякѣ; наѣдался очень часто до того, что бывалъ боленъ; о малороссійскихъ варениках и пампушкахъ говорилъ съ наслажденіемъ и такъ увлекательно, что у мертваго рождался аппетитъ, въ Италіи самъ бѣгалъ на кухню и учился приготовлять макароны. А между тѣмъ онъ очень рѣдко позволялъ себѣ такія увлеченія и былъ въ состояніи довольство-

[1] Имѣніе, въ которомъ жила А. О. Смирнова.

ваться самою скудною пищей и постился иногда, какъ самый строгій отшельникъ, а во время говѣнья почти ничего не ѣлъ. Гоголь очень любилъ и цѣнилъ хорошія вещи и въ молодости, какъ самъ онъ мнѣ говорилъ, имѣлъ страстишку къ пріобрѣтенію разныхъ ненужныхъ вещицъ: чернильницъ, вазочекъ, прессъ-папье и пр... Но, отказавшись разъ навсегда отъ всякихъ удобствъ, отъ всякаго комфорта, отдавъ свое имѣніе матери и сестрамъ, онъ уже никогда ничего не покупалъ, даже не любилъ заходить въ магазины и могъ, указывая на свой маленькій чемоданъ, сказать скорѣе другого: omnia mea mecum porto, — потому что съ этимъ чемоданчикомъ онъ прожилъ почти тридцать лѣтъ, и въ немъ, дѣйствительно, было все его достояніе... Онъ боялся всякаго увлеченія.

Разъ въ жизни удалось ему скопить небольшой капиталъ, кажется, въ 5,000 руб. серебромъ, и онъ тотчасъ же отдаетъ его подъ большою тайною своему пріятелю-профессору[1] для раздачи бѣднымъ студентамъ, чтобы не имѣть никакой собственности и не получить страсти къ пріобрѣтенію, а между тѣмъ черезъ полгода уже самъ нуждается въ деньгахъ и долженъ прибѣгнуть къ займамъ".

Одну изъ послѣдующихъ встрѣчъ съ Н. В. въ Москвѣ Арнольди описываетъ такъ:

„Черезъ нѣсколько дней я встрѣтилъ Гоголя на Тверскомъ бульварѣ, и мы гуляли вмѣстѣ часа два. Разговоръ зашелъ о современной литературѣ. Я прежде никогда не видалъ у Гоголя ни одной книги, кромѣ сочиненій отцовъ церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда онъ заговорилъ о русскихъ журналахъ, о русскихъ новостяхъ, о русскихъ поэтахъ. Онъ все читалъ и за всѣмъ слѣдилъ. О сочиненіяхъ Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался съ большою похвалой. „Это все явленія утѣшительныя для будущаго, — говорилъ онъ. — Наша литература въ послѣднее время сдѣлала крутой поворотъ и попала на настоящую дорогу. Только стихотворцы наши хромаютъ, и времена Пушкина, Баратынскаго и Языкова возвратиться не могутъ!"

Затѣмъ разговоръ коснулся того, что Гоголь прочелъ нѣсколько главъ изъ II т. „М. Д." человѣку, мало понимающему изящную литературу[2], и на выраженное по этому поводу удивленіе со стороны Арнольди Н. В. отвѣчалъ:

---

[1] Шевыреву.
[2] И. В. Капнисту.

„Я читалъ ему мои сочиненія именно потому, что онъ ихъ не любитъ и предупрежденъ противъ нихъ. Что мнѣ за польза читать вамъ или другому, кто восхищается всѣмъ, что̀ я ни написалъ? Вы, господа, заранѣе предупреждены въ мою пользу и настроили себя на то, чтобы находить все прекраснымъ въ моихъ сочиненіяхъ. Вы рѣдко, очень рѣдко сдѣлаете мнѣ дѣльное строгое замѣчаніе, а И. В., слушая мое чтеніе, отыскиваетъ только слабыя мѣста и критикуетъ строго и безпощадно, а иногда и очень умно. Какъ свѣтскій человѣкъ, какъ человѣкъ практическій и ничего не смыслящій въ литературѣ, онъ иногда, разумѣется, говоритъ вздоръ, но зато въ другой разъ сдѣлаетъ такое замѣчаніе, которымъ я могу воспользоваться. Мнѣ именно полезно читать такимъ умнымъ не литературнымъ судьямъ. Я сужу о достоинствѣ моихъ сочиненій по тому впечатлѣнію, какое они производятъ на людей, мало читающихъ повѣсти и романы. Если они разсмѣются, то, значитъ, уже дѣйствительно смѣшно, если будутъ тронуты, то, значитъ, уже дѣйствительно трогательно, потому что они съ тѣмъ усѣлись слушать меня, чтобы ни за что не смѣяться, чтобы ничѣмъ не трогаться, ничѣмъ не восхищаться“.

Слушая Гоголя, я невольно вспомнилъ о кухаркѣ Мольера“ [1].

Слѣдующую поѣздку къ А. О. Смирновой въ ея подмосковную они опять совершили вмѣстѣ. Разговоръ, происходившій между ними, очень характеренъ для мистическаго настроенія Гоголя послѣднихъ лѣтъ.

„Гоголь былъ необыкновенно веселъ во всю дорогу и опять смѣшилъ меня своими малороссійскими разсказами; потомъ, не помню уже какимъ образомъ, отъ смѣшного разговоръ перешелъ въ серьезный. Гоголь заговорилъ о монастыряхъ, о ихъ общественномъ значеніи въ прошедшемъ и настоящемъ. Онъ говорилъ прекрасно о монастырской жизни, о той простотѣ, въ какой живутъ истинные монахи, о томъ счастіи, какое находятъ они въ молитвѣ, среди прекрасной природы, въ глуши, въ дремучихъ лѣсахъ. „Вотъ, напримѣръ, — сказалъ онъ, — вы были въ Калугѣ, а ѣздили ли вы въ Оптину пустынь, что подлѣ Козельска?“ — „Какъ же, — отвѣчалъ я, — былъ“. — „Ну, неправда ли, что за прелесть! Какая тишина, какая простота!“ — „Я знаю, что вы бывали тамъ часто, Николай Васильевичъ,

[1] Знаменитый французскій писатель читалъ кухаркѣ свои сочиненія.

и въ послѣдній разъ, когда хотѣли ѣхать въ Малороссію, не доѣхали и остановились въ Оптиной пустыни, кажется, на нѣсколько дней". — „Да, я на перепутьи всегда заѣзжаю въ эту пустынь, и отдыхаю душой, Тамъ у меня въ монастырѣ есть человѣкъ, котораго я, очень люблю... Я хорошо знаю и настоятеля отца Моисея". — „Кто же этотъ другъ вашъ?" — „Нѣкто Григорьевъ[1], дворянинъ, который былъ прежде артиллерійскимъ офицеромъ, а теперь сдѣлался усерднымъ и благочестивымъ монахомъ и говоритъ, что никогда на свѣтѣ не былъ такъ счастливъ, какъ въ монастырѣ. Онъ славный человѣкъ и настоящій христіанинъ; душа его такая дѣтская, свѣтлая, прозрачная! Онъ вовсе не пасмурный монахъ, бѣгающій отъ людей, не любящій бесѣды. Нѣтъ, онъ, напротивъ того, любитъ всѣхъ людей, какъ братьевъ; онъ всегда веселъ, всегда снисходителенъ. Это высшая степень совершенства, до которой только можетъ дойти истинный христіанинъ. Покуда человѣкъ еще не выработался, не совершенно воспиталъ себя, хоть онъ и стремится къ совершенству, въ немъ все еще слишкомъ много строгости, слишкомъ много угловатаго и много отталкивающаго. Если же разъ онъ успѣетъ, съ Божьею помощью, уничтожить въ себѣ всѣ сомнѣнія, примириться съ жизнью, и дойдетъ до настоящей любви, то сдѣлается тогда совершенно спокоенъ, веселъ, ко всѣмъ добръ, со всѣми ласковъ".

...„Въ другой разъ я встрѣтилъ Гоголя у сестры и объявилъ ему, что иду въ театръ, гдѣ даютъ Ревизора, и что Шумскій въ первый разъ играетъ въ его комедіи роль Хлестакова. Гоголь поѣхалъ съ нами, и мы помѣстились, едва доставъ ложу, въ бенуарѣ. Театръ былъ полонъ. Гоголь говорилъ, что Шумскій лучше всѣхъ другихъ актеровъ, петербургскихъ и московскихъ, передавалъ эту трудную роль, но не былъ доволенъ, сколько я помню, тою сценой, гдѣ Хлестаковъ начинаетъ завираться передъ чиновниками. Онъ находилъ, что Шумскій передавалъ этотъ монологъ слишкомъ тихо, вяло, съ остановками, а онъ желалъ представить въ Хлестаковѣ человѣка, который разсказываетъ небылицы съ жаромъ, съ увлеченіемъ, который самъ не знаетъ, какимъ образомъ слова вылетаютъ у него изо рта, который въ ту минуту, какъ лжетъ, не думаетъ вовсе, что онъ лжетъ, а просто разсказываетъ то, что грезится ему постоянно, чего онъ желалъ бы достигнуть, и разсказываетъ, какъ будто эти грезы его воображенія

[1] Григоровъ?

сдѣлались уже дѣйствительностію, но иногда въ порывѣ болтовни заговаривается, дѣйствительность мѣшается у него съ мечтами, и онъ отъ посланниковъ, отъ управленія департаментомъ, отъ пріемной залы переходитъ, самъ того не замѣчая, на пятый этажъ, къ кухаркѣ Марѳушѣ. „Хлестаковъ — это живчикъ, — говорилъ Гоголь, — онъ все долженъ дѣлать скоро, живо, не разсуждая, почти безсознательно, не думая ни одной минуты, что изъ этого выйдетъ, какъ это кончится, и какъ его слова и дѣйствія будутъ приняты другими". Вообще комедія въ этотъ разъ была разыграна превосходно. Многіе въ партерѣ замѣтили Гоголя, и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. — Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстраціи со стороны публики, и, можетъ быть, вызововъ, и послѣ вышеописанной сцены вышелъ изъ ложи такъ тихо, что мы и не замѣтили его отсутствія. — Возвратившись домой, мы застали его у сестры распивающимъ по обыкновенію теплую воду съ сахаромъ и краснымъ виномъ. Тутъ онъ и передалъ мнѣ свое мнѣніе объ игрѣ Шумскаго, талантъ котораго онъ ставилъ очень высоко"...

Арнольди такъ описываетъ послѣдніе часы жизни Гоголя, который скончался въ квартирѣ гр. Толстого на Никитской:

„...Въ первой комнатѣ никого не было; во второй, на постели, съ закрытыми глазами, худой, блѣдный, лежалъ Гоголь; длинные волосы его были спутаны и падали въ безпорядкѣ на лицо и на глаза; онъ иногда вздыхалъ тяжело, шепталъ какую то молитву, и по временамъ бросалъ мутный взоръ на икону, стоявшую у ногъ на постели, прямо противъ больного. Въ углу, въ креслѣ, вѣроятно, утомленный долгими безсонными ночами, спалъ его слуга, малороссіянинъ. Долго стоялъ я передъ Гоголемъ, вглядывался въ лицо его и, не знаю отчего, почувствовалъ въ эту минуту, что для него все кончено, что онъ болѣе не встанетъ. Раза два Гоголь вскинулъ глазами вверхъ, взглянулъ на меня, но, не узнавъ, закрылъ ихъ опять. „Пить... дайте пить", проговорилъ онъ, наконецъ, хриплымъ, но невнятнымъ голосомъ. Человѣкъ, вошедшій вслѣдъ за мною въ комнату, подалъ ему въ рюмкѣ воду съ краснымъ виномъ. Гоголь немного приподнялъ голову, обмочилъ губы и опять, съ закрытыми глазами, упалъ на подушку. Человѣкъ графа разбудилъ мальчика, который, увидѣвъ меня, оробѣлъ и подошелъ къ постели больного. Тутъ я былъ свидѣтелемъ страшнаго разговора между двумя

служителями, и не знаю, чѣмъ бы кончилась эта сцена, еслибы меня тутъ не было.

— Если его такъ оставить, то онъ не выздоровѣетъ, — говорилъ одинъ изъ нихъ, — повѣрь, что не встанетъ, умретъ, безпремѣнно умретъ.

— Такъ что жъ по-твоему... — отвѣчалъ другой.

— Да вотъ возьмемъ его насильно, стащимъ съ постели, да и поводимъ по комнатѣ, повѣрь, что разойдется и живъ будетъ.

— Да какъ же это можно? Онъ не захочетъ... кричать станетъ.

— Пусть его кричитъ... Послѣ самъ благодарить будетъ, вѣдь для его же пользы!

— Оно такъ, да я боюсь... Какъ же это безъ его воли-то?

— Экой ты неразумный; что нужды, что безъ его воли, когда оно полезно. Вѣдь ты разсуди самъ, какая у него болѣзнь-то? Никакой нѣтъ, просто такъ... Не ѣстъ, не пьетъ, не спитъ и все лежитъ, ну, какъ тутъ не умереть? У него всѣ чувства замерли, а вотъ какъ мы размотаемъ его, онъ очнется, повѣрь, что очнется... на свѣтъ Божій взглянетъ, и самъ жить захочетъ. Да что долго толковать, бери его съ одной стороны, а я вотъ отсюда, и все хорошо будетъ!

Мальчикъ, кажется, начиналъ колебаться... Я, наконецъ, не вытерпѣлъ и вмѣшался въ ихъ разговоръ.

— Что вы хотите это дѣлать, какъ же можно умирающаго человѣка тревожить? Оставьте его въ покоѣ, — сказалъ я строго.

— Да, право, лучше будетъ, сударь! Вѣдь у него вся болѣзнь отъ этого, что какъ пластъ лежитъ который ужъ день безъ всякаго движенія. Позвольте... Вы увидите, какъ мы его раскачаемъ, и живъ будетъ.

Я насилу уговорилъ ихъ не дѣлать этого опыта съ умирающимъ Гоголемъ, но, прекративъ ихъ разговоръ, кажется, нисколько не убѣдилъ того, который предложилъ этотъ новый способъ лѣченія, потому что, выходя, онъ все еще говорилъ про себя: „Ну, умретъ, безпремѣнно умретъ.. Вотъ увидите, что умретъ“. И, дѣйствительно, на другой день, когда я ѣхалъ по желѣзной дорогѣ въ Петербургъ, Гоголь умиралъ въ Москвѣ...“

VII.

Изъ воспоминаній кн. Д. А. Оболенскаго[1].

„...Въ первыхъ числахъ іюля мѣсяца 1849 года, проѣздомъ черезъ Калугу въ имѣніе отца моего, я засталъ Гоголя, гостившаго у А. О. Смирновой, и обѣщалъ ему, на обратномъ пути, заѣхать за нимъ, чтобы вмѣстѣ отправиться въ Москву. Пробывъ въ деревнѣ недолго, я, въ условленный день, прибылъ въ Калугу и провелъ съ Гоголемъ весь вечеръ у А. О. Смирновой, а послѣ полуночи мы рѣшили выѣхать. Съ Гоголемъ я познакомился еще въ 1848 году лѣтомъ въ Москвѣ, и мы видались часто. Родственныя мои отношенія къ графу А. П. Толстому, у котораго Николай Васильевичъ въ то время жилъ въ Москвѣ, и дружба моя съ кругомъ людей, которыхъ Гоголь, по справедливости, считалъ самыми близкими своими друзьями, расположили его въ мою пользу, и онъ не разъ выказывалъ мнѣ знаки своего дружескаго вниманія. Отъ того ли, что неожиданно представилась ему пріятная оказія выѣхать въ Москву, куда торопился, или отъ другой причины, только помню, что весь вечеръ Гоголь былъ въ отличномъ расположеніи духа и сохранилъ его во всю дорогу. Живо справилъ онъ свой чемоданчикъ, заключавшій все его достояніе, — но главная забота его заключалась въ томъ, какъ бы уложить свой портфель такъ, чтобы онъ постоянно оставался на видномъ мѣстѣ. Рѣшено было поставить портфель въ каретѣ намъ въ ноги, и Гоголь только тогда успокоился за цѣлость его, когда мы усѣлись въ дормезъ, и онъ увидѣлъ, что портфель занимаетъ приличное и безопасное мѣсто, не причиняя вмѣстѣ съ тѣмъ намъ никакого безпокойства.

Портфель этотъ заключалъ въ себѣ только еще вчернѣ оконченный второй томъ „Мертвыхъ Душъ“[2].

Читатели моего поколѣнія легко могутъ себѣ представить, съ какимъ чувствомъ возбужденнаго любопытства смотрѣлъ я во всю дорогу на этотъ портфель.

Чѣмъ былъ для молодыхъ людей нашего поколѣнія Гоголь, о томъ съ трудомъ могутъ судить люди новѣйшаго времени.

---

[1] „Русская Старина“, 1873, XII, стр. 940—953.

[2] Первая глава была, кажется, совершенно уже отдѣлана, потому что онъ читалъ ее за нѣсколько дней до нашего выѣзда изъ Калуги А. О. Смирновой. Помню, что А. О. Смирнова была въ восхищеніи отъ этой главы и говорила, что влюблена въ Тентетникова. По возвращеніи въ Москву Гоголь писалъ ей и кончилъ письмо словами: „Кланяется вамъ Тентетниковъ!“ *Прим. автора.*

... Къ утру мы остановились на станціи чай пить. Выходя изъ кареты, Гоголь вытащилъ портфель и понесъ его съ собою, — это дѣлалъ онъ всякій разъ, какъ мы останавливались. Веселое расположеніе духа не оставляло Гоголя. На станціи я нашелъ штрафную книгу и прочелъ въ ней довольно смѣшную жалобу какого то господина. Выслушавъ ее, Гоголь спросилъ меня:

— А какъ вы думаете, кто этотъ господинъ? Какихъ свойствъ и характера человѣкъ?

— Право, не знаю, — отвѣчалъ я.

— А вотъ я вамъ разскажу. — И тутъ же началъ самымъ смѣшнымъ и оригинальнымъ образомъ описывать мнѣ сперва наружность этого господина, потомъ разсказалъ мнѣ всю его служебную карьеру, представляя даже въ лицахъ нѣкоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохоталъ, какъ сумасшедшій, а онъ все это выдѣлывалъ совершенно серьезно. За симъ онъ разсказалъ мнѣ, что какъ то одно время они жили вмѣстѣ съ Н. М. Языковымъ (поэтомъ) и вечеромъ, ложась спать, забавлялись описаніемъ разныхъ характеровъ и засимъ придумывали для каждаго характера соотвѣтственную фамилію. „Это выходило очень смѣшно“, замѣтилъ Гоголь, и при этомъ описалъ мнѣ одинъ характеръ, которому совершенно неожиданно далъ такую фамилію, которую печатно назвать неприлично — „и былъ онъ родомъ грекъ“ — такъ кончилъ Гоголь свой разсказъ.

Утромъ, во время пути, при всякой остановкѣ выходилъ Гоголь на дорогу и рвалъ цвѣты, и ежели при томъ находились мужикъ или баба, то всегда спрашивалъ названіе цвѣтовъ; онъ увѣрялъ меня, что одинъ и тотъ же цвѣтокъ въ разныхъ мѣстностяхъ имѣетъ разныя названія, и что, собирая эти названія, онъ выучилъ много новыхъ словъ, которыя у него пойдутъ въ дѣло...

VIII.

Изъ воспоминаній о Н. В. Гоголѣ Н. В. Берга[1].

„Въ первый разъ встрѣтился я съ Гоголемъ у С. П. Шевырева, въ концѣ 1848 года. Было нѣсколько чело-

[1] „Русская Старина“, 1872, I, стр. 118—128.

вѣкъ гостей, принадлежавшихъ къ московскому кружку литераторовъ, который называли славянофилами. Сколько могу припомнить, всѣ они были приглашены на обѣдъ для Гоголя, только что воротившагося изъ Италіи и находившагося тогда въ апогеѣ своего величія и славы. Трудно представить себѣ болѣе избалованнаго литератора и съ большими претензіями, чѣмъ былъ въ то время Гоголь. Вся Россія любитъ во всемъ пересолить; Москва еще больше. Московскіе друзья Гоголя, точнѣе сказать, приближенные (дѣйствительнаго друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь) окружали его неслыханнымъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ. Онъ находилъ у кого-нибудь изъ нихъ, во всякій свой пріѣздъ въ Москву, все, что нужно для самаго спокойнаго и комфортабельнаго житья: столъ съ блюдами, которыя онъ наиболѣе любилъ; тихое, уединенное помѣщеніе и прислугу, готовую исполнять всѣ его малѣйшія прихоти... Даже близкіе знакомые хозяина, у кого жилъ Гоголь, должны были знать, какъ вести себя, если неравно съ нимъ встрѣтятся и заговорятъ. Имъ сообщалось, между прочимъ, что Гоголь терпѣть не можетъ говорить о литературѣ, въ особенности о своихъ произведеніяхъ, а потому никоимъ образомъ нельзя обременять его вопросами: „Что онъ теперь пишетъ?“ а равно: „Куда поѣдетъ?“ или: „Откуда пріѣхалъ?“ И этого онъ также не любилъ. Да и вообще, молъ, подобные вопросы въ разговорѣ съ нимъ не ведутъ ни къ чему: онъ отвѣтитъ уклончиво, или ничего не отвѣтитъ. Ѣдетъ въ Малороссію, скажетъ: въ Римъ; ѣдетъ въ Римъ, скажетъ: въ деревню къ такому то... Стало быть, зачѣмъ понапрасну безпокоить!

... Гостиная была уже полна. Одни сидѣли, другіе стояли, говоря между собою. Ходилъ только одинъ, небольшого роста человѣкъ, въ черномъ сюртукѣ и брюкахъ, похожихъ на шаровары, остриженный въ скобку, съ небольшими усиками, съ быстрыми и проницательными глазами темнаго цвѣта, нѣсколько блѣдный. Онъ ходилъ изъ угла въ уголъ, руки въ карманы, и тоже говорилъ. Походка его была оригинальная, мелкая, невѣрная, какъ будто одна нога старалась заскочить постоянно впередъ, отчего одинъ шагъ выходилъ какъ бы шире другого. Во всей фигурѣ было что то несвободное, сжатое, скомканное въ кулакъ. Никакого размаху, ничего открытаго нигдѣ, ни въ одномъ движеніи, ни въ одномъ взглядѣ. Напротивъ, взгляды, бросаемые имъ то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мелькомъ, какъ бы лукаво, не прямо другому

въ глаза, стоя передъ нимъ лицомъ къ лицу. Для знакомаго немного съ физіономіями хохловъ — хохолъ былъ тутъ виденъ сразу. Я сейчасъ сообразилъ, что это Гоголь, больше такъ, чѣмъ по какому-либо портрету. Замѣчу здѣсь, что ни одинъ изъ существующихъ портретовъ Гоголя не передаетъ его, какъ надо...

Хозяинъ представилъ меня. Гоголь спросилъ: „Долго ли вы въ Москвѣ?“ И когда узналъ, что я живу въ ней постоянно, замѣтилъ: „Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще!“ Это была обыкновенная его фраза при встрѣчахъ со многими, фраза, ровно ничего не значившая, которую онъ тутъ же и забывалъ...

... Затѣмъ я сталъ видать его у разныхъ знакомыхъ славянофильскаго кружка. Онъ держалъ себя большею частію въ сторонѣ отъ всѣхъ. Если онъ сидѣлъ и къ нему подсаживались съ умысломъ „потолковать, узнать: не пишетъ ли онъ чего-нибудь новаго?“ онъ начиналъ дремать, или глядѣть въ другую комнату, или просто-напросто вставалъ и уходилъ. Онъ измѣнялъ обыкновеннымъ своимъ порядкамъ, если въ числѣ приглашенныхъ вмѣстѣ съ нимъ оказывался одинъ малороссіянинъ, членъ того же славянофильскаго кружка[1]. Какимъ то таинственнымъ магнитомъ тянуло ихъ тотчасъ другъ къ другу: они усаживались въ уголъ и говорили нерѣдко между собою цѣлый вечеръ, горячо и воодушевленно, какъ Гоголь (при мнѣ, по крайней мѣрѣ) ни разу не говорилъ съ кѣмъ-нибудь изъ великоруссовъ...

... Въ слѣдующемъ 1850 году я видалъ Гоголя чаще всего у Шевырева. Говорили, что онъ пишетъ второй томъ „Мертвыхъ Душъ“, но никому не читаетъ, или ужъ крайне избраннымъ. Вообще въ это время, въ этотъ послѣдній періодъ жизни Гоголя въ Россіи, очень рѣдко можно было услышать его чтеніе. Какъ онъ былъ избалованъ тогда относительно этого и какъ раздражителенъ, достаточно покажетъ слѣдующій случай. Одно весьма близкое къ Гоголю семейство, старые, многолѣтніе друзья упросили его прочесть что то изъ „второго тома“. Приняты были всѣ извѣстныя мѣры, чтобы не произошло какой помѣхи. Отпитъ заранѣе чай, удалена прислуга, которой приказано болѣе безъ зова не входить; забыли только упредить няньку, чтобы она не являлась въ обычный часъ съ дѣтьми прощаться. Едва Гоголь усѣлся, и водворилась вожделѣнная тишина — дверь скрипнула, и нянька, съ

[1] Вѣроятно, профессоръ Бодянскій.

вереницею ребятъ, не примѣчая никакихъ знаковъ и маханій, пошла отъ отца къ матери, отъ матери къ дядюшкѣ, отъ дядюшкѣ къ тетушкѣ... Гоголь смотрѣлъ-смотрѣлъ на эту патріархальную процедуру вечерняго прощанія дѣтей съ родителями, сложилъ тетрадь, взялъ шляпу и уѣхалъ. Такъ разсказывали.

Въ эту эпоху слыхалъ Гоголя читающимъ чаще другихъ Шевыревъ, чуть ли не самый ближайшій къ нему изъ всѣхъ московскихъ литераторовъ. Онъ завѣдывалъ обыкновенно продажею сочиненій Гоголя. У него же хранились и деньги Гоголя; между прочимъ, былъ ввѣренъ какой то особый капиталъ, изъ котораго Шевыревъ могъ, по своему усмотрѣнію, помогать бѣднымъ студентамъ, не говоря никому, чьи это деньги. Я узналъ объ этомъ отъ Шевырева только послѣ смерти Гоголя...

Жилъ въ то время Гоголь тихо и уединенно у графа Толстого (что послѣ былъ оберъ-прокуроромъ) въ домѣ Талызина, на Никитскомъ бульварѣ, занимая переднюю часть нижняго этажа, окнами на улицу; тогда какъ самъ Толстой занималъ весь верхъ. Здѣсь за Гоголемъ ухаживали, какъ за ребенкомъ, предоставивъ ему полную свободу во всемъ. Онъ не заботился ровно ни о чемъ. Обѣдъ, завтракъ, чай, ужинъ подавались тамъ, гдѣ онъ прикажетъ. Бѣлье его мылось и укладывалось въ комоды невидимыми духами, если только не надѣвалось на него тоже невидимыми духами. Кромѣ многочисленной прислуги дома, служилъ ему, въ его комнатахъ, собственный его человѣкъ изъ Малороссіи, именемъ Семенъ, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигелѣ была необыкновенная. Гоголь либо ходилъ по комнатѣ, изъ угла въ уголъ, либо сидѣлъ и писалъ, катая шарики изъ бѣлаго хлѣба, про которые говорилъ друзьямъ, что они помогаютъ разрѣшенію самыхъ сложныхъ и трудныхъ задачъ...

Писалъ онъ въ то время очень вяло. Машина портилась съ каждымъ днемъ больше и больше. Гоголь становился мрачнѣе и мрачнѣе...[1]

Однажды, кажется, у Шевырева, кто то изъ гостей, несмотря на принятую всѣми знавшими Гоголя систему не спрашивать его ни о чемъ, особенно о литературныхъ вопросахъ и предпріятіяхъ, не удержался и замѣтилъ ему: „что это онъ смолкъ: ни строки, вотъ уже сколько мѣсяцевъ сряду!“ Ожидали простого молчанія,

[1] Многоточіе въ подлинникѣ.

какимъ отдѣлывался Гоголь отъ подобныхъ вопросовъ, или ничего незначащаго отвѣта. Гоголь грустно улыбнулся и сказалъ: „Да! какъ странно устроенъ человѣкъ: дай ему все, что онъ хочетъ, для полнаго удобства жизни и занятій, тутъ то онъ и не станетъ ничего дѣлать; тутъ и не пойдетъ работа!“

Потомъ, помолчавши немного, онъ сообщилъ слѣдующее:

„Со мною былъ такой случай: ѣхалъ я разъ между городами Джансоно и Альбано[1], въ іюлѣ мѣсяцѣ. Середи дороги, на бугрѣ, стоитъ жалкій трактиръ, съ бильярдомъ въ главной комнатѣ, гдѣ вѣчно гремятъ шары и слышится разговоръ на разныхъ языкахъ. Всѣ проѣзжающіе мимо непремѣнно тутъ останавливаются, особенно въ жаръ. Остановился и я. Въ то время я писалъ первый томъ „Мертвыхъ Душъ“, и эта тетрадь со мною не разставалась. Не знаю почему, именно въ ту минуту, когда я вошелъ въ этотъ трактиръ, захотѣлось мнѣ писать. Я велѣлъ дать столикъ, усѣлся въ уголъ, досталъ портфель и подъ громъ катаемыхъ шаровъ, при невѣроятномъ шумѣ, бѣготнѣ прислуги, въ дыму, въ душной атмосферѣ, забылся удивительнымъ сномъ и написалъ цѣлую главу, не сходя съ мѣста. Я считаю эти строки однѣми изъ самыхъ вдохновенныхъ. Я рѣдко писалъ съ такимъ одушевленіемъ. А вотъ теперь никто кругомъ меня не стучитъ, и не жарко и не дымно...“[2]

Въ другой разъ, въ припадкѣ подобной литературной откровенности, тоже, кажется, у Шевырева, Гоголь разсказалъ при мнѣ, какъ онъ обыкновенно пишетъ, какой способъ писать считаетъ лучшимъ.

„Сначала нужно набросать все, какъ придется, хотя бы плохо, водянисто, но рѣшительно все и забыть объ этой тетради. Потомъ, черезъ мѣсяцъ, черезъ два, иногда и болѣе (это скажется само собой) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не такъ, много лишняго, а кое-чего и недостаетъ. Сдѣлайте поправки и замѣтки на поляхъ — и снова забросьте тетрадь. При новомъ пересмотрѣ ея новыя замѣтки на поляхъ, и гдѣ не хватитъ мѣста — взять отдѣльный клочокъ и приклеить съ боку. Когда все будетъ такимъ образомъ исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тутъ сами собой явятся новыя озаренія, урѣзы, добавки, очищенія слога. Между прежъ-

---

[1] Въ Папской области. *Прим. автора.*

[2] Многоточіе въ подлинникѣ.

нихъ вскочатъ слова, которыя необходимо тамъ должны быть, но которыя почему то никакъ не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не дѣлайте ничего, или хоть пишите другое. Придетъ часъ: вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тѣмъ же способомъ, и когда снова она будетъ измарана, перепишите ее собственноручно. Вы замѣтите при этомъ, что вмѣстѣ съ крѣпчаніемъ слога, съ отдѣлкой, очисткой фразъ — какъ бы крѣпчаетъ и ваша рука; буквы ставятся тверже и рѣшительнѣе. Такъ надо дѣлать по-моему восемь разъ. Для иного, можетъ быть, нужно меньше, а для иного и еще больше. Я дѣлаю восемь разъ Только послѣ восьмой переписки, непремѣнно собственною рукою, трудъ является вполнѣ художнически законченнымъ, достигаетъ перла созданія. Дальнѣйшія поправки и пересматриванье, пожалуй, испортятъ дѣло: что называется у живописцевъ — зарисуешься. Конечно, слѣдовать постоянно такимъ правиламъ нельзя, трудно. Я говорю объ идеалѣ. Иное пустишь и скорѣе. Человѣкъ все-таки человѣкъ, а не машина"...

IX.

Автобіографическая записка Маріи Ивановны Гоголь [1].

Въ дѣтствѣ моемъ только и знала я дѣдушку, отца моего родителя, наслышась о немъ такъ много отъ родныхъ особъ. Онъ умеръ, когда я была одного году; дальше, по дѣтской моей безпечности, тогда не приходило на мысль разспросить, а теперь и не у кого уже разспрашивать. Мнѣ говорили, что мой дѣдъ уважаемъ былъ всѣми не по одному только уму, но по добрымъ качествамъ его души и благородству его поступковъ. Онъ имѣлъ двухъ сыновей и двухъ дочерей, чинъ имѣлъ коллежскаго ассессора, наслѣдственнаго имѣнія имѣлъ 60 душъ на рѣкѣ Голтвѣ, въ семи верстахъ отъ нашей Васильевки; и мнѣ виденъ его умъ, потому что онъ доставилъ своимъ дѣтямъ порядочное воспитаніе тогда, какъ лучъ просвѣщенія не касался еще нашей Мало-

[1] Матери Н. В. См. „Русскій Архивъ" 1902, IV, стр. 706—724.

россіи. Отецъ мой о многомъ имѣлъ свѣдѣніе; при другихъ наукахъ учился юриспруденціи.

Первый разъ женился онъ на дочери бывшей фрейлины Звѣревой, будучи въ Петербургѣ съ полкомъ своимъ. Жена его была красива и добра, какъ ангелъ. Она была 16 лѣтъ и любила своего мужа до обожанія. Родители ея поручили зятю единственное сокровище на землѣ (больше дѣтей у нихъ не было) и, отдавая палку, оправленную въ золото, мать сказала: „Вотъ вамъ, Иванъ Матвѣевичъ, палка на вашу жену, если она когда-нибудь осмѣлится ослушаться васъ". Съ такимъ условіемъ отецъ мой не хотѣлъ принимать палки, но жена съ улыбкой взяла. Эта фраза, сказанная матерью, любящею свою дочь болѣе всего на свѣтѣ, осталась навсегда въ моей памяти. Съ первыхъ родовъ она умерла; за ней послѣдовалъ и сынъ, виновникъ ея смерти. Смерть ея чуть было не скосила и ея мужа; онъ былъ въ безпрестанныхъ обморокахъ, и когда пришелъ въ себя, то возвратилъ все приданое родителямъ ея, которые упрашивали его оставить для памяти хотя что-нибудь изъ вещей ея; но онъ сказалъ, что все будетъ убивать его и не могъ ничего видѣть. Онъ просилъ генерала посылать его въ опасные случаи, чтобъ скорѣе прекратить свое существованіе, но религія поддержала его. Когда онъ былъ посыланъ по какимъ то дѣламъ по службѣ въ зимнее время, на дорогѣ застигла его страшная стужа; онъ оставался безъ пріюта болѣе сутокъ; когда его нашли, по прекращеніи бури, безъ чувствъ, на глазахъ былъ ледъ. Поручили его докторамъ; по приведеніи его въ чувства, онъ жаловался на сильную боль головы и глазъ; по долгомъ лѣченіи, объявили ему (какъ онъ говорилъ мнѣ), что одинъ глазъ его умеръ. Тогда онъ не могъ продолжать военной службы и отправился домой. Сверстники его были генералами, а онъ могъ служить только по штатской уже службѣ.

Когда онъ обратился уже болѣе къ Богу, и горе его начало нѣсколько уменьшаться, онъ еще былъ довольно молодъ и хотя съ разстроеннымъ здоровьемъ, но увидѣлъ, что ему надобно имѣть подругу въ жизни. Случилось ему быть въ домѣ малороссійскаго помѣщика, имѣвшаго 100 душъ и 12 своихъ дѣтей (по 6 сыновъ и дочерей; а другая такая же дюжина дѣтей умерла), фамилія его Шостакъ. Это многочисленное семейство было счастливое и очень доброе. Имѣя способности, сыновья оставили имѣніе сестрамъ и, взявъ себѣ по одному дворовому мальчику, пошли служить; по службѣ были

очень счастливы и по женитьбѣ богаты. Изъ этого то семейства Богъ указалъ отцу моему жену, дѣвицу 20 лѣтъ, добрую и скромную. Бабушка, оставшись вдовой, отдала все имѣніе меньшей своей дочери — моей теткѣ (видно, чтобъ не раздроблять имѣнія), а другимъ дочерямъ ничего: конечно, уже денегъ не было. Но онѣ не роптали на это, были къ матери очень почтительны и любили ее.

Одинъ изъ братьевъ маменьки моей, меньшой, еще съ дѣтства, всегда задумывался, и когда его спрашивали, о чемъ думаетъ, то онъ отвѣчалъ: „Я ищу мѣста вырыть колодезь такой, чтобъ можно было черпать деньги“. И въ продолженіе своей жизни точно имѣлъ онъ большія деньги отъ прожектовъ своихъ, но окруженъ былъ всегда неблагонамѣренными людьми, которые, получая отъ него по нѣскольку тысячъ жалованья, обирали его; онъ, по себѣ судя, не подозрѣвалъ ихъ. Онъ бралъ на откупа города, и случалось у него по милліону, и потомъ ровно ничего, и опять наоборотъ. Въ одно время, имѣя деньги, онъ разослалъ въ подарокъ сестрамъ своимъ по 10 тысячъ, братьямъ — по 25, а старшему брату, любящему жить хорошо, — 50 тысячъ, покуда не успѣли еще распорядиться его деньгами его агенты.

Получа отъ него деньги, мои родители не успѣли еще разсудить, какъ полезнѣе ихъ употребить для дѣтей, какъ одинъ услужливый человѣкъ предложилъ отдать ему на процентъ, который будетъ платить съ большою аккуратностью до востребованія капитала; но мои родители не только не получили проценту, но и капитала не могли вытребовать, и бѣдный отецъ мой долженъ былъ завесть искъ, и весь свой вѣкъ хлопоталъ по этому дѣлу, всегда самъ писалъ бумаги и при концѣ уже жизни получилъ имѣньице въ Хорольскомъ уѣздѣ въ число тѣхъ денегъ. Онъ отдалъ его мнѣ. Я землю продала, такъ какъ она была вся въ лоскуткахъ, а людей перевела въ Васильевку; на вырученныя за землю деньги, послушавъ неопытныхъ людей, я завела кожевенную фабрику, на которую послѣ еще занимала деньги. Попавшійся намъ шарлатанъ, австрійскій подданный, увѣрилъ, что мы будемъ получать по 8,000 рублей годового доходу на первый случай, а дальше и еще больше, и такіе резоны представлялъ, что можно было повѣрить: изъ телячьей кожи, стоящей съ выдѣлкой 1 р. ассигнаціями, сшивъ сапоги, получается по крайней мѣрѣ 8 р. Въ тотъ годъ пріѣхалъ сынъ мой и совѣтовалъ намъ начать съ маленькаго масштаба; фабрикантъ сказалъ: „Зачѣмъ терять время даромъ, почему не получать

вмѣсто пяти тысячъ сто?“ Мой сынъ велѣлъ ему изъ отлично выдѣланныхъ имъ кожъ сшить на пробу сапоги и прислать ему въ С.-Петербургъ. Онъ сшилъ самъ также отлично сапоги съ золотыми гвоздиками на подошвѣ и калоши зимнія съ шерстью въ серединѣ (а на лицѣ незамѣтно, что онѣ теплыя), что для военныхъ людей было бы очень нужно. Получа тѣ вещи, сынъ мой, увидя такую изящную работу, познакомился нарочно для этого съ фабрикантами тамошними, чтобъ доставить намъ выгоду. Они сказали, чтобъ доставить на фабрику такую работу и разныхъ ремешковъ въ промежутки той работы, что̀ могутъ и малолѣтнія дѣти работать. Нанято было сапожниковъ 25 человѣкъ, какъ подскочилъ страшный годъ, покупали хлѣбъ по 3 р. пудъ, а между тѣмъ фабрикантъ нашъ намочилъ кожи и сдалъ на руки ученикамъ, которые сами ничего не знали, а самъ, набравши нѣсколько сотенъ сапоговъ, поѣхалъ продавать. Люди, съ нимъ поѣхавшіе, не знали, по чемъ продавалъ, а только возили, куда онъ продалъ, и даже, какъ мы послѣ узнали, продавалъ по 2 рубля и, получа деньги, на шампанскомъ со своими знакомыми пропилъ. (Мы не знали, что онъ имѣлъ слабость пить.) Возвратясь, онъ сказалъ, что ѣздилъ для большихъ для фабрики дѣлъ, а о такой бездѣлицѣ онъ не намѣренъ отдавать отчета, и что онъ договорился съ полковникомъ на ранцы. Тогда я его позвала и объявила, что больше на словахъ не вѣрю, когда не покажетъ на дѣлѣ. И такъ какъ онъ долго не возвращался, то кожи, оставленныя имъ, всѣ испортились, и онъ бѣжалъ, и мы не знали, что съ тѣми кожами дѣлать; и обманулъ еще пять помѣщиковъ очень аккуратныхъ и умныхъ. Наконецъ, умеръ, и столько было надѣлано долговъ, занимая въ разныхъ рукахъ, что должны были заложить Васильевку, чтобъ съ ними расплатиться, на 26 лѣтъ, и платить по 500 рублей серебромъ проценту. И винокурня уничтожена, земляная мельница уничтожена для толченія дубовой коры, для выдѣлки кожъ, и совершенно оставилъ намъ разстроенное имѣніе. Это случилось гораздо послѣ смерти моего мужа.

Родители мои болѣли душой о насъ и потомъ начали болѣть тѣломъ. По взятіи отцомъ моимъ имѣньица, еще оставалось долгу 6 т. р. съ процентами. У заимодавца его было много имѣній и въ Одессѣ два дома. Отецъ мой написалъ, чтобы не позволяли ему продавать дома, не удовлетворивъ его; но онъ такъ много, видно, имъ насулилъ, что дома были имъ проданы, и денегъ не отдалъ; и должно было завести дѣло, которое

пришлось мнѣ вести. Присудили взыскать съ членовъ, допустившихъ продать. Сенатъ рѣшилъ въ мою пользу послѣ смерти моихъ родителей; тѣ апеллировали, и опять рѣшено уплатить мнѣ деньги, а чрезъ нѣсколько лѣтъ передѣлали такъ, что мнѣ взыскивать самой слѣдуемыя мнѣ деньги, что̀ мнѣ было невозможно: ихъ было 15 лицъ, въ разныхъ мѣстахъ находящихся по выходѣ въ отставку, и повѣренному было трудно находить ихъ, развѣ истратя всѣ деньги. Я написала къ сыну. Онъ отвѣчалъ мнѣ: „Конечно, ваше дѣло правое: но вообразите, что, можетъ быть, изъ обвиняемыхъ есть такіе, что вы снимете съ нихъ послѣднее платье, если взыщутъ съ нихъ деньги, слѣдуемыя вамъ. А я бы совѣтовалъ вамъ сдѣлать такъ — написать каждому изъ нихъ: вы видите, что дѣло мое правое и рѣшается въ мою пользу; напишите мнѣ, если вы не можете мнѣ уплатить всѣхъ, то уплатите половину, а другую я оставляю вамъ; и увидите, что вы деньги половинныя получите“. Но я бросила совсѣмъ это дѣло. Теперь же начали сосѣди мои меня урезонивать, зачѣмъ я оставила свое правое дѣло, чтобъ опять возобновить, и я рѣшилась передать это дѣло церкви: утѣшительно будетъ, если она получитъ и немного поправится.

Но я слишкомъ отдалилась отъ своего разсказа, а я хочу не упустить ничего, что касается моего сына. Отецъ мой года черезъ два послѣ женитьбы подалъ прошеніе на службу: привыкнувъ къ дѣятельной и полезной жизни, онъ не могъ долго оставаться безъ занятія. Здоровье его, видно, поправилось; ему открылось мѣсто въ Орлѣ; онъ поѣхалъ туда съ маменькой моей, оставя меня полтора-мѣсячную въ домѣ моего дѣда Шостака и написавши къ сестрѣ своей Трощинской [1], чтобъ пріѣхала за мной. Она имѣла только одного сына, служившаго въ С.-Петербургѣ, и взяла меня съ кормилицей, любила, какъ дочь свою, и сынъ ея иначе не считалъ меня, какъ родной сестрой. Онъ, пріѣзжая домой при разныхъ командировкахъ, видалъ меня въ разныхъ возрастахъ, предлагалъ своей матери поручить меня ему (такъ какъ онъ былъ отличной нравственности, многія матери поручали ему своихъ дочерей вывозить на балы), чтобъ доставить мнѣ блестящее воспитаніе; но она не согласилась, сказавъ: „У насъ въ Малороссіи не нужно такое воспитаніе; пусть она будетъ хорошей хозяйкой,

[1] Тетка М. И. Гоголь, Ан. Матв. Косяровская, была замужемъ за А. П. Трощинскимъ, братомъ извѣстнаго государственнаго дѣятеля Екатерининской и Александровской эпохи.

и ей будетъ хорошая партія. У моихъ пріятелей есть сынъ, хорошій молодой человѣкъ, неимовѣрно привязанъ къ ней; когда бываетъ у меня, то всегда занимается съ такимъ необыкновеннымъ терпѣніемъ съ нею и ея игрушками, приводя все въ порядокъ, а она воображаетъ, что и его занимаютъ куклы, и обо всемъ совѣтуется въ своихъ кукольныхъ дѣлахъ".

Родители мои по мѣрѣ возможности навѣщали меня. Когда мнѣ минуло пять лѣтъ, то они мнѣ прислали букварь, толстую книгу, которой я нигдѣ послѣ не встрѣчала[1]. Она была гражданской печати, вмѣщала въ себѣ, кромѣ отличныхъ молитвъ, наставленіе обо всемъ приличномъ тому возрасту, какъ за столомъ сидѣть и прочее, и для взрослыхъ дѣтей дающая обо всемъ нѣкоторое понятіе, первую часть ариѳметики, нѣсколько изъ географіи, нравоучительныя сказочки. Мнѣ долго жаль ея было, что она не сбережена. Выуча ту книгу или что только доступно было тому возрасту, я не знала славянской или церковной печати, и для того учили меня псалтыри. Въ восемь лѣтъ я читала такъ мои сказочки въ присланной мнѣ моими родителями книгѣ, что моя рѣдкая тетка не скучала слушать меня; но писать (учить) не начинала, боясь испортить мою руку стариннымъ своимъ почеркомъ (которому она училась самоучкой, проживая у своего дѣдушки и бабушки Щербаковыхъ, очень богатыхъ помѣщиковъ, но они не имѣли никакого способу доставлять воспитаніе, они имѣли одного сына и того по случаю отправили за границу учиться).

Въ это время оставилъ службу мой отецъ, чтобы нѣсколько укрѣпить свое зрѣніе. Родители мои пріѣхали къ моей теткѣ и объявили ей, что меня возьмутъ домой. Помню и теперь это тяжелое для меня время. Услыша этотъ приговоръ мой, оставя занятіе мое, выбѣжавъ въ садъ, я упала въ кусты и дала волю слезамъ, которыя давили меня; я ихъ боялась показать родителямъ моимъ, мало знакомымъ мнѣ, хоть и понимала ихъ ласки (мой папенька, держа меня на колѣняхъ, училъ пѣть пѣсню, приличную моему возрасту, и я вторила ему); но привязанность моя къ теткѣ была неограниченная, несмотря на то, что она меня не баловала: ни одной вины не прощала мнѣ; если я требовала мнѣ подать отъ старыхъ слугъ, то мнѣ всегда было говорено, чтобъ я просила; когда же не хотѣла ихъ слушать и имъ что̀ не нравилось во мнѣ,

[1] Вѣроятно, „Письмовникъ" Курганова.

то меня заставляли непремѣнно просить у нихъ прощенія.

Въ одно время, когда пріѣхалъ Д. П. Трощинскій для ревизовки почтамтовъ, сколько я припомню, и обыкновенно всегда бывалъ у моей тетки, и съ нимъ пріѣзжали какіе то два старика въ орденахъ, то они обратили на меня вниманіе. Такъ какъ я вертѣлась около моей тетки, то она, говоря обо мнѣ, прибавила, что я часто ей танцую казачка подъ свою музыку. Они, лаская меня, спросили, на какомъ инструментѣ я играю, а удивлялись, какъ можно самой играть и танцовать, и я серьезно отвѣчала: на языкѣ. Всѣ разразились смѣхомъ; потомъ я слышала, что, пріѣхавши въ С.-Петербургъ, они разсказывали, что видѣли въ Малороссіи дѣвицу, которая играла на своемъ природномъ инструментѣ — языкѣ и танцовала. Мнѣ тогда было семь лѣтъ.

И такъ меня взяли въ хуторъ мои родители, гдѣ я была въ компаніи съ меньшимъ моимъ братомъ и сестрой, но жестоко грустила по моей тетушкѣ, ни на одинъ день не забывала ее, перестала уже такъ рѣзвиться; все мнѣ казалось чуждо, и мало знакомые родители мои хотѣли начинать учить меня писать. Они обое хорошо писали, но желали, чтобъ я лучше ихъ писала, купили для меня отличную пропись. Въ то время пріѣхала къ намъ другая моя тетка, родная сестра той, у которой я жила и которую я часто тамъ видѣла; она жила въ своемъ имѣніи, недалеко отъ Кременчуга; сказала родителямъ моимъ, что недалеко отъ нея у богатыхъ помѣщиковъ есть учительница, учитъ ихъ дѣтей, и что она сказала, что у нея есть племянница, которую пора начинать учить. Онѣ сказали привезти меня учиться вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми, и она съ ней договорилась о цѣнѣ; и родители мои отпустили меня съ моей теткой, и она меня отвезла туда учиться. Учительница моя была старая дѣвица, очень религіозная, училась въ монастырѣ, начала меня учить писать (читала я лучше моей учительницы), разведя мѣлу вмѣсто чернилъ на доскѣ. Учительница написала мнѣ азбуку такими странными іероглифами, какъ теперь припоминаю, что мнѣ не удавалось видѣть до того времени такой рукописи, велѣла копировать тѣ слова, и я съ большимъ прилежаніемъ начала писать мои каракульки, которыми она всегда была довольна. Я пробыла тамъ годъ, и когда написала письмо къ моимъ родителямъ, то они испугались моей рукописи и просили мою тетку привезти меня обратно къ нимъ, жалѣя, что не начали сами учить меня.

Можете себѣ представить, какая трудность была учить дѣтей, когда богатые помѣщики не имѣли способовъ лучше учить своихъ дѣтей. Родители мои, сколько ни старались исправлять мою руку, дали мнѣ пропись; но я все сбивалась на прежнія мои литеры, которыя я съ такимъ усердіемъ старалась копировать.

Пріѣхавшая тетка моя Трощинская выпросила меня опять у моихъ родителей, обѣщая прилежно наблюдать за тѣмъ, что я уже знала. Когда меня отпустили къ ней, то я была въ восторгѣ и оставалась у нея до 12 лѣтъ. Прежде велѣла она мнѣ повторить выученную мою книгу при себѣ по утрамъ, которую я начала понимать, а прежде читала ее, какъ попугай; послѣ обѣда писала, держа въ рукахъ перо, какъ мнѣ было ловче, и какъ я привыкла. Тетушка моя была довольна моимъ писаніемъ. Когда я начала подростать, то мнѣ дали читать „Дѣтское Училище", которое мнѣ чрезвычайно понравилось. Я читала вслухъ, и какія лица мнѣ нравились, то я молилась Богу уподобиться имъ, именно Благоразумова плѣняла меня. Потомъ дали мнѣ читать „Дѣтское Чтеніе" въ 20 томахъ [1], кажется.

Отецъ мой отдохнулъ немного дома и видѣлъ невозможность воспитывать дѣтей; брату приближалось время усилить воспитаніе. Доходы ихъ изъ хутора насилу позволяли имѣть чай, сахаръ и кофе, который родители мои любили, и при всемъ томъ удѣляли нѣкоторую часть и для тѣхъ, которые также любили его, но не имѣли возможности имѣть его. Отецъ мой подалъ желаніе опять служить, и ему вышла должность въ Харьковѣ почтмейстеромъ. Уѣзжая туда, взялъ и меня, и я опять оставила мою любимую тетку, которая охотно отпустила меня, воображая, что я тамъ пріобрѣту много для себя полезнаго. При отъѣздѣ нашемъ я видѣлась съ пріятелемъ моимъ по кукламъ; онъ, казалось, не хотѣлъ разлучаться съ нами. Въ Харьковѣ начали приходить къ намъ учители французскаго и нѣмецкаго языка, меня учили болѣе для соревнованія моему брату. Танцовальный учитель надоѣдалъ мнѣ своимъ минуэтомъ. Профессоръ музыки (какъ онъ называлъ себя), Витховскій, кажется, получившій за свое искусство отъ Государя брилліантовый перстень, брался учить меня фортепьяно безъ возмездія; и только я видѣла, какъ несли наверхъ тотъ инструментъ, какъ папенька пришелъ съ печальнымъ видомъ и сказалъ маменькѣ, что

[1] Издававшееся Новиковымъ, при ближайшемъ сотрудничествѣ Карамзина и Петрова.

онъ чувствуетъ боль въ глазѣ и тусклѣе зрѣніе. Позвали доктора, и онъ объявилъ, что если онъ станетъ такъ прилежно заниматься, то у него скоро покроется глазъ катарактой. Изложивъ причины, мой бѣдный папенька подалъ въ отставку, и мы пріѣхали въ нашъ хуторокъ. И такъ, какъ говорятъ, за Богомъ молитва, а за царемъ служба никогда не пропадетъ, то отцу моему дана была пенсія по 600 рублей. Онъ могъ довольно долго столько видѣть, чтобъ не чуждой рукой подписывать свое имя, а незадолго до кончины его онъ видѣлъ только тропинку, гдѣ ходилъ. Возвратясь въ свое имѣньице, онъ началъ приводить все въ порядокъ. Въ это время навѣстилъ его нашъ сосѣдъ [1]. Онъ доволенъ былъ его видѣть и, не прерывая своего дѣла, сказалъ: „Вотъ эти только мебели (указывая на насъ троихъ) нѣсколько озабачиваютъ меня, покуда я ихъ устрою“. Онъ, какъ мнѣ послѣ говорилъ, подумалъ: „отъ одной я васъ избавлю, если Богу будетъ угодно, и вы мнѣ отдадите“. Мнѣ тогда было 13 лѣтъ, и чрезъ годъ меня ему отдали. Я любила его такъ, что не могла различить, кого болѣе, тетку мою или его. (Но по выходѣ за него мнѣ казалось, никто бы мнѣ не замѣнилъ его).

По отъѣздѣ его я только и мыслила, какъ бы мнѣ попасть скорѣй ко второй матери моей, тетушкѣ, и когда желаніе мое исполнилось, тутъ то начала я ей разсказывать, что видѣла въ Харьковѣ восковыя куклы цѣлыми компаніями въ ростъ человѣка, только не говорили, комедіи въ театрахъ, какіе пріемы мнѣ случалось видѣть, разсказывала въ лицахъ всѣ роли. Тетушка скрывала отъ меня свой смѣхъ, но я видѣла, какъ она дрожала отъ него. По окончаніи всего на другой день заставила меня повторить уроки начатыхъ мной наукъ. Дорогая тетка моя была умна, какъ Жанлисъ, а сердце имѣла лучше ея, но не понимала ничего изъ моихъ уроковъ, такъ же какъ и я, хотя и болтала бѣгло понѣмецки и начала только кое-какъ переводить съ французскаго. Она боялась, чтобъ я не забыла, не зная, что мнѣ нечего было забывать. Тогда начинался другой періодъ моей жизни; по вечерамъ я читала книги изъ избранной библіотеки моего кузена; поутру у насъ было чтеніе, послѣ обѣда занимались рукодѣліемъ, котораго я знала много сортовъ, пользуясь случаемъ гдѣ увидѣть.

Другъ дома нашего, Гоголь, часто навѣщалъ насъ,

[1] В. А. Гоголь.

въ томъ же мѣстечкѣ у родственниковъ тетки моей, и мы съ ней пріѣзжали туда. Онъ иногда меня спрашивалъ, могу ли я его терпѣть и не скучно ли съ нимъ. Я отвѣчала, что мнѣ всегда пріятно было съ нимъ быть въ компаніи. Припоминаю, какъ во снѣ, какъ онъ всегда былъ ко мнѣ снисходителенъ, когда я была маленькой. Въ одно время я просила мою тетку позволить мнѣ пойти пѣшкомъ ко Пслу[1], и она позволила, отправила со мной цѣлый отрядъ дѣвокъ и женщинъ, въ томъ числѣ и мою няню (сама она не могла много ходить); и когда я была возлѣ рѣки, то услышала пріятную мелодію духовой музыки; легко было догадаться, что она была Гоголя, потому что кромѣ его ни у кого не было; но какъ это случилось, что въ тотъ день и онъ очутился тамъ? Музыка играла по другую сторону рѣки, за деревьями ея не было видно, но мелодія ея была очаровательна. Я ее слушала довольно долго, покуда моя команда не напомнила мнѣ, что пора возвращаться, полагая, что я устала, пройдя двѣ версты; и когда я пошла, то музыка, переѣхавъ на берегъ, въ разныхъ направленіяхъ сопутствовала мнѣ, скрываясь въ садахъ, наполнившихъ мѣстечко. Когда я разсказывала моей тетушкѣ, то она, улыбаясь, сказала: „какъ хорошо тебѣ случилось пойти гулять въ то время, когда и нашъ другъ воспользовался такой хорошей погодой, любя природу“ (тамъ она была въ самомъ лучшемъ видѣ). Потомъ она сказала мнѣ: „Но ты уже не ходи больше такъ далеко отъ дому; я безпокоилась о тебѣ, чтобъ ты не вздумала купаться въ неизвѣстныхъ мѣстахъ, и могла бы утонуть“. И я обѣщала ей не отлучаться отъ нея и исполнила это.

Когда мнѣ былъ въ окончаніи 14 годъ, то онъ просилъ тетушку позволенія объявить мнѣ, что онъ желаетъ просить у нея и моихъ родителей моей руки. Она отвѣчала ему, что она рада этому предложенію, любя его, но что я слишкомъ молода. Онъ обѣщалъ оставить меня у нея годъ послѣ нашего вѣнца, посовѣтуясь съ моими родителями, рѣшили, когда исполнится мнѣ 14 годъ, вѣнчать. Одинъ разъ онъ, пришедши къ намъ, не нашелъ меня въ комнатѣ, пошелъ въ садъ. Я была подъ деревомъ близъ дома; увидя его, у меня сдѣлалась дрожь, какъ въ лихорадкѣ; пошла въ домъ, прося его туда; онъ у насъ пробылъ весь день. Когда тетушка ушла (ее вызывали), то онъ, подойдя ко мнѣ, спросилъ, люблю ли я его. Мнѣ такъ странно показа-

[1] Рѣка, притокъ Днѣпра.

лось, не знаю и сама, отчего, отвѣчала: „люблю васъ, какъ всѣхъ людей“. Удивляюсь я теперь себѣ, какъ я могла скрыть мои чувства по 14 только году, любя его такъ сильно; и когда я ушла, то онъ началъ говорить моей теткѣ, что я его не люблю, и былъ очень грустенъ. Она увѣряла его, что я „дитя доброе и могу быть вѣрной ему женой. Она теперь не помышляетъ еще о замужествѣ, но я увѣрена, что она васъ любитъ, потому что всегда скучаетъ, когда васъ не видитъ; а что она вамъ такъ отвѣчала, то это потому, что она боится мужчинъ, наслышалась отъ меня, какіе они бываютъ лукавые, но когда я ей скажу, что вы прежде сказали мнѣ, что ее любите, и тогда она не будетъ васъ бояться. Я ей всегда говорила, когда начала приближаться къ возрасту дѣвицы, чтобъ она разбирала: если молодой человѣкъ захочетъ искать ее себѣ въ жены, то долженъ прежде объ этомъ сказать родителямъ, или кому нужно о томъ знать, но если онъ обманываетъ, то скажетъ, чтобъ никому не говорила о томъ, то это значитъ уже опасный человѣкъ“. По выходѣ его, тетушка позвала меня и удивилась, что я близко была и сказала: „ты вѣрно выслушала мой разговоръ?“ Я сказала: „да!“ „Ну, что жъ ты скажешь за него? — „Какъ можно“, я сказала: „мнѣ выходить замужъ? Подруги мои будутъ насмѣхаться надо мной“. Она отвѣчала, что и подруги мои тоже выйдутъ замужъ; написала къ родителямъ моимъ, и они пріѣхали, и насъ сговорили.

Маменька моя взяла меня домой, чтобъ приготовить мнѣ кое-что къ вѣнцу, такъ какъ она мастерски все умѣла дѣлать, и я не такъ уже грустила въ хуторѣ ихъ, тѣмъ болѣе, что женихъ мой часто пріѣзжалъ къ намъ, а когда не могъ почему пріѣхать, то писалъ, и я такая была странная, что, не распечатывая, отдавала папенькѣ читать; онъ прочтя, отдавая мнѣ, улыбаясь сказалъ маменькѣ: „начитался романовъ“. Письмо его наполнено было самыми нѣжными фразами, при концѣ письма и перо упадало изъ рукъ его. Папенька сказалъ мнѣ сѣсть къ столу, взять лоскутокъ бумаги и началъ диктовать мнѣ отвѣтъ, и мнѣ нравился его слогъ. Хороша я была невѣста, воображаю себѣ! Письма его я всегда носила при себѣ, а когда проживала у тетки, то всегда отдавала прежде ей читать и потомъ уже читала сама.

Насъ перевѣнчали въ Яркахъ въ домѣ тетки моей, гдѣ мы провели тотъ день. Играла музыка моего мужа. Вечеромъ онъ сдѣлалъ намъ сюрпризъ — протанцовалъ

шумну [1] и уѣхалъ домой, а я осталась у моей тетки, которая мнѣ дѣлала много наставленій, какъ я должна себя вести, когда буду въ домѣ своего мужа. Но когда рѣка Голтва начала разливаться и мѣшать родителямъ моимъ и мужу пріѣзжать къ намъ, то мужъ мой началъ просить родителей моихъ и тетушку переѣхать къ нимъ, и они взяли меня. Тамъ часто я видѣлась на нѣсколько часовъ съ моимъ мужемъ; онъ всегда грустилъ, разставаясь со мной, и началъ упрашивать родителей моихъ — отдать меня ему, что̀ ему очень грустно оставлять меня. Итакъ вмѣсто году я оставалась подъ кровомъ родителей моихъ только одинъ мѣсяцъ; они благословили насъ образами и отпустили меня съ мужемъ моимъ. Онъ привезъ меня въ Васильевку менѣе, нежели въ часъ, гдѣ встрѣтили насъ его родители, любившіе меня, какъ родную дочь, которой у нихъ не было. Свекровь одѣвала меня по своему вкусу, надѣвая на меня старинныя свои вещи. Мужъ мой никогда не вспоминалъ, чтобъ я продолжала начатыя мною науки. Онъ не говорилъ ни на какомъ языкѣ, кромѣ латинскаго, и не желалъ, чтобъ я знала ихъ, и съ тѣхъ поръ я никогда не принималась за иностранныя книги, а русскія книги мы всегда съ нимъ читали, когда имѣли свободные часы отъ хозяйственныхъ дѣлъ и оставались одни, что бывало очень рѣдко. Помню, какъ онъ гдѣ то досталъ очень старинную книгу „Кадмъ и Гармонія“ [2], и мы съ нимъ вмѣстѣ читали. Онъ по своей доброй душѣ доволенъ былъ всѣмъ тѣмъ, что я знала, и любовь его была ко мнѣ неограниченная. Онъ былъ старѣе меня на 13 лѣтъ. Въ деревнѣ нашей тогда было 130 душъ. Я не выѣзжала ни на какія собранія и балы, находя все счастье въ своемъ семействѣ; мы не могли разлучиться другъ отъ друга ни на одинъ день, и когда онъ ѣздилъ по хозяйству въ поле въ маленькихъ дрожкахъ, то всегда бралъ меня съ собой. Если же случалось, что мнѣ надобно было остаться дома, то я боялась за него; мнѣ казалось, что я не увижу его; предчувствіе было душѣ моей, что большую половину жизни буду проводить безъ него.

Мужъ мой любилъ стрѣлять. Ружье было привѣшено къ дрожкамъ заряженное, чтобъ, проѣзжая рѣку, если увидитъ птицу, убить. Я не знала опасности ѣхать съ заряженнымъ ружьемъ, но всегда боялась того орудія. Съ нами былъ верховой; въ дрожкахъ запряжена

---

[1] Малорусскій свадебный танецъ.
[2] Хераскова.

была лошадка, которою управлялъ самъ мой мужъ. Когда мы доѣхали къ рѣкѣ, онъ, увидя птицу, схватилъ ружье и только могъ выговорить человѣку, чтобъ онъ сталъ съ своей лошадью подлѣ моей самой смирной и доброѣзжей лошади, мнѣ не пришло на мысль встать съ дрожекъ; когда выстрѣлъ раздался вблизи насъ, лошадь подъ человѣкомъ стала на дыбы, моя лошадь вырвалась у него изъ рукъ и помчала меня по рвамъ, наполненнымъ водой (это было весной). Что тогда чувствовалъ мой другъ? Отчаяніе овладѣло имъ; онъ ту жъ минуту бросилъ ружье, обѣщая всю жизнь не дотрагиваться къ нему, когда я уцѣлѣю, что и исполнилъ. Верховой скакалъ, чтобъ перенять мою лошадь, но она неслась вихремъ. Мужъ мой сначала бѣжалъ въ безпамятствѣ, потомъ изнеможенный шелъ все впередъ, не выпуская изъ виду меня. Я въ это время ничего не помнила, только крѣпко держалась обѣими руками за спину дрожекъ; онѣ были вродѣ маленькой линейки съ одной только спинкой безъ перегородки. Послѣ начала чувствовать, что меня какъ будто сильная рука тащила изъ дрожекъ, и чѣмъ дальше, больше, и наконецъ, выбросила меня изъ дрожекъ на лугъ, а лошадь все мчалась. На мнѣ былъ надѣтъ большой персидскій платокъ на голову, обвязанъ вокругъ моего корпуса одинъ конецъ и связанъ; другой его конецъ отъ дуновенія вѣтра попалъ въ колесо; къ счастію моему, что платокъ развязался, когда начало его тащить въ колесо, и онъ въ немъ оставался весь. Я начала, спрыгнувъ, отыскивать разбросанныя мои вещи, при паденіи моемъ нашла гребень изъ косы моей, начала приводить въ порядокъ мои волосы и, увидя вдали идущаго мужа, побѣжала къ нему, увѣряя его, что совсѣмъ здорова, никакой перемѣны не чувствовала, удивлялась своему неблагоразумію, что не встала съ дрожекъ. Какъ мы остановились, мнѣ было жаль его, что онъ такъ былъ встревоженъ. Когда случалось ему выѣзжать по какимъ дѣламъ изъ дому, то я страдала, чтобъ чего не приключилось. Одинъ разъ онъ никакъ не могъ въ срокъ явиться и самъ отъ того страдалъ, все помня, что будетъ со мной, и я заболѣла въ горячку.

Мы почти не разлучались до пріѣзда изъ С.-Петербурга Д. П. [1]. Онъ не хотѣлъ насъ отпускать домой, очень любилъ моего мужа. Тамъ я увидѣла все, чего не искала на свѣтѣ, и балы и театры, и отличное общество, пріѣзжавшее къ нему изъ обѣихъ столицъ, но

[1] Трощинскаго.

всегда была рада, когда могла ѣхать въ Васильевку, гдѣ я иногда проживала одна для моей свекрови: она скучала одна, а мужъ мой долженъ былъ оставаться у Тр. [1], служащаго тогда по выборамъ предводителемъ въ военное время [2], и дворянская сумма была на рукахъ моего мужа. Когда онъ сдавалъ ее, то дворяне безъ счету у него приняли; не могъ ихъ принудить счесть.

Въ деревнѣ нашей не было церкви. Свекоръ нашъ хотѣлъ было купить старую и перевезти въ Васильевку, но скоро послѣ того запретили строить деревянныя, и намѣреніе то гораздо прежде моего замужества оставлено. Но Богу угодно было устроить у насъ церковь. Когда я начала входить въ хозяйство, разспрашивала старушекъ, мотавшихъ у меня мотки, какъ онѣ живутъ и счастливы ли въ своихъ семействахъ, и узнала, что одно только ихъ сильно безпокоитъ — переѣздъ рѣку Голтву, когда она разливается на очень большое пространство весной и осенью, и когда имъ случалось переѣзжать или брести съ больными къ священнику, чтобы напутствовать ихъ, то болѣзнь увеличивается, и часто они умирали. Мнѣ возродилась мысль выстроить церковь. Отецъ моего мужа тогда уже умеръ, и некому было помышлять о ней, и я приступила съ просьбой къ моему мужу. Онъ удивился и сказалъ: „помилуй, какъ мы будемъ строить церковь, когда у меня и 500 рублей никогда не остается отъ расходовъ нашихъ?“ Я сказала: „начни только, и Богъ поможетъ“. Въ то время пріѣхала къ намъ маменька моя. Онъ разсказалъ ей нашъ разговоръ; она со слезами тоже сказала: „начните, и Богъ поможетъ“. Видно, на то было Божіе изволеніе, потому что все начало устраиваться какъ будто само собою: на другой день пріѣхалъ архитекторъ итальянецъ, жившій у Д. П., онъ съ удовольствіемъ сдѣлалъ планъ самой маленькой церкви, только для нашихъ крестьянъ, и тутъ же явился каменщикъ спрашивать, нѣтъ ли работы. Спросили его, строитъ ли онъ церкви. Онъ отвѣчалъ, что вездѣ въ знакомыхъ намъ мѣстахъ его постройки церкви. Показали ему планъ и спросили, что онъ возьметъ, чтобъ его рабочіе и кирпичи дѣлали; онъ сказалъ — 5000 рублей (тогда считалось на ассигнаціи). Торговаться уже было совѣстно, услыша такую малую цѣну, и приступили къ дѣлу. Наша была выпалка кирпича и возка

[1] Трощинскаго.
[2] Ополченіе 1807 г

песку; сосѣди наши не вѣрили, что кирпичъ для церкви дѣлаютъ, вообразили себѣ, что хотятъ строить винокурню; но когда заложили церковь, то начали помогать, казаки возить песокъ и, кто чѣмъ могъ, помогалъ; мастеру еще прибавили одну тысячу рублей, видя, какъ онъ слишкомъ мало потребовалъ, какъ бралъ у насъ деньги, смотря по надобности, даже и по 25 рублей. И такъ съ помощью Божіей церковь окончена въ теченіе трехъ лѣтъ. У свекрови моей было старинное серебро, мы его промѣняли на церковное. При освященіи ея было чувствительно вспомнить, что недавно на томъ мѣстѣ гоняли скотъ на пастьбу, а теперь возсылаются молитвы у престола Божія, и на храмъ заведены очень удачно ярмарки, и еще кромѣ храмовой три въ разныя времена года, весной, лѣтомъ, осенью и зимой, всего четыре ярмарки въ годъ.

У родителей моего мужа еще была деревня на берегу Днѣпра, Калиберда, по другую сторону рѣки городъ Каневъ; она продана была ими, когда мужъ мой былъ въ малолѣтствѣ, по неудобству, какъ они говорили, такъ далеко ѣздить, и деньги прожили на расходы, не получая изъ этой деревни доходовъ, она такъ далеко отъ города, сбыту ни на что не было.

Жизнь моя была самая спокойная; характера я была самаго веселаго, такъ же, какъ и мой другъ; мы окружены были добрыми и веселыми сосѣдями, и такіе же люди изъ далеко живущихъ пріѣзжали къ намъ. Но, несмотря на мое счастье, находили на меня мрачныя мысли; душа моя видѣла чрезъ оболочку тѣла слѣдовавшія одно за другимъ несчастія, постигавшія меня. (Во снѣ видѣть церковь, говорятъ, означаетъ печаль, а мужъ видѣлъ меня во снѣ въ Ахтырской церкви два раза еще до знакомства съ моимъ родителемъ и родными). Сначала счастіе мое было отравлено болѣзнью моего мужа. До женитьбы еще онъ имѣлъ два года лихорадку, отъ которой насилу освободилъ его извѣстный тогда бывшій у насъ медикъ Трофимовскій. Мужъ мой всегда боялся послѣдствій такой продолжительной болѣзни, хотя сдѣлался совсѣмъ здоровъ, растолстѣлъ, что продолжалось 15 лѣтъ. Но, къ несчастью, онъ былъ мнительный; надобно было скрывать отъ него, когда случалось мнѣ болѣть или дѣтямъ.

Мы имѣли 12 дѣтей. До его смерти мы лишились 6-хъ. Каково было перенесть! Изъ опасенія потерять мужа, я подавляла въ себѣ горе до послѣдней минуты кончины дѣтей. Выходя къ нему, я должна была казаться спокойною, и послѣ готовый экипажъ отвозилъ

насъ въ Ярески къ моей теткѣ, которая такъ умѣла въ такомъ случаѣ найтись, страдая и сама о нашей потерѣ.

Мы потеряли пять сыновъ, шестый долженъ былъ замѣнить намъ всѣхъ. Но и его потребовалъ отъ меня Богъ. Да будетъ Его святая воля надъ нами! Мужъ мой былъ счастливѣе меня: онъ не дождался такого удара, сразившаго бѣдную его жену. Смерть дочери нашей Анны, старѣе нѣсколько лѣтъ теперешней моей Анны, много лишила его здоровья: онъ очень любилъ ее, воображая, что она мой портретъ. Она умерла 3-хъ лѣтъ; въ послѣдній день ея болѣзни онъ не приходилъ въ домъ, ходилъ въ полѣ до изнеможенія, я его нигдѣ не могла найти, и послѣ прилегъ или почти упалъ на землю, и уснулъ. Тогда было сыро послѣ дождя, онъ легко былъ одѣтъ, простудилъ себѣ бокъ и началъ болѣть. Другую, не скоро послѣ той родившуюся, мы назвали тѣмъ же именемъ. Потомъ мы лишились всѣхъ среднихъ дѣтей, осталось только двое старшихъ: дорогой нашъ Николай, и тогда уже отличавшійся отъ обыкновенныхъ дѣтей, и старшая дочь наша Марія, мать теперешняго внука моего Николая [1]. Потомъ Богъ намъ послалъ четырехъ дочерей послѣднихъ, изъ которыхъ осталось мнѣ три.

Мужъ мой началъ болѣть. Четыре года продолжалась его болѣзнь, и когда почувствовалъ, что силы его совсѣмъ изнемогли, то началъ собираться ѣхать къ доктору въ Кибинцы [2], домовому Д. П., и не могъ себѣ вообразить, какъ оставить меня на сносяхъ послѣдней моей дочерью Ольгой; ѣхать мнѣ съ нимъ нельзя было, я еще имѣла сильный кашель, и время наступало имѣть обо мнѣ попеченіе. Я его увѣряла, что буду совершенно здорова, когда и онъ возвратится также здоровъ, и старалась казаться веселой. Двѣ недѣли стоялъ экипажъ у крыльца, и все не хотѣлось ему уѣзжать, но болѣзнь усилилась, и онъ долженъ былъ уѣхать. Прощаясь со мной, сказалъ: „какъ я буду безъ тебя, вѣрно, умру“ и, какъ будто испугавшись, прибавилъ: „если долго останусь тамъ, но постараюсь скоро возвратиться, а до того буду часто тебѣ писать, а къ тебѣ буду просить изъ родныхъ кого пріѣхать“. И экипажъ съ нимъ послѣдній разъ двинулся отъ крыльца, жужжа по снѣгу. Воображала ли я, чтобъ онъ скрылся навсегда изъ моихъ глазъ? Я получала часто отъ него письма, онъ все безпокоился обо мнѣ и писалъ, что

---

[1] Трушковскаго.
[2] Имѣніе Д. П. Трощинскаго.

дѣлать въ хозяйствѣ; я не знала опасности, въ которой онъ находился, онъ часто болѣлъ послѣдніе годы и понемногу выздоравливалъ; я далека была отъ мысли о вѣчной съ нимъ разлукѣ.

Въ одно время маленькія дѣти Анна и Лиза, сидя у окна, безпрестанно звали папа; я полагала, что онъ скоро возвратится домой, зная, что дѣти предвѣщаютъ иногда. Мнѣ другая недѣля была по рожденіи моей послѣдней дочери; только начала ходить безъ помощи другихъ по комнатѣ, ожидая мужа, чтобъ при немъ окрестить дитя. Вижу, карета остановилась у крыльца, и вмѣсто его вижу доктора жену, акушерку. Она сказала: „Василій Аѳанасьевичъ прислалъ меня за вами; онъ хочетъ, чтобы вы непремѣнно пріѣхали къ нему и взяли съ собой Анету“ (тогда ей было 3 года). Я съ испугомъ сказала: „вѣрно, очень боленъ, когда вызываетъ меня почти больную, тогда какъ я до 6-ти недѣль никуда не выѣзжала“. Она была иностранка, не поняла, какъ ей сказали приготовить меня, и сообщила: „такъ приготовьтесь, онъ очень похудѣлъ“. При этомъ разговорѣ у меня все тлѣло внутри, я тотчасъ послала просить мою тетку пріѣхать и безъ меня окрестить дитя. Она бережно посадила меня въ экипажъ, по просьбѣ моего мужа беречь меня, и мы выѣхали за дворъ, какъ увидѣли верхового, скачущаго во всю прыть; увидя его издали, я воображала возвращавшагося посланнаго отъ моей тетки, и сама не знаю, что я тогда думала, но когда онъ подалъ въ окно докторшѣ письмо, то прислонилась въ уголокъ и смотрѣла на нее; она вдругъ вспыхнула и сказала: „Воротимся, В. А. самъ пріѣдетъ“. Я чувствую и теперь, что хотѣла кричать и желала, чтобъ скорѣе взяли отъ меня дитя, чтобъ его не потревожить. Пришедши въ комнату, я не смѣла ни о чемъ спрашивать, чувствуя свое несчастье, какъ она хотѣла было прочесть письмо и только выговорила: „приготовьте несчастную М. И.“, какъ я закричала отчаяннымъ голосомъ, закрывши уши руками: „Не читайте, я не могу слышать этого слова, чтобъ оно никогда не доходило до моего слуха“, и упала на полъ, умоляя Творца дать ему самое лучшее мѣсто въ царствіи Своемъ.

Близкая сосѣдка моя первая пріѣхала ко мнѣ. Увидя ее, я бросилась къ ней на шею и начала плакать, а до того ни слезки у меня не было; докторша начала ей выговаривать, зачѣмъ она меня расплакала, говоря: „Она у меня не плакала“. Вдругъ пришла мысль, что, можетъ, похоронятъ его тамъ. Я позвала священника нашего, упрашивала его сію же минуту

ѣхать въ Кибинцы, просить Д. П. отдать мнѣ моего мужа; „если же онъ, чтобъ не тревожить меня, скажетъ схоронить его, то на колѣняхъ умоляйте его отъ меня исполнить мою просьбу“. Распорядясь такъ, я не могу описать, что я чувствовала! Это былъ какой то хаосъ въ головѣ моей. Священникъ скоро возвратился, сказавъ, что встрѣтилъ на дорогѣ его тѣло. Онъ [1], какъ мнѣ послѣ говорили, ожидалъ все меня, смотря на часы, полагалъ, что я черезъ нѣсколько часовъ пріѣду, забылъ, что 60 верстъ надобно проѣхать, велѣлъ просить къ себѣ Д. П., поручилъ ему меня и дѣтей, самъ былъ неутѣшенъ, услыша отъ доктора, что надежды нѣтъ на выздоровленіе, повалился въ креслахъ, какъ тотъ разсказывалъ, лицо пожелтѣло, носъ отдѣлился какъ будто отъ лица, и слабымъ голосомъ сказалъ: „Бога ради помогайте“. Потомъ призвалъ жену моего двоюроднаго брата, А. А. Трощинскаго, заклиная ее отправить тѣло его въ деревню въ ландо (видно, воображалъ для удобства вынуть). Наконецъ, карета остановилась у крыльца церкви, и раздался колоколъ. О Боже! Что это былъ за звукъ! Я никогда не могу безъ слезъ вспомнить; а тогда я лишена была и этого облегченія: мнѣ казалось, что весь свѣтъ долженъ былъ погрузиться въ ужасное уныніе, и все хлопотала идти къ нему, но меня все останавливали подъ разными предлогами. Пріѣхавшая тетка моя говорила, что и она пойдетъ со мной, а между тѣмъ все приготовлялось къ похоронамъ, только я ничего не видала изъ этой суеты. Послѣ я узнала, что привезли гробъ изъ Кибинецъ, видно, чтобъ не заботить, но онъ не годился, дѣлали дома, и покуда все привезли изъ Полтавы, что продолжалось два дня. На 5-й день его хоронили, и онъ былъ какъ живой, только немного пожелтѣлъ. Я не ѣла и не пила ничего; когда предлагали мнѣ что-нибудь, то я отвѣчала: „Онъ теперь уже не ѣстъ, и я не хочу“. Меня до тѣхъ поръ не пускали, покуда не внесли въ церковь, а до того онъ все былъ въ экипажѣ; тогда взяли и меня въ церковь. Когда я входила на крыльцо и увидѣла множество народу и пѣли „Христосъ Воскресъ“ (тогда были праздники Воскресенія Христова), такое странное торжество показалось мнѣ, вспомня, какъ онъ любилъ этотъ праздникъ. Гробъ стоялъ высоко, меня ввели по ступенькамъ. Послѣ мнѣ разсказывали, что я была внѣ ума, говорила громко съ нимъ и отвѣчала за него: когда начали меня сводить оттуда, я все возвращалась и по-

[1] В. А., мужъ.

казывала на волосы, не зная, какъ назвать ножницы, тогда догадались и отрѣзали мнѣ волосъ немного. Я пошла къ его могилѣ, увидѣть, есть ли и для меня тамъ мѣсто, какъ я просила, и увидѣла это исполненнымъ. По возвращеніи домой, бросилась въ постель, спрятавъ голову, не говорила ни съ кѣмъ и не отвѣчала никому. Тетушка моя не оставляла меня до 6-ти недѣль; она говорила, что то самое тяжелое время для остающихся, и по прошествіи того времени сбращаются болѣе къ Богу. Она упрашивала меня выпить чашку чаю поутру, въ обѣдъ что-нибудь поѣсть, но я все отказывалась; тоска была невыразимая, я оставалась довольно долго, не подымая головы и никого не видя; дѣтей мнѣ не показывали, старшіе двое учились одинъ въ Нѣжинѣ, а другая у мадамъ Арендтъ, матери медика придворнаго. (Она была при началѣ заведенія Полтавскаго института директоршой, а потомъ имѣла свой маленькій пансіонъ въ деревнѣ, выдавъ дочь свою за помѣщика). Тетушка подошла ко мнѣ, приготовя въ рюмкѣ вина пополамъ съ водой, положа маленькій кусочекъ бѣлаго хлѣба и сказала: „Ты, видно, не хочешь видѣться съ В. Аѳанасьевичемъ въ лучшемъ мірѣ? Онъ въ самомъ лучшемъ мѣстѣ обитаетъ съ ангелами, а ты никогда не будешь тамъ; онъ берегъ свое здоровье, лѣчился, хотѣлъ жить, зная, что онъ бы былъ полезенъ для дѣтей, а ты хочешь быть самоубійцей, уморить себя голодомъ". Я подняла голову; она мнѣ положила чайной ложкой въ ротъ тотъ кусочекъ и болѣе не могла принудить, что продолжалось ежедневно, по одной чайной ложечкѣ въ день. Потомъ сказала мнѣ, что дѣти скучаютъ, хотятъ меня видѣть; посадили меня, обложили подушками и ввели дѣтей ко мнѣ троихъ, одѣтыхъ въ черномъ съ плерезами, а четвертое было въ колыбели. Посмотря на нихъ, я погрузилась въ размышленіе, что будетъ съ этими сиротами, когда и я еще умру, да еще и дѣвочками, которымъ нужнѣе мать; велѣла подать себѣ супу, приняла одну ложку, какъ лѣкарство; трудно мнѣ было глотать, у меня, казалось, засохли горло и желудокъ, и каждый день предлагали понемногу, но когда предлагали мнѣ что-нибудь изъ кушанья, то мнѣ дѣлалось дурно: желудокъ не принималъ. Когда оставалась одна, то разсуждала такъ (видно, была повреждена въ разсудкѣ): „Богъ такъ милосердъ, что еслибы узналъ, какъ я приму это несчастье, то не наказывалъ бы меня такъ ужасно; пусть же теперь посмотритъ!" Мнѣ казалось, что Богъ раскаивается уже, такъ жестоко наказавши меня. Будучи

уже 33 лѣтъ, я такъ бредила; но Богъ помиловалъ меня: больше не возвращалось такое заблужденіе, и я просила Творца моего простить меня за такую непокорность Его волѣ. Когда я вышла въ первый разъ въ садъ, когда заставили меня жить, то съ такимъ страннымъ чувствомъ смотрѣла на все, на томъ мѣстѣ стоявшее; мнѣ казалось, что все должно было опрокинуться и погибнуть; мнѣ казалось, что ничто уже въ жизни не можетъ меня поразить такъ сильно.

Послѣ смерти мужа я потеряла двухъ дочерей; упрашивала только Бога оставить мнѣ единственнаго сына, котораго я любила болѣе своей жизни, и остальныхъ дочерей. Старшія мои дѣти помѣщены были хорошо; я имъ не могла писать о нашемъ несчастіи и просила письменно директора въ Нѣжинѣ приготовить къ такому удару моего сына и въ пансіонъ мадамъ Арендтъ приготовить мою дочь, которая послѣ заболѣла въ первическую горячку, а сынъ въ такомъ былъ горѣ, что хотѣлъ броситься въ окно съ третьяго этажа. Онъ писалъ потомъ ко мнѣ. Меньшія дѣти мои были малы для ученья, и я занялась всѣмъ по мужской части въ полѣ, потомъ и письменными дѣлами, считая священною обязанностью сберегать все для дѣтей и улучшать, сколько позволяли способы. При мужѣ я не занималась такими хлопотами, только по дому и дѣтьми, но теперь все обрушилось на мою голову. Можетъ, такія насильныя занятія и спасли меня, что время начало уносить мое горе; имѣя отраду тогда въ моемъ сынѣ и необыкновенное здоровье мое, перенеся такъ много, начала переходить въ первобытное состояніе. Мнѣ было 59 лѣтъ до полученія извѣстія о потерѣ моего сокровища на землѣ [1]; и такъ была крѣпка, какъ 20-лѣтнія бываютъ. Только такъ умѣла сберечь меня рѣдкая тетка, но послѣ послѣдняго моего несчастія, когда эти три свинцовые для меня годы опустились на мои рамены, то тяжело стало носить мои 62 года. .

Скажу о воспитаніи моего мужа. Онъ учился въ Полтавѣ. Родители его не хотѣли далеко отъ себя учить, не имѣя никогда болѣе его дѣтей. Тамъ была тогда семинарія, и не знаю, какія другія училища. Онъ зналъ очень хорошо граматику, ариѳметику всѣ части, географію, латинскій языкъ, поэзію, зналъ хорошо миѳологію, при натуральномъ основательномъ умѣ зналъ архитектуру, рисовалъ въ свободное время фасадъ дома, разсказывая, какой будетъ его планъ, гдѣ какая ком-

[1] Смерть Н. В. Гоголя.

ната и какъ будетъ выгодно жить. Но вышло, что ему выстроили безъ плана комнатку одну и вмѣстѣ со мной!

Когда вышелъ въ отставку двоюродный братъ, любимой моей тетки сынъ Андрей Андреевичъ Трощинскій, то мы очень пріятно проводили время въ четверомъ. Я была уже тогда замужемъ, онъ получилъ отличное воспитаніе, говорилъ по-русски петербургскимъ языкомъ, какъ у насъ называли въ Малороссіи, по-французски и на нѣмецкомъ языкѣ; отличной нравственности былъ, какъ красная дѣвица, какъ говорится, читалъ по-русски превосходно, и онъ то меня нѣсколько приспособилъ читать, посадя возлѣ себя и совѣтуя слѣдить за его чтеніемъ. У него была библіотека, онъ самъ назначалъ мнѣ книги, самыя нравоучительныя; безъ него и безъ мужа моего я не хотѣла брать книгъ читать. Этакъ покойный братъ началъ было нѣсколько перевоспитывать меня. Но частыя его отлучки по имѣніямъ его дяди, разнымъ его дѣламъ, мѣшали ему серьезно заняться мной. Видно, мнѣ положено судьбой остаться такъ, какъ я есть.

Опишу еще послѣднее пребываніе на земномъ шарѣ моихъ родителей, при отходѣ ихъ въ лучшій міръ, что такъ глубоко врѣзалось въ моемъ сердцѣ, чтобъ показать вамъ, до какой степени они любили дѣтей своихъ съ самоотверженіемъ. Когда отецъ мой началъ ослабѣвать, не могъ ходить, лежалъ въ постели, я сѣла у его постели. Онъ мнѣ сказалъ: „да благословитъ тебя Богъ въ семъ мірѣ и въ будущемъ“, и не могъ отъ слабости поднять руку благословить меня по обыкновенію своему. Цѣлуя его руку, я не могла поднять безъ усилія ее, такъ она отяжелѣла. Онъ послалъ за священникомъ, не сказавши мнѣ, только одной маменькѣ, позвалъ приказчика, велѣлъ мнѣ выйти пройтись по саду, но я, увидя маменьку, остановилась съ ней въ ближней комнатѣ. Онъ началъ ему говорить, разспроса, что дѣлается въ хозяйствѣ: „смотри, чтобъ ты былъ вѣренъ моимъ дѣтямъ, честенъ такъ, какъ при мнѣ былъ, за что тебя Богъ наградитъ; вспомни, что ты служишь не господамъ, а Богу, поставившему тебя на мѣсто; за сироть и вдову болѣе съ тебя взыщется“. Потомъ сдѣлался спокоенъ и молился; увидя насъ, даже казался веселымъ и сказалъ намъ: „надѣюсь, что вы не будете такъ малодушны, какъ деревенскія бабы — плакать о томъ, что ожидаетъ каждую изъ васъ; я говорю это на случай; можетъ быть, мы еще долго не разлучимся“. Потомъ онъ употребилъ власть свою, которой никогда

не обнаруживалъ: приказалъ мнѣ непремѣнно ѣхать домой къ своему семейству, увѣряя меня, что ему дѣлается легче, и онъ надѣется выздоровѣть; если же сдѣлается ему хуже, чего онъ однакожъ не надѣется, то онъ пришлетъ за мной; но только, чтобъ я сейчасъ же ѣхала, прибавя: теперь ночи темныя, и онъ не будетъ покоенъ, если я останусь подольше. Я, простясь съ нимъ, пошла одѣваться, и онъ еще прислалъ узнать, уѣхала ли я, удерживая свой стонъ, но, когда узналъ, что меня нѣтъ, началъ стонать и по пріѣздѣ священника скоро окончилъ жизнь. — Чрезъ годъ то же и маменька сдѣлала: уговорила меня непремѣнно ѣхать домой, увѣривши меня, что ей лучше, надававъ мнѣ разныхъ комиссій, какъ будто нужныхъ для нея, и благословивъ меня, какъ обыкновенно благословляютъ при отъѣздѣ, скоро скончалась. По отъѣздѣ моемъ, чрезъ нѣсколько часовъ получила я то роковое извѣстіе. Они узнали, какъ тяжело быть при смерти постороннихъ людей, не только родителей. Какое впечатлѣніе остается въ остающихся? Какая нѣжная родительская любовь! До того ли, кажется, умирающему человѣку, чтобъ помнить о другихъ, видя предсмертное свое мученіе? Но та любовь превозмогаетъ все. Они оба скончались на 71 году отъ роду.

X.

Изъ воспоминаній О. В. Головни [1].

Изъ статьи г. Чаговца мы приводимъ лишь очень небольшіе отрывки, наиболѣе характерные для личности писателя, — обрисовывающіе его отношенія къ роднымъ, къ крестьянамъ, дающіе понятіе о жизни Гоголя въ Васильевкѣ.

Г. Чаговецъ цитируетъ нѣкоторыя мѣста изъ духовнаго завѣщанія бабушки поэта Татьяны Семеновны Гоголь-Яновской, урожденной Лизогубъ, по которому она все свое „движимое и недвижимое имѣніе“ передаетъ въ „вѣчное и потомственное владѣніе“ своимъ внукамъ съ тѣмъ, что „Николай преимущественно передъ сестрами долженъ изъ всего сего имѣнія получить половину одинъ, сверхъ того новый домъ, къ нему принадлежащій, садъ и лѣсъ, называемый Яворивщина“ . .

[1] Сестры Н. В. Гоголя. Записаны г. Чаговцемъ („Памяти Гоголя, Кіевъ, 1902).

.. „Изъ приведеннаго отрывка видно, что нашему писателю досталась большая часть недвижимаго имѣнія, съ домомъ, садомъ и лѣсомъ; но здѣсь же кстати мы напомнимъ, что Николай Васильевичъ отказался отъ своей части въ пользу сестеръ, да и вообще онъ только въ самыхъ затруднительныхъ случаяхъ обращался къ роднымъ за помощью, и, по разсказамъ Ольги Васильевны, мать поэта всегда съ гордостью говорила о своемъ сынѣ, который самъ себѣ пробилъ дорогу и даже самъ часто помогалъ имъ совѣтами и деньгами“ ...

Этотъ фактъ, обрисовывающій отношенія Гоголя къ семьѣ, нельзя не подчеркнуть въ виду появлявшихся въ печати несправедливыхъ нападокъ на великаго поэта, выставлявшихъ его семейныя отношенія въ невѣрномъ и пристрастномъ освѣщеніи.

„На основаніи разсказовъ Ольги Васильевы мы можемъ себѣ представить, какъ проводилъ время нашъ поэтъ у себя на родинѣ, какъ относился къ окружающимъ и какъ окружающіе относились къ нему. Что Гоголь не любилъ общества — это всѣмъ извѣстно; но какъ послушный сынъ, онъ, говорятъ, выходилъ къ гостямъ лишь для того, чтобы не обидѣть своей матери; выйдетъ, бывало, покраснѣетъ, какъ красная дѣвица, и начинаетъ по очереди обходить всѣхъ дамъ, прикладываясь къ ручкѣ каждой, — что было въ обычаѣ того времени.

Обойдя всѣхъ сидѣвшихъ рядомъ дамъ, онъ уходилъ въ свою комнату, и затѣмъ его уже больше не видѣли. Но иногда происходило совсѣмъ иначе; однажды пріѣхала къ нимъ г-жа Б. и заявила, что прибыла съ цѣлью увидѣть поэта и поговорить съ нимъ; а поэтъ уже ложился спать, утомленный работой въ саду. Однако, услыхавъ о цѣли прибытія дамы, онъ всталъ, прифрантился и совершенно неожиданно для всѣхъ вышелъ въ гостиную. Познакомившись съ Б., Гоголь просидѣлъ съ нею за полночь, весело, оживленно болтая на разныя темы. Были, впрочемъ, и такія личности, которыя боялись его, какъ писателя-юмориста“.

... „Особенно памятны были для сестры поэта послѣдніе годы его жизни. Послѣ поѣздки въ Іерусалимъ, онъ сталъ чаще навѣдываться въ родную деревеньку и иногда почти цѣлое лѣто проводилъ тамъ въ разнообразныхъ занятіяхъ, преимущественно заботясь о лучшемъ устройствѣ жизни своихъ родныхъ. Въ это время его интересуетъ въ особенности жизнь народная съ ея горестями и радостями, хотя умъ его былъ занятъ составленіемъ второй части „Мертвыхъ Душъ“.

... Часто тотъ или иной предметъ вызывалъ въ Ольгѣ Васильевнѣ цѣлый рядъ воспоминаній о братѣ, а такихъ предметовъ было много, потому что въ Васильевкѣ протекли его дѣтскіе годы, здѣсь онъ проводилъ вакаціонное время въ ученическій періодъ, сюда онъ стремился изъ Петербурга, и даже въ послѣдніе годы своей жизни онъ облегчалъ свою измученную и истерзанную сомнѣньями душу мирными буколическими занятіями: онъ разводилъ садъ, чистилъ дорожки, подрѣзывалъ деревья и т. п. Гоголь не любилъ симметрично и правильно размѣченныхъ дорожекъ или рядами посаженныхъ деревьевъ: садъ долженъ быть лабиринтомъ, въ которомъ трудно сразу оріентироваться. Высокіе серебристые тополи, посаженные поэтомъ, образуютъ чудный паркъ, особенно разросшійся надъ прудомъ. Не вѣрится прямо, что эти могучія полезныя деревья такъ сравнительно молоды, а между тѣмъ въ этомъ нѣтъ сомнѣнья!.. на мѣстѣ нынѣшняго парка на сторонѣ Быковыхъ[1] нѣкогда было пустое мѣсто, которое стараньями поэта обращено въ садъ".

Интересно также, что, несмотря на то, что у матери Гоголя были крѣпостные люди, Гоголь не хотѣлъ пользоваться даровымъ трудомъ, а на свои средства нанималъ рабочихъ для работъ въ саду.

Изъ воспроизводимыхъ г. Чаговцемъ воспоминаній сестры писателя видно, что Н. В. близко принималъ къ сердцу жизнь крестьянъ, входилъ во многія мелочи ихъ быта и часто оказывалъ посильную матеріальную поддержку, такъ, напримѣръ, далъ одинъ разъ 150 руб. на покупку скота для бѣднѣйшихъ крестьянъ. Особенное вниманіе обращалъ онъ на духовно-нравственную сторону жизни крестьянъ, что вполнѣ понятно при усиленіи религіознаго направленія въ немъ самомъ. Онъ просилъ мѣстнаго священника произносить въ церкви проповѣди, раздавалъ крестьянамъ собственноручно раскрашенныя картины на библейскіе сюжеты, сопровождая это соотвѣтствующими объясненіями. Между прочимъ, замѣтивъ, что въ церкви крестьянамъ священникъ не даетъ просфоръ, предоставляя ихъ „панамъ", Гоголь просилъ свою сестру позаботиться объ этомъ и оставилъ ей для этой цѣли деньги, обѣщая присылать и впредь.

Когда Николай Васильевичъ пріѣзжалъ въ свою деревню, то жизнь велъ тамъ очень уединенную.

---

[1] Васильевка досталась двумъ сестрамъ Гоголя Елизаветѣ В. и Ольгѣ В., въ замужествѣ Быковой и Головня. Оба семейства живутъ тамъ, при чемъ громадный прудъ раздѣляетъ имѣнье на двѣ половины, и на противоположныхъ берегахъ расположены двѣ усадьбы.

„Чтобы не стѣснять родныхъ и самому имѣть возможность предаться своимъ любимымъ занятіямъ, поэтъ поселился въ небольшомъ флигелѣ, стоявшемъ почти рядомъ съ домомъ, въ саду. Это былъ домикъ въ три окна, съ небольшой верандой, поддерживаемой 4-мя деревянными колоннами.

Въ одной комнатѣ стояла кровать и конторка, передъ которой онъ занимался (Гоголь писалъ всегда стоя); убранство другой комнаты было такъ же просто, какъ и первой: въ ней находился столъ, заваленный книгами, этажерка, диванъ, передъ которымъ стоялъ небольшой круглый столикъ, два кресла и ничего больше. Здѣсь онъ проводилъ лѣто въ занятіяхъ надъ „Мертвыми Душами“. Онъ не любилъ никого впускать къ себѣ въ комнату и всякаго входившаго встрѣчалъ на порогѣ съ перомъ въ рукахъ; всѣ знали, что Гоголь не любитъ, когда къ нему являются, и старались не мѣшать ему; но онъ самъ по временамъ приходилъ въ домъ, бесѣдовалъ съ сестрами и матерью о различныхъ вопросахъ, по преимуществу хозяйственныхъ. По праздникамъ и воскреснымъ днямъ Гоголь отправлялся въ церковь“.

Г. Чаговецъ указываетъ на то, что среди всѣхъ ужасовъ крѣпостного права, при грубости помѣщичьихъ нравовъ, семья Гоголей выдѣлялась своимъ человѣчнымъ обращеніемъ съ крестьянами. „Въ преданіяхъ народа — этихъ вѣчныхъ скрижаляхъ, на которыхъ народъ запечатлѣваетъ наиболѣе грустныя страницы своей жизни — нѣтъ никакихъ упоминаній о жестокостяхъ помѣщиковъ“ (т. е. владѣльцевъ Васильевки), говоритъ онъ. О самомъ писателѣ въ памяти крестьянъ сохранились самыя свѣтлыя воспоминанія.

... „Одинъ старикъ-крестьянинъ на наши разспросы о Николаѣ Васильевичѣ только могъ отвѣтить: „О що то бувъ за панычъ добрый, Николай Васильевичъ, нехай его душенька царствуе! бувало мене малого роспытуютъ, що роблю, що обидаю; иноди пьятака давали, а разъ то подарувалы черевычки, таки легеньки, та крипкеньки; и довго я въ нихъ ходивъ; и людямъ тежъ багато помагали. Дай имъ Богъ царство небесное!“ И старикъ снялъ шапку и перекрестился.

Гоголь скорбѣлъ вмѣстѣ съ крестьянами по поводу неурожая и съ ними вмѣстѣ мозолилъ себѣ руки, вырывая изъ сухой земли колосья хлѣба, изрѣдка разбросанные на голодной нивѣ.

„Что жъ дѣлать? — говорилъ онъ крестьянамъ, — это воля Божья, нужно трудиться, а за трудъ будетъ награда на небѣ!“

Примѣчанія.

О „Современникѣ".

Послано Плетневу 4 декабря 1846 г. Напечатано имъ не было.

Письмо къ Жуковскому.

Написано въ Неаполѣ 29 декабря 1847 г. Гоголь собирался включить его во второе изданіе „Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями".

Духовное завѣщаніе.

Впервые напечатано въ „Русской Мысли" 1896 (V кн.). Срв. Шенрокъ, Матеріалы, IV, стр. 865—867.

Письма Гоголя.

1. **Г. И. Высоцкому.** См. Шенрокъ, Письма Гоголя, I, 54—57. Герасимъ Ивановичъ Высоцкій — старшій товарищъ Гоголя по Нѣжину. Свѣдѣнія о немъ скудны: онъ служилъ въ Петербургѣ, одно время былъ военнымъ, затѣмъ вышелъ въ отставку и поселился въ своемъ имѣніи (Переяславскаго уѣзда, Полтавской губерніи); умеръ въ началѣ 70-хъ годовъ. Сдружился съ Гоголемъ въ концѣ гимназическаго курса. По словамъ Кулиша („Опытъ біографіи Гоголя", стр. 19; „Записки о жизни Гоголя", I, 42), „сходство вкусовъ сблизило ихъ, ибо тотъ и другой отличались мечтательностью и комизмомъ. Всѣ юмористическія прозвища, подъ которыми Гоголь упоминаетъ въ своихъ письмахъ о товарищахъ, принадлежатъ Высоцкому. Онъ имѣлъ сильное вліяніе на первоначальный характеръ Гоголевыхъ сочиненій. Товарищи ихъ обоихъ, перечитывая „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки" и „Миргородъ", на каждомъ

шагу встрѣчаютъ слова, выраженія и анекдоты, которыми Высоцкій смѣшилъ ихъ еще въ гимназіи". По собраннымъ проф. Владиміровымъ („Изъ ученическихъ лѣтъ Гоголя", Кіевъ, 1890, стр. 10) воспоминаніямъ современниковъ, „онъ былъ тучнаго сложенія, любилъ поѣсть и часто разъѣзжалъ по сосѣдямъ, среди которыхъ пользовался славой большого насмѣшника и остряка; иногда свои шутки излагалъ и въ стихахъ; между прочимъ, интересовался сочиненіями по естественнымъ наукамъ". Между нѣжинскими гимназистами „обращались писанныя пансіонеромъ Высоцкимъ замѣчанія изъ Ж. Ж. Руссо и Юма". По словамъ Данилевскаго, у Высоцкаго „съ Гоголемъ было много общаго, но Высоцкій былъ гораздо авторитетнѣе". На міровоззрѣніе молодого Гоголя Высоцкій оказалъ несомнѣнное вліяніе.

Шапалинскій исправлялъ тогда должность директора гимназіи. Бѣлоусовъ (Ник. Григ.) — профессоръ римскаго права и инспекторъ. Лукашевичъ и Данилевскій — нѣжинскіе товарищи Гоголя, какъ и „барончикъ, Доримончикъ" и т. д. (Риттеръ). Демировъ-Мышковскій былъ гимназическимъ надзирателемъ. „Батюшечка" — законоучитель Волынскій, не любившій Гоголя. Урсо — учитель фехтованія. Мыгалычъ и Бодянъ — сторожа. Божко и Миллеръ — товарищи Гоголя.

2. **Ему же.** Это письмо образцово напечатано (съ факсимиле и обстоятельными примѣчаніями) проф. Владиміровымъ въ указанной выше брошюрѣ. См. предыдущее примѣчаніе. Инспекторъ — Бѣлоусовъ, Севрюгинъ — учитель пѣнія. Фонъ-Фонтикъ-Риттеръ, надъ которымъ постоянно издѣвался Гоголь (онъ же — Девинье, Доримончикъ и т. д.). Лаура — прозвище учителя грамматики и чистописанія К. А. Персидскаго. Магерки — предмѣстіе Нѣжина. Данилевскій учился тогда въ Московскомъ Благородномъ пансіонѣ (затѣмъ опять вернулся въ Нѣжинъ). Бороздинъ — товарищъ Гоголя, постоянная мишень его шутокъ („Разстрига-Спиридонъ"). Барановъ — товарищъ Гоголя. Базиль-Базили, товарищъ Гоголя, впослѣдствіи извѣстный дипломатъ и востоковѣдъ. Герардъ — одинъ изъ школьныхъ товарищей Гоголя, не кончившій курса. Лопухайскій-Лопушевскій, учитель ариѳметики. Батюшка — законоучитель Волынскій. Романовичъ и Садовничій — товарищи Высоцкаго. Билевичъ — профессоръ политическихъ наукъ. Кулжинскій — учитель латинскаго языка (о немъ см. „одинъ изъ учителей Н. В. Гоголя, И. Т.

Кулжинскій“ проф. М. Н. Сперанскаго, Нѣжинъ, 1906). Шишкинъ — экзекуторъ, Григоровъ, Божко, Миллеръ, Кукольникъ, Базили — товарищи Гоголя. Н. Бороздинъ кончилъ годомъ раньше Гоголя. Любичъ-Романовичъ окончилъ въ 1826 г. Ему принадлежатъ клеветническія воспоминанія о Гоголѣ. Ванновскій — надзиратель. Власенко — неизвѣстное лицо (можетъ быть, одинъ изъ товарищей Гоголя, вышедшихъ изъ гимназіи до окончанія курса).

3. **Ему же.** См. предыдущія примѣчанія и Шенрокъ, I, 74—80. Курдюмова — сестра гувернера Амана, предметъ насмѣшекъ Гоголя. Кобеляцкій — товарищъ Гоголя, перешедшій потомъ въ Царскосельскій лицей. Гальва — халва. Орлай — бывшій директоръ гимназіи, Демировъ и Кукольникъ запивали. Самойленко — кассиръ и учитель географіи. Филибертъ — надзиратель. Іеропесъ — профессоръ греческаго языка. Моисеевъ — учитель словесности, исторіи и статистики. Гусь Евлампій — фельдшеръ.

4. **П. П. Косяровскому.** Косяровскій — любимый дядя Гоголя. Изъ всей юношеской переписки Н. В. письмо это даетъ больше всего чертъ для характеристики его внутренней жизни.

5. **Матери.** См. Шенрокъ, Письма Н. В. Гоголя, т. I, стр. 116—121. „Таинственный покровъ“ — вѣроятно, относится къ изданію „Ганца Кюхельгартена“. Гоголь жилъ тогда на Б. Мѣщанской, въ домѣ каретника Іохима. Данилевскій (А. С.) — нѣжинскій товарищъ Гоголя. Свѣдѣнія объ „обычаяхъ и нравахъ малороссіянъ“ Н. В. собиралъ для повѣстей и разсказовъ изъ малорусской жизни („Гетьманъ“, „Страшный Кабанъ“, „Остраница“ и т. д.). Анна и Агаѳья Матвѣевны — тетки матери Гоголя, М. И. Повѣтъ — уѣздъ. Александра Ѳеодоровна — Тимченко, близкая знакомая и сосѣдка семьи Гоголя. Дѣдушка — И. М. Косяровскій, отецъ М. И. Гоголь. Марья Ильинишна — Косяровская, урожденная Шостакъ. Анна Матвѣевна — Трощинская, урожд. Косяровская. Анничка — Анна Васильевна Гоголь.

6. **Пушкину.** См. Шенрокъ, I, стр. 184—187. Пушкинъ передалъ черезъ Гоголя Плетневу рукопись „повѣстей Бѣлкина“. А. А. Орловъ — лубочный писатель 30-хъ годовъ, конкурировавшій и враждовавшій съ Ѳ. В. Булгаринымъ. М. А. Бестужевъ-Рюминъ, поэтъ и журналистъ, издатель нѣсколькихъ альманаховъ и „Сѣвернаго Меркурія“. „Литературныя прибавленія къ Русскому Инвалиду“ издавались А. Ѳ. Воейковымъ. Псевдонимомъ „Косичкинъ“ подписанъ памфлетъ Пушкина

противъ Булгарина. Гоголь ошибочно назвалъ жену Пушкина Надеждой (вмѣсто Натальи) Николаевной.

7. **Жуковскому.** См. Шенрокъ, I, стр. 188—190. Книга „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки". Розетти-Россетъ Александра Осиповна, впослѣдствіи Смирнова, фрейлина. „Окна мѣломъ" etc. — изъ „Евгенія Онѣгина" (глава VI). Жуковскій и Пушкинъ передѣлывали тогда (въ Царскомъ селѣ) русскія народныя сказки.

8. **Погодину.** См. Шенрокъ, I, стр. 244—246. „Журналъ дѣвицъ" — записки ученицъ Гоголя.

9. **Матери.** См. Шенрокъ, I, стр. 259—262. Анна Матвѣевна — тетка М. И. Гоголь. Павелъ Осиповичъ — Трушковскій, мужъ сестры Гоголя.

10. **Пушкину.** См. Шенрокъ, I, стр. 329. Гоголь печаталъ тогда „Арабески".

11. **Матери.** См. Шенрокъ, I, стр. 341—345. „Повѣсти" — „Миргородъ". Павелъ Осиповичъ — Трушковскій. Катерина Ивановна — Ходаревская, тетка Н. В.

12. **Пушкину.** См. Шенрокъ, I, стр. 353—354. Наталья Николаевна — жена Пушкина. Комедія — „Женитьба".

13. **Погодину.** Ib. стр. 356—358. Письмо Погодина о заграничной поѣздкѣ было помѣщено въ „Журналѣ Мин. Нар. Просв." 1835, VII. Комедіи, упоминаемыя въ концѣ письма, — „Ревизоръ" и „Женитьба". Загоскинъ тогда управлялъ императорскими московскими театрами.

14. **Щепкину.** Ib. стр. 368—369.

15. **Погодину.** Ib. стр. 370—371.

16. **Щепкину.** Ib. стр. 372—373. Храповицкій — чиновникъ при Александринскомъ театрѣ.

17. **Погодину.** Ib. стр. 376—378.

18. **Жуковскому.** Ib. стр. 383—386. Коппъ — франкфуртскій докторъ. Журналъ Пушкина — „Современникъ".

19. **Погодину.** Ib. стр. 396—397.

20. **Балабиной.** Ib. стр. 406—411. Балабина — ученица Гоголя.

21. **Жуковскому.** Ib. стр. 413—417. Жуковскій перевелъ „Шильонскаго узника" Байрона. Двоюродный братъ — А. С. Данилевскій (Гоголь такъ называлъ его часто, хотя на самомъ дѣлѣ родственникомъ Н. В. онъ не былъ).

22. **Плетневу.** Ib. стр. 432. По поводу извѣстія о смерти Пушкина. „Нынѣшній трудъ" — „Мертвыя Души". Штиглицъ и Валентини — банкиры

23. **Погодину.** Ib. стр. 434—435.

24. **Данилевскому.** Ib. стр. 437—441. Жаненъ — П. В. Анненковъ.

25. **Жуковскому.** Ib. стр. 441—444. Утрата — смерть Пушкина.

26. **Ему же.** Ib. стр. 458—460. „Это, которое пишу нынѣ“ — „Мертвыя Души“.

27. **Чертковой.** Ib. стр. 615—616. Написано въ Римѣ. Черткова нюхала табакъ.

28. **Шевыреву.** Ib. стр. 618—620. „Трудъ, который началъ“ — драма „Выбритый усъ“.

Письма 29—51 взяты изъ нашего изданія: „Н. В. Гоголь въ воспоминаніяхъ современниковъ и перепискѣ“, М., 1909.

Указатель вступительныхъ статей и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ I—IX томахъ.

		Томъ	Стр.
1.	Основныя черты личности и творчества Н. В. Гоголя	I.	3—23
2.	Біографическій очеркъ Н. В. Гоголя .	I.	25—35
3.	Юношескіе опыты Гоголя	I.	39—45
4.	„Вечера на хуторѣ близъ Диканьки“	I.	199—212
5.	Гоголь въ эпоху „Арабесокъ“ и „Миргорода“	II.	3—6
6.	„Миргородъ“	II.	7—16
7.	„Арабески“	III.	3—7
8.	„Мертвыя Души“, т. I	IV.	3—26
9.	Указанія Гоголя и его современниковъ на послѣдующее содержаніе „Мертвыхъ Душъ“	IV.	387—409
10.	Второй томъ „Мертвыхъ Душъ“ . .	V.	3—11
11.	Повѣсти Гоголя	V.	11—18
12.	Драматическія произведенія Гоголя.	VI.	3—32
13.	Журнальныя статьи Гоголя	VII.	299—301
14.	Мистико-моралистическія сочиненія Гоголя	VIII.	3—9
15.	Послѣдній періодъ жизни Гоголя . .	IX.	4—6
16.	Гоголь и его письма	IX.	7—92
17.	Этюды о Гоголѣ:		
	I. Литературныя отраженія смерти Гоголя	IX.	215—229
	II. Поэтическія характеристики Гоголя	IX.	229—233
	III. Воспоминанія И. А. Хлестакова о Гоголѣ	IX.	234—240

18. Воспоминанія современниковъ о Гоголѣ:

	Томъ	Стр.
П. В. Анненкова	—	241—258
С. Т. Аксакова	—	259—280
И. С. Тургенева	—	281—287
И. И. Панаева	—	288—292
А. О. Смирновой	—	293—302
Л. И. Арнольди	—	303—312
Кн. Д. А. Оболенскаго	—	313
П. В. Берга	—	314—318
М. И. Гоголь	—	319—339
О. В. Гоголь-Головни	—	340—343

Списокъ иллюстрацій и факсимиле, помѣщенныхъ въ I—IX томахъ.

		Томъ	Стр.
1.	Гоголь въ 1834 г. (По литографіи съ портрета работы Венеціанова)	I.	1
2.	Гоголь-гимназистъ (съ маслянаго портр. неизв. художника)	I.	39
3.	О. В. Головня, сестра Гоголя (съ фотографіи)	I.	125
4.	Факсимиле письма Гоголя къ Н. Я. Прокоповичу (1832 г.)	I.	195
5.	Гоголь въ 1845 г. (Портретъ, выдѣленный изъ фотографической группы русской колоніи въ Римѣ).	II.	1
6.	Сорочинцы. Мѣсто рожденія Гоголя . .	II.	17
7.	Гоголь въ Яновщинѣ (съ картины Волкова).	II.	204
8.	Мать и сестры Гоголя	II.	316
9.	Гоголь въ 1840 г. (съ маслянаго портрета Моллера)	III.	1
10.	Портретъ Н. В. Гоголя (съ портрета работы А. А. Иванова)	III.	16
11.	Гоголь-студентъ въ 1827 г.	III.	176
12.	Яновщина. Домъ Гоголя	III.	320
13.	Портретъ Гоголя (работы Моллера) . . .	IV.	1
14.	Гоголь на репетиціи „Ревизора“ (по акварели П. А. Каратыгина)	IV.	192
15.	Гоголь въ 1852 г. (Съ литографіи по рисунку Мамонова)	IV.	352
16.	Гоголь (Портретъ работы Рабуса) . . .	IV.	368
17.	Гоголь въ 1851—52 гг. (По офорту Панова съ рисунка Дмитріева-Мамонова) .	V.	1
18.	Послѣдніе дни жизни Н. В. Гоголя (рисунокъ А. Солоницкаго; 1852 г.) . . .	V.	177
19.	Гоголь въ гробу (съ рисун. Ястребцова) .	V.	320

	Томъ	Стр.
20. Гоголь въ гробу (по офорту Панова съ рисунка В. А. Рачинскаго)	V.	464
21. Н. В. Гоголь (по фотографіи съ карандашнаго рисунка А. А. Иванова) . .	VI.	1
22. Послѣдняя сцена „Ревизора“ (А. А. и М. А. Сквозникъ-Дмухановскія)	VI.	32
23. Послѣдняя сцена „Ревизора (съ рисунка Н. В. Гоголя)	VI.	192
23. Послѣдняя сцена „Ревизора“ (съ рисунка Н. В. Гоголя)	VI.	256
25. Снимокъ съ собственноручнаго наброска Гоголя послѣдней сцены „Ревизора“ .	VI.	368
26. Гоголь въ кабинетѣ Жуковскаго въ 1836 г. (съ картины неизв. художника).	VII.	1
27. Гоголь въ гробу (съ рисунка Э. А. Дмитріева-Мамонова)	VII.	128
28. Маска Гоголя	VII.	384
29. Шествіе въ храмъ Славы (рисунокъ Неваховича)	VIII.	16
30. Похороны Гоголя его героями (рисунокъ Перова)	VIII.	80
31. Памятникъ Гоголю въ Москвѣ (работы художника Н. А. Андреева)	VIII.	272
32. Факсимиле письма къ Н. Я. Прокоповичу	VIII.	336
33. Гоголь и о. Матвѣй Константиновскій (съ рисунка Рѣпина)	IX.	1
34. Памятникъ Гоголю въ Нѣжинѣ (съ фотографич. снимка)	IX.	96
35. Домъ (бывш. Талызиныхъ), въ которомъ умеръ Гоголь (Никитскій бульваръ въ Москвѣ)	IX.	112
36. Могила Гоголя въ Даниловскомъ монастырѣ, въ Москвѣ (съ фотографическаго снимка).	IX.	212

Указатель произведеній Н. В. Гоголя.

(Ко всѣмъ 9-ти томамъ) [1].

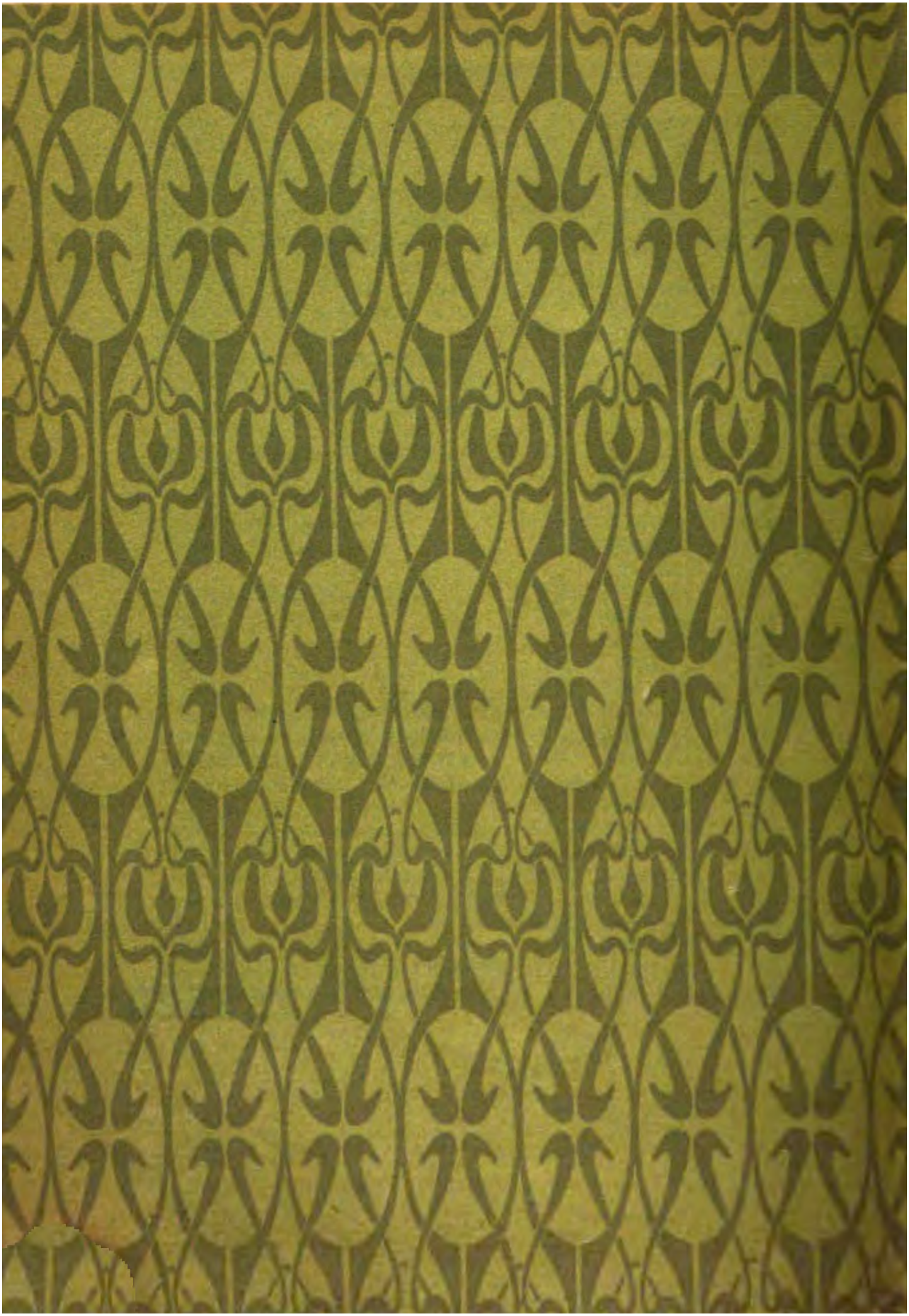
Авторская исповѣдь	VIII.	291—340	414—415
Ал-Мамунъ	III.	164—171	414—415
Альбомная замѣтка (1826 г.).	I.	47	485
Альфредъ	VII.	263—296	389
Арабески	III.	9—329	407
Близорукому пріятелю . . .	VIII.	190—193	413
Борисъ Годуновъ	I.	115—121	488
Братья Твердиславичи .	I.	41	
Вечера на хуторѣ	I.	213—481	490—493
Вечеръ наканунѣ Ивана Купала	I.	255—275	493
Взглядъ на составленіе Малороссіи	III.	117—129	413
Вій	II.	204—253	432—436
Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями . . .	VIII.	11—286	409—414
Въ чемъ, наконецъ, сущность русской поэзіи	VIII.	220—275	413—414
Ганцъ Кюхельгартенъ . . .	I.	48—89	485—488
Глава изъ историческаго романа	III.	32—45	411
Двѣ рыбки	I.	40	
Женитьба	VII.	1—90	387
Женихи	I.	167—191	489
Женщина	I.	109—114	488
Женщина въ свѣтѣ	VIII.	24—30	409

[1] Римскія цифры указываютъ томъ, арабскія — страницы; первый рядъ цифръ относится къ текстамъ, второй, нѣсколько отставленный вправо — къ примѣчаніямъ; названія произведеній, только упоминаемыхъ нами, но не вошедшихъ въ наше изданіе, набраны въ разрядку.

Жизнь	III.	172—175	415
Завѣщаніе	VIII.	17—24	409
Завѣщаніе (духовное) . . .	IX.	110—111	345
Заколдованное мѣсто	I.	472—481	494
Замѣтка о сельскомъ хозяйствѣ	VII.	380—381	391
Замѣтки, относящіяся къ I тому М. Д.	IV.	353—354	383
Занимающему важное мѣсто .	VIII.	193—217	413
Записки сумасшедшаго . . .	III.	303—329	416
Значеніе болѣзней	VIII.	30—31	409
Игроки	VII.	91—153	387
Историческій живописецъ Ивановъ	VIII.	165—178	413
Италія	I.	90—91	488
Карамзинъ	VIII.	81—83	412
Коляска	V.	397—411	482
Лакейская	VII.	180—190	388
Малороссійскія слова	II.	317—321	
Майская ночь	II.	276—312	493
Мертвыя Души, I	IV.	29—346	379—382
„ „ II	V.	21—306 316—320	471—472
Миргородъ	II.	19—411	415—427
Мысли о географіи	III.	239—250	416
Напутствіе	VIII.	218—220	413
Невскій проспектъ	III.	183—228	415—416
Непогода	I.	46	485
Носъ	V.	323—355	472—481
Ночи на виллѣ	VII.	350—352	390—391
Ночь передъ Рождествомъ . .	I.	332—387	494
Нужно любить Россію . . .	VIII.	126—128	413
Нужно проѣздиться по Россіи	VIII.	128—138	413
Нѣсколько главъ изъ неоконченной повѣсти	I.	125—153	489
Нѣсколько словъ о нашей церкви	VIII.	52—55 55—57	410
Нѣсколько словъ о Пушкинѣ	III.	130—137	413—414
Нѣчто о Нѣжинѣ	I.	40	
Объ архитектурѣ нынѣшняго времени	III.	138—163	414
Объ „Одиссеѣ“	VIII.	41—52	410
Объявленіе объ изданіи русскаго словаря	VII.	379—380	391
О движеніи журнальной литературы	VII.	302—321	390

О движеніи народовъ въ концѣ V в.	III.	269—302	416
Окончаніе IX гл. I т. М. Д.	IV.	355—362	383
О лиризмѣ нашихъ поэтовъ	VIII.	57—75	410—412
О малорос. пѣсняхъ	III.	229—238	416
О помощи бѣднымъ	VIII.	38—41	410
О поэзіи Козлова	I.	122—124	488—489
О преподаваніи всеобщей исторіи	III.	46—63	411—412
О „Современникѣ“	IX.	93—103	345
О сословіяхъ въ государствѣ	VII.	374—379	391
О среднихъ вѣкахъ	III.	17—31	408—411
О театрѣ	VIII.	83—97	412
О томъ, что такое слово	VIII.	31—36	409—410
Отрывки изъ начатыхъ повѣстей	I.	154—161	489
Отрывки изъ неоконченныхъ повѣстей	V.	465—467	
Отрывокъ (драм.)	VII.	191—210	388—389
Отрывокъ изъ письма, посланнаго авторомъ послѣ перваго представленія „Ревизора“	VI.	169—174	383
Отрывокъ изъ утраченной драмы	I.	162—166	489
Петербургская сцена	VII.	322—332	390
Петербургскія записки	VII.	333—345	390
Письма — статьи:			
Жуковскому (Искусство есть примир. съ жизнью)	IX.	104—109	345
П. А. Плетневу (о „Современникѣ“)	IX.	93—103	345
А. О. Россетти (о М. Д. и „Выбр. мѣстахъ“)	VIII.	287—291	414
Письма:	IX.		345—349
Аксакову К. С.	„	187	
Аксакову С. Т.	„	171, 174, 194, 203, 210	
Балабиной М. П.	„	152	
Высоцкому Г. И.	„	112, 114, 118	
Гоголь М. И.	„	126, 136, 139	
Данилевскому А. С.	„	162	
Жуковскому В. А.	„	132, 149, 156, 165, 167, 193	
Косяровскому П. П.	„	124	
Плетневу П. А.	„	159, 175, 178, 181, 191, 196	

Погодину М. П. . . .	IX.	134, 142, 145, 148, 151, 160, 172	
Прокоповичу Н. Я. . . .	„	181, 182, 189	
Пушкину А. С.	„	130, 138, 142	
Сосницкому И. И. . . .	„	200	
Чертковой Е. Г.	„	168	
Шевыреву С. П.	„	169, 206	
Щепкину М. С.	„	144, 146, 183, 185, 197, 202, 208	
Плѣнникъ	III.	261—268	416
Повѣсть о томъ, какъ поссорились И. И. съ И. Н. . .	II.	254—316	436—437
Повѣсть о кап. Копейкинѣ .	IV.	363—374	383
Помѣщики	VII.	381—382	391
Портретъ	III.	64—116	333—404
		412—413	
	V.	482	
Послѣдній день Помпеи . .	III.	251—260	416
Послѣднія строки	VII.	383	391
Предисловія:			
ко 2-му изд. I т. М. Д. . .	IV.	349—352	382—383
къ „Арабескамъ“	III.	10	
къ „Вечерамъ“:			
I	I.	213—219	
II	II.	328—331	
къ „Выбран. мѣстамъ“ .	VIII.	13—17	409
къ первому изд. „Сочин. Н. Гоголя“	I.	196	489—490
Предметы для лирическаго поэта	VIII.	97—102	412
Предувѣдомленіе для тѣхъ, которые пожелали бы сыграть, какъ слѣдуетъ, „Ревизоръ“	VI.	256—264	385
Предувѣдомленіе къ предполагаемому изданію „Ревизора“ въ пользу бѣдныхъ	VI.	234—236	384
Пропавшая грамата	I.	313—327	493—494
Просвѣщеніе	VIII.	104—108	413
Разбойники	I.	41	
Развязка „Ревизора“	VI.	237—255	384—385
Размышленія о божественной литургіи	VIII.	341—407	415
Размышленія о нѣкоторыхъ герояхъ I т. М. Д.	IV.	375—376	383—384
Ревизоръ	VI.	33—166	175—233
		265—378	381—385
Рецензія	VII.	346—349	390

Римъ	V.	412—464	482
Русскіе помѣщики	VIII.	156—165	413
Свѣтлое Воскресенье	VIII.	275—287	414
Се образъ жизни нечестивой	I.	40	
Сельскій судъ и расправа .	VIII.	183—185	413
Скульптура, живопись и музыка	III.	11—16	408
Совѣты	VIII.	102—104	412
Сорочинская ярмарка . . .	I.	220—254	493
Споры	VIII.	75—78	412
Старосвѣтскіе помѣщики . .	II.	19—49	427—429
Страницы, передѣланныя авторомъ по выходѣ въ свѣтъ I т. М. Д.	V.	307—315	471
Страхи и ужасы Россіи .	VIII.	185—190	413
Страшная месть	I.	388—438	494
Страшная рука	I.	155—157	489
Страшный кабанъ	I.	92—108	488
Тарасъ Бульба	II.	50—203 322—411	429—432
Театральный разъѣздъ . . .	VII.	211—262	389
Трудъ	VII.	382—383	391
1834 г.	I.	192—193	489
1846 г	VII.	374	391
Тяжба.	VII.	169—179	388
Утро дѣлового человѣка . .	VII.	157—158	387—388
Учебная книга словесности	VII.	353—373	391
Христіанинъ идетъ впередъ	VIII.	78— 81	412
Четыре письма по поводу М. Д.	VIII.	108—126	413
Чей удѣлъ на землѣ выше .	VIII.	217—218	413
Чтенія русскихъ поэтовъ . .	VIII.	36—38	410
Что такое губернаторша . .	VIII.	138—156	413
Чѣмъ можетъ быть жена для мужа	VIII.	178—183	413
Шинель	V.	356—396	481—482
Шлецеръ, Миллеръ и Гердеръ	III.	176—182	415
Шпонька и его тетушка .	I.	439—471	494

783520